

НОВАЯ МИР

НОВАЯ МИР

1969

5



1(9)6(9)

Н(О)ВЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV

№ 5

Май, 1969 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР -- Три рассказа	3
ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧЮС -- Из новых стихотворений. Перевели с литовского Ю. Левитанский, Д. Самойлов	49
АННА АХМАТОВА -- Стихи разных лет. Публикация академика В. Жирмунского	53
ИШТВАН ШИМОН -- Два стихотворения. Перевел с венгерского Олег Чухонцев	59
М. ИСАКОВСКИЙ -- На Ельнинской земле (Автобиографические страницы) Продолжение	61
МУСТАЙ КАРИМ -- Я в горы ухожу, стихи. Перевела с башкирского Елена Николаевская	108
АЛЬБЕР КАМЮ -- Падение, повесть. Перевел с французского Л. Григорьян. Послесловие И Саца	112

ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Г. ЛИСИЧКИН -- Человек -- кооперация -- общество (Ленинский кооперативный план и современность)	157
---	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЦЕЦИЛИЯ КИН -- Страницы прошлого	176
В. ЛАКШИН -- Марк Щеглов (Напоминание об одной судьбе)	198

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ГУЛЫГА -- Пути мифотворчества и пути искусства (Заметки социолога)	217
---	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	233
М. Галлай. Девушки на войне -- Ю. Айхенвальд. Впечатление и слово. -- Е. Клепикова. О себе и своем деле. -- А. Котлов. Самородок. -- Ст. Рассадин. «Независимо от степени галанта». -- Г. Белая. Духовное зрение критика. -- Т. Мотылева. Легенда и современность	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	255
В. Дюшен. Книга о женщинах-революционерках.— А. Стреляный. Мемуары целинника.— В. Война. Вопросы без ответов — В. Савин. Проблемы и перспективы социалистической демократии.— А. Грунт. Из истории крушения русского царизма.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	273
КОРОТКО О КНИГАХ — Рассказы об Орджоникидзе — С. Маркус. История музыкальной эстетики — Физики продолжают шутить. Сборник переводов.— П. Л. Трэверс Мэри Поппинс.— А. И. Перельман. Александр Евгеньевич Ферсман.— М. Беленький. Трагедия Уриэля Акости	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

★

ТРИ РАССКАЗА

Лов форели в верховьях Кодора

Рано утром я проснулся и вспомнил, что еще с вечера собирался половить форель. Наверное, от этого и проснулся.

Я приподнял голову и огляделся. Ребята спали в самых странных позах, словно, неожиданно застигнутые сном, не успели закончить каких-то движений. В окно струился сиреневый свет. Было еще очень рано. Голые бревенчатые стены помещения слегка золотились, от них пахло свежей смолой.

Целую неделю мы бродили в горах по местам боев за оборону Кавказа. Поход этот давно был задуман студентами географического факультета во главе с моим другом, преподавателем физкультуры Автандилом Цикридзе. Он-то мне и предложил выехать с ними в горы. Я охотно согласился.

В последний день, подгоняемые нехваткой продуктов — не учли аппетит студентов, — мы сделали самый длинный переход и к вечеру дошли до села.

К счастью, палатки разбивать не пришлось, потому что начальник местной милиции гостеприимно предоставил нам помещение, не то бывший склад, не то будущий клуб, где мы и расположились на ночлег. Он появился с удочкой в руке, когда мы, скинув с себя рюкзаки, блаженно вытянув ноги, лежали на полянке у речной излучины.

Спустившись по очень крутому обрывистому склону, он стал деловито забрасывать удочку, видимо, в хорошо известные ему бочажки. Забросит, поковыряет немного удочкой и вытащит форель. Снова несколько шагов, снова забросил, слегка подергал, поковырял — и снова форель. Издали было похоже, что он просто натыкал форель на длинную тонкую иглу лески. В полчаса наловив дюжину отличных форелей, он неожиданно, без всякой видимой причины, словно выполнив ежедневную норму отлова, смотал удочку и подошел к нам.

В тот же вечер, пересилив усталость, мы с одним студентом вырезали удилица из лесного ореха и смастерили себе удочки. Звали его Люсик. В некоторых абхазских деревнях называют детей русскими именами, а то и просто русским словом. Как правило, это звучное, часто повторяемое по радио слово. Так, я знал одного парня по имени Война. Может быть, слегка встревоженный своим именем, он обычно держался подчеркнуто миролюбиво.

Люсик тоже, словно зачарованный своим женским именем, был застенчив и отличался от остальных ребят никогда не переходящей в педобострастие точной почтительностью. Складный и крепкий, как ма-

ленький ослик, он своей необыкновенной выносливостью сумел посрамить самых сильных участников похода, среди которых было два культуриста.

...Я вынул из вещмешка большой складной нож, две спичечные коробки — одну с икрой, а другую с запасными крючками — и задвинул его к стене.

Коробку с икрой мне дал один человек, который приходил к нашему костру, когда мы стояли лагерем у подножья Маруха.

Он прилетел на вертолете геологов, которые еще до нас расположились и работали в этих местах. Это был полнеющий блондин лет тридцати с небольшим, в новеньких шортах, в тяжелых, тоже новеньких, ботинках скалолаза и с альпенштоком в руке. Часа два он просидел с нами у костра, неназойливо интересуясь нами и нашим походом. Он назвал себя, но я тут же забыл его имя. Кто-то из ребят, когда это пришлось к месту, спросил у него, где он работает.

— В одном высоком учреждении, — сказал он, добродушно улынувшись, как бы намекая на относительность служебных высот по сравнению с той высотой, на которой все мы теперь находимся. Каламбур так и остался непроясненным, да нам и не очень было интересно узнавать, где он там работает.

На следующее утро, когда мы уходили, он принес этот спичечный коробок с икрой. Вечером он слышал, как я жаловался на то, что местная форель не берет на кузнечиков, а черви здесь почему-то не попадают.

— По-видимому, земля, как и всякий продукт, червивеет в более теплых местах, — сказал я неожиданно для себя.

Он понимающе кивнул головой, хотя я и сам не слишком понимал смысл этого шизофренического образа. И вот на следующее утро он принесит икру.

Такая внимательность тронула меня, и я пожалел, что забыл его имя, но теперь переспрашивать было неудобно. По крайней мере я старался сделать вид, что поверил в его работу в одном высоком учреждении, хотя, возможно, он этого и не заметил. То есть не заметил моего старания.

Когда мы уходили гуськом со своими вещмешками, он стоял поблизости от вертолета в своих новеньких шортах с альпенштоком в одной руке и сванской, тоже новенькой, шапочкой в другой, помахивая нам этой шапочкой, и я окончательно простил ему этот невинный альпийский маскарад. Тем более что все это вместе, он и вертолет на зеленой лужайке в окружении суровых гор, выглядело чрезвычайно красиво и могло быть использовано в качестве рекламы авиатуризма.

...Я застегнул карманы вещмешка, ощупал себя, стараясь вспомнить, не забыл ли чего, и встал. Люсика я решил не будить. Проснется — сам придет, подумал я. Может, человек передумал, и вообще рыбачить лучше одному.

На столе, румянясь коркой, лежало несколько буханок белого хлеба. Вечером начальник милиции сходил к продавцу, и тот, открыв магазин, выдал нам хлеб, масло, сахар и макароны. Видеть хлеб в таком количестве было приятно.

Я подошел к столу, достал нож и отрезал себе большую горбушку. Хлеб скрипел и пружинил, пока я его резал. Один из мальчиков, не просыпаясь, чмокнул губами, как мне показалось — на звук разрезаемого хлеба.

Тут же стоял котелок, наполненный сливочным маслом. Я густо намазал горбушку, надкусил и невольно оглянулся на чмокнувшего губами. На этот раз он ничего не почувствовал.

Я вышел на веранду и, пристукнув черенок ножа о перила, закрыл нож. Иначе он почему-то не закрывался.

Тут только я заметил, что внизу у крыльца возле удочек, прислоненных к стене, стоял Люсик.

— Давно встал? — спросил я, жуя.

— Нет, — поспешно ответил он, вскинув на меня большие ясные глаза птицы феникс. Видно было, что он боится, как бы я не почувствовал неловкости за то, что он ждал меня.

— Поди отрежь себе, — сказал я и протянул ему нож.

— Не хочу, — замотал головой Люсик.

— Иди, говорю, — повторил я, надкусывая свой бутерброд.

— Клянусь мамой, я так рано не люблю, — сказал Люсик и, сморщив коротенький носик, приподнял брови почти до самой своей школьной челки.

— Тогда пошли копать червей, — сказал я и спустился с крыльца. Люсик взял обе удочки и пошел за мной.

Мы шли по деревенской улице. Налево от нас высились общественные здания: правление колхоза, столовая, золотящийся стругаными бревнами амбар. Строения эти стояли у самого обрыва. Внизу, под обрывом, шумела невидимая отсюда река. Справа шло кукурузное поле. Кукуруза уже дозревала, на крепких плодах усохшие косички стояли торчком. Улица была пустой. Три свиньи местной породы, черные и длинные, как снаряды, медленно перешли улицу.

Небо было бледно-зеленое, нежное. Впереди на южной стороне небосвода сияла огромная мохнатая звезда. Больше на небе не было ни одной звезды, и эта единственная, казалось, просто зазевалась. И пока мы шли по дороге, я все любовался этой мокрой, как бы стыдящейся своей огромности звездой.

Горы, еще не озаренные солнцем, были темно-синими и мрачными. И только скалистая вершина самой высокой горела золотым пятнышком — она уже дотянулась до солнца.

Справа за кукурузником открылся школьный дворик с маленькой, очень домашней школкой. Двери одного из классов были открыты. Все классы выходили на длинную веранду с крылечком. В конце веранды стояли парты, нагроможденные одна на другую.

Мимо школьного дворика на улицу выходила дорога, занесенная галькой и крупными камнями — следами ливневых потоков.

Здесь мы решили попробовать. Я еще доедал свой бутерброд, а Люсик, прислонив к забору удочки, начал выворачивать камни.

— Есть? — спросил я, когда он, приподняв первый камень и все еще держа его на весу, заглядывал под него. Словно, не оказавшись под камнем червей, он хотел поставить его на то же место.

— Есть, — сказал Люсик и отбросил камень.

Доев последний кусок, я почувствовал, что очень хочется курить. Но я знал, что у меня в верхнем кармане ковбойки только три сигареты, и решил перетерпеть. Я только вытащил оттуда спичечный коробок, высыпал из него спички и приготовил пустой коробок для червей. Люсик уже собирал их в железную коробку.

Выворачивая камни, мы потихоньку подымались вверх. Червей все-таки попадалось мало. Под некоторыми камнями совсем ничего не было. Маленький Люсик порой выворачивал огромные камни. Чувствовалось, что руки его привыкли к работе, что вся его упорная фигурка привыкла одолевать сопротивление тяжести.

Потихоньку подымаясь, мы поравнялись с помещением школы. Внезапно, подняв голову, я заметил на веранде женщину. Она выжи-

мала в ведро мокрую тряпку. Я очень удивился, что не заметил ее прихода. Еще больше я удивился, разглядев, что это светловолосая русская женщина. Было странно ее здесь видеть.

— Здравствуйте,— сказал я, когда она повернула голову.

— Здравствуйте,— ответила она приветливо, но без всякого любопытства.

Из открытого класса вышла девочка-подросток с венком в руке. Она сунула его в то же ведро, стяхивая, несколько раз хрястнула им о крыльцо и, молча посмотрев на нас, вошла в помещение. Она была очень хороша и, когда уходила, прямо и неподвижно держала спину, чувствовала, что на нее смотрят. Очарование ее личика заключалось, пожалуй, в каком-то редком сочетании восточной яркости и славянской мягкости черт.

Я посмотрел на Люсика. Удивленно приоткрыв рот, он лупал своими наивными глазами птицы феникс.

— А эти откуда взялись? — спросил он у меня по-абхазски.

— Приезжай годика через три,— сказал я.

Люсик вздохнул и взялся за очередной камень. Я тоже наклонился.

Было слышно, как на веранде женщина шваркает тряпкой и гонит воду по полу. Наверное, думал я, послевоенная голодуха занесла ее невесть как в это горное село. А потом родила от какого-то свана девочку, так и осталась здесь, решил я, сам удивляясь своей проникательности.

— Как спуститься к реке? — спросил я.

Она разогнулась и слегка поводила запрокинутой головой, чтоб отпустило затекшую шею.

— А вон,— вытянула она голую, мокрую по локоть руку,— дойдете до дома и сразу вниз.

— Я знаю,— сказал Люсик.

Снова вышла девушка с венком.

— Дочка? — спросил я.

— Старшая,— подтвердила она с тихой гордостью.

— А что, еще есть? — спросил я.

— Шестеро,— улыбнулась она.

Этого я никак не ожидал. Для женщины, родившей шестерых, она была слишком моложава.

— Ого,— сказал я,— а муж что, в школе работает?

— Председатель колхоза,— поправила она и добавила, снова кивнув на дом через дорогу: — Так это ж наш дом.

Дом едва виднелся сквозь фруктовые деревья, но все же было видно, что этот ладный просторный дом вполне может быть председателем.

— Я работаю на метеостанции,— пояснила она,— а здесь я так, прирабатываю...

Девушка, которая все это время прислушивалась к разговору, теперь отряхнула веник о крыльцо и, строго посмотрев на мать, вошла в класс, все так же прямо и неподвижно держа спину.

— Не трудно? — спросил я, стараясь вставить в вопрос и хозяйство, и детей, и, главное, жизнь среди чужого народа.

— Ничего,— сказала она,— дочка помогает...

Больше мы ни о чем не говорили. Набрав червей, мы взяли свои удочки и пошли. Я оглянулся, чтобы попрощаться, но они в это время вносили в помещение парты и нас не заметили.

Проходя мимо дома напротив школы, я увидел четырех светлых и темных малышей. Ухватившись руками за новенький штакетник, они смотрели на улицу.

— Кто твой папа? — спросил я у самого старшего, мальчика лет шести.

— Прэдсэдэтэл,— проклокотал он, и я заметил, как пальцы его вжались в штaketник.

Мы свернули с дороги и стали спускаться по очень крутой тропинке. Мелкие камушки скатывались из-под ног. Иногда, чтобы притормаживать, я опирался на удочку. С обеих сторон нависали кусты дикого ореха, бузины, ежевики. Одна ежевичная ветка была так густо облеплена черными пыльными ягодами, что я не удержался.

Я поставил удочку и, придерживая ее подбородком, чтоб не скатилась с плеча, осторожно притянул ветку и другой рукой набрал полную горсть ягод. Сдунув пушинки, я высыпал в рот холодные сладкие ягоды. На ветке было еще много ягод, но я решил больше не отвлекаться и пошел дальше. Шум реки становился все слышней, хотелось поскорее выйти к берегу.

Люсик ждал меня внизу. Как только я вышел на берег, лицо обдало прохладой. Река гнала над собой поток холодного воздуха.

Близость воды еще сильнее возбудила нас, и мы, хрустя галькой пересохших рукавов, двинулись к ней. Метров за десять до воды я сделал Люсику знак, чтобы он не разговаривал, и, уже стараясь не хрустеть галькой, мы подкрались к самой воде. Так учил меня один хороший рыбак. Мне было смешно смотреть, как он почти ползком подходит к воде, словно подкрадывается к дичи, но когда он наловил десятка два форелей, а я взял за целый день всего две невзрачные форелинки, пришлось поверить в преимущество опыта.

Люсик знаками показал мне на что-то. Я посмотрел вниз по течению и увидел метрах в пятидесяти от нас парня с удочкой. Я его сразу узнал: это был студент из нашей группы.

Было неприятно, что он опередил нас. Мы даже не знали, что он собирается рыбачить. Словно почувствовав, что мы смотрим на него, он оглянулся. Я знаком спросил у него: мол, как? Он вяло отмахнулся: мол, ничего. На лице его угадывалась гримаса разочарования. Он отвернулся к удочке и застыл.

Раз так, подумал я, можно считать, что он пришел с нами и мы одновременно начали рыбачить. Ведь рыба не знает, что он раньше пришел... Я знаками велел Люсику отойти пониже. Он отошел.

Я вынул из штормовки спичечный коробок, вытащил толстого червя и насадил на крючок, оставив шевелящийся хвостик.

В этом месте река раздваивалась, образуя длинный, поросший травой и мелким ольшаником остров. Основной рукав был по ту сторону. Этот начинался с небольшого переката, возле которого я заметил маленькую глубокую заводь. Я подкрался к ней и, придерживая одной рукой леску за грузило, другой оттянул удочку так, чтобы чувствовать необходимый размах и заброс получился поточней. Я слегка взмахнул удочкой и отпустил леску. Грузило шлепнулось в заводь.

Главное, не запутаться, не зацепиться, думал я, стараясь не давать слабину, чтобы крючок не отнесло за какой-нибудь подводный камень или корягу. Что-то ударило по леске, и рука моя невольно сделала подсечку. На крючке ничего не было. После нескольких таких ударов я понял, что это не клев, а удар подводных струй, и все-таки кисть моей руки, сжимавшей удилище, дергалась, как от электрического разряда. Сознание каждый раз на какую-то долю секунды отставало от рефлекса.

Тук! — услышал я неожиданно и усилием воли остановил руку.

Все еще сидя на корточках и очень волнуясь, я стал ждать нового клева, стараясь подготовить себя к мысли не дергать рукой, когда его почувствую.

Сейчас ударит, говорил я себе, надо перетерпеть. В самом деле, рыба снова притронулась к наживке, и рука моя почти не дрогнула. На этот раз рыба была еще осторожней. Вот и хорошо, думал я, вот так несколько раз перетерпеть, пока не почувствую, что она цапнула добычу.

Удар рыбы, подсечка — и в следующий миг мокрая, сверкающая форель трепыхалась в воздухе. Я перегнул отяжелевшее удилище в сторону берега, и перед моими глазами закачалась леска с трепещущей тяжелой рыбой. От волнения я не сразу поймал ее. Наконец ухватился за нее одной рукой, плотно зажал, чувствуя живой холод ее тела, осторожно положил удилище и, еще крепче сжимая рыбину, другой рукой вытащил крючок из ее беззвучно икающего рта...

Такую крупную я никогда не ловил. Она была величиной с кукурузный початок. Спина ее была усеяна красными пятнами. Я осторожно расстегнул клапан штормовки и вывалил ее туда. Снова застегнул. В кармане она затрепыхалась с новой силой. Там же у меня лежал нож. Я решил, что она побьется о черенок, и, снова открыв карман, осторожно, чувствуя холод рыбы тыльной стороной ладони, вытащил нож, переложил его в другой карман и снова застегнул карман с рыбой.

Я разогнулся, чувствуя, что надо слегка развеяться от слишком большой и потому несколько тошнотворной дозы счастья. Я глубоко вздохнул и огляделся. Вода заметно посветлела, а поток воздуха, несшийся над ней, потеплел. Горы на той стороне реки все еще сумеречно синели. Но те, что были за спиной, золотились всеми вершинами.

Ниже по течению недалеко от меня стоял Люсик. Я понял, что он ничего не заметил, а то бы сейчас смотрел в мою сторону. Люсик раньше никогда не рыбачил. Только здесь, в горах, он два раза пробовал со мной половить форель. Но рыбалки не получалось, и потому он еще не испытал настоящего азарта.

Вообще среди абхазцев редко встретишь рыбака. Для народа, испокон веков жившего у моря, это странная особенность. Я думаю, так было не всегда. Мне кажется, несчастное переселение в Турцию в прошлом веке захватило прежде всего жителей приморья и речных долин. Вместе с ними, наверное, и оборвался для абхазцев рыбный промысел.

Если в народной памяти, подумалось мне, могут быть провалы, забвенье таких зримых промыслов, то как же надо беречь более хрупкие ценности, чтобы они не исчезли, не улетучились...

Студент, который пришел раньше нас, переменял место.

Как-то он сказал, что у них с отцом моторная лодка и они часто рыбачат в море. Я спросил у него, не продают ли они рыбу, потому что на моторке почти всегда можно найти косяк, а уж если попался хороший косяк, то вдвоем на самодурах можно наловить очень много рыбы.

Он твердо посмотрел мне в глаза и сказал, что они с отцом никогда не продают рыбу. Я почувствовал, что он обиделся. А ведь я его не хотел обидеть.

Я снова наживил крючок и забросил леску. Теперь я удил стоя. Я чувствовал, что рыбалка не может не получиться. Не знаю почему, но я в этом был уверен.

Через некоторое время я снова почувствовал клев и старался не шевелить кистью. Несколько слабых ударов, а потом все смолкло, но я очень долго ждал, стараясь ее перехитрить. Однако ничего не получалось, и я вытащил леску. Оказалось, что наживки на крючке нет. Видно, рыба ухитрилась ее склевать, а я все ждал, когда она схватит голый крючок.

Я снова наживил крючок и осторожно забросил леску. Леска плавно кружилась в маленьком водовороте заводи, а если выходила из нее, я легким толчком удилица возвращал ее на место. Так как все еще не клевало, я решил давать леске немного уйти по течению вниз, а потом подымал против течения, стараясь соблазнить большее количество смельчаков.

Пойманная форель шлепала меня по животу, и каждый раз, когда я ее чувствовал, я снова набирался терпения.

Наконец я вытащил небольшую форель и положил ее в карман. Замершая было первая форель затрепыхалась вместе со второй. Я подумал, что она обрадовалась появлению второй форели, возможно, та возбудила в ней какие-то надежды. Но потом я решил, что вторая форель своими мокрыми кислородными боками оживила первую. Я сел на корточки, раскрыл карман штормовки и влил в него несколько пригоршней свежей воды.

Теперь форели шлепали в воде и временами почти благодарно толкали меня в живот, вызывая во мне странное ощущение глуповатой радости.

Больше мне на этом месте ничего не попадалось, и я решил сменить его. Я вытащил леску, обвил ее вокруг удилица и всадил крючок в его мягкую свежую древесину.

Можно было пойти вверх по течению, но недалеко отсюда река накатывала на крутой, обрывистый берег, который отсюда никак нельзя было пройти. Чуть подальше берег был гораздо доступней, но отсюда пройти туда было никак невозможно. Я пошел вниз по течению.

Солнце уже сияло всюду и приятно пригревало. Из-за горы осторожно выползал туман. Вода на мелководье была прозрачной, и каждый камушек радостно сиял, отбрасывая на песчаное дно дрожащую тень. Временами на дне без всякой видимой причины вспыхивали и гасли маленькие песчаные смерчи.

Я подошел к Люсику. Он стоял по пояс в воде и, наклонившись, рылся в ней руками, к чему-то прислушиваясь своими большими глазами птицы феникс. Одежда его, прилежно сложенная, лежала на берегу.

— Зацеп? — спросил я, подходя.

— Никак не могу достать, — неожиданно сказал он голосом старичка. Бедняжка от холода осип.

— Выходи, — сказал я и поднял его удилице.

— Крючок пропадет, — просипел Люсик голосом бережливого старичка и неохотно вышел из воды. От холода он весь потемнел.

Я натянул леску и осторожно дернул, стараясь, чтобы поводок оторвался у самого крючка. Леска ослабла, и я вытащил ее на берег.

Я вынул коробку с крючками и, достав крючок, привязал его к поводку. Придерживая одной рукой крючок, я взял зубами конец поводка, затянул его изо всех сил и даже перекусил кончик, что мне обычно не удавалось.

— Вот и все, — сказал я, выплевывая кончик поводка.

— А вы что-нибудь поймали? — спросил Люсик, не попадая зубом на зуб.

— Две, — сказал я и открыл карман штормовки. Люсик сунул туда руку и вытащил большую форель. Она все еще была живой.

— Какая здоровая, — просипел Люсик, подрагивая, — а у меня трогает, но не берет.

— А ты не спеши подсекать, — сказал я и, когда он положил назад рыбу, подошел к воде и снова налил в карман несколько пригоршней свежей воды.

— Разве мы не уходим? — спросил Люсик.

— Что ты, — сказал я и пошел дальше.

— Тогда я немного половлю и пойду, а то ребята ждут, — крикнул мне вслед Люсик. Голос у него немножко прорезался.

Не оглядываясь, я кивнул ему и пошел дальше. Далеко впереди маячила фигура того студента. Он снова сменил место. Он часто менял место — верный признак неудачи.

Мне захотелось остаться совсем одному, и я решил, нигде не пробуя, обойти студента и начать ловить ниже по реке. Я был уверен, что тут он везде перепугал рыбу и ловить не стоит, хотя попадались очень хорошие места.

Все-таки у одного бочажка я не удержался и попробовал. Почти сразу клюнуло, но потом клев прекратился, и я, жалея время и в то же время пытаюсь его оправдать, упорно ждал.

Тук-тук! — клюнуло дуплетом. Я подсек и вытащил форель. Молодец, подумал я о себе, вот хватило терпения и пожалуйста — форель.

Только я ее хотел взять в руку, как она дернулась с крючка и упала на берег. Я бросил удилище и попытался прихлопнуть ее, но она с каким-то отчаянным проворством уползла в воду. Казалось, от ужаса у нее на брюхе выросли лапки и она, перебирая ими, плюхнулась в воду.

Проклиная себя за остановку, я кое-как свернул леску и почти бегом отправился дальше.

Студент стоял по колено в воде и удил на мелководье. Здесь река сильно шумела на множестве маленьких порожков, и он не заметил, как я к нему подошел. Вся его фигура говорила, что он не верит в затею, но так забавляется от нечего делать.

— Как дела? — крикнул я.

Обернувшись, он покачал головой.

— А ты? — спросил он.

Река заглушала голоса, и я пальцами показал, что поймал две рыбы. Я вытащил из кармана большую форель и показал ему.

Я пошел дальше и решил не останавливаться до тех пор, пока не найду самого прекрасного места.

Это был огромный розовато-сиреневый валун. Между ним и берегом проходила узкая кромка воды, и по эту сторону от валуна виднелась глубокая заводь, и я знал, что по ту сторону от валуна тоже должно быть глубокое, тихое место.

Я снова почувствовал волнение и стал прокрадываться к валуну, стараясь не шуметь галькой. Я неслышно подошел к самой кромке воды, прислонил удилище к валуну и вспрыгнул на него.

Валун был холодный и скользкий. С этой стороны он еще не просох от росы. Я втянул удилище и стараясь не поскользнуться, пробрался на вершину валуна. Она была сухая. По обе стороны от валуна зеленели глубокие, тихие заводи.

Достойному месту — достойную наживку, решил я и, стараясь не высовываться из-за валуна, достал из кармана коробок с икрой. Я надавил пальцем и открыл туго подающийся коробок. Это была необыкновенная икра. Я такую никогда не видел, даже на Командорских островах, где за икрой ходят с ведрами и лукошками, как по ягоды. Огромные, янтарные, почти со смородину каждое, слипшиеся крепкой гроздью, лежали зерна икры.

Видно, и в самом деле, подумал я, этот товарищ работает в каком-то высоком учреждении... Интересно, какая рыба мечет такую икру? Вот бы спросить у него.

Солнце приятно пригревало спину. Река тихо шумела. Глубокая заводь заманчиво зеленела. Икринки благородно просвечивали в солнеч-

ных лучах. Я насадил на крючок две икринки одну за другой, слегка примял их, чтоб они слиплись, и сбросил леску вниз, все еще стараясь не высовываться.

Несколько мгновений красное пятнышко икры мерцало в зеленой глыбе воды, а потом исчезло. Я почувствовал, что грузило стукнулось о дно, слегка натянул леску и замер. Через некоторое время я приподнял удилище, несколько раз поводил его, слегка поворачивая сначала в одну сторону, потом в другую, а потом снова опустил грузило на дно. Я старался создать под водой образ играющего соблазна, такой прелестной и легкомысленной царевны-икринки.

Торк! — вдруг почувствовал я на ходу. Замер, ожидая второго удара. Форель медлила. Казалось, она сама не может поверить, что ей привалило такое счастье. Я слегка двинул удилищем, и снова форель притронулась к наживке. Я решил снова двинуть леской, но сделать движение более широким и не останавливаться после первой поклевки, а двигаться дальше, создавая образ не только движущегося, но и уходящего соблазна, чтобы разжечь ее на более решительные действия.

Торк, торк, торк, торк! — я подсек. Она сильно дернулась в глубину, но я уже взмахнул удилищем, и форель тяжело задрывалась в воздухе. Сначала, когда она дернулась вглубь, и потом, когда выходила из реки, она мне показалась огромной сквозь толщу воды, но она была не такой большой, как первая. Но все равно она была большой.

Как только я впустил ее в карман, все три рыбы ожили и зашлепали остатками воды. Казалось, новый заключенный своим появлением оживлял обессиленных узников.

Я посмотрел вниз, на другую сторону валуна. Эта сторона была освещена солнцем, и вода была более светлой. Все же солнце не могло просветить ее до дна. Вода была очень глубокой. Теперь я решил положить с этой стороны и равномерно вылавливать рыбу по обе стороны от валуна.

Я снова наживил крючок двумя икринками, уселся поудобней, чтобы не налегать на карман с рыбами, и забросил леску. Теперь не надо было спешить. Солнце приятно пригревало валун. От камня исходил бодрый, кремнистый запах здоровой старости. Я вынул сигарету из ковбойки и закурил.

Я с наслаждением выкурил сигарету, немного удивляясь, что нет никакого клева. Чуть ниже валуна река опять разделялась на два рукава, образуя низенький песчаный остров, кое-где покрытый кустиками травки, с одиноким, искривленным в сторону течения каштановым деревцем. Хорошо бы на этом островке поваляться, позагорать, подумал я. В жару можно было бы прятаться в тени этого деревца. Видно было, что островок заливают не только весной, но и после каждого ливня в горах.

Я бросил окурочек и еще немного подождал, удивляясь, что нет никакого клева. Может быть, подумал я, в этой высветленной солнцем воде они видят леску и боятся?

Я перешел на ту сторону валуна и почти сразу взял огромную форель, как мне показалось после долгой неудачи на той стороне. Она была и в самом деле большая. Она была больше предыдущей, хотя, конечно, и меньше самой первой. Да не лосось ли, вдруг подумал я о первой форели? И вообще, где граница между крупной форелью и маленьким лососем?

Время от времени возле меня стало раздаваться какое-то шелканье, но я не обратил внимания. А потом мне снова попалась довольно приличная форель.

Я забросил леску и вдруг снова услышал какое-то шелканье. Что за черт, подумал я и посмотрел вокруг.

Я поднял голову и увидел наверху, прямо над обрывистым склоном, дюжину ребятшек. Некоторые держали в руках портфели. Поняв, что я их заметил, они обрадовались, и те, что были без портфелей, разом взмахнули руками. Через мгновение несколько маленьких яростных камушков защелкало и зацокало вокруг моего валуна.

Я погрозил кулаком, чем привел эту маленькую банду в неистовую радость. Они весело запрыгали, залопотали, а те, что все еще держали портфели, побросали их, и через мгновение десяток камушков посыпался вниз. Ни один из них до валуна не долетел, но некоторые, отскакивая от прибрежной гальки, самыми неожиданными дурацкими рикошетами шелкали по валуну и булькали в воду.

Я страшно разозлился и, поднявшись, погрозил на этот раз обоими кулаками, чем доставил им, судя по дружному воплю, неслыханное наслаждение. Снова посыпался град камней.

Тогда я решил сделать вид, что не обращаю на них внимания. Они кричали мне несколько раз, но я сделал вид, что поглощен ловлей. Хотя какой уж там лов. Я сидел, послеживая за берегом, куда теперь равномерно, чтоб я не забывался, они швыряли маленькие злые камушки.

Я решил, что надо менять место. Мне захотелось перейти оба рукава и выйти на тот берег. Этот берег почти везде проглядывался с дороги, и я почувствовал, что здесь они меня не оставят в покое.

Как только я слез с валуна и пошел вниз по течению, что маленькими негодяями правильно было расценено как бегство с поля боя, я услышал за своей спиной свист и победное гиканье.

Я нашел мелководе и, вступив в жгучую, ледяную воду, перешел рукав. Местами вода была почти по пояс и сильно толкала меня вперед. Я старался не поскользнуться. Мокрые кеды делаются очень неустойчивыми. Рыбы в кармане, почувствовав близость родной стихии, подняли переполох.

Уже на отмели островка я услышал за спиной далекий школьный звонок. Я оглянулся и увидел наверху на дороге бегущие фигурки маленьких разбойников. Тьфу ты, подумал я и неожиданно рассмеялся. Вода охладила мою ярость. Но теперь возвращаться назад не хотелось, и я пошел дальше. Перешел второй рукав и вышел на узкий зеленый берег. Почти вплотную к нему подходил буковый и кедровый лес. Выше по течению огромный бук низко, почти горизонтально накренился над водой. Ветви дерева уютно зеленели над несущейся водой.

Так как хорошего места поблизости не было видно, я решил попробовать ловить на самой стремнине. Теперь это было нестрашно, потому что я и так был весь мокрый. Я наживил крючок, выбрал глазами место поглубже и подошел к нему, насколько мог.

Клева не было. Я уже хотел было выйти на берег, как вдруг почувствовал, что леска за что-то зацепилась. Я решил не жалеть крючка и потянул за удилище. Леска туго натянулась, лопнула и сразу же всплыла. Оказывается, зацепился не крючок, а грузило.

Еле передвигая очоженевшие ноги, я вышел из воды. Запасного грузила у меня не было. Я нашел продолговатый, сужающийся к середине камушек и привязал его к леске. Конечно, это была неважная замена, но хоть что-нибудь. Я решил попробовать удить с поваленного бука и направился к нему. После скользкого каменистого дна ступать по траве было приятно. В кедах почмокивала вода, иногда выплескиваясь сквозь дырочки шнуровки. Ноги мои быстро отходили, набирались тепла, а те-

ло, наоборот, начинало познабливать. Струйки холода все чаще и чаще подымались по спине.

Я взобрался на толстый, местами замшелый ствол дерева и прошел по нему до самой середины потока. Глубокая, зеленая вода, мягко всплескивая на ветвях, погруженных в нее, пронеслась подо мной. Ветви, омываемые водой, зеленели как ни в чем не бывало.

Глубокая, зеленая вода, тихо журча, пронеслась вниз. Тени веток слабо колыхались на ее поверхности. Какая-то птичка, не заметив меня, села на ветку совсем рядом со мной. Вероятно, это была трясогузка. Во всяком случае, быстро озираясь, она непрерывно трясла своим длиннохвостым задиком. Заметив меня, вернее осознав, что я живое существо, она упорхнула, хлестко чиркнув листиками бука.

Я закурил. Клева все не было. Я почувствовал, что здесь и так слишком хорошо, чтобы еще и рыба хорошо ловилась. Пожалуй, мне даже не хотелось ловить форель. Я почувствовал, что насытился рыбалкой. Я приподнял удилище, поймал леску, сдернул камушек, стряхнул икринки с крючка, намотал леску и положил удочку между двумя ветками.

Уходить не хотелось. Оттянув на бок тяжелый карман с рыбами, я лег животом на теплый, прогретый солнцем ствол. Он слегка покачивался под напором воды, толкавшей погруженные в воду ветви. Близость глубокой, быстро бегущей воды усиливала ощущение покоя, неподвижности. От нагретого ствола подымался винный запах. Солнечные лучи сквозь мокрые брюки горячо притрагивались к ногам. Мох шекотал щеку, ствол покачивался, я погружался в сладкую дрему. Муравей медленно пробирался по моей шее.

Сквозь дрему я подумал, что давно не испытывал такого покоя. Может быть, и никогда не испытывал. Я подумал, что даже с любимой такого полного покоя никогда не было. Может быть, потому, что там всегда остается опасность, что она заговорит и все испортит. Но даже если не заговорит, ты краем сознания чувствуешь, что может заговорить, и тогда вообще неизвестно, чем все это кончится. И потому такого полного блаженства, как здесь, там не получается. А здесь получается, потому что дерево никак не может заговорить, это уж точно...

Сквозь дрему я услышал далекий свист с того берега. Как из другой жизни. Продолжая дремать, я удивился, как он мог долететь с такого расстояния. Свист повторялся несколько раз, и, продолжая дремать, я каждый раз удивлялся, что слышу его.

Потом я услышал скандирующий голос, но разобрать слова было невозможно. Потом снова свист. Опять скандирующий голос. Потом я понял, что скандирующий голос и свист идут от какого-то одного настоящего источника. Я догадался, что свист, как и скандирующий голос, издается несколькими людьми одновременно...

«Ма-ши-на!» — скорее почувствовал я, чем расслышал. Внезапная тревога пронзила меня. Я понял, что там, наверху, уже пришла машина, которая должна нас забрать, и сейчас вся группа ждет меня одного. Я схватил удочку и сбежал со ствола.

Солнце стояло довольно высоко. Наверное, уже было часов одиннадцать. Я как-то совсем забыл о времени, и сейчас мне было неловко, что столько людей меня дожидается. Кроме того, я боялся, что они уедут, не дождавшись меня, а у меня и денег не оставалось на обратную дорогу, да и попутной машины когда дождешься...

Не всматриваясь в брод, я бросился в воду и почти бегом перешел рукав. Перебежав островок, я снова влез в воду. Здесь река была широкая и мелководная. Я бежал изо всех сил по мелководью, стараясь не

поскользнуться и не ушибить ногу. Все-таки несколько раз я чуть не упал, но каждый раз успевал опереться на удилище.

Уже совсем близко от берега я вдруг почувствовал, что вода делается все глубже и глубже. Удержаться на ногах становилось все труднее. Что за черт! — подумал я и остановился.

Вода была чуть выше пояса, но течение било с такой силой, что только удилище помогало удержаться. Я пожалел, что не спустился пониже, где я тогда довольно легко перешел брод. В то же время трудно было поверить, что я не смогу выбраться в пяти метрах от берега. Я сделал шаг, стараясь изо всех сил налегать на удилище. Главное, не доверять ступающей ноге, не переносить на нее тяжесть, пока она не укрепилась на новом месте. Некоторые камни на дне, как только я становился на них, опрокидывались и смывались потоком. Вода все враждебней шумела вокруг меня. И вдруг я почувствовал, что уже не могу сделать ни шагу, потому что все силы уходят на то, чтобы удержаться на месте.

Я ощутил, как страх с какой-то пугающей быстротой начинает захлестывать и размывать сознание. И уже больше всего пугаясь этого страха, чтобы как-нибудь действием опередить его, я наклонился, насколько мог, против течения и быстро шагнул дальше. Мгновенно поток подхватил меня и потащил вниз. Тело мое погрузилось в холодную ледяную муть, и я сразу же нахлебался воды.

Я успел вынырнуть, нащупать ногами дно, но меня снова повалило и потащило дальше, а я из какого-то упрямства продолжал сжимать удилище. Я снова нахлебался, но на этот раз, вынырнув, сразу же отбросил удилище и поплыл изо всех сил. Меня продолжало сносить со страшной быстротой, и с такой же быстротой, я чувствовал, убывают силы. Все же я приблизился к берегу и успел ухватиться за какой-то камень, чувствуя, что подтянуться сил уже не хватает. Надо было удержаться, чтобы передохнуть, восстановить сбитое дыхание. Но тут вдруг я увидел протянутую руку, вцепился в нее, и мы вдвоем выволокли на берег мое тело.

Это был Люсик. Голова кружилась, поташнивало. Все еще сидя на прибрежной гальке, я медленно приходил в себя.

— Я вам кричал, — сказал Люсик, — разве вы не слышали?

— Нет, — сказал я. Может, он ничего не заметил, подумал я. Просто подал руку, и все. Мне хотелось, чтоб он не знал обо всем этом.

— Мы давно позавтракали, машина ждет, — терпеливо напомнил Люсик.

— Сейчас, — сказал я и с трудом встал.

Все еще поташнивало от слабости. Я раскрыл карман штормовки и стал вытаскивать и бросать на песок форели. Они еще были живые. Когда меня уносило течение, они как-то злорадно притихли. А может, мне это просто показалось.

Странное ощущение испытал я, когда меня поволокло течение. Ну и черт, подумал я, еще раз чувствуя злобное усердие, с каким меня тащила вода.

Очень захотелось закурить. Я сунулся было в кармашек, но сигарета оказалась обмякшей. Тогда я высыпал из карманов все лишнее, разделся, выжал трусы и майку и снова оделся.

Нанизав на прутик форели, Люсик терпеливо ждал. Сейчас я к ним был совсем равнодушен.

Мы пошли. Люсик шел впереди. В руке у него покачивалась тяжелая гроздь свежей форели. Красные пятнышки на спинах рыб все еще ярко горели. Когда мы стали подыматься по тропе, мне захотелось самому нести эту гроздь. Я с трудом успевал за Люсиком.

— Давай,— сказал я, когда он остановился, поджидая меня на повороте тропы

— Ничего, я понесу,— ответил Люсик.

Все же я отобрал у него кукан. Я чувствовал, что правильной будет, если я сам появлюсь со своим уловом в руке, хотя и так понятно, что это мой улов.

Когда мы вышли на улицу, все ребята уже сидели в грузовике. Увидев нас, они радостно загалдели и стали протягивать руки из кузова. Студент, который вышел на лов раньше нас, тускло оглядел кукан, показывая, что рыбой его не удивишь.

— Еще одну упустил,— напомнил я, протягивая кому-то улов.

Гроздь пошла по рукам. Всем очень понравились красивые форели. Но потом, когда она снова возвратилась ко мне, кто-то сказал, что до города ехать четыре часа и она испортится за это время.

— Вот бы к завтраку на уху,— добавил он.

— На жаруху лучше,— поправил другой.

— На жаруху всем не хватило бы,— сказал первый,— а вот уха...

В самом деле, подумал я, слишком долгая предстоит дорога, да еще в жару. Не то чтобы она совсем испортилась, но было неприятно привезти в город эту прекрасную гроздь в жалком виде.

Словно чувствуя мои колебания, ко мне подошла длинная черная свинья. Она остановилась, с притворным смирением ожидая, что я буду делать с уловом.

— Отдай в столовку,— предложил кто-то.

Я оглянулся. Дверь в столовую была открыта, и оттуда доносились громкие голоса. Я пнул свинью и пошел в столовую. Столовая была пустая, только за одним из столиков сидели три свана и пили белое вино, закусывая помидорами и сулугуни. Чувствовалось, что они уже порядочно выпили. Буфетчик ругался с одним из них.

Я протянул ему кукан. Не замечая меня, он взял улов, отнес его в кухню и вышел оттуда, продолжая ругать одного из застольцев. Меня он так и не заметил. Я вышел из столовой и взобрался на грузовик.

Машина тронулась. От мокрой одежды познабливало, и я, раздевшись, остался в одних трусах. Мне подали мой вещмешок, большую горбушку хлеба и котелок с похлебкой. Я поудобней уселся на вещмешок и стал завтракать. Котелок был еще горячий, потому что его держали, завернув в спальный мешок. Я откусывал хлеб и, держа котелок обеими руками, отхлебывал из него, стараясь соразмерить каждый глоток с движением машины, чтоб не обжечься и не пролить вкусное хлебово с макаронами и фасолью. Я опорожнил котелок и почувствовал, что согрелся. Кто-то дал мне сигарету, и я закурил. Сейчас у всех было полно сигарет.

Ребята пытались петь, но ни одной песни не допевали до конца, потому что не знали слов. А те песни, которые они знали до конца, успели надоесть за время похода. Но все равно получалось весело.

Машина мчалась вниз, длинно сигналив и тормозя на поворотах. Горы медленно разворачивались, и слева под глубоким обрывом сверкала река, сужаясь и вновь растекаясь, раздваиваясь и снова стекаясь. В конце концов она надоела.

Внезапно машина окунулась в теплый влажный воздух Колхиды.

Мы продолжали спускаться, и все время чувствовалась близость моря, хотя самого моря еще долго не было видно.

Письмо

В пятнадцать лет я получил в письме пламенное признание в любви. У меня до сих пор сохранилось впечатление, что вспыхнувшие при чтении слова признания были написаны золотом, а не обыкновенными химическими чернилами.

За минуту до того, как почтальонша вручила мне это письмо, я с обрывком электрического провода сбегал по лестнице нашего двухэтажного дома. Задача состояла в том, чтобы дотерпеть до конца лестницы бьющую сквозь тело таинственную силу тока. Притрагиваясь жикающим концом провода к металлическим перилам лестницы, я изо всех сил бежал вниз, разбрызгивая фиолетовые искры.

Ночью была гроза, во время которой оборвался этот провод. По-видимому, главную смертоносную часть тока приняла на себя крыша нашего дома, остатками электричества забавлялся я.

Была весна. Витиеватые балясины перил были опутаны еще более витиеватыми лозами цветущей глицинии. Каскады тяжелых кистей свисали с наружной стороны лестницы. Они были такими же фиолетовыми, как электрические искры, вспыхивавшие под моей рукой.

Где-то возле середины первого лестничного марша начиналась площадка, ведущая в коммунальную уборную.

Жители двора время от времени пробегали туда, и как только они притрагивались к перилам, я подключал к ним ток. Обычно при этом они вскрикивали или молча в диком прыжке переносились на площадку, однако, при всех разновидностях восприятия, маршрута никто не менял.

Все еще держа в руке провод, я прочел письмо. Сразу же почувствовав, что игра эта теперь не нужна, что ей пришел конец, и, видимо, навсегда, я бросил провод и вбежал в дом.

Хотя письмо не было подписано, я мгновенно догадался, кто его написал. Это была девочка, с которой два года назад мы учились в одном классе. Два года назад нас развели, разделив школы на мужские и женские по примеру классических гимназий. С тех пор я ее ни разу не видел и не вспоминал. В школьном журнале мы стояли рядом. Мало того, что мы стояли рядом,— у нас совпадали инициалы. Такое совпадение не могло остаться незамеченным. Еще тогда мы оба чувствовали его неслучайность. И вот наконец письмо.

Золотящиеся буквы вспыхивали и шевелились на бумаге. Я перечел письмо несколько раз, благодарно влюбился в автора и, тут же изорвав его на мелкие кусочки, выбросил в мусорный ящик.

Моими действиями двигал могучий патриархальный стыд и неосознанная логика начинающего романтика. Ход ее я сейчас мог бы расшифровать примерно так: письмо, полученное мною,— это счастье, а счастливым быть стыдно, как стыдно быть сытым среди голодных. Ну а так как от счастья отказаться трудно (тактика!), надо его законспирировать, то есть держать в голове, уничтожив все материальные улики.

Теперь я бродил по улицам в надежде где-нибудь ее случайно встретить. Я довольно смутно представлял, что надо делать при встрече. Ну, во-первых, думал я, надо, конечно, подойти, а потом уже, как только представится случай, предложить ей свое сердце и жизнь, разумеется, до самой гробовой доски.

Нельзя сказать, чтобы я очень спешил со встречей. Как и для всякого начинающего романтика, главное для меня была программа, а она с гениальной ясностью была замечена в ее послании. Для всего остального отводилась целая жизнь, а в пятнадцать лет она бывает до того ог-

ромной, что, сколько ее ни трать, все ее девать некуда, все она переливается через край.

И вот однажды, когда я вместе со своими товарищами стоял на главной улице нашего города, а точнее, на улице Генералиссимуса, она вместе с двумя подругами прошла мимо нас.

Я успел заметить вдохновенную бледность ее вспыхнувшей щеки, быструю походку и тончайшую фигуру. За эти два года она из девочки превратилась в девушку, ухитрившись остаться такой же тонкой, как и была в том роковом для нашего совместного обучения седьмом классе.

Одним словом, был налицо тот источник бледно-розового сияния, необходимый для первого чувства мальчика моих лет.

А хитрость природы в данном случае состоит в том, что каждый мальчик, проходящий сквозь эту стадию, или, вернее даже сказать, получающий эту прививку, инъекцию любовной лихорадки, воспринимает это сияние как особую милость его личной судьбы, угадавшей потребности его нежной души и однажды с исключительным тактом или даже со вкусом японского садовода соединившей в одной девушке редкие свойства его хрупкого и капризного идеала.

Увидев ее зардевшуюся щеку, я окончательно уверился в своей догадке и почувствовал, что подойти к ней будет не так-то просто. Хотя мы успели окинуть друг друга только одним быстрым взглядом, как-то сразу в одно мгновение было решено, что неудобно теперь, через два года, узнать друг друга и поздороваться, тем более что между нами уже пролегла тайна письма.

Нет, нет! — крикнула она мне этим мгновенным взглядом, только не сейчас, не здесь, потому что, если ты сейчас со мной поздороваяешься, это будет означать, что ты своим друзьям все рассказал о моем письме, и я умру от стыда.

Теперь я ее стал встречать все чаще и чаще. Иногда она была со старшей сестрой, иногда в большой компании подружек и каких-то незнакомых мне ребят, и я чувствовал, что с каждым разом подойти к ней становится все трудней и трудней.

Кстати, сестра ее тоже училась с нами в одном классе, хотя и была старше ее на год или два. Не помню, как очутилась она с нами в одном классе, думаю, не от избытка любви к учебе. Для полной последовательности я и с сестрой не стал здороваться, чего она, кажется, не замечала. Вообще она была какая-то сонная девушка и хотя на вид, пожалуй, была привлекательней своей младшей сестры со своими тяжелыми нежными веками, чистым лицом и яркими губами, все-таки чувствовалось, что ребят привлекает именно младшая. Потому что от нее, младшей, исходило то беспокойство, то нетерпеливое ожидание праздника жизни, которое заражает окружающих.

Одним словом, подойти становилось все трудней и трудней.

Я ждал романтического случая и, вообще говоря, не спешил знакомиться, ибо, как думал я, спешить было некуда, раз и так вся жизнь теперь посвящена ей, и только ей.

А между тем рядом с ней вместе с другими мальчиками и девушками стал появляться некий военный, капитан по званию, как мне охотно разъяснили мои друзья.

И теперь я заметил, что возлюбленная моя при встрече со мной, если рядом с ней бывал капитан, как-то смущалась и опускала голову. Это ее смущение я воспринимал как бесконечно трогательное доказательство ее любви, приятно льстящее моему самолюбию, но, пожалуй, чересчур сильное.

И теперь, посылая многозначительные взоры, я старался ей внушить, чтобы она не слишком смущалась из-за своего капитана, что мы-

то с ней знаем, какая великая тайна нас объединяет, что он-то, бедняжка, такого письма не получал и, судя по преклонному возрасту, теперь навряд ли когда-нибудь получит.

Капитан был парнем лет двадцати семи — возраст, который тогда казался мне для любви безнадежно запоздалым. Пожалуй, настолько преклонным, что при случае можно было, почтительно приподняв и потрянув ладонью медали на его груди, спросить:

Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?

Возможно, моя тайная возлюбленная правильно оценила мои взоры, потому что со временем при встречах, если рядом с ней бывал капитан, она почти не смущалась, а как-то изгибала губы в намеке на улыбку, которую я легко объяснял вынужденным лукавством. Каково ей, бедняжке, думал я, любить одного и терпеть ухаживания другого.

Так в состоянии блаженного слабоумия, время от времени сопровождая свою возлюбленную, как незримая тень, я дожил до середины лета, когда она вместе с сестрой и капитаном стала посещать танцы в городском парке.

В парке под влиянием музыки чувство мое, кажется, стало замутняться горечью.

Под трофейную и отечественную музыку шаркала послевоенная танцплощадка. В толпе танцующих мелькало ее бледное, вопросительно приподнятое на капитана личико. Он, высокий, статный парень, глядел на нее сверху вниз добродушно и, черт подери, кажется, с оскорбляющей меня едва заметной снисходительностью.

Трудно что-нибудь представить кошмарней танцплощадки тех лет. Вот она перед моими глазами — со стареющими девицами, годами кружущимися на этом асфальтовом пятчке, и казалось, с годами, с каждым танцем что-то женское, человеческое выплескивалось и выплескивалось из них, пока не выработалась эта профессиональная маска с голодными провалами глаз. А эти наглые сосунки, а эти престарелые уголовники, занявшиеся теперь более мирными ремеслами, но приходящие сюда для сентиментальных воспоминаний, и, наконец, неизменный первый танцор, работающий, как водонос, делающий знаменитое в те годы па с боковой побежкой и закатыванием глаз в парикмахерском забытьи!

Внезапно где-нибудь на краю площадки, а то и в середине возникал маленький водоворот драки, постепенно вовлекающий в свою воронку все большее и большее количество людей, со свистом, с криками, с бегущими во все стороны девушками.

Стыд перед всем этим убожеством, страх за свою возлюбленную, да и за себя страх. Беспокорство и вместе с тем ярмарочное любопытство к драке и крови и вместе с тем постоянное ощущение униженности от этой чрезмерной дозы грубости во всем, что здесь происходит, и вместе с тем необходимость скрывать эту отягченность, кривить губы улыбкой своего парня, знающего больше, чем говорит, и все же говорящего больше, чем стоят окружающие.

А главное, уж слишком позорная цена, которая незримо назначается твоей личности, как только тыходишь сюда. Уж казалось, ты и сам предельно снизил стоимость своей личности, а видно, все-таки недостаточно, и ты слегка ропщешь на это, но тебя никто и слушать не хочет, да и не может, пожалуй, потому, что ропщешь ты все-таки про себя. Но, видно, на лице все-таки отпечатывается какой-то признак недовольства, и по этому признаку тебя в любой миг могут разоблачить как урод, как от рождения не способного бить скопом одного, цвиркнуть слюной на

спину ничего не подозревающего фраера или его девушки и вообще пакостить, пакостить, когда это тебе ничем не угрожает, а иногда даже и под угрозой, но все-таки без угрозы лучше.

Все эти ощущения незримо роились во мне, пока я в течение многих дней любовался ею на танцплощадке. Наконец, один из моих друзей прямо-таки швырнул меня к скамейке, на которой она сидела после очередного танца вместе с сестрой и капитаном.

Похохатывая от смущения, я представился и стал объяснять, что я тот самый школьник, с которым она и ее сестра учились два года тому назад во второй школе, ну, той самой, что между стадионом и церковью, хотя каждая из них никак не могла забыть школу, где мы учились, уже по той простой причине, что они еще продолжали там учиться (это нас перевели в другую школу).

Кроме того, я не забыл упомянуть, что в то время, когда мы учились в одном классе, у нас фамилии и имена начинались с одной буквы.

Пока я говорил, она то подымала голову, и личико ее вспыхивало и гасло, а глаза умоляли не делать скандала, то оборачивалась к своему капитану, нежно прикасаясь пальцами к его груди, успокаивая его этой небольшой лаской и одновременно слегка отстраняя от наших воспоминаний.

Я забыл упомянуть, что во время своего монолога, встречаясь с ней глазами, я старался как можно красноречивей показать взглядом, что никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах никто, и особенно он (следовал романтический выворот глаз в его сторону), не узнает о существовании того великого письма. Да и сам мой сумбурный монолог с подробным объяснением расположения нашей школы имел сверхзадачу внушить капитану, что с тех давних времен между нами никогда не было не только письменной, но даже устной связи.

Надо сказать, что капитан после первых моих слов, уяснив, что я не какой-то там приставала, отнесся ко мне благодушно.

— Костя, — сказал он просто, когда она нас познакомила, и крепко, по-товарищески пожал мне руку.

Через некоторое время он даже ушел танцевать с ее сестрой, и в течение двух-трех танцев их не было с нами.

Какое это было блаженство опуститься на скамейку рядом с ней, видеть в этой сказочной близости ее миловидный профиль с привздернутым носом, длинной шейкой и вдыхать, вдыхать аромат ее духов, тем более пьянящий, что я тогда и потом еще долгое время принимал его за натуральный запах ее собственной цветущей юности.

Трое моих друзей несколько раз демонстративно прошли мимо нас. На их замкнутых лицах было написано, что они оскорблены моим счастьем. Встретившись с ними глазами, я посылал им улыбки, какие мог бы посылать на землю человек, внезапно воспаривший в прекрасную, но крайне неустойчивую высь. На эти улыбки они взглядами же мне отвечали и взглядами же предлагали слезть с этой дурацкой выси и вместе с ними обсудить случившееся. По-видимому, уговаривая меня подойти к ней, они ожидали более комического эффекта.

Наконец один из них, тот самый, что подтолкнул меня к этой скамейке и, видимо, поэтому чувствующий наибольшую ответственность за мое поведение, подошел к нам и, несколько чопорно извинившись перед моей девушкой, отвел меня в сторону.

Он был эвакуированным ленинградцем, и мы считали, а он это охотно подтверждал, что в нем сохранился холодный светский лоск потомственного петербуржца. Мы отошли шагов на десять.

— Должен тебе сказать, что ты выглядишь как идиот, — сказал он, строго оглядев меня.

Я вспомнил, что именно он подвел меня к ней и все так просто и хорошо получилось, и вдруг, неожиданно для себя и уж, конечно, для него, обнял моего друга. Он с негодованием отстранился и отошел к ребятам. Я смотрел ему вслед. Высокий и худой, он удалялся четким шагом парламентаря.

Мне и в голову не могло прийти шантажировать ее этим письмом, но я считал необходимым теперь, когда мы остались одни, намекнуть, что послание дошло до цели, что великий акт соединения душ произошел во всей своей красоте и бескорыстии.

— Ой, порвите его! — сказала она, услышав про письмо, и нежно притронулась кончиками пальцев к моей рубашке. — Я была тогда такая глупая...

— Никогда! — пылко соврал я, вкладывая в это слово всю правду своего состояния.

Я хотел сказать, что чувство, вызванное ее письмом, вечно и теперь уже ничего нельзя изменить, поэтому этот обман оказался наиболее наглядной формой правды. Она вздохнула и убрала руку.

Я почему-то победно посмотрел на капитана, который сейчас возвращался к скамейке, держа под руку ее сестру, чего я еще, кстати говоря, не умел.

С этого дня мы довольно часто встречались и вместе проводили вечера. Почему-то всегда вчетвером.

Я прекрасно знал, что капитан этот ухаживает за ней, а не за ее сестричкой, но никакой ревности, никакого чувства соперничества не испытывал. Это было невозможно, как невозможно ревновать человека, который присел у костра, где ты сидишь, и протянул к огню руки. А точнее, если уж продолжать сравнение, ты сам пришел из промозглой ночи к этому костру, у которого он уже сидел и даже успел поставить на огонь свой видавший виды котелок старого вояки, в котором, помешивая ложкой, готовил свою нехитрую любовную похлебку. Так что это он, а не ты подвинулся, давая тебе место у костра, правда, при этом не переставая помешивать ложкой в котелке. И что с того, что ты раньше него заметил этот костер или даже, вернее, он сам тебя заметил и даже подмигнул тебе издали язычками своего пламени, — сейчас вы оба греетесь возле него, и ничего в этом плохого нет.

Так думал я, принимая временное равновесие сил за гармонию. Рано или поздно соперничество или нечто в этом роде должно было возникнуть. И оно возникло.

Как-то само собой получилось, что во время наших совместных прогулок все легкие дорожные траты, как то: выпить воды, съесть мороженое, пройти в парк, а иногда и в кино, правда, это было очень редко, — капитан сразу же взял на себя.

В первое время, когда я в таких случаях вынимал свой редкий рубль, он и она с такой настойчивостью всучивали мне его назад, что вскоре я перестал обращать на это внимание, ибо ни к чему так быстро не привыкает человек, как к дармовому угощению.

Однажды, когда он угощал нашу общую возлюбленную виноградным соком, а мы с ее сестрой скромно стояли рядом, он кивнул в нашу сторону и сказал:

— Налетайте, Чарли угощает.

Это прозвучало как-то хамовато. Теперь-то я уверен, что он не хотел этой своей шуткой оскорбить или унижить меня, но тогда я почувствовал жгучий стыд и впервые враждебность к этому славному парню.

Самое главное, что я никак не мог отказаться, предчувствуя неум-

ные и громоздкие последствия своего отказа, тем более что сок уже был разлит по стаканам и, что особенно удивительно, выпить его мне все-таки хотелось и даже как бы еще сильнее.

А хуже всего было то, что, когда он произнес эту свою шутку богато-го гуляки, я заметил, что она улыбнулась в уже пригубленный стакан, и улыбнулась довольно язвительно. Это очень неприятно кольнуло меня, и потом я много раз вспоминал эту улыбку, пока в конце концов однажды не решил, что, в сущности, никакой улыбки не было, а был эффект прохождения света сквозь стекло и жидкость, придавший ее губам этот предательский излом.

Но самое ужасное, пожалуй, заключалось в том, что мы уже договорились идти в кино, а денег у меня, как назло, не было. Теперь, в созданных условиях, идти в кино на его счет я никак не мог. Но и прямо отказываться было как-то неловко, беспричинно, потому что, отказавшись, надо было их покинуть, чего мне не хотелось.

Разумеется, и до этого мне иногда приходило в голову, что не стоит пользоваться его денежными услугами, хотя, повторяю, услуги эти были достаточно ничтожны. Но в том легком состоянии эфирного опьянения, в котором я непрерывно находился с тех пор, как подошел к ним и мы стали встречаться, я как-то привык воспринимать все это как мужское одолжение, мол, сегодня ты угощаешь, а завтра я, хотя это завтра все время откладывалось на непредвидимые времена.

Кроме того, приходил и другой оттенок оценки положения, я его нарочно недодумывал до конца, чувствуя, что он не слишком благородного свойства. Но такая оценка иногда легким контуром вставала перед моим мысленным взором, и умолчать о ней я теперь не вправе. Суть ее состоит в том, что мне казалось, а возможно, начало казаться с некоторых пор, что мы с ней в известной мере делаем одолжение, допуская его в наше общество, за что он расплачивается мелкими материальными услугами.

Конечно, если уж еще дальше продолжать это сравнение с костром, я, разумеется, не ревновал за то, что он присел к моему костру. Но, черт подери, я же знал, что горит-то он все-таки для меня, что то самое замечательное письмо, может, и написано было пылающим прутиком, выхваченным из этого костра?!

В том, что такого письма и вообще любовного письма она не могла написать другому, я не только не сомневался, но и вообще был уверен, что, раз в жизни написав такое письмо, человек всю остальную жизнь только и делает, что служит этому письму, хватило бы только сил удержаться на его уровне, а о чем другом и думать немислимо.

И вдруг эта небрежная фраза насчет Чарли, который всех угощает. По дороге между киоском и летним кинотеатром, куда мы шли, я только и думал, как с достоинством вернуться от его новой благотворительности, и никак ничего не мог сообразить.

В те годы в наших кинотеатрах крутили почти все время трофейные фильмы. Как правило, это были оперы или пасторальные истории с бесконечными песенками или неуклюжие реву с немецкими «герлс», широкобедрыми и мясистыми, как голландские коровы, разумеется, если голландские коровы именно такие.

Много лет спустя я пришел к убеждению, что эти трофейные фильмы ничего, кроме вкуса руководителей рейха, не выражали.

Как раз один из таких фильмов нам предстояло посмотреть. Назывался он «Не забывай меня» с жирным и сладкогласным Джили в главной роли. Как и всякий житель провинциального города, я хотя еще и не видел картины, но уже из рассказов знал о ее содержании. Надо при-

знать, что голос Джильи мне нравился, особенно если слушать его, не слишком обращая внимание на экран.

Мы приближались к кинотеатру, и я с ужасом чувствовал, что через десять минут на меня обрушится еще одно унижение, которого я не в силах вынести, и стал ругать фильм. Все-таки это было искусство жирных, и мне, чтобы ругать это искусство, да еще в таких условиях, ни пафоса, ни аргументов не надо было занимать.

От этой картины я перешел ко всем трофейным немецким картинам с их слащавой сентиментальностью.

Чем больше я ругал картину, тем упрямей надувались губы моей возлюбленной. Тогда я еще не знал, что останавливать женщину на пути к зрелищу не менее опасно, чем древнеримского люмпена по дороге к Колизею.

Когда я от картины «Не забывай меня» перешел ко всем трофейным немецким фильмам, она вдруг спросила у меня:

— Ты, кажется, изучаешь немецкий?

— Да, а что? — вздрогнул я.

Мне показалось, что она увидела противоречие между моей критикой немецких фильмов и занятиями немецким языком. Но вопрос ее начал совсем другое.

— Поговори с Костей,— предложила она, не подозревая, какого джинна выпустила из бутылки,— он два года жил в Германии.

— Шпрехен зи дойч? — взвился я радостно, как если бы был чистокровным немцем и после многолетнего плена у полинезийцев вдруг встретил земляка.

— Натурлих,— как-то уныло подтвердил он, несколько оробев перед моим напором.

Тут меня понесло. В те годы мне легко давались языки, отчего я до сих пор толком ни одного не знаю. Немецкий я уже изучал два года, уже кое-как болтал с военнопленными, которые хвалили мое произношение, по-видимому, в обмен на сигареты, которые я им дарил. (Прима Дойч!)

Во время изучения языка наступает бредовое состояние, когда во сне начинаешь быстро-быстро лопотать на чужом языке, хотя наяву все еще спотыкаешься, когда, глядя на окружающие предметы, видишь, как они раздваиваются двойниками чужеродных обозначений,— словом, наступает тот период, когда твой воспаленный мозг преодолевает некий барьер несовместимости двух языков. Именно в таком состоянии я тогда находился.

К этому времени я был нафарширован немецкими пословицами, светскими фразами из дореволюционных самоучителей, антифашистскими изречениями, афоризмами Маркса и Гёте, сжатыми текстами, призванными развивать у изучающих язык бдительность против возможных немецких шпионов (получалось, что шпионы, по-видимому, нервничая, начинают разговаривать с местными жителями на немецком языке). Кроме того, я знал наизусть несколько русских патриотических песен, направленных против оккупантов и переведенных на немецкий язык, а также немецкие классические стихи.

Все это выплеснулось из меня в этот горестный час с угрожающим напором.

— Вы говорите по-немецки? — взвился я и, обернувшись к нему, продолжал, даже не пытаясь укоротить шаги перед приближающимся в начале следующего квартала летним кинотеатром.— Вундербар! — продолжал я.— Вы изучали его самостоятельно или в высшем учебном заведении? О, понимаю, вы изучали его, находясь в Германии в качестве сфидера союзнической армии. Я надеюсь, не в качестве военнопленно-

го? Нет, нет, это, конечно, шутка. Карл Маркс говорил, что лучшим признаком знания языка является понимание юмора на данном языке, а знание иностранных языков есть оружие в борьбе за жизнь.

Я глядел на Костю и чувствовал, что он почти ничего не понимает. Временами лицо его озарялось догадкой, и он как бы пытался ухватиться за знакомое слово, но сзади набегала толпа новых слов и уносила его куда-то.

Я чувствовал себя победителем. Кинотеатр был совсем рядом. Из-за кустов и деревьев сквера доносился глухой плеск толпы, стали попадаться покупатели случайных билетов. Увидев первого из них, я чуть не подпрыгнул от радости.

Возлюбленная моя закусила губу. Из радиолы над входом в кинотеатр лилась легкая мелодия «Сказок Венского леса».

— Закаты на Рейне,— сказал я, повернувшись к капитану,— так же прекрасны, как восходы в Швейцарских Альпах... Эти фазаны из нашего фамильного леса. Пробирен зи, битте! Мой егерь большой чудак.

В этом месте я сделал жест, указав на крону одного из камфорных деревьев, под которыми мы проходили. Спутники мои удивленно подняли головы...

— Знаете ль вы край, где лимоны цветут? — спросил я у капитана, как всегда, не зная меры и не умея вовремя остановиться.

Капитан молчал.

— Костя, ну что ж ты ему не отвечаешь? — в отчаянье вставила наша возлюбленная, когда я остановился, чтобы перевести дыхание. Она была оскорблена за него.

— А чего перебивать,— мирно заметил Костя.— Мне бы так на экзаменах...

Осенью Костя собирался поступать в одну из ленинградских военных академий. Мы подошли к кинотеатру. Костя обошел толпу, все-таки надеясь что-нибудь достать, но все было напрасно. Я ликовал, но, кажется, слишком рано, а главное, слишком откровенно.

Через полчаса мы были в парке на танцплощадке. Они, как обычно, пошли танцевать, а мы с ее сестрой остались сидеть на скамейке.

В те времена, как и во все последующие, я танцевал плохо. Танцевальные ритмы застревали у меня где-то в туловище и до ног доходили в виде смутных, запоздалых толчков. Так что сестра ее, естественно, не стремилась со мной танцевать. Она просто сидела рядом, и мы о чем-нибудь говорили или, что было еще приятней, молчали. Изредка ее кто-нибудь догадывался пригласить, изредка потому, что обычно посетители танцплощадки принимали ее за мою девушку.

Так мы сидели и в этот вечер, ни о чем не подозревая. Но вот проходит один, второй, третий танец, а наших все нет.

— Куда они делись? — говорю я, заглядывая в глаза сестре.

— А я знаю? — отвечает она и, пожав плечами, смотрит на меня своими сонными под нежными веками глазами.

— Давай обойдем,— киваю я на танцплощадку.

— Мне что, давай,— говорит она и, пожав плечами, встает со скамейки.

Мы обходим бурлящий круг танцплощадки, я стараюсь высмотреть все танцующие пары и вижу, что их нигде нет. Я чувствую, как тошнотное уныние охватывает меня.

— Может, они в тир зашли? — говорю я неуверенно.

Она пожимает плечами, и мы направляемся в тир.

Тир пуст. Заведующий, опершись спиной о стойку, шлепает в мишень из воздушного ружья пулю за пулей. Вот уже четвертая в десятке.

— Иду на интерес,— говорит он, не оборачиваясь и заряжая ружье пятой пулей,— я одной рукой без упора, а ты двумя с упором?

— Нет,— говорю я и смотрю, как он и пятую пулю всаживает в десятку.

Мы подходим к павильону прохладительных напитков, но их и там нет. Мне приходит в голову, что, пока мы их ищем, они вернулись на наше место и ждут нас. Я тороплю ее, мы возвращаемся на свое привычное место, но их нет. Я решил немного подождать их здесь. Но они не подходят. Вдруг на меня находит волна подозрительности, мне кажется, все они в сговоре против меня. Я начинаю всматриваться в лицо своей спутницы, стараясь угадать в нем выражение тайной насмешки, но, кажется, ничего такого нет — сонное чистое лицо с красивыми глазами под тяжелыми веками. Я даже не могу понять, беспокоит или нет ее то, что они исчезли.

— А может, они где-нибудь там? — киваю я в глубину парка.

Она молча пожимает плечами, и мы начинаем обходить парк, заглядывая в каждый уединенный уголок, на каждую скамейку. Мы даже зашли за памятник Сталину, думая, может, они сидят за ним на верхней ступеньке пьедестала, уютно опершись спиной о полы его гранитной шинели. Но и тут их не было.

Наконец мы оказались в самой уединенной части парка, куда доносила притихшая музыка, уже процеженная от своей навязчивой пошлости листвой и хвоей деревьев. Мы подошли к скамейке, стоявшей под кустом самшитового деревца, хотя уже издали было видно, что на скамейке никого нет. Но почему-то вдруг захотелось подойти к этой затемненной скамейке, окончательно убедиться, что ли... Подошли, постояли. Рядом со скамейкой рос большой куст пампасской травы. Я почему-то приподнял и откинул его нависающую гриву. Заглянул под нее, как если бы они могли неожиданно упасть со скамейки и закатиться под этот куст.

— Нету,— сказал я и бросил странно шелестящий куст.

Я посмотрел на свою спутницу. Она пожалала плечами. И вдруг я ощутил как-то слитно и эту уединенную часть парка, и эту приглушенную музыку, и эту взрослую свежую девушку с тяжелыми веками и яркими губами, что-то покачнулось в моих глазах, я положил руки ей на плечи и в этот самый миг почувствовал, как тень какой-то большой и печальной мысли пронеслась надо мной и скрылась.

— Где же они могут быть? — спросил я, стараясь вернуть себе то странное состояние, которое было у меня за миг до этого. Но, видно, и она почувствовала, что во мне что-то изменилось.

— А я знаю? — сказала она, пожав плечами, и это можно было понять как слабую попытку освободиться.

Я опустил руки.

Мысль, которая открылась мне в это мгновение, так меня поразила, что я весь остаток вечера промолчал и где-то возле двенадцати часов, проводив до дому свою подругу, продолжал над ней думать.

Когда я положил руки на плечи этой девушки и увидел близко ее прекрасные сонные глаза под тяжелыми веками и почувствовал, что сейчас смогу ее поцеловать, мне неожиданно открылось, что в этот миг моя великая единственная любовь, покинув продуманное русло, почти болезненно устремится в какой-то неожиданный боковой рукав. И тогда я почувствовал и даже как бы воочию увидел множественность самой жизни и, следовательно, моей жизни и моей любви.

И одновременно с этим у меня возникло ощущение, похожее на грустное предчувствие, что жизнь в самые свои высокие мгновения будет приоткрываться мне в своей множественности и что я никогда не смогу

воспользоваться одним из ее многочисленных ответвлений, а буду идти по намеченной стезе... Потому что нам эта ветвистость ни к чему, нам подавай единственное, неповторимое, главное. Ради такого нам не жаль голову размозжить и душу расквасить, а вариантность нам ни к чему, нам скучно с этой самой вариантностью, да ради нее мы и ухом не поведем и пальцем о палец не ударим!

Хотя я эту мысль сейчас как бы слегка развиваю, все-таки предстала она передо мной именно в тот милый и злополучный вечер.

Не помню, как они объяснили свое исчезновение, и потому не хочу ничего придумывать, видно, как-то объяснили и я поверил, потому что хотел верить. Во всяком случае время от времени мы продолжали встречаться. Иногда я впадал в отчаянье, но прирожденный оптимизм и память о том незабываемом письме в конце концов брали верх.

А сколько было горьких минут, когда казалось, что все погибло, что никакого письма не было, что все это мне просто приснилось.

Так однажды при мне, разговаривая с сестрой и вспоминая времена нашего совместного обучения, она вдруг сказала:

— Помнишь, какой он был тогда и какой теперь...

Она это сказала с каким-то тихим сожалением. Я похолодел от обиды, но промолчал. Ведь не станешь доказывать, что ты сегодня лучше, чем вчера, а завтра будешь лучше, чем сегодня, хотя доказывать это очень хотелось. В тот вечер, придя домой, я долго и безнадежно смотрел в зеркало на свое желтое, высосанное малярией лицо.

И все-таки чаша весов постепенно стала склоняться в мою сторону. С каждой встречей я стал благодарно замечать тайные знаки ее внимания. Бедняга капитан совсем стушевался. В последнюю неделю мы гуляли втроем, он исчез, по-видимому, почувствовав, что начинает делаться смешным. Из соображений высшего такта я не спрашивал о нем и даже делал вид, что не замечаю своей победы.

И наконец единственный, неповторимый вечер — мы вдвоем. Я ликовал. Честно говоря, я был уверен, что этот вечер рано или поздно должен наступить. Это было торжество стройной теории над голой практикой капитана, в сущности, хорошего парня.

Но ничего не поделаешь, раз уж ты не получал такого письма, лучше не суйся. Не суйся, милый капитан, не швыряйся деньгами, не смеши человека, который, прежде чем пускаться в это бурное плаванье, получил по почте кое-что, дьявольски похожее на лоцманскую карту.

Вечер. Мы стоим у калитки ее дома. Она в чудесном голубом платье с искорками, струящемся по ее гибкой фигуре. Из окон ее дома до нас доходит слабый свет, озелененный виноградными листьями беседки. Вместе со светом слышится неразборчивый говор, смех. Временами еле заметным дуновением доносится аромат созревающего винограда.

Я стою перед ней и чувствую, как в полутьме зреет первый поцелуй. С какой-то астрономической медлительностью и такой же неизбежностью лицо мое приближается к ее белеющему в полутьме лицу. Она смотрит на меня исподлобья милым, глубоким, испытывающим и просто любопытствующим, я это тоже чувствую, взглядом.

Я страшно взволнован не только ожиданием предстоящего чуда, но и опасениями его скандальных последствий. Я никак не могу сообразить, понимает ли она, что зреет в эти мгновенья.

Она только смотрит на меня исподлобья, а я чувствую, как во мне приливают и отливают волны отваги и робости.

— У тебя лицо все время меняется,— удивленно шепчет она.

— Не знаю,— шепчу я в ответ, хотя чувствую, что оно и в самом деле все время меняется, но я не думал, что это может быть заметно для

нее. Мне приятно, что она замечает силу моей взволнованности. Я успеваю сообразить, что, если она ужаснется от стыда или отвращения, когда я ее поцелую, я постараюсь объяснить это своим неизменным состоянием.

И вот уже близко, близко светлое пятно ее лица. Страшный миг вхождения в теплое облачко.

— Не надо,— слышу я провоцирующий шепот и погружаю губы в сотрясающий (может, каким-то детским или допотопным воспоминанием?) молочный, млечный запах ее щеки.

Проходит головокружительная вечность, и я чувствую, как постепенно благоухающая облачность первых прикосновений рассеивается и ощущение делается все суше, все слаще, пожалуй, слишком...

Но вот она выскальзывает, вбегает в калитку и исчезает в темноте, только слышен глухой стук каблуков по тропинке к дому, потом шелкающий на ступеньках крыльца, и вдруг она появляется на освещенном крылечке, стучит в дверь, чтоб открыли, и, быстро наклонившись, так что я вижу, как падает на глаза прядь волос, заглядывает в дырочку почтового ящика.

Я смотрю на нее, пьяный случившимся и в то же время удивленный трезвостью ее движений: какого еще письма можно ждать после того, что она мне послала, а главное, после того, что сейчас случилось? Несколько секунд она ждет, пока ей откроют дверь, а я смотрю на нее и вдруг чувствую в себе такую необыкновенную силу, что вот сейчас захочу, чтоб она обернулась в мою сторону, и она обернется.

Несколько секунд я восторженно издали смотрю на нее, стараясь внушить ей свое желание, уверенный, что оно обязательно дойдет до нее. Но вот открывается дверь, она проскальзывает в нее, так и не обернувшись.

Нисколько не смущенный этим, я возвращаюсь домой вдоль тихих окраинных улиц, застроенных маленькими частными домами с небольшими земельными участками. Возле каждой усадьбы с той стороны забора меня встречает собака и с яростным лаем провожает до конца участка, где уже, подвывая от нетерпения, дожидается меня очередной страж. Псы передают меня, как эстафету.

Я не обращаю на них внимания. Мной владеет самоуверенность мужчины или, скорее, алхимика, которому после долгих провалов удалось провести первый опыт волшебства. Мне кажется, я всесильный.

Я останавливаюсь возле штакетника, за которым особенно неистовствует какой-то пес. Захлебываясь лаем, он одновременно рвет и отбрасывает землю задними лапами.

Неожиданно я сажусь на корточки и смотрю сквозь штакетник в его налитые бессмысленной злобой глаза и вслух говорю ему, что любовь и добро всесильны, что вот захочу — и ты мгновенно перестанешь лаять и будешь радостно визжать и лизаться, потому что я сейчас даже тебя люблю, глупая ты, глупая псина. Видимо, собака и в самом деле глупая, потому что слова мои до нее не доходят и она продолжает неистовствовать.

На следующий день я гулял по берегу моря, все еще находясь под впечатлением свидания, вспоминая его волнующие подробности и, главное, чувствуя себя на голову выше, чем до него.

Следующая встреча должна была произойти через день. И хотя вчера я ее упрашивал встретиться сегодня же, а она никак не соглашалась, ссылаясь на домашние дела, теперь мне казалось, что передохнуть один день даже не помешает.

Мысленно перебирая несметные богатства вчерашнего свидания, я гулял по берегу моря. День был солнечный и еще не очень жаркий. Не-

ожиданно на берегу я встретил Костю. Он тоже гулял один. Мы поздоровались, и я крепче обычного пожал ему руку, стараясь внушить ему этим благородное сочувствие и пожелание мужественно справиться с неудачей. Я почувствовал, что и он крепче обычного пожал мне руку, и вдруг я понял, что он каким-то образом догадался о случившемся и теперь молча поздравляет меня с честной победой. Такое благородство восхитило меня, и я еще сильнее пожал ему руку. Наверное, он у нее был и она ему все сказала, решил я.

— Ты был у нее? — спросил я.

— Нет, — сказал он, — я только что приехал с учений и сегодня же уезжаю.

— Куда?

— В Ленинград, — сказал он и сам с любопытством заглянул мне в глаза, — а разве она тебе не говорила?

— Наверное, забыла, — ответил я, кажется, выдержав его взгляд.

Это известие было как гром в ясном небе. Кажется, мне усилием воли удалось остановить часть крови, хлынувшей в лицо.

— Сегодня она меня провожает, — добавил он как-то чересчур буднично.

Мы продолжали идти вдоль набережной. Кажется, он предложил мне где-нибудь посидеть на прощанье, но я ничего не слышал и ничего не понимал и в первое же удобное мгновение расстался с ним.

Так вот, оказывается, какой ценой досталась мне эта победа! Значит, я просто занял временно опустевшее место! Я стал заново прокручивать день за днем все наши последние встречи и понял, что потепление в наших отношениях, тайные знаки внимания и, наконец, это венчающее все свидание объяснялись тем, что он уезжает.

Я, конечно, знал, что он собирается поехать учиться в академию, но почему-то думал, что это будет не скоро, в самом конце августа, а во-вторых, ни разу даже в мыслях не связывал свою победу с таким механическим устранением соперника. Все это показалось мне теперь нестерпимо гнусным.

В субботу вечером, гуляя по портовой улице, я увидел ее с сестрой в толпе подружек. По установившемуся обычаю я должен был подойти.

Она была все в том же голубом с искорками платье, но теперь оно мне показалось каким-то змеистым. Мы кивнули друг другу, но я не подошел. Мы продолжали гулять в разных компаниях, я со своими друзьями, она со своими.

Видимо, она решила, что я стесняюсь ее подружек, и вместе с сестрой приотстала от остальных. Но я и тут не подошел. С язвительным наслаждением я заметил в ее лице некоторые признаки растерянности или паники, как мне тогда показалось. Сестра ее, словно наконец-таки проснувшись, оглядывала меня с уважительным любопытством.

Товарищи мои, которые теперь обо всем знали, глядели на меня по добревшимися глазами, как на человека, который роздал нищим привалившее ему суетное богатство и вернулся к бедным, но честным друзьям.

Наконец меня подозвала ее сестра. Сама она стояла у парапета, ограждающего берег. Она стояла лицом к морю. Когда я подошел, она слегка повернулась ко мне.

— Что случилось? — спросила она, осторожно заглянув мне в глаза.

— Костя уехал? — спросил я, ожидая, что она сейчас растеряется.

Но она почему-то не растерялась.

— Да, — сказала она, — просил передать тебе привет.

— Спасибо, — проговорил я с театральным достоинством и добавил: — Но украденные у него свиданья мне не нужны.

Это была тщательно подготовленная и, как мне казалось, убийственная фраза.

— Вон ты как...— прошептала она одними губами, словно внезапно осознав свою непоправимую оплошность. В следующее мгновение она повернулась и, склонив свою жалкую и милую головку, стала уходить от меня, все убыстряя и убыстряя шаги, как и все женщины, стараясь опередить набегающие слезы.

Мне ужасно захотелось кинуться за нею, но я сдержался. В городе стало тоскливо и пусто, и я ушел домой.

В тот же вечер я заболел ангиной, а через неделю, когда выздоровел, острота разрыва смягчилась, отошла.

К слову сказать, один из моих друзей, как выяснилось впоследствии, каждый раз, влюбившись в какую-нибудь девушку, обязательно заболел. Причем степень заболевания прямо соответствовала силе увлечения и имела довольно широкую амплитуду от лихорадки до гриппа.

Но с той, которая прислала мне прекраснейшее письмо, мы больше не виделись. Кажется, в тот же год родители ее продали свой домик и переехали в другой город.

Еще во времена нашего знакомства мне иногда приходила в голову мысль, что сама она не смогла бы написать такого огненного послания. Может быть, думал я, она переписала его из какого-нибудь старинного романа, только вставила кое-что от себя. Такое предположение меня нисколько не оскорбляло. Я считал, что она передала мне знак, точный иероглиф своего состояния. А кто выдумал сам иероглиф, в конце концов было не так уж важно.

Но с другой стороны, кто его знает, может быть, чувство озарило ее вдохновением, которого хватило только на это письмо? Так или иначе, теперь это тайна, разгадывать которую сам я не намерен и тем более не намерен выслушивать любые предположения со стороны, причем не только проницательные, но даже и льстящие самолюбию рассказчика.

Летним днем

В жаркий летний день я сидел у лодочного причала и ел мороженое с толченым орехом. Такое уж тут мороженое продают. Сначала накладывают тебе в металлическую чашечку твердые кругляки мороженого, а потом посыпают сверху толченым орехом. Наверное, можно было попросить не посыпать его толченым арахисом (если уж быть точным), но никто не просил, поэтому не решился и я.

Юная продавщица в белоснежном халате, на вид прохладная и потому приятная, работает молча, мягко, равномерно. Никому не хочется менять этого налаженного равновесия. Жарко, лень.

Цветущие олеандры бросают густую тень на столики открытого кафе. Сквозь их жидковатые кусты с моря задувает спасительный ветерок. От истомленных розовых цветов потягивает сладковатый гнилостный запах. Сквозь ветви олеандров виднеется море и лодочный причал.

Вдоль берега время от времени медленно проходят лодки рыбаков-любителей. За каждой лодкой по дну волочится самодельный трал — кошелка на железном обруче.

Сегодня суббота. Рыбаки ловят креветок, готовятся к завтрашней рыбалке. Иногда лодка останавливается, сидящий на корме подтяги-

вает канат и вволакивает в лодку тяжелую от ила и мокрого песка кошелку. Склонившись, долго выбирают из нее креветок, выбрасывая за борт шлепающие пригоршни ила. Освободив кошелку, они ополаскивают ее в воде и забрасывают за корму, стараясь держаться подальше от трала, чтобы близость лодки не пугала креветок. Они проходят очень близко от берега, потому что в такую погоду креветки выбираются к самой кромке воды.

На верхнем ярусе причала пляжники ожидают катера. Из воды доносятся азартно перебивающие друг друга голоса мальчишек. Они просят, пожалуй, скорее требуют, чтобы пляжники бросали в воду монеты. Туговато поддаваясь на эти уговоры, пляжники время от времени швыряют в воду монеты. Судя по их лицам, склоненным над барьером причала, большого веселья от этого занятия они не испытывают. Один из пацанов все время отплывает подальше от причала и требует, чтобы бросали в глубину. Блеснув на солнце, монета иногда летит в его сторону. Здесь достать ее трудней, зато нет соперников, и он спокойно работает один.

Некоторые пацаны прыгают за монетами прямо с пристани. Звук шлепающегося в воду тела, детские голоса обдают свежестью. Когда катер с пляжниками отходит от причала, те из пацанов, которым удалось поймать несколько монет, прибегают наверх и покупают мороженое. Мокрые, дрожащие от холода, громко звякая ложками, они поедают свою порцию и снова бегут на причал.

— Здесь свободно? — услышал я над собой мужской голос.

Возле моего столика стоял человек с чашечкой мороженого и свернутой газетой в руке.

— Да,— сказал я.

Он кивнул головой, отодвинул стул и сел. Занятый морем, я не заметил, как он подошел к моему столику. По выговору, по едва заметной растяжке слов я догадался, что он немец. Это был загорелый человек лет пятидесяти пяти, с коротким энергичным ежиком светлых волос, с чуть асимметричным лицом и яркими глазами.

Сейчас в руках он держал одну из черноморских русских газет. Некоторое время он просматривал ее, потом усмехнулся и, отложив газету, принялся за мороженое. Усмешка усилила асимметрию его лица, и я подумал, что привычка усмехаться таким образом, может быть, слегка стянула в сторону нижнюю часть его в остальном правильного лица.

Мне захотелось узнать, чему это он там усмехнулся, и я попытался незаметно заглянуть в газету.

— Хотите прочесть? — спросил он живо, заметив мою не слишком ловкую попытку и протягивая газету.

— Нет,— сказал я и, по тону почувствовав, что душа его жаждет общения, добавил: — Вы очень хорошо говорите по-русски.

— Да,— согласился он, и его яркие глаза блеснули еще ярче,— это моя гордость, но я с юношеских лет изучаю русский язык.

— Да ну? — удивился я.

— Да,— повторил он энергично и добавил с неожиданным лукавством: — Догадаетесь почему?

— Не знаю,— сказал я, слегка притормаживая выражение общительности, если, конечно, оно было у меня на лице.— Чтобы читать Достоевского?

— Точно,— кивнул он и отодвинул пустую чашечку. Все это время он энергично орудовал над ней, в то же время не выпущая меня из поля зрения своих ярких глаз. Так что для совмещения этих двух дел ему приходилось смотреть на меня почти все время исполлобья.

— Как вам здесь нравится? — спросил я у моего собеседника.

— Хорошо,— кивнул он головой.— Вот приехал с женой и дочкой, хотя у вас это очень дорого стоит...

— А где они? — спросил я.

— Вот жду их с пляжа,— сказал он и посмотрел на часы,— я решил сегодня погулять по городу один.

— Слушайте,— сказал я, стараясь сдерживать воодушевление,— что, если мы разопьем бутылку шампанского?

— Готов,— сказал он добродушно и развел руками.

Я встал и подошел к буфету.

Из голубого пластика и стекла, сверкая обтекаемыми изгибами, буфет напоминал по своим очертаниям скорее летательный аппарат, чем торговую точку.

Внутри этого пластика и стекла сидел буфетчик и с буколическим благодушием ел мамалыгу с сыром. Рядом с ним возвышалась жена, а внизу, запустив руку в ящик с конфетами и задумчиво роаясь в нем, стоял ребенок.

— Шампанское и кило яблок,— сказал я, оглядев витрины.

Едиственная официантка, опершись спиной о стойку буфета, стояла рядом со мной и ела мороженое. Буфетчик вытер руки тряпкой и, почмокивая языком, полез в бочку со льдом. Официантка и ухом не повела на мой заказ.

— Иностранец,— кивнул я головой в сторону моего столика.

Буфетчик ответил мне понимающим кивком, и я почувствовал, как рука его, похрустывая сдавленными льдинками, глубже зарылась в бочку. Официантка спокойно продолжала есть мороженое.

— Скажи детям, чтоб тише сидели,— услышал я за спиной голос буфетчика.

Рядом с нами за освободившийся столик уселись ловцы монет. Локти пацанов беспрерывно двигались по столу. Один из них то и дело мотал головой, чтобы вытряхнуть воду из уха, что вызывало у остальных приступы неудержимого смеха. Мокрые, загорелые, в гусиной коже от холода, дети выглядели крепышами, и на них было приятно смотреть.

Официантка принесла вазу с яблоками и бутылку шампанского. Поставив вазу на стол, она стала снимать с горлышка бутылки фольговую обертку. Пацаны за соседним столом замерли, ожидая, когда хлопнет пробка. Тут я заметил, что она еще не принесла бокалов, и остановил ее. Она нисколько не обиделась на это, но и не смущаясь промахом, отправилась за бокалами. В ней угадывалось повышенное чувство независимости. Кроме того, скрытая ирония по отношению ко всем клиентам. Особенно это угадывалось, когда она удалялась, слегка покачивая широкими бедрами, но в меру, для собственного удовольствия, а не для кого-то там.

Через минуту она вернулась с двумя длинными узкими бокалами. Пробку она открыла, постепенно выпуская газ, так что мальчишки, замершие было снова в ожидании выстрела, были разочарованы. Мы выпили за встречу по полному бокалу.

— Божественный напиток,— сказал немец и твердо поставил пустой бокал. Лоб у него покрылся мелкими капельками пота. Шампанское и в самом деле было очень хорошим.

— Во времена нацизма вы жили в Германии? — спросил я у него, когда разговор зашел о фильме Ромма «Обыкновенный фашизм», который он очень хвалил. Оказывается, он его смотрел еще у себя в Западной Германии.

— Да,— сказал он,— с первого дня до разгрома.

— Дело прошлое,— спросил я,— как вы думаете, Гитлер был по-своему человеком умным или талантливым?

— Умным он никогда не был,— качнул головой мой собеседник, слегка оттянув в сторону губу,— но он обладал, по-моему, своего рода гипнотическим даром...

— Как это понять?

— Речи его возбуждали толпу, внушали ей своеобразный политико-половой психоз...

— Ну, а «Майн кампф»,— спросил я,— что это?

— По форме это типичный поток сознания... Только в отличие от Джойса это поток глупого сознания...

— Меня интересует не форма,— пояснил я свой вопрос,— меня интересует, каким образом он доказывал в этой книге, ну, скажем, необходимость уничтожения славян?

— В «Майн кампф» все это подавалось в очень туманной упаковке, прямо обо всем этом они начали говорить только после прихода к власти, а эта книга написана в двадцать четвертом году. Вообще ничтожная полуграмотная книжка,— добавил он презрительно. Чувствовалось, что ему скучно о ней говорить.

— Это вы сейчас так думаете или и тогда она вам казалась такой? — спросил я.

— Я и тогда так думал,— несколько надменно, как мне показалось, ответил он и вдруг добавил: — За что чуть не поплатился...

Он остановился, словно вспоминая что-то, а может, раздумывая, стоит ли рассказывать.

— Мои вопросы вам не надоели? — спросил я, разливая шампанское.

— Нет, нет,— живо возразил он и, отпив несколько глотков из бокала, твердо поставил его на столик. По-видимому, устойчивость этого бокала не внушала ему доверия.

— Это была мальчишеская затея,— сказал он, улыбнувшись.— Мы с двумя товарищами однажды ночью пробрались в здание нашего университета и разбросали там листовки. В них приводилось несколько явно неграмотных цитат из «Майн кампф» и говорилось о том, что человек, плохо знающий немецкий язык, не может претендовать на роль вождя немецкого народа.

— Ну и что было? — спросил я, стараясь не слишком обнажить свое любопытство.

— Нас спасла схематичность полицейского мышления,— сказал он и, допив шампанское из бокала, встал, услышав гудок подходящего катера.

— Сейчас приду,— кивнул он и быстро направился к причалу, легко перебирая мускулистыми ногами.

Только сейчас я заметил, что он в шортах.

За столиком, где до этого сидели мальчишки, сейчас сидел местный пенсионер. Это был небольшой розовый старик в чистом чесучовом кителе. На столике у него стояла бутылка боржома и маленький граненый стаканчик, из которого он время от времени попивал боржом двумя-тремя глоточками. Отопьет, пожует губами и, перебирая четки, глядит на окружающих с праздным любопытством.

Всем своим видом он как бы говорил: вот я в жизни хорошо поработал, а теперь пользуюсь заслуженным отдыхом. Захочу — пью боржом, захочу — четки перебираю, а захочу — просто так сижу и смотрю на вас. И вам никто не мешает хорошо поработать, чтобы потом, в свое время, пользоваться, как я сейчас пользуюсь, заслуженным отдыхом.

Сначала он сидел один, но потом за его столик присела с чашечкой мороженого крупная, как-то неряшливо накрашенная женщина с дере-

вянными бусами на шее. Сейчас они оживленно беседовали, и в голосе пенсионера все время чувствовался холодок интеллектуального превосходства, который собеседница безуспешно пыталась растопить, отчего в ее собственный голос проскальзывали нотки тайной обиды и даже упрёка. Но старик, не обращая на них ни малейшего внимания, упрямо держался взятого тона.

Я стал прислушиваться.

— ...Япония сейчас считается великой страной,— сказал пенсионер, перебрасывая несколько бусинок на четках,— и, между прочим, у них очень красивые женщины встречаются.

— Зато мужчины некрасивые,— радостно подхватила женщина,— в сорок пятом году у нас в Иркутске я видела много пленных японцев, среди них ни одного красивого не было...

— Пленные никогда красивыми не бывают,— перебил ее пенсионер наставительно, как бы вскрывая за ее этнографическим наблюдением более глубокий, психологический смысл и тем самым сводя на нет даже скромную ценность самого наблюдения.

— Но почему же...— запротестовала было женщина, но чесучовый поднял палец, и она замолкла.

— В то же время Япония в будущем— крупный источник агрессии,— сказал он,— потому что связана с Америкой через банковский капитал.

— По-моему, в Америке, кроме десяти процентов, все остальные негодяи,— сказала женщина и, посмотрев на руки старика, сейчас снова перебирающие четки, зачем-то притронулась к своим бусам.

— Богатейшая страна,— сказал пенсионер задумчиво и поставил локти на столик — сквозь широкие чесучовые рукава два острых независимых локотка.

— ...Дочь Дюпона,— начал он что-то рассказывать, но остановился, вспомнив об уровне аудитории.— Дюпон кто такой, знаете?

— Ну, этот самый,— растерялась женщина.

— Дюпон — миллиардер,— жестко уточнил старик и добавил:— А против миллиардера миллионер считается нищим.

— Господи,— вздохнула женщина.

— Так вот,— продолжал пенсионер,— дочь Дюпона пришла на один банкет с бриллиантами на десять миллионов долларов. А теперь спрашивайте, почему ее никто не ограбил?

Старик слегка откинулся, как бы давая время и простор для любых догадок.

— Почему? — спросила женщина, все еще подавленная богатством миллиардерши.

— Потому что ее сопровождали пятьдесят переодетых сыщиков в виде знатных иностранцев,— торжественно заключил пенсионер и отпил боржомом из своего маленького стаканчика.

— Они интимную переписку адмирала Нельсона предали огласке,— вспомнила женщина,— мало ли что мужчина может писать женщине...

— Знаю,— строго перебил ее старик,— но это англичане.

— Все равно это подлость,— сказала женщина.

— Вивьен Ли,— продолжал пенсионер,— пыталась спасти честь адмирала, но у нее ничего не получилось.

— Я знаю,— кивнула женщина,— но она, кажется, умерла...

— Да,— подтвердил старик,— она умерла от туберкулеза, потому что ей нельзя было жить половой жизнью... Вообще при туберкулезе и при раке,— придерживая одной рукой четки, он на другой загнул два пальца,— половая жизнь категорически запрещается...

Это прозвучало как сдержанное предупреждение. Старик слегка покосился на женщину, стараясь почувствовать ее личное отношение к вопросу.

— Я знаю,— сказала женщина, не давая ничего почувствовать.

— Виссарион Белинский тоже умер от ТБЦ,— неожиданно вспомнил пенсионер.

— Толстой — мой самый любимый писатель,— ответила ему на это женщина.

— Смотри какой Толстой,— поправил старик,— всего их было три.

— Ну, конечно, Лев Толстой,— сказала женщина.

— «Анна Каренина»,— заметил пенсионер,— самый великий семейный роман всех времен и народов.

— Но почему, почему она так ревновала Вронского?! — с давней горечью заметила женщина.— Это ужасно, этого никто не может перенести...

Толпа пляжников поднялась на берег и лениво разбрелась по улице. Иностранки в коротких купальных халатах казались особенно длинноногими. Несколько лет тому назад им не разрешали в таком виде появляться в городе, но теперь, видимо, примирились.

Появился мой собеседник.

— Что-то сильно запаздывают,— сказал он без особого сожаления и присел за столик.

Я разлил шампанское.

— Вот вам и немецкая аккуратность,— сказал я.

— Немецкая аккуратность сильно преувеличена,— ответил он.

Мы выпили. Он взял из вазы яблоко и крепко откусил его.

— Значит, вас спасла схематичность полицейского мышления? — напомнил я, дав ему проглотить откушенный кусок.

— Да,— кивнул он головой и продолжил: — Гестапо поставило вверх дном философский факультет, но нас почему-то не тронули. Решили, что это дело рук студентов, которые по роду своих занятий могли Гегеля сравнить с Гитлером. В один день на всех курсах философского факультета у студентов отобрали конспекты, хотя мы писали эти листочки измененным почерком и печатными буквами. Двое отказались отдавать конспекты, и их прямо из университета забрали в гестапо...

— Что с ними сделали? — спросил я.

— Ничего,— ответил он, усмехнувшись своей асимметричной усмешкой,— на следующий день их выпустили с большими извинениями. У смельчаков оказались высокопоставленные родственники. У одного из них дядя работал чуть ли не в канцелярии самого Геббельса. Правда, пока это выяснилось, ему успели под глазом оставить...— Он сделал красноречивый жест кулаком.

— Синяк,— подсказал я.

— Да, синяк,— с удовольствием повторил он, по-видимому, выпавшее из памяти слово,— и он этот синяк целую неделю с гордостью носил. Вообще для рейха было характерно возвращение назад, к простейшим родовым связям.

— Это делалось сознательно или вытекало из логики режима? — спросил я.

— Думаю, и то и другое,— сказал он, помедлив,— функционеры рейха старались подбирать людей не только по родственным, но и по земляческим признакам. Общность происхождения, общность воспоминаний о родном крае и тому подобное давало им эрзац того, что у культурных людей называется духовной близостью. Ну и, конечно, система незримого заложничества. Например, над нашей семьей все время висел страх из-за маминого брата. Он был социал-демократом. В три-

дцать четвертом году его арестовали. Переписка длилась несколько лет, а потом наши письма стали приходить обратно со штампом «адресат унбекант», то есть адресат выбыл. Маме мы говорили, что его перевели в другой лагерь без права переписки, но мы с отцом подозревали, что его убили. Так оно и оказалось после войны...

— Скажите,— спросил я,— это вам не мешало в учебе или в работе?

— Прямо не мешало,— сказал он, подумав,— но все время было ощущение какой-то неуверенности или даже вины... Это ощущение трудно передать словами, его надо пережить... Оно временами ослабевало, потом опять усиливалось... Но полностью никогда не исчезало... Комплекс государственной неполноценности — вот как я определил бы это состояние.

— Вы очень ясно выразились,— сказал я и разлил остатки шампанского. Возможно, под влиянием напитка или точного определения, но я очень ясно представил описанное им состояние.

— Чтобы вы еще лучше могли представить это, я вам расскажу такой случай из своей жизни,— сказал он и, щелкнув губами, поставил на столик пустой бокал. Видно было, что шампанское ему очень нравится.

— Выпьем еще бутылку? — спросил я.

— Идет,— согласился он,— только теперь за мой счет...

— У нас это не положено,— сказал я, чувствуя некоторый прилив великодушной спеси.

Я приподнял пустую бутылку и показал ее официантке. Она наблюдала за рабочим, присевшим на корточки возле бочки, в которую был погружен бак с мороженым,— рабочий расколачивал обухом топорика брусок льда, обернутый мокрой мешковиной. Официантка кивнула и неохотно подошла к буфету. Мой собеседник закурил и угостил меня.

Пенсионер все еще разговаривал со своей собеседницей. Я снова прислушался.

— Черчилль,— сказал он важно,— кроме армянского коньяка и грузинского боржомо, никаких напитков не признавал.

— А он не боялся, что ему отомстят? — сказала женщина, кивнув на бутылку с боржомом.

— Нет,— ответил пенсионер миролюбиво.— Сталин ему дал слово. А слово Сталина — знаете, что это такое?

— Конечно,— сказала женщина.

— Интересно,— заметил немец,— какое из местных вин у вас популярно?

— Я читал переписку Сталина с Черчиллем,— сказал пенсионер,— редкая книга.

— Сейчас,— сказал я, невольно прислушиваясь к разговору за соседним столиком,— популярно вино «изабелла».

— Вы бы не могли мне дать ее почитать? — попросила женщина.

— Не слыхал,— сказал мой собеседник, подумав.

— Эту не могу, дорогая,— смягчая интонацией отказ, проговорил пенсионер,— но другую редкую книгу пожалуйста. С тех пор, как я на пенсии, я собираю все редкие книги.

— Это местное крестьянское вино,— сказал я,— сейчас оно модно. Немец кивнул.

— А «Женщина в белом» у вас есть?

— Конечно,— кивнул пенсионер,— у меня все редкие книги.

— Дайте мне ее почитать, я быстро читаю,— сказала она.

— «Женщину в белом» не могу, но другие редкие книги пожалуйста.

— Но почему «Женщину в белом» вы не можете дать? — с обидой сказала она.

— Не потому, что не доверяю, а потому, что она сейчас на руках у одного человека,— сказал старик.

— Мода — удивительная вещь,— вдруг произнес мой собеседник, гася окурок о пепельницу,— в двадцатые годы в Германии был популярен киноактер, который играл в маске Гитлера.

— Каким образом? — не понял я.

— Он почувствовал или предугадал тот внешний облик, который должен полюбить широкая мещанская публика... А через несколько лет его актерский образ оказался натуральной внешностью Гитлера.

— Это очень интересно,— сказал я.

Подошла официантка со свежей бутылкой шампанского. Я не дал ей открыть ее, а сам взял в руки мокрую холодную бутылку. Официантка убрала пустые чашечки из-под мороженого.

Я содрал обертку с горлышка бутылки и, придерживая одной рукой белую полиэтиленовую пробку, другой стал раскручивать проволоку, скрепляющую ее с бутылкой. По мере того, как я раскручивал проволоку, пробка все сильнее и сильнее давила на ладонь моей руки и подымалась, как сильное одушевленное существо. Я дал постепенно выйти газу и разлил шампанское. Когда я наклонил бутылку, оттуда выпорхнула струйка пара.

Мы выпили по полному бокалу. Свежая бутылка была еще холодней, и пить из нее было еще приятней.

— После университета,— сказал он, все так же твердо ставя бокал,— я был принят в институт знаменитого профессора Гарца. Я считался тогда молодым, так сказать, подающим надежды физиком и был зачислен в группу теоретиков. Научные работники нашего института жили довольно замкнутой жизнью, стараясь отгородиться, насколько это было возможно, от окружающей жизни. Но отгородиться становилось все трудней хотя бы потому, что каждый день можно было погибнуть от бомбежки американской авиации. В сорок третьем году у нас в городе были разрушены многие кварталы, и даже любителям патристического средневековья уже было невозможно придать им вид живописных развалин. Все больше и больше инвалидов с Восточного фронта появлялось на улицах города, все больше измученных женских и детских лиц, а пропаганда Геббельса продолжала трубить о победе, в которую в нашей среде во всяком случае уже никто не верил.

Однажды воскресным днем, когда я сидел у себя в комнате и читал одного из наших догитлеровских романистов, я услышал из соседней комнаты голоса жены и незнакомого мужчины. Голос жены мне показался тревожным. Она приоткрыла дверь, и я увидел ее взволнованное лицо.

— К тебе,— сказала она и пропустила в дверь мужчину. Это был незнакомый мне человек.

— Вас вызывают в институт,— сказал он, поздоровавшись,— срочное совещание.

— Почему же мне не позвонили? — спросил я, взглядываясь в него. По-видимому, решил я, какой-то новенький из администрации.

— Сами понимаете,— сказал он многозначительно.

— Но почему в воскресенье? — спросила жена.

— Начальство приказывает, мы не рассуждаем,— ответил он, пожимая плечами.

Мы уже давно привыкли к полицейской игре в бдительность вокруг нашего института, и с этим ничего нельзя было поделать. Стоило позво-

нить из одной комнаты в другую и начать разговаривать с кем-нибудь из коллег по той или иной конкретной проблеме, как телефон мгновенно выключался. Считалось, что так они нас оберегают от утечки информации. Теперь надумали сообщать об особо секретных совещаниях через своих штатских ординарцев.

— Хорошо, сейчас,— сказал я и стал переодеваться.

— Может, вам сделать кофе?— спросила жена. Я по голосу ее чувствовал, что она все еще тревожится.

— Хорошо,— сказал я и кивнул ей, чтоб она успокоилась.

— Спасибо,— сказал человек и сел в кресло, искоса оглядывая книжные полки. Жена вышла из комнаты.

— Я из гестапо,— сказал он, прислушиваясь, как за женой захлопнулась дверь в другой комнате. Он это сказал тихим, бесцветным голосом, как бы стараясь сдержаться, насколько это возможно, взрывную силу своей информации.

Я почувствовал, как мои пальцы мгновенно одеревенели и никак не могут свести пуговицу с петлей на рубашке. Огромным усилием воли я заставил себя негнушимися пальцами провести пуговицы в петлю и затянуть галстук. Помню до сих пор эти несколько мгновений удушающей тишины, громыхание накрахмаленной рубашки и какое-то раздражение на жену за то, что она всегда мне чуть-чуть перекрахмаливала рубашки, и — удивительное дело! — ощущение какого-то неудобства, что я так непочтительно переодеваюсь на глазах этого человека, и сквозь все эти ощущения — напряженно пульсирующую тревожную мысль: не спеши, ничем не выдавай тревоги...

— Чем могу служить? — повернулся я к нему наконец.

— Я уверен, что какой-то пустяк,— сказал он без всякого выражения, кажется, все еще прислушиваясь к другой комнате. Дверь в той комнате отворилась, жена несла кофе.

Мы посмотрели друг на друга. Он сразу понял мой молчаливый вопрос.

— Не стоит тревожить,— сказал он и выразительно посмотрел на меня. Я кивнул как можно бодрей. Надо было показывать, что я ничего не боюсь и верю в свое быстрое возвращение. Я вложил в книгу закладку и, захлопнув ее, оставил на столе. Если он следил за моим поведением, этот жест он должен был оценить как уверенность в том, что я сегодня еще собираюсь вернуться к своей книжке.

— Вы знаете, мы решили идти,— сказал он, вставая, когда жена остановилась в дверях с дымящимся подносом.

— Ничего,— сказал я,— успеем.

Я взял чашку и стоя, обжигаясь, выпил ее в несколько глотков. Он тоже пригубил. Жена все еще что-то чувствовала, она догадывалась, что, пока ее здесь не было, я должен был узнать что-то более определенное, и сейчас заглядывала мне в глаза. Я никак не отвечал на ее взгляды. Она смотрела на него, он тем более оставался непроницаемым. Она чувствовала в его облике какую-то неуловимую странность, но никак не могла ее определить. Пожалуй, это была странность страхового агента. Темно-синий макинтош придавал ему мрачноватую элегантность.

— Но ты придешь к обеду? — спросила она, когда я поставил чашку на поднос. До обеда оставалось еще часа четыре.

— Конечно,— сказал я и посмотрел на него. Он кивнул, не то подтверждая мое предположение, не то одобряя меня за то, что я включился в игру.

Когда мы вышли на улицу и немного отошли от дома, он остановился и сказал:

— Я пойду вперед, а вы идите за мной.

— На каком расстоянии? — спросил я и сам удивился своему вопросу. Я уже старался жить по их инструкции.

— Шагов двадцать, — сказал он, — у входа я вас подожду.

— Хорошо, — сказал я, и он пошел вперед. Два уязвимых пункта были в моей биографии. Это судьба дяди и листовки. Я понимал, что о дяде они знают все. Но что они знают о листовках? С тех пор прошло шесть лет. Но для них нет срока давности, и они ничего не прощают. Неужели кто-то из остальных проговорился? Я об этом рассказывал только одному человеку, моему давнему школьному товарищу. В нем я был уверен, как в самом себе. Но может, кто-то из остальных доверился, так же как и я, близкому человеку, а тот его предал? Но если они что-то знают, почему они меня не возьмут прямо? Думая обо всем этом, я шел за своим посыльным. Он не слишком торопился. В мягкой шляпе и темно-синем макинтоше, сейчас он был похож скорее на праздного гуляку, чем на работника гестапо.

Гестапо было расположено в старинном особняке, окруженном большими платанами. С одной стороны особняк выходил на зеленую лужайку, где сейчас школьники играли в футбол. Несколько велосипедов, сверкая никелем, лежало в траве. Было странно видеть этих мальчишек, слышать их возбужденные голоса рядом с этим мрачным зданием, назначение которого все в городе знали. Тротуар на этой стороне квартала был почти пуст, люди предпочитали ходить по той стороне. Вслед за своим провожатым я вошел в коридор, освещенный довольно тусклой электрической лампочкой. Часового в дверях не было. Наклонившись к окошечку дежурного, мой провожатый дожидался меня. Увидев меня, он кивнул дежурному в мою сторону. Тот говорил по телефону. Дежурный мельком посмотрел на меня и положил трубку.

На столе у него стоял чай с обтрепанным ломтиком лимона. Он помешал его ложкой и отхлебнул. Мы двинулись по коридору, в глубине которого виднелась железная клетка лифта. Мы вошли в лифт, он хлопнул железную дверь и нажал кнопку. Лифт остановился на третьем этаже.

Мы вышли из лифта и пошли по длинному коридору, освещенному тусклым электрическим светом. Свернули в какой-то боковой коридор, оттуда в другой, и наконец, когда мне показалось, что коридоры никогда не кончатся, мы остановились у двери, обитой черной кожей или каким-то материалом под черную кожу.

Мой провожатый кивком предложил мне подождать и, сняв шляпу, слегка приоткрыл дверь. Но еще до того, как он ее приоткрыл, он как-то неожиданно всем своим темно-синим макинтошем растворился в черном силуэте дверей. Этот коридор, как и все остальное, был плохо освещен.

Минут через пять дверь опять приоткрылась, и я увидел бледное пятно лица моего провожатого на черном фоне дверей. Пятно кивнуло, и я вошел в кабинет.

Это была большая светлая комната с окнами на зеленую лужайку, где мальчики по-прежнему играли в футбол. Я никак не ожидал, что мы на этой стороне здания, я был уверен, что кабинет этот расположен совсем с другой стороны. Может, это случайность, но тогда мне показалось, что они нарочно сбили меня с пространственного ориентира. За большим голым столом — кроме чернильного прибора, раскрытой папки и стопки чистой бумаги, на нем ничего не было, — так вот, за этим столом сидел человек лет тридцати с узким, тщательно выбритым лицом. Мы поздоровались, и он через стол протянул мне руку.

— Садитесь, — сказал он и кивнул на кресло. Я сел. С минуту он довольно небрежно перелистывал папку, лежавшую перед ним. Стол

был очень широкий, и прочесть то, что он листал, было никак невозможно. Но я был уверен, что это моя папка.

— Вы давно в институте? — спросил он, продолжая вяло перелистывать папку. Я коротко ответил, уверенный, что он гораздо подробней, чем спрашивает, знает обо мне. Он опять пролистал несколько страниц.

— В каком отделе? — спросил он. Я назвал отдел, и он кивнул головой, все еще глядя в папку, как бы найдя в ней подтверждение моим словам.

— Как в институте относятся к войне с Россией? — спросил он, на этот раз подняв голову.

— Как и весь немецкий народ, — сказал я.

В его темных миндальных глазах появилось едва заметное выражение скуки.

— А если более конкретно? — спросил он.

— Вы знаете, — сказал я, — ученые мало интересуются политикой.

— К сожалению, — кивнул он важно и вдруг добавил, приосаниваясь: — А вы знаете, что работами вашего института находит время интересоваться сам фюрер?

Взгляд его на мгновение остекленел, и во всем его облике появилось отдаленное сходство с Гитлером.

— Да, — сказал я.

Администрация института доверительно говорила нам об этом много раз, давая знать, что в ответ на этот исключительный интерес фюрера мы должны проявлять исключительное рвение в работе.

— Но не только фюрер интересуется вашими работами, — продолжил он после щедрой паузы, как бы дав мне насладиться приятной стороной дела, — ими интересуются также и враги рейха.

Взгляд его на мгновение снова остекленел, и он опять стал похож на фюрера, на этот раз своим сходством выражая беспощадность к врагам рейха.

Я пожал плечами. У меня отлегло от сердца. Я понял, что случай в университете ему неизвестен. Он снова стал листать папку и вдруг на одной странице остановился и стал читать ее, удивленно приподняв брови. Внутри у меня что-то сжалось. Знает, подумал я.

— У вас, кажется, дядюшка социал-демократ? — спросил он, как бы случайно обнаружив в моей душе небольшую червоточинку. Он так и сказал — дядюшка, а не дядя, может быть, выражая этим скорее презрение, чем ненависть к социал-демократам.

— Да, — сказал я.

— Где он сейчас? — спросил он и не стараясь скрыть фальши в своем голосе. Я ему сказал все, что он знал и без меня.

— Вот видите, — кивнул он головой, как бы интонацией показывая, к чему приводят безнадежно устаревшие патриархальные убеждения. Но я ошибся. Интонация его означала совсем другое.

— Вот видите, — повторил он, — мы вам доверяем, а вы?

— Я вам тоже доверяю, — сказал я как можно тверже.

— Да, — сказал он, кивнув головой, — я знаю, что вы патриот, не смотря на то, что у вас дядюшка был социал-демократом.

— Был? — невольно повторил я, почувствовав, как что-то кольнуло в груди. Все-таки у нас оставалась какая-то надежда. Кажется, на этот раз гестаповец сказал лишнее. А может, сделал вид, что сказал лишнее.

— Был и остается, — поправился он, но это прозвучало еще безнадежней. — Я знаю, что вы патриот, — повторил он снова, — но пора это доказать делом.

— Что вы имеете в виду? — спросил я. Рука его, листавшая папку, поглаживала следующую, еще не раскрытую страницу. Казалось, он

едва сдерживает удовольствие раскрыть ее. У меня снова возникло подозрение, что он что-то знает о тех листовках.

— Помогать нам в работе,— сказал он просто и посмотрел мне в глаза.

Этого я никак не ожидал. Видно, лицо мое выразило испуг или отвращение.

— Вам незачем будет сюда приходиться,— быстро добавил он,— с вами будет встречаться наш человек примерно раз в месяц, и вы ему будете рассказывать...

— Что? — прервал я его.

— О настроениях ученых, о случаях враждебных или нелояльных высказываний,— сказал он ровным голосом и добавил: — Нам нужна разумная информация, а не слезка. Вы же знаете, какое значение придается вашему институту.

В голосе его звучала интонация врача, уговаривающего больного правильно принимать предписанные лекарства.

Он смотрел на меня темными миндальными глазами. Кожа на его гладко выбритом, синеватом лице была так туго натянута, что, казалось, любая гримаса, любое частное выражение на его лице доставляет ему боль, защемляет и без того слишком туго стянутую кожу, и потому он старался держать свое лицо неподвижно, с выражением общего направления службы.

— В случае враждебных высказываний,— сказал я, невольно согласуя свой голос и лицо с выражением общего направления службы,— я считаю своим долгом и без того довести до вашего сведения...

Как только я это начал говорить, в его глазах опять появилось едва заметное выражение скуки, и я вдруг понял, что все это — давно знакомая ему форма отказа.

— ...Учитывая военное время,— добавил я для правдоподобия. Мне сразу как-то стало легче. Значит, они не первый раз слышат отказ, подумалось мне.

— Да, конечно,— сказал он без выражения и потянулся к зазвонившему телефону.

— Да,— сказал он. Голос в трубке слегка дребезжал.— Да,— повторял он время от времени, слушая голос в трубке. Его односложные ответы звучали солидно, и я почувствовал, что он передо мной поигрывает в государственность.

— Он финтит,— вдруг сказал он в трубку, и я невольно вздрогнул.— У меня,— добавил он,— зайди.

Мне вдруг показалось, что все это время он по телефону говорил обо мне. Ловец моей души встал и, вынув из кармана связку ключей, подошел к несгораемому шкафу. В это время в кабинет вошел человек. Я почувствовал, что это тот, с которым хозяин кабинета только что говорил. Он посмотрел на меня мельком, с каким-то посторонним любопытством, и я догадался, что говорили они не обо мне. /

Хозяин кабинета открыл несгораемый шкаф и наклонил голову, вглядываясь внутрь. Я увидел несколько рядов папок мышинного цвета корешками наружу. Они были очень плотно прижаты друг к другу. Он ухватил одну из них двумя пальцами и туго вытянул ее оттуда. Словно сопротивляясь, папка с трудом вытягивалась и в последнее мгновение издала какой-то свистящий звук, напоминающий писк прихлопнутого животного.

Папки были так плотно сложены, что ряд сразу замкнулся, словно там и не было никакой папки. Человек взял папку и бесшумно вышел из комнаты.

— Значит, вы не хотите с нами сотрудничать? — сказал он, усаживаясь. Рука его снова скользнула к нераскрытой странице и принялась поглаживать ее.

— Не в этом дело, — сказал я, невольно следя за вздрагивающей под его рукой верхней страницей.

— Или принципы дядюшки не позволяют? — спросил он. Я почувствовал, как в нем начинает закручиваться пружина раздражения. И вдруг я понял, что сейчас самое главное не показать ему, что обыкновенная человеческая порядочность не позволяет мне связываться с ними.

— Принципы тут ни при чем, — сказал я, — но каждое дело требует призвания.

— А вы попробуйте, может, оно у вас есть, — сказал он. Пружина слегка расслабилась.

— Нет, — сказал я, немного подумав, — я не умею скрывать своих мыслей, к тому же я слишком болтлив.

— Наследственный недостаток?

— Нет, — сказал я, — это личное качество.

— Кстати, что это за случай был у вас в университете? — вдруг спросил он, подняв голову. Я не заметил, как он перевернул страницу.

— Какой случай? — спросил я, чувствуя, что горло у меня пересыхает.

— Может, напомнить? — спросил он и рукой показал на страницу.

— Никакого случая я не помню, — сказал я, собрав все свои силы.

Несколько долгих мгновений мы смотрели друг на друга. Если он знает, думал я, то мне нечего терять, а если не знает, то только так.

— Хорошо, — вдруг сказал он и, вынув из стопки чистый лист, положил передо мной, — пишите.

— Что?

— Как что? Пишите, что вы отказываетесь помогать рейху, — сказал он.

Не знает, подумал я, чувствуя, как в меня вливаются силы. Знает, что во время моей учебы там был такой случай, а больше ничего не знает, уточнил я про себя, тихо ликуя.

— Я не отказываюсь, — сказал я, слегка отодвигая лист.

— Значит, согласны?

— Я готов выполнять свой патриотический долг, только без этих формальностей, — сказал я, стараясь выбирать выражения помягче. Сейчас, когда угроза с листовками как будто миновала, я боялся, как бы разговор снова туда не вернулся. И хотя в момент прямого вопроса я почти уверился, что он точно ничего не знает, сейчас, когда опасность как будто миновала, мне было страшней, чем раньше, возвращаться к этому темному все-таки месту. Я инстинктивно пытался уйти от него подальше, и я чувствовал, что это можно сделать только ценой уступки. Только за счет возможности прорваться в другом месте, подумал я, он уйдет от этого места.

— Нет, — сказал он, и в голосе его появилась сентиментальная нотка, — лучше вы честно напишите, что отказываетесь выполнять свой патриотический долг.

— Я подумаю, — сказал я.

— Конечно, подумайте, — сказал он дружелюбно и, открыв ящик стола, вытащил сигарету и, щелкнув зажигалкой, закурил. — Закури-те? — предложил он.

— Да, — сказал я.

Он вытащил из ящика раскрытую пачку и протянул мне. Я взял сигарету и вдруг заметил, что сам он закурил из другой пачки, более

дорогие сигареты. Я чуть не усмехнулся. Он щелкнул зажигалкой, я закурил. Даже в этом ему надо было, видимо, чувствовать превосходство.

Я молчал. Он тоже. Считалось, что я раздумываю. Молчание мне было выгодно.

— Учтите,— вдруг вспомнил он,— наша служба не отрицает материальной заинтересованности.

— А что? — спросил я. Эту тему я готов был развивать. Надо было как можно убедительней дать ему почувствовать, что я склоняюсь.

— Мы неплохо платим,— сказал он.

— Сколько? — спросил я, нагляя. Надо было и дальше показывать, что ему удалось подавить во мне то, что они называют интеллигентским предрассудком порядочности. В его глазах появилась как бы некоторая обида за фирму. Кажется, я перехватил.

— Это зависит от плодотворности вашей работы,— сказал он. Он так и сказал — плодотворности.

— Нет,— сказал я с некоторым сожалением, как бы прикинув свой бюджет,— мне неплохо платят в институте.

— Но мы вам можем дать со временем хорошую квартиру,— сказал он с некоторой тревогой. Мы уже торговались.

— У меня хорошая квартира,— сказал я.

— Мы вам дадим квартиру в районе с самым надежным бомбоубежищем,— заметил он и посмотрел в окно,— американские воздушные гангстеры не шадят ни женщин, ни детей... В этих условиях мы должны заботиться о кадрах...

Это была типичная логика национал-социалистов. Американцы бомбят женщин и детей, поэтому надо заботиться о жизни гестаповцев. Около трех часов длилась эта опасная игра, где я должен был показывать готовность пойти к ним, но делать вид, что в последнее мгновение меня останавливает обывательская осторожность или какое-то другое, далекое от обычной человеческой чистоплотности соображение. Однажды он чуть не прижал меня к стене, довольно логично доказывая, что, в сущности, я и так работаю на национал-социализм и моя попытка увильнуть от прямого долга не что иное, как боязнь смотреть правде в лицо. Я уклонился от дискуссии. Этот трагический вопрос нередко обсуждался в нашей среде, разумеется, всегда в узком, доверенном кругу. История не предоставила нашему поколению права выбора, и требовать от нас большего, чем обыкновенная порядочность, было бы нереалистично...

Мой собеседник остановился, о чем-то задумавшись. Я разлил шампанское, и мы снова выпили.

— Вы отрицаете героизм? — спросил я невольно.

— Нет,— живо возразил он,— героизм я сравнил бы с гениальностью, с нравственной гениальностью...

— Ну и что? — спросил я.

— Я считаю, что героизм всегда содержит в себе высшую рациональность, практическое действие, а ученый, отказывающийся работать на Гитлера, будет услышан не дальше ближайшего отделения гестапо.

— Но не обязательно отказываться прямо,— сказал я.

— Тогда отказ теряет всякий смысл,— заметил он,— смысл такого жеста никто не поймет, а образовавшийся с его уходом вакуум, если таковой образуется, более или менее быстро будет заполнен другими.

— Пусть будет так,— сказал я.— пусть его уход не будет никем замечен, для себя, для своей совести он это может сделать?

— Не знаю,— сказал он и как-то странно посмотрел мне в глаза,— я о таких случаях не слыхал... Это слишком умозрительный максимализм, карамазовщина... Впрочем, я знаю, что у вас и на героизм смотрят по-другому...

— У нас считается, что героизм можно воспитывать,— ответил я с некоторым облегчением, возвращаясь к более ясной теме. В последнюю минуту я чувствовал, что он меня не понимает.

— Не думаю,— покачал он головой,— в наших условиях, в условиях фашизма, требовать от человека, в частности от ученого, героического сопротивления режиму было бы неправильно и даже вредно. Ведь если вопрос стоит так — или героическое сопротивление фашизму, или ты сливаешься с ним,— то, как заметил еще тогда один мой друг, это морально обезоруживает человека. Были и такие ученые, которые сначала проклинали наше примиренчество, а потом махнули рукой и стали делать карьеру. Нет, порядочность — великая вещь.

— Но ведь она, порядочность, не могла победить режим?

— Конечно, нет.

— Тогда где же выход?

— В данном случае в Красной Армии оказался выход,— сказал он, улыбнувшись своей асимметричной улыбкой.

— Но если бы Гитлер оказался достаточно осторожным и не напал на нас?

— Он мог избрать другие сроки, но не в этом дело. Дело в том, что сами его лихорадочные победы были следствием гниения режима, которое без Красной Армии могло бы продлиться еще одно или два поколения. Но как раз в этом случае то, что я называю порядочностью, приобрело бы еще больший смысл как средство сохранить нравственные мускулы нации для более или менее подходящего исторического момента.

— Но мы отвлеклись,— сказал я,— что же было дальше?

— Одним словом,— начал он, снова закуривая,— около трех часов длилась охота за моей душой. За это время он несколько раз выходил и снова заходил в кабинет. В конце концов мы оба устали, и он вдруг повел меня, как я понял, к своему начальнику. Мы вошли в огромную приемную, где за столом, уставленным множеством телефонов, сидела немолодая женщина, довольно полная брюнетка. В приемной стояли еще три человека, в одном из них я узнал того, кто заходил за папкой. Женщина говорила по телефону. Она разговаривала с дочерью. По-видимому, дочь возвратилась с какого-то загородного пикника и сейчас, задышавшись, рассказывала о своих впечатлениях. Это чувствовалось даже на расстоянии от трубки. Было странно все это слышать здесь. На столе зазвенел звонок.

— Ну, ладно, хватит,— сказала женщина и положила трубку. Она встала и быстро прошла в кабинет. Четверо гестаповцев приосанились. Через пару минут она вышла.

— Пройдите,— сказала она и, проходя к столу, бросила на меня взгляд, от которого мне стало не по себе. Видимо, так может посмотреть только женщина. Я хочу сказать, так подло. В ее взгляде не было ни ненависти, ни презрения, которого в любой момент можно было ожидать от этих четверых. В ее взгляде было жгучее кошачье любопытство к моим потрохам и уверенность в хозяине. Может быть, сказала усталость, но я тогда вдруг почувствовал, что еще какое-то мгновение — и эти самые потроха полезут горлом.

Мы вошли. Это был еще более роскошный кабинет с еще более огромным столом, уставленным разноцветными телефонами и чернильным прибором в виде развалин старинного замка. За столом сидел крупный мужчина, чем-то напоминающий директора процветающего ресторана. Это был брюнет в песочном костюме и ярком галстуке.

Никому из нас он не предложил сесть, и мы стояли возле дверей. Те трое поближе к столу, а я со своим пастырем подальше.

— Так это он колеблется? — громовым голосом спросил хозяин кабинета, вытаращив на меня недоуменные глаза. — Молодой ученый, подающий надежды, отказывается с нами работать? Не верю! — вдруг воскликнул он и встал во весь свой внушительный рост.

Он смотрел на меня недоумевающими глазами, как бы умоляя меня тут же опровергнуть эту ложную, а может, даже и злоумышленную информацию своих помощников. Как только он заговорил, я понял, что он подражает Герингу. В те годы у функционеров рейха это было модно, каждый избирал себе маску кого-нибудь из вождей.

— ...В то время, как орды азиатов рвутся к священным землям Германии, в то время, как воздушные гангстеры бомбят ни в чем не повинных детей! — Он протянул руку в сторону окна, где на той же лужайке все еще бегали дети с футбольным мячом. Наверное, уже другие, но тогда мне показалось, что и эта лужайка, и эти дети специально выращены гестапо для наглядного примера.

— Я не отказываюсь... — начал было я, но он меня перебил.

— Я же говорил, вы слышите! — воскликнул он. Мне показалось, что сейчас он вскочит на стол, подхваченный силой пафоса. Но он его вовремя переключил, обращаясь к остальным слушателям: — Значит, не сумели объяснить ему его долг, не нашли тот единственный ключ, на который закрыта до поры каждая германская душа...

Он смотрел на меня своими коровьими глазами, и по взгляду его я понял, что он как бы просит моего согласия, и даже не столько для того, чтобы я с ними работал, сколько для поддержания его педагогического авторитета. Давай вместе осраим этих бездельников, как бы предлагал он мне.

Кровавый шут, мелькнуло у меня в голове.

— Видите ли... — начал я, чувствуя, что этот педагогический урок мне дорого обойдется. Но в это мгновение, к моему счастью, приоткрылась дверь. Он посмотрел на дверь взглядом бешеной коровы. В дверях стояла секретарша.

— Берлин, — тихо сказала она, кивнув на телефон.

Он схватил трубку, и сразу же стало ясно, что мы исчезли с лица земли и даже сам он, склонившись над трубкой, как-то соответственно уменьшился.

Все бесшумно вышли в приемную, а из приемной в коридор. Секретарша уже не замечала нас.

Мы с ловцом моей души вернулись в его кабинет. Я почувствовал, что я ему смертельно надоел. Кроме того, мне показалось, что он, как и другие его коллеги, где-то в глубине души доволен, что у начальника сорвался этот педагогический урок. Во всяком случае больше он со мной не говорил.

Он подписал мне пропуск, вывел на листке бумаги номер телефона и сказал:

— Если решите, позвоните по этому телефону.

— Хорошо, — согласился я и вышел из кабинета. Не помню, как я нашел обратную дорогу. Я шел по улицам и чувствовал во всем теле необыкновенную слабость и удовольствие, какое бывает, когда после долгой болезни впервые ступаешь по земле. Убедившись, что за мной никто не следит, я изорвал бумажку с телефоном и выбросил в урну. Правда, почему-то я все же постарался запомнить номер телефона.

На следующий день я, конечно, не позвонил. Теперь каждый день я жил в каком-то тревожном ожидании. Однажды, когда я пришел с работы, жена мне сказала, что звонил телефон, но когда она подошла, трубку повесили. Через несколько дней я сам поднял трубку на звонок и

опять ничего не услышал, вернее, услышал, что на том конце кто-то осторожно положил трубку. Или мне показалось?

Я сам не знал, что подумать. Мне стало казаться, что на улицах и в автобусах я иногда ловлю на себе взгляд сыщика. В проходной института я нервничал, когда дежурный охранник как-то слишком многозначительно и долго просматривал мой пропуск.

Прошло два-три месяца. Как-то мне позвонил мой давний школьный товарищ. Сейчас он был известным адвокатом по уголовным делам, жил в Берлине. Как обычно, мы договорились с ним погулять по городу, а потом прийти ко мне домой и пообедать. Жена очень обрадовалась его звонку. Он и всегда действовал на меня благотворно, а сейчас мне особенно надо было встряхнуться.

Он был остроумным собеседником, немного легкомысленным, но всегда хорошим товарищем. В каждый свой приезд из Берлина он привозил кучу анекдотов, лучше всякой информации дающих представление о положении в рейхе.

— Хайль Гитлер, благодарю за внимание,— сказал он и повесил трубку. Так обычно он кончал телефонный разговор, имея в виду, что все гостиничные телефоны подслушиваются. Кажется, впервые за все это время я искренне улыбнулся. Теперь-то я и сам верил, что телефон мой находится под слезкой.

Обо всем происходящем в Германии мы с моим другом думали одинаково. Кстати, он был как раз тем единственным человеком, которому я рассказал о нашей студенческой проделке.

— В тысячелетний рейх я не верю, но на наше поколение его хватит,— говорил он обычно, когда об этом заходила речь. Как и все люди, склонные к юмору, он был пессимистом. В последний год, судя по Восточному фронту, получалось, что он переоценил возможности рейха. Когда в предыдущий его приезд я ему сказал об этом, он возразил.

— Наоборот,— сказал он,— недооценил безумие Гитлера.

Мы встретились в вестибюле гостиницы. Как только вышли на улицу и отошли на безопасное расстояние, я ему сказал:

— Ну, начинай. Гитлер входит в бомбоубежище, а там...

— Мой бог! — воскликнул он.— Сейчас анекдоты про бомбоубежище рассказывают только вахтеры. Сейчас в моде анекдоты из цикла «Ковроед».

— Это еще что такое? — спросил я.

— Слушай,— сказал он и стал выкладывать один за другим анекдоты этого цикла. Суть их состояла в том, что Гитлер, прослушав донесения о новых поражениях на Восточном фронте, как будто бросался на пол своего кабинета и начинал грызть ковер. Мы прошли несколько кварталов, а он все рассказывал анекдоты из этого теперь уже поистине неисчерпаемого цикла. Навсегда запомнился последний анекдот, хотя он был далеко не лучшим.

Так вот. Гитлер входит в магазин и покупает новый ковер.

— Вам завернуть или здесь будете грызть? — спрашивает продавец.

Только это он произнес, как из-за угла вышел нам навстречу мой гестаповец. Я растерялся, не зная, здороваться с ним или нет. В следующее мгновение сообразил, что этого делать не надо, и вдруг замечаю, что мой товарищ и он кивнули друг другу.

Мы прошли. У меня потемнело в глазах. Он продолжал что-то говорить, но я ни одного слова не понимал. Голос его доносился откуда-то издали... Лихорадочные мысли пробегали у меня в голове. Он работает в гестапо... Они вызвали его как свидетеля... Меня расстреляют...

И все-таки у меня была последняя надежда, что гестаповец оказался его случайным знакомым. Может быть, он с ним встречался по какому-то судебному делу. Недаром он мне говорил, что они вмешиваются не только в политические, но и в уголовные дела...

Но как это проверить? И вдруг мелькнула догадка. Очень просто! Надо прямо спросить у него, и все. Если он с ним знаком случайно, он мне скажет, кто он такой, а если он с ним знаком профессионально, он, конечно, что-нибудь придумает.

— Кстати, с кем это ты поздоровался? — спросил я у него через несколько минут. Господи, как я ждал его ответа, как я обнял бы его, если бы он мне сказал всю правду!

— Да так один,— ответил он с деланной небрежностью. Я почувствовал, как он на мгновение замялся. Дальше все шло как в тумане. Объявили воздушную тревогу. Мы побежали. Возле одного разрушенного дома мы увидели старое, осевшее с одной стороны бомбоубежище.

Он втокнул меня в дыру и сам скатился за мной по бетонным ступеням. Наверху залаяли зенитки. Где-то не очень близко упала бомба, и я почувствовал, как страшно покачнулась под нами земля. Постепенно огонь зениток переместился в другую часть города, и оттуда глухо доносились разрывы бомб.

Как ни страшно, думал я, погибнуть от бомбежки, все-таки неизмеримо страшней погибнуть от руки гестапо. И дело не в пытках. В этом есть что-то мистическое. Это так же страшно, как быть задушенным привидением.

Может быть, дело в том, что тебя отделяют от всех и наказывают от имени целой страны.

Что я, в сущности, сделал? Я написал о том, что каждый грамотный человек знал и так. Разве я придумал законы немецкого языка? И почему то, что видит каждый в отдельности, нельзя увидеть вместе? Но главное, откуда это чувство вины? Значит, я когда-то молча, незаметно для себя принял условия этой игры? Иначе откуда взяться этому чувству?

Мы все еще сидели на холодном бетонном полу, усеянном обломками кирпича. В полутьме казалось, что пол заляпан лужицами крови.

— Ну и черт! — сказал он и начал отряхиваться.— К этому, видно, нельзя привыкнуть.— Он порылся в пальто и вынул пачку сигарет.

— Закуришь?

— Нет,— сказал я. Он несколько раз щелкнул зажигалкой. Закурил. И вдруг в полутьме рядом со мной озарилась светом сигареты его круглая голова. Отчетливо обведенный огнем силуэт головы. Как мишень, неожиданно подумал я, и голова погасла. Я сам не давал отчета в своем решении. Еще три раза озарится его голова, решил я, и я это сделаю. И все-таки после третьего раза я решил спросить у него опять.

— Слушай, Эмиль,— сказал я,— кто с тобой здоровался на улице?

Видно, он что-то почувствовал в моем голосе. Я сам вдруг почувствовал мокрую кровавую тишину бомбоубежища. В этот миг с потолка между бревнами стала осыпаться струйка земли. Было слышно, как песчинки, цокая, ударяются о пол.

— Ну, гестаповец, если хочешь знать, а что? — сказал он. Тело мое обмякло.

— Откуда ты его знаешь? — спросил я.

— Мы с ним учились. На последнем курсе ему предложили, и он нашел возможным посоветоваться со мной...

— И ты ему посоветовал?

— Ты что, с ума сошел! — вдруг закричал он. — Если человек советует, идти ли ему в гестапо, значит, он про себя уже решил. Надо быть сумасшедшим, чтобы отговаривать его... Но в чем дело?

— Дай закурить, — сказала я. Он протянул в темноте пачку. И тут я обнаружил, что моя правая рука опирается на зажатый в ней обломок кирпича. Я отдернул рукав от его скользкой, холодной поверхности. Кажется, Эмиль ничего не заметил. Я рассказал ему обо всем.

— И ты мог поверить? — воскликнул он с обидой.

— А почему ты сразу мне не сказал? — ответил я вопросом на вопрос.

Я чувствовал, как в темноте он напряженно вглядывается в меня.

— Как-то неприятно было объяснять, что я знаком с гестаповцем, — сказал он, немного подумав. Я почувствовал, что между нами пробежал какой-то холодок. Наверное, и он это же почувствовал.

С потолка продолжали осыпаться песчинки.

— Кажется, стихло, — сказал он, вставая, — пойдем отсюда, пока этот пирог на нас не обвалился.

И вдруг на меня напал хохот. То ли это была истерика, то ли разряд облегченья. Я вспомнил про надежное бомбоубежище, обещанное гестаповцем. Я как-то разом представил все, что они обещали Германии и что они продолжают обещать теперь, и мне вся наша немецкая история последнего десятилетия показалась чудовищной по своей смехотворности.

— Не знаю, чему ты смеялся, — сказал Эмиль, когда мы вышли наверх, — ты видишь, что они сделали с нами...

— Да, вижу, — сказал я тогда, кажется, не вполне понимая все, что означали его слова. А означали они, кроме всего, что нашей давней дружбе пришел конец. Он постыдился сказать, что знаком с гестаповцем, а я на этом основании не постыдился подумать, что он может меня предать. Кажется, мало для конца дружбы? На самом деле даже слишком много. Дружба не любит, чтобы ее пытали, это ее унижает и обесценивает. Если дружба требует испытаний, то есть материальных гарантий, то это не что иное, как духовный товарообмен. Нет, дружба — это не доверие, купленное ценой испытаний, а доверчивость до всяких испытаний, вместе с тем это наслаждение, счастье от самой полноты душевной отдачи ближнему человеку.

Я дружу с этим человеком — значит, я ему полно и безгранично доверяю, потому что в моем чувстве затаена догадка о великом братском предназначении человека. А испытания, что ж... Если судьба их пошлет, они будут только подтверждением догадки, а не солидной рекомендацией добропорядочности партнера. Но я, кажется, заговорился...

— Выпьем, чтоб это не повторилось, — сказал я, воспользовавшись неожиданной паузой. Мне показалось, что воспоминания как-то слишком его разгорячили, на нас начали обращать внимание.

— Выпьем, — согласился он, кажется, несколько смущенный своим долгим рассказом.

Мы выпили. Шампанское было уже теплым, и тост мой мне самому показался неубедительным.

Мой собеседник явно устал от своего рассказа и даже как-то слегка осоловел. Чтобы взбодрить его, я сказал, что прошлой осенью был в Западной Германии, где меня больше всего поразило дружелюбное отношение простых немцев к нашей делегации. Он согласно кивнул головой. Кажется, ему это понравилось. И тут он, пожалуй, блеснул еще раз, если в том, что он говорил до этого, был какой-нибудь блеск.

— Мы, немцы, — сказал он, едва сдерживая улыбку, которая на

этот раз показалась мне не такой уж, а то и вовсе не асимметричной,— мы, немцы, надолго сохраняем почтительность к палке.

Тут мы оба расхохотались, и, может быть, наш смех продлился бы до бесконечности, если б я не заметил, что с пристани вверх поднимаются люди. Оказывается, катер уже подошел.

— Ойу! — как-то жалобно и горделиво воскликнул он и побежал к причалу.

Из этого непонятого мне восклицания, идущего из самой глубины его немецкой души, я почувствовал, что он по горло насытился русским языком и решил закругляться.

Часть пляжников еще тянулась по пристани, когда он туда выскочил. Он их увидел. Было слышно, как они громко, издали приветствуют друг друга и издали же начинают друг с другом разговаривать. Мы так же громко встречали друг друга, когда были в Германии. Когда привыкаешь, что вокруг тебя не понимают языка, забываешь, что тебя все-таки слышат...

Пенсионер все еще сидел за столиком со своей рыхлой дамой. Я вспомнил о нем, почувствовав на себе его взгляд.

— Значит, он немец? — спросил он удивленно.

— Да,— сказал я,— а что?

— Так я же думал, что он эстонец,— заметил он несколько раздраженно, словно, узнай он об этом вовремя, можно было бы принять какие-то меры.

— Из ГДР или из ФРГ? — спросил он через мгновение, интонацией показывая, что, конечно, исправить положение уже нельзя, но хотя бы можно узнать глубину допущенной ошибки.

— Из ФРГ,— сказал я.

— Про Кизингера что говорит? — неожиданно спросил он, слегка наклонившись ко мне с некоторым коммунальным любопытством.

— Ничего,— сказал я.

— Э-э-э,— протянул пенсионер с лукавым торжеством и покачал розовой головой.

Я рассмеялся. Очень уж он был забавным, этот пенсионер. Он тоже рассмеялся беззвучным торжествующим смехом.

— А что он может сказать,— обратился он сквозь смех к своей собеседнице,— мы и так через газеты все знаем...

Немец, улыбаясь, подошел к столику вместе с женой и дочкой. Он познакомил меня с ними, и я уже чисто риторически предложил выпить еще одну бутылку. Жена его замотала головой и показала на часы, приподняв смуглую молодую руку. Как и все они, она была в очень открытом платье, спортивна и моложава. Все-таки было странно видеть женщину, которая пережила целую эпоху своего народа да еще при этом была хоть куда. Мне показалось, что девушка с удовольствием выпила б шампанское, если бы родители согласились. Мы с отцом ее крепко пожали друг другу руки, и они ушли в сторону гостиницы.

— Мы победили, а они гуляют,— сказал пенсионер, глядя им вслед и добродушно посмеиваясь.

Я ничего не ответил.

— Если хотите,— уже гораздо строже обратился он к своей собеседнице,— я вам завтра принесу книгу французского академика Моруа «Жизнь и приключения Жорж Занд».

— Да, хочу,— согласилась она.

— Также редкая книга,— сказал пенсионер,— там описаны все ее любовники, как то: Фредерик Шопен, Проспер Мериме, Альфред де Мюссе...

Он задумался, вспоминая остальных любовников Жорж Занд.

— Мопассан,— неуверенно подсказала женщина.

— Во-первых, надо говорить не Мопассан, а Ги де Мопассан,— строго поправил пенсионер,— а во-вторых, он не входит, но ряд других европейских величин входит...

— Я вам буду очень благодарна,— сказала женщина, мягко обходя дискуссию.

— Еще бы, это редкая книга,— заметил пенсионер и вбросил в карман кителя свои четки,— ждите меня завтра на этом же месте в это же время.

— Я вас обязательно буду ждать,— почтительно сказала женщина.

— Ждите,— твердо повторил пенсионер и, кивнув розовой головой, достойно засеменял через бульвар.

Женщина посмотрела ему вслед и спросила у меня с некоторой тревогой:

— Как вы думаете, придет?

— Конечно,— сказал я,— куда он денется...

— Знаете, всякие бывают,— вздохнула женщина. Она неподвижно сидела за столиком и сейчас казалась очень грузной и одинокой.

Я расплатился с официанткой и пошел в кофейню пить кофе. Солнце уже довольно низко склонилось над морем. Катер, который привез жену и дочь немецкого физика, почти пустой отошел к пляжу. Когда я вошел в открытую кофейню, пенсионер уже сидел за столиком с ватагой других стариков. Среди их высушенных кофейных лиц лицо его выделялось розовой независимостью.



ЮСТИНАС МАРЦИНКЯВИЧЮС

★

ИЗ НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

С литовского

АВГУСТ

Снова полночь в зените,
Сон идет стороной.
Только тонкие нити
между полем и мной.

И луна среди неба,
среди его черноты —
как буханочка хлеба
и как знак полноты

той поры, того круга
повседневных примет,
когда видят друг друга
человек и предмет,

когда нива степенна,
жатвы жаждут хлеба,
как молочная пена,
наплывает судьба,

и отвага и милость
в этой тихой красе,
и не кровь задымилась,
а роса на косе.

ДОРОГА ИЗ ДОМА

Что было? Ничего.
Лишь смутное желанье,
чтобы все это было:
дорога эта — в гору,
телега — туча пыли,

мочило, где навалом
мальцы и конопля,
и поле яровое,
и белый дым гречихи,
и мостик через речку,
гудящий глухо-глухо,
как отдаленный гром
и как предупреждение,
что все это вовек
уже не повторится:
дорога эта — в гору,
телега — туча пыли,
и жадные глаза,
наполненные далью.

СТАРАЯ АЗБУКА

Так нянчат сына.
Так сено косят.
Так тесто месят.
Так воду носят.

Так хлеб молотят.
Так стены красят.
Так деготь курят.
Так известь гасят.

Так раны лечат.
Так косы точат.
А так вот плачут.
А так хохочут.

Так меч куется,
чтоб завтра — в сечу.
Так конь несется
судьбе навстречу.

Так мать из сечи
ждет сына, сына.
Так над могилой
скрипит осина.

ШКОЛЬНАЯ МУЗА

С ночного луга при луне,
из белого тумана,
из памяти вернись ко мне,
из школьного романа,
из детских книжек, из поры
неясного броженья,
из той причудливой игры,
игры воображенья.

Вернись из первого стиха,
из той сирени белой,
вернись, испуганно тиха,
из той любви несмелой,
из той, не ведающей лжи
строки, из полуслова,
и лишь глаза мне завяжи —
в тебя поверить снова.

УТРО В ЛИТВЕ. ИДИЛЛИЯ

Полями,
полями
к нам катится солнце.
Что делать станем, мужчины?

Женщины позевывают.
Поскрипывают колодцы.
Водители покуривают —
дороги пока, как пружины,
намотаны на колеса.

Озеро еще потягивается.
Ворочается река.
Над всею землею —
запах молока.

Кровью наливаются
глаза у быка:
вот он солнце боднул рогами
и подбросил под облака.

У дороги бог деревянный
улыбается сквозь ресницы:
ну и славные, дескать, люди,
и животные эти, и птицы!

Перевел Юрий Левитанский.

ОСЕННЯЯ ПРОГУЛКА

Такой нынче мягкий и легкий,
Такой не сентябрьский вечер.
Весь лиственный лес, словно окна,
Раскрыт, просквожен и просвечен.

Хоть раз все осмотрим подробно,
Присмотримся медленным взглядом.
Увидим, что вянет — и вздрогнем.
Да, дело идет к снегопадам!

Ища тишины и единства,
Исходим, как сердце, всю рощу.
Себя обретем, возвратимся.
Вернемся. Но разве вернешься?..

Идти нам — багряные стяги
Зари над собою поднявши...
Послушай: она обещает
Рождение. Может быть, наше?

Перевел Д. Самойлов.



АННА АХМАТОВА

★

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ИЗ ПЕРВОЙ ТЕТРАДИ

(Отрывок)

Всю ночь не давали заснуть,
Говорили тревожно, звонко,
Кто-то ехал в далекий путь,
Увозили больного ребенка,
А мать в полутемных сенях
Ломала иссохшие пальцы
И долго искала впотьмах
Чистый чепчик и одеяльце...

1909. Киев.

ОДИНОЧЕСТВО

(Из Рильке)

О святое мое одиночество — ты!
И дни просторны, светлы и чисты,
Как проснувшийся утренний сад.
Одиночество! Зовам далеким не верь
И крепко держи золотую дверь,
Там, за нею, желаний ад.

1910. Царское Село.

:

На Казанском или на Волковом
Время землю пришло покупать.
Ах! Под небом северным шелковым
Так легко, так прохладно спать.

Новый мост еще не достроят,
Не вернется еще зима,
Как руки мои покроет
Парчовая бахрома.

Ничьего не вспугну веселья,
 Никого к себе не зову.
 Мне одной справлять новоселье
 В свежевыкопанном рву.

8 июля 1914. Слепнево.

ИЗ ЛЕНИНГРАДСКИХ ЭЛЕГИЙ¹

(О десятих годах)

И никакого розового детства...
 Веснушечек, и мишек, и игрушек,
 И добрых тётъ, и страшных дядь, и даже
 Приятелей средь камешков речных.
 Себе самой я с самого начала
 То чьим-то сном казалась или бредом
 Иль отраженьем в зеркале чужом,
 Без имени, без плоти, без причины.
 Уже я знала список преступлений,
 Которые должна я совершить.
 И вот я, лунатически ступая,
 Вступила в жизнь и испугала жизнь:
 Она передо мною стлалась лугом,
 Где некогда гуляла Прозерпина.
 Передо мной, безродной, неумелой,
 Открылись неожиданные двери,
 И выходили люди и кричали:
 «Она пришла, она пришла сама!»
 А я на них глядела с изумленьем
 И думала: «Они с ума сошли!»
 И чем сильнее они меня хвалили,
 Чем мной сильнее люди восхищались,
 Тем мне страшнее было в мире жить;
 И тем сильнее хотелось пробудиться,
 И знала я, что заплачú сторицей
 В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме,
 Везде, где просыпаться надлежит
 Таким, как я,— но длилась пытка счастьем.

4 июля 1955. Москва.

* * *

Уходи опять в ночные чащи,
 Там поет бродяга-соловей
 Слаще меда, земляники слаще,
 Даже слаще ревности моей.

¹ «О десятих годах» — последняя из «Ленинградских элегий» по времени написания. (Здесь и далее примечания академика В. Жирмунского.)

* * *

Глаза не свожу с горизонта¹,
 Где метели пляшут чардаш.
 Между нами, друг мой, три фронта² —
 Наш, и вражий, и снова наш.

1942—1943. Ташкент.

ПРИЧИТАНИЕ

Послесловие к «Ленинградскому циклу»

Ленинградскую беду
 Руками не разведу,
 Слезами не смою,
 В землю не зарюю.
 За версту я обойду
 Ленинградскую беду.
 Я не взглядом, не намеком
 Я не словом, не попреком,
 Я земным поклоном
 В поле зеленом
 Помяну.

1944. Ленинград.

Другое послесловие к «Ленинградскому циклу»

Разве не я тогда у креста,
 Разве не я тонула в море,
 Разве забыли мои уста
 Вкус твой, горе!

16 января 1944.

СМЕРТЬ

И комната, в которой я болею³,
 В последний раз болею на земле,
 Как будто упирается в аллею
 Высоких белоствольных тополей.
 А этот первый — этот самый главный,
 В величии своем самодержавный,

¹ «Глаза не свожу с горизонта» — письмо из Ташкента другу в Ленинград.

² «Три фронта» — немецкие войска, блокировавшие Ленинград, частично находились в окружении советских войск

³ «И комната, в которой я болею...» — третье стихотворение из цикла «Смерть». Не было опубликовано вместе с другими. Первые два см. в сб. «Бег времени», стр. 353. Ахматова во время пребывания в Ташкенте тяжело болела тифом.

Но как заплещет, возликует он,
 Когда, минуя тусклое оконце,
 Моя душа взлетит, чтоб встретить солнце,
 И смертный уничтожит сон.

Январь 1944. Ташкент.

* * *

И очертанья Фауста вдали
 Как города, где много черных башен
 И колоколен с гулкими часами,
 И полночей, наполненных грозюю,
 И старичков с негётевской судьбою,
 Шарманщиков, менял и букинистов,
 Кто вызвал черта, кто с ним вел торговлю,

И обманул его, а нам в наследство
 Оставил эту сделку...
 И выли трубы, зазывая смерть,
 Пред смертью смычки благоговели,
 Когда какой-то странный инструмент
 Предупредил и женский голос сразу
 Ответствовал, и я тогда проснулась.

1945.

* * *

Особенных претензий не имею
 Я к этому снятельному дому¹,
 Но так случилось, что почти всю жизнь
 Я прожила под знаменитой кровлей
 Фонтанного дворца... Я нищей
 В него вошла и нищей выхожу.

ТВОРЧЕСТВО

...говорит оно:

Я помню все в одно и то же время,
 Вселенную перед собой, как бремя,
 Нетрудное в протянутой руке,
 Как дальний свет на дальнем маяке
 Несу, а в недрах тайно зреет семя
 Грядущего...

14 ноября 1959. Ленинград.

¹ «Снятельный дом» — дворец Шереметевых в Ленинграде («Фонтанный дом»), в котором Ахматова прожила около тридцати пяти лет.

СЛУШАЯ ПЕНИЕ

Женский голос как ветер несется¹,
 Черным кажется, влажным, ночным
 И чего на лету ни коснется,
 Все становится сразу иным.
 Заливает алмазным сияньем,
 Где-то что-то на миг серебрит
 И загадочным одеяньем
 Небывалых шелков шелестит.
 И такая могучая сила
 Зачарованный голос влечет,
 Будто там впереди не могила,
 А таинственной лестницы взлет.

19 декабря 1961.
 (Больница имени Ленина.)

* * *

Угощу под заветнейшим кленом
 Я беседой тебя не простой,
 Тишиною с серебряным звоном
 И колодезной чистой водой —
 И не надо страдальческим стоном
 Отвечать... Я согласна, — постой, —
 В этом сумраке темно-зеленом
 Был предчувствий таинственный зной.

1961. Комарово.

ОТРЫВОК

И было этим летом так отраднo
 Мне отвыкать от собственных имен
 В той тишине почти что виноградной
 И в яви, отработанной под сон.

И музыка со мной покой делила,
 Сговорчивей нет в мире никого.
 Она меня нередко уводила
 К концу существованья моего.

И возвращалась я одна оттуда,
 И точно знала, что в последний раз
 Несу с собой, как ощущение чуда,
 Что...

21 августа 1963. Утро. Будка.

¹ Г. П. Вишневская пела «Бразильскую бахиану» композитора Вила Лобоса.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В РИМЕ¹

Заключенье не бывшего цикла
Часто сердцу труднее всего,
Я от многого в жизни отвыкла,
Мне не нужно почти ничего,—

Для меня комаровские сосны
На своих языках говорят
И совсем как отдельные весны
В лужах, выпивших небо,— стоят.

В сочельник (24 декабря). 196⁴

¹ Стихотворение написано во время пребывания в Италии в декабре 1964 года, куда Ахматова поехала для получения присужденной ей международной премии «Этна-Таормина».



ИШТВАН ШИМОН

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

С венгерского

НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Сентябрь. когда срок календарный
отметил меня днем рождения,
я, жизнью тебе благодарный,
сроднился с тобой, как растение.

Сентябрь — мне не страшно с тобою,
ведь в срок моего увядания
прозрачнее небо с водою
и сердце в любви благодарнее.

И я тишины не нарушу:
как чист колокольчик на пастбище,
так звон, западающий в душу,
ответно дрожит затихающе.

Не надо мне жизни посмертной,
я гибну, как гибнет растение,
а ты — ты любовью последней
воздай за любовь и цветение.

Когда же я лягу под ветром,
ты, видя меня — распростертого, —
промчись разъярившимся вепрем,
промчись, не оставь меня мертвого!

НА ВОЗУ С КАРТОШКОЙ

Осенью ни света, ни заката.
В мокрый лес, в плакучие кусты
сумерки глядят подслеповато,
и сарыч кричит из темноты.

Но взгляни: в тумане мирозданья
ясно светит звездный циферблат
(днем из-за слепящего сиянья
небо ниже и пустынной взгляд).

Видишь: зацепилась за макушки
стрелка — ручка плоского Ковша;
золотая цепь из-под кукушки
тянется, мерцая и дрожа.

Гирями — надеждой и тревогой —
время опускается во мглу;
я их подымаю над дорогой,
проезжая с возом по селу.

Лают псы, и лай дремоту сводит,
с поля тянет дымом и ботвой.
Еду я и слушаю, как ходит
маятник луны над головой.

Перевел Олег Чухонцев.



М. ИСАКОВСКИЙ

★

НА ЕЛЬНИНСКОЙ ЗЕМЛЕ*

(Автобиографические страницы)

«ЗА ОКОШКОМ ПЛАКАЛА СОНАТА»

1

После поездки в Смоленск — в город, на который я возлагал столь большие надежды и который так жестоко обошелся со мною, после безрезультатного пребывания в ельнинской больнице я был сильно удручен и запуган. Я боялся даже глядеть на белую бумагу, боялся прикоснуться к книге, полагая, что это сразу же может нанести непоправимый вред моему зрению. Но время шло, и я стал замечать, что вижу чуточку лучше, что пятна, плавающие в поле зрения, стали как бы таять. Я приободрился, стал посмелее и пробовал уже кое-что писать — правда, вначале с большой опаской. Понемногу начал и читать: прочту страницу и поспешно закрываю книгу, отодвигая ее прочь, затем таким же образом — вторую страницу, третью... Словом, читал я как бы тайком от самого себя, как бы воровал каждую страницу. Но — раз за разом — все больше и больше свыкался с мыслью, что, может быть, ничего дурного со мной и не случится. Я даже совсем иногда забывал о своей болезни и брался за чтение и за письмо уже без боязни, без предосторожности.

Писал я, конечно же, стихи. Писать их я начал еще летом двенадцатого года. И, как мне теперь кажется, произошло это от большой любви к поэтическому слову.

Еще до того, как у нас открылась школа, в которую мне предстояло поступить, то есть тогда, когда мне было десять — одиннадцать лет, я знал наизусть большое количество стихов. Если же сказать точнее, то это были не стихи, а песни. Я усваивал их из тех немногих песенников, которые изредка попадали в деревню. От первой до последней строки знал такие песни, как «Умер бедняга в больнице военной», «Шумел, горел пожар московский», «Липа вековая», «Ой, полным-полна коробушка», не зная, конечно, что это отрывок из поэмы Некрасова «Коробейники», и другие. Где-то я встретил и выучил наизусть довольно длинное стихотворение И. С. Никитина «Ссора» («Не пора ль, Пантелей, постыдиться людей»). Это пришло ко мне явно не из песенника: для песни оно было чересчур длинным и в песенниках его не печатали, хотя я пел «Ссору» именно как песню, пел на какой-то свой, собственный мотив.

Но я не только пел, я мог и читать вслух известные мне стихи и песни, и читал их преимущественно самому себе. Мне нравилось, что стихи

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

так складны, так плавны и что в них даже о том, что ты и сам хорошо знаешь, говорится как-то необыкновенно, красиво, интересно. Всему этому хотелось подражать.

В то время мне даже и в голову не приходило, что каждое стихотворение, каждую песню кто-то придумал, кто-то сочинил. Казалось, что они возникли и существуют сами по себе,— ну, например, как возникла и существует речка или лужайка. Может быть, они даже и не возникали, а существовали всегда.

О том, что каждое произведение кем-то написано, сочинено, я понял только в школе. В школьной хрестоматии я впервые увидел и портреты некоторых поэтов и писателей, о чем я уже говорил в этих записках. Но узнав кое-что о таких писателях и поэтах, как Пушкин и Лермонтов, Шевченко и Гоголь, Некрасов, Кольцов и Никитин, я все же представлял, что жили они когда-то, очень-очень давно, и что с е й ч а с, в н а с т о я щ е е в р е м я, ни одного живого писателя нет. Поэтому-то, когда я начал писать стихи, а потом, подражая мне, их начал писать и мой школьный товарищ Петя Шевченков, мы самым серьезным образом думали, что нам-то и суждено стать теми первыми живыми поэтами, которые появятся впервые после того, как все другие поэты и писатели давным-давно умерли. И мы считали, что будет именно только два поэта, поскольку просто невысказано было предположить, что где-то могут быть другие школьники, которые тоже пишут стихи. Ведь это лишь мы каким-то чуть ли не чудесным образом додумались до этого, а другие разве могут додуматься?

2

Самое первое мое стихотворение было таким:

Люблю Кавказ с его горами,
 Всегда покрытыми снегами.
 О, как скалисты его горы,
 О, как опасен путь в горах! —
 Идешь по горной по тропинке,
 С обрыва в пропасть упадешь,
 И там погибнешь ты навеки,
 Себе могилу там найдешь.

«Кавказскую тему» я взял потому, что из школьной хрестоматии узнал кое-что о Кавказе и к тому же прочел в ней стихотворение А. С. Пушкина «Кавказ подо мною. Один в вышине...».

Я был убежден тогда, что писать можно о чем угодно, но только не о том, что ты повседневно видишь, с чем ты повседневно встречаешься. Это, казалось мне, никому не может быть интересным. Поэтому-то, написав одно стихотворение, я не представлял, о чем буду писать другое. Никаких событий, никаких перемен, которые можно было бы описать в стихах, у нас, на мой взгляд, не происходит. И вчера, и сегодня, и завтра — все одно и то же. О чем же тут напишешь?

Классикам я, можно сказать, завидовал. У Никитина есть стихи о степи, о бурлаках, о ямщиках. А у нас нет ни степей, ни ямщиков, ни бурлаков. У Некрасова есть стихотворение «Несжатая полоса». Он увидел где-то такую полосу и написал о ней. А у нас ни разу не было случая, чтобы чья-нибудь полоска ржи осталась в поле несжатой. Опять-таки, выходит, писать не о чем.

Словом, в те годы я был похож на одного начинающего поэта, который в сороковых годах писал мне с Дальнего Востока: «Здесь у нас никаких тем для стихов нет. И природы нет никакой — кругом одни сопки».

Однако же, читая некоторые стихи, посвященные описанию родной природы, я начинал думать, что, наверно, и сам бы смог написать такие же, если бы меня не опередили другие поэты.

Но преимущества других поэтов я постепенно начинал видеть не только в том, что они жили раньше меня, но и в том, что они очень хорошо знали природу, хорошо видели перемены, происходящие в ней. Поэтому-то в их стихах и было все так последовательно и верно. Весьма характерным в этом отношении казалось мне стихотворение И. С. Никитина «Утро» — стихотворение, которое я очень любил. Оно, как известно, начинается словами:

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается...—

а кончается так:

Здравствуй, солнце да утро веселое!

Начав с того момента, когда было еще темно, когда утро только-только намечалось, поэт закончил описание восходом солнца. И все, что происходило между двумя этими моментами, в стихотворении описано и очень последовательно, и очень точно.

Словом, я пришел к выводу, что мне необходимо «изучать природу», необходимо знать все-все, что в ней происходит. И я начал «изучать». Изучал я и весной, и летом, и в ту злосчастную осень, когда вернулся из столь огорчительной своей поездки в Смоленск. Днем я выходил в поле, останавливался где-нибудь в стороне от дороги и начинал наблюдение. Вокруг меня расстилался белый густой туман, шел мелкий-мелкий, насквозь пронизывающий дождь. И хотя, кроме дождя и тумана, кроме мокрой и уже почерневшей стерни, я ничего видеть не мог, как равно не мог ничего и слышать, потому что стояла мертвая тишина, мне все же казалось, что наблюдать необходимо, что это даже интересно. Я как бы ждал, что вот-вот что-то произойдет. Но ничего не происходило и в конце концов я ни с чем возвращался домой. Но дома все же записывал, что именно я видел в поле, что думал при этом. Записывал я и стихами и прозой.

А однажды летом я решил, что не буду спать всю ночь и прослежу во всех подробностях, как наступает утро в деревне. Я сидел на лавке и смотрел в окно, чтобы ничего не пропустить. На востоке еще только-только начинала алеть заря, как в хате послышалось жужжание мух — они проснулись первыми. Я видел далее, как небо становилось светлей и светлей, как менялись очертания предметов, а потом послышалось чирикание первых воробьев. Наконец, пастух заиграл на своей трубе, напоминая хозяйкам, что пора выгонять коров «на росу». Все это было давным-давно знакомо. Но все же я делал вид, что мои наблюдения весьма значительны и совершенно необходимы для будущих стихов.

— Ах, как красиво! Ах, как интересно! — повторял я, пытаюсь уверить самого себя в том, что не напрасно просидел всю ночь у окна...

Не довольствуясь стихами, я пытался писать и в несколько ином роде. Однажды мой отец рассказал, что слышал он об одном человеке, который будто бы в течение двадцати восьми лет каждый день записывал, какая стоит погода в той местности, в которой он жил.

— И потом, — утверждал отец, — этот человек точка в точку мог по своим запискам предсказать, какая погода будет завтра, либо там послезавтра, либо даже через неделю... Она, погода-то, говорят, в точности повторяется через двадцать восемь лет.

Я сразу же воспылал желанием записывать погоду, чтобы потом предсказывать ее: ведь это же так важно для всех крестьян. Сведения о погоде я записывал три раза в день: утром, в полдень и вечером. Но очень скоро бросил свои записи: уж очень длинным был срок — целых двадцать восемь лет!

Пробовал я вести и дневник сельскохозяйственных работ. Каждый день старательно выводил пером примерно такие записи: «Сегодня в нашей деревне сажали картошку», или: «Сегодня наши мужики посеяли овес».

Но и дневник сельскохозяйственных работ мне скоро надоел. Да кроме того, не видел я в нем никакой практической пользы: кому это интересно, когда мужики посеяли овес? Когда надо, тогда и посеяли.

3

Стихи я любил читать всякие, какие только попадались в руки: и те, которые хорошо понимал, и те, где было много неясного. Еще до окончания сельской школы довелось мне читать стихи, в которых часто встречались слова непонятного для меня значения, — такие, например, как Муза, Бахус, Зевес, Венера, Аполлон, Пегас, Феб и другие. И одно время я самым серьезным образом считал, что писать стихи без этих слов просто невозможно, что они — эти слова — и существуют специально для стихов.

И я начал выпрашивать у кого только мог, что значит Муза, Венера, Феб и т. п. Ответы и разъяснения я записывал в специальную тетрадку: Венера — богиня красоты; Аполлон — бог любви; Муза — богиня поэзии...

Что касается Музы, то я почти по-настоящему верил, что она невидимо является к поэтам, вдохновляет их и подсказывает им новые стихи.

Однажды в воскресном приложении к какой-то газете, которую отец привез с почты, я прочитал стихотворение, начинавшееся строкой:

За окошком плакала соната...

Слово соната, как и вся строка, очень понравилось мне своей благозвучностью. Не зная, что оно означает, я тем не менее сразу же отнес его к тому разряду слов, которые хоть и не каждому понятны, но совершенно обязательны в поэзии. И мне очень захотелось, чтобы красивое и звучное слово соната было и в моих стихах. А заодно я решил воспользоваться и другими словами из своей тетрадки.

Однако, чтобы вставить в стихи слово соната, необходимо знать, что оно значит. А я не знал и спросить было не у кого.

Дело происходило зимою, вечером. Я сидел в хате и мучительно думал: что же такое может плакать за окошком зимним вечером?.. И вдруг меня осенило: да это же вьюга!.. Конечно, вьюга! Пишут же поэты, что вьюга плачет и стонет. А тут вьюгу для большей поэтичности называли сонатой. Назвали точно так же, как красивую девушку называют Венерой.

Обрадованный, я вырвал из школьной тетрадки листок и при свете лучины написал следующие строки:

В вечерний час, когда по небу
Луна сребристая катилась,
Ко мне вновь Муза возвратилась,
И стал я поклоняться Фебу.
И тишиной морозной ночи
Была кругом земля объята.
Уж сладкий сон сплал мне очи,
Как вдруг заплакала соната.

Меня соната возбуждала,
 Я стал прислушиваться к ней:
 Она ужасно завывала
 И с часом делалась сильней.

Вскоре я понял свою оплошность и едва не расплакался от огорчения, что, погнавшись за красивым и непонятым словом, написал такую несурязицу. И тогда же я дал себе зарок никогда не пользоваться непонятыми словами, какими бы привлекательными они ни казались. (Правда, нелепые строки выходили из-под моего пера еще не один раз, но это уже по совсем другим причинам.) Даже темы для своих стихов я стал брать другие — более близкие и знакомые мне, «деревенские».

НЕРАЗЛУЧНАЯ ТРОИЦА

1

Осень кончилась, наступила зима. В школе давно уже шли занятия, а я вынужден был сидеть дома, не надеясь, пожалуй, уже ни на что. Между тем меня неудержимо тянуло в школу. Мне хотелось хотя бы только побывать в тех стенах, в которых я еще не так давно учился, хотелось хоть мимоходом увидеть свою учительницу. И, не в силах сдержать себя, я довольно часто направлялся туда. Ходил я обычно вечером, когда занятия в школе уже прекращались, заходил с черного хода и подолгу сидел на кухне, разговаривая со сторожихой. Иногда на кухню заглядывала учительница, и если мне удавалось переброситься с ней несколькими словами, я был вполне удовлетворен.

Однако ходить в школу просто так, без надобности, без всякого повода, было неудобно, и я хорошо понимал это. Поэтому очень обрадовался, что вскоре такой повод появился: в школу в качестве сторожа поступил Николай Афонский; вместе с ним мы и учились, вместе сдавали и выпускные экзамены, но он был на четыре года старше меня.

И я стал ходить к Афонскому, тем более что в новом здании школы, кроме квартир для двух учительниц, была предусмотрена и небольшая комнатка для сторожа. В этой комнатке, отданной в распоряжение Афонского, я иногда оставался и ночевать.

Я помогал своему приятелю носить из сарая дрова, топить печи, возить на саночках воду из Глотовки: вода в школьном колодце оказалась непригодной для питья. Вечерами мы вместе с ним пекли или жарили на конопляном масле картошку: это был наш ужин.

Случалось, что, кроме меня, в школу приходил Петя Шевченков. И тогда мы действовали уже втроем. Так у нас создалась своеобразная троица, которая существовала довольно долго.

2

Выпадали такие вечера, когда наша учительница Е. С. Горанская, проверив ученические тетради и закончив другие свои дела, приглашала нас троих к себе в комнату и читала нам какую-либо книгу. Книги у нее были самые разнохарактерные: то об Александре Македонском, то рассказ Л. Н. Толстого «Много ли человеку земли нужно?» в издании «Посредника», то даже толстовский «Круг чтения». Нам было интересно все, за исключением, может быть, «Круга чтения», который казался и непонятым и просто скучным.

Но среди прочитанных книг была одна, которая и мне и моим друзьям запомнилась на долгие годы. Мне одно время казалось даже,

что лучшей книги вообще не может быть. Этой книгой была повесть В. Дмитриевой «Митюха-учитель». В ней рассказывалось, как полуграмотный деревенский парень Митюха, преодолев, казалось бы, непреодолимые препятствия, которые встречались чуть ли не на каждом шагу, пережив тяжкую личную драму (от Митюхи ушла жена, приревновав его к молодой учительнице, у которой тот брал книги для чтения), в конце концов стал учителем в сельской школе.

Особенно трогательно писательница рассказала о том, как Митюха пешком пошел в Воронеж, чтобы поклониться праху своих земляков — А. В. Кольцова и И. С. Никитина. Я и сейчас еще как бы вижу рослого парня, босиком шагающего по пыльной летней дороге; за плечами у него болтаются подвешенные на палку сапоги, которые он взял для того, чтобы надеть их в городе; по обеим сторонам дороги шумит и качается высокая, поспевающая рожь. А Митюха идет все дальше и дальше...

Запомнился мне и конец повести: зимний вечер; занятия в школе давно уже кончились; за окнами — холодно, вьюжно; Митюха в школе один; он сидит у топящейся печки, сидит в полумраке, не зажигая огня, и думает о чем-то своем. Ему и грустно, и в то же время как-то по-особенному хорошо...

Повесть «Митюха-учитель» понравилась нам, несомненно, потому, что она соответствовала нашим настроениям, нашим стремлениям. В то время и Афонскому, и Шевченкову, и мне тоже хотелось стать кем-то вроде Митюхи-учителя, хотелось достичь в своей жизни чего-то хорошего, хотя мы вряд ли представляли тогда, в чем должно заключаться это хорошее и каким способом следует добиваться его.

3

Злейшими врагами моими в ту зиму были барышни, то есть две дочери нашего попа Евгения Глухарева. Барышнями их называли, по-видимому, по какой-то давней привычке. На самом же деле это были дсвицы-перестарки, вековухи. Жили они со своим вдовым отцом, делать ничего не умели, ничем особенно не интересовались, но мнения о себе были весьма высокого.

Каждый вечер, если не мешала погода, барышни совершали обычную свою прогулку: шли от Оселья к Глотовке, от Глотовки к Оселью, оттуда опять к Глотовке и обратно. И ничего бы в этом не было неприятного ни для меня, ни для моих друзей, если бы на полдороге от Оселья к Глотовке не стояла школа. А раз она стояла, то барышни, нагулявшись вдосталь, обязательно заходили в нее и прямехонько направлялись к учительнице Е. С. Горанской. Мы прямо-таки скрежетали зубами, слышав вечером столь ненавистные шаги на школьном крыльце.

— Ну, опять приперлись! — негодовала наша тройца.

Барышень не любила и учительница, но коль они уж пришли, то она должна была ставить самовар, угощать пришедших чаем и вести с ними пустые, никчемные и вместе с тем бесконечные разговоры.

Барышни уходили только часов в одиннадцать вечера. Время позднее. Учительнице пора спать, и ни о каком чтении вслух уже не могло быть и речи. Оставалось только злиться и на все корки ругать незваных гостей учительницы, что мы и делали как про себя, так и вслух.

4

Приблизительно в марте месяце Коля Афонский ушел из школы по каким-то семейным обстоятельствам, а на должность сторожа в школу поступил другой ее выпускник — Иван Лыженков. Но это не тот Лы-

женков, которого в школе прозвали Ваней Глаголом и который не пошел держать выпускные экзамены, зная, что все равно провалится. Этот Лыженков был однофамильцем и тезкой Глагола, и в школе он числился как Лыженков 2-й.

При новом стороже мы тоже продолжали наведываться в школу, хотя уже гораздо реже, чем раньше. Иногда мы заходили туда все трое, иногда поодиночке — когда как.

У Лыженкова 2-го была одна странная особенность. Все стены его комнаты, в которой он жил при школе, были увешаны бумажными пакетиками, прикрепленными посредством небольших гвоздиков, чаще всего деревянных. Найдет где-либо Лыженков 2-й уже исписавшееся и заржавевшее перо, ототрет его, отчистит насколько можно, заложит в небольшой бумажный пакетик и приколет к стене. А на пакетике непременно напишет: «Перо Ивана Лыженкова». То же самое он делал, если ему в руки попадался, например, обмылок. Он так же запаковывал его, писал на пакетике: «Мыло Ивана Лыженкова» — и пакетик прикреплял к стене, хотя обмылок был совсем маленький, тонкий, как лист бумаги, и воспользоваться им практически было невозможно. Можно было там прочесть и другие надписи: «Спичечная коробка Ивана Лыженкова», «Гвоздь Ивана Лыженкова», «Пуговица Ивана Лыженкова» и тому подобное.

В то время книгу Гоголя «Мертвые души» никто из нас еще не читал. Но о Плюшкине мы знали, если не ошибаюсь, по отрывку, напечатанному в школьной хрестоматии. И нового школьного сторожа мы прозвали Плюшкиным. Однако это не возымело никакого действия, и Лыженков 2-й продолжал прикреплять к стенам все новые и новые пакетики с новыми же надписями: «Иголка Ивана Лыженкова», «Нитки Ивана Лыженкова» и так далее.

Впрочем, скоро Иван Лыженков 2-й ушел из школы, а вслед затем уехал в Донбасс, навсегда покинув родные края. По крайней мере лет тридцать пять я ничего не знал о нем. И только уже после Великой Отечественной войны, в конце сороковых либо в самом начале пятидесятых годов, совсем неожиданно пришло письмо из Донбасса от жены Лыженкова, которую я совсем не знал. Та писала, что ее муж — бухгалтер шахтоуправления — недавно поехал по делам километров за тридцать — сорок от места работы. Назад он возвращался с попутной грузовой машиной, сидя рядом с шофером. В каком-то месте быстро идущую машину сильно трянуло, правая дверца кабины неожиданно раскрылась, и бухгалтер Иван Лукич Лыженков упал прямо на дорогу, разбившись насмерть. Судебно-следственная экспертиза установила, что упавший был сильно пьян и что поэтому он так легко соскользнул с сиденья и вывалился на дорогу... Жена Лыженкова настаивала, однако, на том, что это не так, что ее мужа преднамеренно убил шофер. Она просила меня как депутата Верховного Совета РСФСР направить дело Лыженкова «по правильному пути».

Я сделал все, что мог. Но вряд ли от этого стало кому-либо легче. Иван Лыженков — наш школьный Плюшкин — погиб, и уже никакая сила не могла вернуть его к жизни. Как он прожил свой век, что оставил после себя — хорошего ли, плохого ли — я так и не узнал.

Надо хотя бы коротко рассказать и о третьем Лыженкове, который также кончил школу вместе со мною. Этот третий Лыженков был уже не Иваном, а Семеном. Жил он не в Оселье, как двое предыдущих, а в Гло-

товке. Из него, к сожалению, успел-таки выработаться порядочный негодяй.

Вскоре после начала первой мировой войны Семен Лыженков, которому шел тогда семнадцатый год, устроился помощником волостного писаря в Арнишицкой волости. Жалованье ему положили пятнадцать рублей в месяц. И я хорошо помню, как однажды, придя из Арнишиц в Глотовку на пасхальные дни, он выхвалялся перед ребятами:

— Вот я здесь гуляю с вами, ничего не делаю, а там все равно мне идет пятьдесят копеек в день. Ни за что, а идет!.. Во как!

А потом начал рассказывать со всеми подробностями о своем «обхождении» с молодыми солдатками:

— Молодых солдаток в волость приходит много. И все попадают ко мне. Больше всего приходят насчет пособия¹. Придет какая-нибудь и говорит: «Девочку мою не вписали, пособия на нее не выдают. Впишите ее, пожалуйста. Может, к следующему разу и на нее успеют прислать пособие». А я отвечаю: нет, не буду вписывать твою девочку. Нельзя!.. Я уж тут придумаю, почему нельзя. Ну, солдатка в слезы... Тогда я говорю: ладно, иди за мной! И веду ее в сарай. А там и делаю с ней, что хочу. И уж потом записываю ее девочку в ведомость на получение пособия... А не подчинится она мне, то так и уйдет ни с чем...

Рассказывал все это Семен Лыженков несколько по-иному: он не стеснялся в выражениях, уснащал свою речь самыми непристойными словосочетаниями, самой отборной матерщиной.

Было известно, что он принимал мзду от солдаток и в виде денег, особенно если эти солдатки выглядели так, что Семену неинтересно было идти с ними на сеновал.

— Хоть и небольшие, а все-таки деньги,— говорил он по этому поводу.

Через некоторое время — это было уже в семнадцатом году — Семен Лыженков работал у какого-то подрядчика и в наших местах вербовал для него рабочую силу. Один раз в числе завербованных оказались только девушки, и вербовщик сам сопровождал их до места работы.

— Ну, уж тут,— снова хвалился он,— мне повезло: целая теплушка девок — любую выбирай. Я и выбирал... А если какая заартачится, я ей говорю: убирайся ко всем чертям!.. А убираться-то ей некуда: от дома далеко, на руках — ни копейки денег... И жаловаться некому: главный начальник пока что я...

В конце концов Семен Лыженков женился. Но и тут сказалась его подлая натура: женился он на какой-то не только некрасивой, но просто обезображенной девке. Лицо у нее было так скособочено, что на него не хотелось смотреть, и была она намного старше Семена. Но женился-то он не на ней, а на трех больших сундуках, набитых всяким добром, да еще на деньгах, принесенных ею в дом в качестве приданого.

О своих старых родителях, которые жили весьма бедно, Семен забыл давно. Он никак и ничем не помогал им. Жил отдельно и стремился только к тому, чтобы разбогатеть, разбогатеть во что бы то ни стало. Но помешала сначала болезнь, а потом и смерть. Умер Семен Лыженков совсем молодым от туберкулеза. И признаться, когда я узнал об этом, то несколько не пожалел его, хотя когда-то и учился с ним вместе, и жил в одной деревне.

¹ Во время первой мировой войны царское правительство выплачивало нетрудоспособным членам солдатских семей небольшое пособие. Обычно это пособие выдавалось один раз в три месяца по документам, посланным из волостного правления.

«ЛУНАТИКИ»

1

Настали теплые дни — это была весна уже девятьсот четырнадцатого года. И пока еще не пришла деревенская страда, когда все работают с темна до темна, мы, то есть все те же Коля Афонский, Петя Шевченков и я, продолжали по вечерам встречаться, хотя это происходило не каждый день. Встречались мы у кого-либо из нашей группы или в другом, заранее обусловленном месте.

Если не я, то мои приятели находились в том возрасте, когда юноши обычно уже начинают засматриваться на девушек, а девушки — на них, когда чаще и чаще возникают разговоры о любви. В деревне — на вечеринках, на гуляньях — такие ребята находятся уже не среди мальчишек, а присоединяются к взрослым.

Иначе обстояло дело с нами, вернее с моими приятелями. Правда, о любви они и думали и говорили. И каждый надеялся, что в конце концов его полюбит какая-либо хорошая девушка. Но они хотели, чтобы девушка эта была необыкновенная — и красивая, и умная, и ласковая, и обладала бы многими другими достоинствами. Словом, свои, деревенские девушки в расчет не принимались — они были слишком обычны.

Петя Шевченков, успевший к тому времени прочесть некоторые «чувствительные» романы, был вообще очень невысокого мнения о деревенских девушках. Он говорил:

— Нет, деревенскую я не люблю. С ней даже и поговорить как следует нельзя. Ничего она не понимает. И никаких нежных чувств быть у нее не может. Ей нужно что погрубей...

Я думаю, что это его мнение о деревенских девушках было явно напускным. Просто-напросто ни одна из них не хотела обратить на него внимания, и он за это мстил им, говоря, что они никуда не годятся, и изображая из себя человека, достойного какой-то совсем иной участи.

Так или иначе, с деревенскими девушками наша тройка «не поладила». Мы стали держаться особняком. Весенними вечерами, когда деревенская молодежь собиралась где-нибудь на бревнах, чтобы попеть песни, пошутить, повеселиться, мы втроем проходили мимо, делая вид, что нам это совершенно неинтересно. Мы шли куда-нибудь в поле или в ближайшую рощу.

Девушки, конечно, заметили наше пренебрежительное отношение к ним и в отместку дали нам ядовитое прозвище — «лунатики».

— Вон лунатики уже отправились,— говорили они нам вслед с таким расчетом, чтобы мы непременно услышали.— Ну что ж, пусть их поглазеют на луну,— может, какой толк и будет...

Так за нами и осталось это прозвище.

2

Чаще всего «лунатики» из деревни направлялись к своему излюбленному месту, которое называлось Могилками. Там когда-то находилось деревенское кладбище, но оно давно уже было закрыто. Давно могильные холмики сровнялись с землей, давно сгнили и рассыпались прахом деревянные кресты. Все вокруг заросло травой, кустарником и березами — молодыми и уже довольно старыми. О кладбище напоминало лишь название — Могилки.

Если мы приходили туда вечером, то разводили костер и при свете его читали какую-нибудь книгу. Я помню несколько книг, прочитанных нами на Могилках. Одну из них нам дал отец Коли Афонского. Книжка была религиозно-нравоучительная. В ней рассказывалось о том, как бог

караст пьяниц за их тяжкие грехи, то есть за пьянство: оказывается, еще при жизни у пьяниц заводится внутри всякая пакость—какие-то чертики, змеи, лягушки, черви. Об этом было не только рассказано, но и показано на картинках.

Книжка произвела на нас отталкивающее впечатление.

Но зато с каким увлечением мы прочли у костра «Ночь перед рождеством» Н. В. Гоголя! Эту книгу достал где-то Петя, и он же читал ее, то и дело покатываясь со смеху. Не в силах сдержаться, вместе с ним хохотали и мы: смешных мест в книге было так много, что, вероятно, у нас больше времени уходило на смех, чем на чтение.

«Ночь перед рождеством» мы прочли за два вечера. И сразу же решили, что хорошо бы достать и другие сочинения Гоголя, чтобы тоже читать их вместе. Мы достали книгу повестей Гоголя, но читать ее нам пришлось лишь вдвоем с Петей. На третьего «лунатика» навалили дома такую тяжелую работу, что ни о каком чтении он и подумать не мог.

3

Отец Коли Афонского считался человеком набожным и богомольным. Он не пропускал ни одной церковной службы. Он был церковным старостой. Однако ни церковная должность, ни внешняя набожность не мешали Афанасию Афонскому быть человеком жадным и жестоким, а в своей семье — деспотом, ужиться с которым было очень тяжело. Он довел свою полуслепую жену до того, что она, забитая и запуганная, казалось, совершенно забыла человеческую речь: если она пыталась что-либо сказать в присутствии мужа, то последний немедленно и грубо обрывал ее, ругал последними словами и приказывал замолчать: не лезь, мол, куда тебя не просят. И когда в хату входил муж, несчастная женщина забиралась в какой-нибудь дальний угол, куда-нибудь за печку, чтобы не попадаться на глаза своему повелителю, чтобы «не прогневать» его. Два старших сына Афонского давно ушли из дому и жили где-то под Москвой. Уже на моей памяти ушла от него «куда глаза глядят» и дочь-невеста Марина. Дома с Афонским остался лишь младший сын Николай, о котором я веду рассказ, да его полуслепая мать.

Летом четырнадцатого года отец Николая подрядился делать для одного из помещиков кирпич. Кирпича требовалось много — тысяч пятьдесят или даже больше. Все это предстояло сделать и обжечь вручную вдвоем с сыном Николаем, которому шел восемнадцатый год. Брат себе кого-либо в помощники, кроме сына, Афанасий Афонский решительно отказался: ведь тогда уменьшился бы его заработок, а ему хотелось одному получить всю сумму, которую должен был выплатить помещик.

После того как были построены «шатры», то есть навесы для сушки кирпича в дождливую погоду, началась и выделка его.

Николай копал глину, заготавливал песок, таскал воду, месил глину ногами до полной ее готовности и затем подвозил ее на тяжелой тачке к месту формовки кирпича, где было рабочее место отца. Делал он, конечно, и многое другое. И все это почти без перерыва, в знойный летний день, которому, казалось, и конца не видно.

К вечеру Коля так уставал, что едва мог добраться до деревни. Наскоро поужинав, он шел на сеновал и немедленно засыпал.

Раза два все же мы с Шевченковым приходили к Коле, когда он устраивался на сеновале. И каждый раз он нам говорил:

— Ребята, не могу я с вами пойти никуда... Я чуть живой. Попробовали бы вы повозить с утра до ночи тачку с глиной, тогда узнали бы, что это такое...

Мы и сами видели, до чего Коле трудно.

— Ну, спи, отдыхай,— говорили мы и тихонько уходили от сенного сарая.

Если нашему третьему «лунатику» было так тяжело, то, казалось бы, он мог отдохнуть и как следует выспаться хотя бы в воскресенье, когда работы по выделке кирпича прекращались. Но и это, оказывается, было невозможно: по воскресным дням отец непременно тащил Николая в церковь. Там Николай по приказу отца постепенно должен был причаститься читать псалтырь и петь на клиросе. Афанасий Афонский рассчитывал, что со временем сын его станет псаломщиком, а потом, с помощью божьей, как он любил выражаться, и диаконом, может быть...

Мы и сами видели, до чего Коле трудно.

Словом, Коля Афонский совсем отошел от «лунатиков», и мы — я и Шевченков — остались вдвоем. С нашим другом мы и видеться стали лишь изредка.

4

За лето мы очень сдружились с Шевченковым и стали почти неразлучными. Если он был свободен от своей работы в волостном правлении, то непременно приходил ко мне или же я шел к нему. Мы читали друг другу собственные стихи, а потом важно рассуждали, у кого получилось лучше, у кого хуже. Вместе мы читали и книги, если только они попадали нам в руки.

Из всего, что прочли мы в то лето, особую радость принесла нам книга И. С. Тургенева «Записки охотника». Мы просто были влюблены в нее, а между тем ее нужно было возвратить владельцу, у которого одолжил ее на несколько дней мой друг во время очередного путешествия по деревням Осельской волости.

Мы решили, что перепишем всю книгу от руки, вот она у нас и останется. И начали переписывать. Переписывали мы долго и старательно: то писал Петя, то я. Но переписать все до конца не успели: владелец потребовал, чтобы «Записки охотника» были возвращены немедленно. По-видимому, он заподозрил моего друга, что тот хочет присвоить «Записки», потому и держит их так долго... Пришлось книгу вернуть. Он, тот человек, которому принадлежала драгоценная книга, и не подозревал, до какой степени огорчил нас, не дав возможности переписать всю ее, до конца.

Несколько позже мы с Шевченковым порешили, что будем выпускать свой собственный журнал — рукописный, понятно. Долго перебирали всевозможные названия и в конце концов остановились на названии «Заря».

По уговору первый номер должен был выпустить я, а второй — он, мой соиздатель, третий — опять я, четвертый — он, и так далее.

У моего отца в специально сделанном им же самим сундучке всегда была почтовая бумага, конверты и марки: это — на случай, если кто придет и попросит написать письмо. Но отец иногда разрешал мне брать бумагу и для моих личных надобностей. На этот раз я взял целую тетрадку — шесть двойных листков, сшил листки ниткой и на первом из них старательно вывел крупными печатными буквами: «Заря. Журнал № 1». А дальше столь же старательно и тоже печатными буквами вписал в тетрадку свои стихи и стихи Шевченкова. Но после стихов оставалась еще уйма места. Я тут же соорудил рассказ, взяв за основу случай, происшедший со мною, когда волки сожрали нашего жеребенка, пасшегося вместе со своей стреноженной матерью где-то возле леса. Рассказ также был подобающим образом вписан в тетрадку.

Когда первый номер «Зари» был готов, я понес его в Оселье к Шевченкову. Мы вместе прочли его вслух, поговорили о том, что в нем хорошо и что плохо. Я отдал стихи для второго номера, готовить который Петя Шевченков должен был начать уже со следующего дня.

5

Мой друг очень легко мог перещеголять меня, выпустив второй номер журнала в гораздо большем объеме, чем был первый, выпущенный мною: это потому, что у него всегда было много бумаги. Я определенно завидовал ему, что он может писать сколько угодно и что угодно.

Необыкновенная любовь к бумаге, верней, даже не любовь, а какая-то своеобразная страсть, появилась у меня уже в детские годы и осталась до сих пор, не будучи ни разу удовлетворенной полностью. Я любил и люблю бумагу — бумагу разного формата и разной расцветки, я любил и люблю изделия из бумаги — красивые тетради, записные книжки, блокноты, конверты и многое другое. Когда у меня много хорошей бумаги, я как бы чувствую себя уверенней и веселее.

Петя Шевченков мог легко выпросить несколько листов у помощника писаря, мог взять бумагу и самовольно — из шкафа, закрытого таким висячим замком, который можно было открыть не только без ключа, но даже без гвоздя.

Но главным источником, откуда Петя пополнял свои бумажные запасы, был огромный продолговатый сундук, сколоченный из толстых, плохо оструганных досок. Сундук этот стоял в прихожей волостного правления — сначала в старом здании, а когда в 1913 году было выстроено новое, то и в новом. На сундуке в ожидании, пока придет начальство, обычно сидели мужики, пришедшие в волость по своим делам или по вызову. А в сундуке хранился волостной архив, то есть канцелярские книги разного формата и разной толщины. Ни одна из этих книг не была исписана полностью, до конца, — в каждой можно было найти совершенно чистые листы либо страницы. Иногда попадались и такие книги, где почти все листы были чистыми, за исключением нескольких самых первых. На сундуке висел огромный замок. Однако крышка сундука рассохлась: гвозди, которыми были прибиты доски, поржавели. Поэтому ничего не стоило, не трогая замка, приподнять одну или две верхних доски и достать из сундука книгу потолще, а затем осторожно вырвать из нее ту чистую бумагу, которую в свое время не исписал волостной писарь или его помощник. Никто и никогда не интересовался, в каком состоянии находится волостной архив, цел он или нет.

В детстве я часто слышал выражение, что, мол, пришлось поодымать книги или придется подымать книги. Это значит, что для установления какого-либо события или факта, имевшего место когда-то давно, необходимо обратиться к архивным материалам, к старым записям в книгах.

Это характерное, образное выражение подымать книги мне очень нравилось, и когда, случалось, я вспоминал о нем, то передо мной всегда возникал огромный, похожий на ларь волостной сундук, набитый толстыми канцелярскими книгами, откуда их «поднимал» Петя.

Я — признаюсь уже теперь — и сам помогал Пете добывать таким образом чистую бумагу из волостного сундука. На этой бумаге, в частности, Петя и выпустил второй номер «Зари», и номер был действительно толще, чем мой, первый. Но и второй номер постигла та же участь, что и первый: мы прочли его, поговорили о нем, а потом уничтожили, полагая, что он ни на что уже не понадобится.

ГЛОТОВСКИЙ «ПЕРВОПЕЧАТНИК»

1

В самый разгар нашей с Шевченковым «издательской деятельности» я прочел в газете объявление. В нем доводилось до всеобщего сведения, что в Москве в таком-то магазине (указывался адрес магазина) всякий желающий может приобрести детскую типографию, с помощью которой можно печатать письма, адреса на конвертах и многое другое. Стоимость типографии — девяносто пять копеек, а с пересылкой по почте — один рубль пятнадцать копеек.

Прочитав это объявление, я не находил себе места. Мне во что бы то ни стало захотелось обзавестись собственной типографией, и она не выходила у меня из головы, завладела всеми моими помыслами. Я серьезно думал, что, получив детскую типографию, смогу печатать стихи и даже журнал «Заря» уже по-настоящему.

Однако у меня не было одного рубля пятнадцати копеек, и мне никто не дал бы их дома. Оставалась одна надежда — на сестру.

Сестра моя Анна еще совсем молодой девушкой уехала в Москву и работала там на текстильной фабрике. Я знал, что зарабатывает она мало, что рубль пятнадцать копеек — деньги для нее немалые. Но все же решил написать ей, слезно прося купить и прислать мне детскую типографию:

«Ты лучше мне рубашку не покупай, а типографию купи, купи, купи!» — писал я. (Сестра к пасхе иногда покупала мне ситцу на рубашку, но я готов был отказаться от всего на свете, только бы получить типографию!)

Сестра у меня была добрая, отзывчивая, заботливая. И несмотря на то, что сама она никакой пользы в типографии не видела, так как не умела ни читать, ни писать, все же вняла моим мольбам: через некоторое время отец привез с почты посылку, предназначенную мне. Таким образом я стал владельцем типографии!

Вся детская типография вмещалась в небольшой низкой квадратной коробке, сделанной из картона. Она состояла из деревянной доски, на которой в специальных углублениях-бороздках лежали резиновые литеры: сначала прописные, потом строчные, за ними шли цифры и в конце всего — знаки препинания. Для набора прилагалось две верстатки: одна могла вместить лишь одну строку набора, другая — целых три. Буквы для набора полагалось брать с доски и переносить на верстатку очень маленькими щипчиками. Набор смазывался краской при помощи самой обыкновенной канцелярской подушки, как обычно смазывают печати и штампы, прежде чем их воспроизвести на бумаге.

Словом, не вдаваясь в технические подробности, можно сказать, что если я заполнял набором верстатку, то у меня получалось нечто вроде канцелярского штампа. Разница заключалась только в том, что в канцелярском штампе буквы соединены между собой окончательно и их нельзя оторвать друг от друга, а в моем набранные буквы можно разорвать и заменить их другими, то есть набрать совсем другой текст.

2

После того как я хорошенько разобрался в том, что к чему, началось печатание стихов. Я сделал маленькую тетрадочку (форматом в одну восьмую часть листа писчей бумаги), чтобы постепенно заполнить ее стихами, как принадлежащими мне, так и Пете Шевченкову. А о нашем журнале «Заря» после получения «типографии» уже и помину не было: журнал закрылся, выйдя лишь три или четыре раза.

Я быстро сообразил, что если заполнить набором обе верстатки и приложить их одну к другой, то сразу можно оттиснуть четыре строки — целое четверостишие! А потом, заменив набор новым, отпечатать уже второе четверостишие. А там — и третье... Я радовался и уже наперед представлял, как заполню все страницы своей тетрадки стихами. И буквы будут настоящие, печатные!

Все, однако, оказалось гораздо сложнее и гораздо хуже, чем я предполагал.

Работа глотовского «первопечатника» шла весьма и весьма медленно и трудно. Резиновые эластичные литеры то и дело «выпрыгивали» из шипчиков и летели на пол. Найти их было потом почти невозможно, потому что пол потемнел от грязи и был примерно такого же цвета, как и резиновые литеры. Кроме того, в полу было немало щелей, и некоторые литеры сразу же проваливались. Подолгу я ползал по полу, отыскивая «выпрыгнувшие» литеры, и далеко не всегда находил то, что искал. Таким образом, типография моя постепенно «таяла», количество литер каждый день уменьшалось.

Кроме того, мои верстатки оказались слишком короткими, стихотворные строки в них не вмещались: конец строки приходилось переносить. Это портило внешний вид стихотворных четверостиший. Да и работа была почти двойная: вместо того чтобы отпечатать сразу четыре строки, я мог оттиснуть только две. А для двух следующих надо было разбирать набор и набирать затем новый. И часто бывало так, что за целый день я смог напечатать в своей тетрадке лишь два или три четверостишия. И чем дальше, тем все хуже и хуже работала глотовская типография. Многие литеры были растеряны, и их не хватало при наборе, сама работа оказалась очень утомительной, и я постепенно охладел к ней, тем более что, как я потом подумал в свое оправдание, печать-то все-таки была ненастоящая.

На этом и закончилась «издательская деятельность» как моя, так и моего соиздателя. Но я долго еще раздумывал о том, как же это все-таки печатаются книги, журналы и газеты. Ведь если их печатать таким способом, как я (а другого способа я тогда не мог и представить), то на одну книгу, на один экземпляр ее, понадобится, наверно, несколько лет. А между тем газеты, в которых печатных букв больше, чем в иной книге, выходят каждый день. Как это все делается?..

«Тайну» книгопечатания и газетопечатания я разгадал лишь летом 1917 года, когда мне пришлось побывать в ельнинской типографии. Но об этом я расскажу после.

ПЕТР ШЕВЧЕНКОВ

1

Фамилия моего друга была вовсе не Шевченков, а Тимофеев: Петр Тимофеевич Тимофеев. Именно с этой фамилией он пришел в школу и проучился там два года тоже с ней. Однако летом в двенадцатом году, когда я однажды пришел к нему, он с гордостью сообщил, что теперь его фамилия не Тимофеев.

— А как же?

— Теперь я буду подписываться Петр Шевченко, — охотно и с видимым удовольствием сообщил мне Петя, с особым старанием и выразительностью произнося букву «о» на конце слова.

— А зачем ты это придумал? — поинтересовался я.

— Да я и не придумывал вовсе. Был такой поэт Тарас Григорьевич Шевченко. Ты же сам видел его в книжке: он там рядом с Гоголем нарисован... Я себе тоже хочу такую фамилию, как у него.

— Но как же так? — недоумевал я.

— А очень просто. Ты разве не знаешь, что многие писатели меняли свои фамилии... Это псевдонимом называется. И я хочу переменить. А то Тимофеев — фамилия не интересная. Тимофеев, Киреев, Андреев — скучные какие-то фамилии.

Я не знал тогда, как мне отнестись к намерению своего друга переменить фамилию, не понимал — хорошо это или плохо и можно ли так поступать вообще: вдруг переменить фамилию? Поэтому я ничего не ответил Пете. Но мне понравилась его решительность, и я даже позавидовал ему.

Ему, по-видимому, действительно приглянулась необычная, не похожая на русские фамилия великого украинского поэта. К тому же он наверняка рассчитывал, что знаменитая фамилия возвысит в глазах окружающих и его самого, выделит из общей массы людей: вон, мол, смотрите, Шевченко идет! — будут говорить о нем. Не какой-нибудь там Тимофеев либо Матвеев, а Шевченко!

И Петя действительно стал подписываться под своими тщательно переписанными стихами: сочинил Петр Шевченко.

Когда осенью начались занятия в школе, учительница много раз пыталась объяснить своему ученику, что нехорошо присваивать фамилию знаменитого писателя, но Петя упорно стоял на своем и никак не хотел возвращаться к своей старой фамилии. Это было бы даже позорным для него, поскольку он уже всем рассказал, какая у него знаменитая фамилия. И вот когда даст, бывало, учительница новые тетради ученикам, Петя надпишет свою непременно так: «Тетрадь ученика 4-го класса Петра Шевченко». На вызов учительницы: «Тимофеев — к доске!» — он не отзывался или в крайнем случае «поправляя» свою наставницу:

— Я не Тимофеев. Я — Шевченко.

В конце концов учительница перестала уговаривать его. Но все же она добилась, чтобы к фамилии Шевченко ее строптивый ученик прибавил в конце букву в. Таким образом он стал не Петр Шевченко, а Петр Шевченков. На это он, хоть и очень неохотно, все же согласился.

Петр Шевченков прожил со своей новой фамилией всю жизнь. Больше того, этой фамилией сразу же стала пользоваться вся семья Шевченкова: мать, отец, младший брат, а потом и сестры.

2

Я уже говорил, что Петя служил рассыльным в Осельском волостном правлении. Поступил он туда еще до нашего с ним знакомства — вероятно, году в десятом, когда ему было около тринадцати лет.

Работа рассыльного в волостном правлении трудная и беспокойная. В нашей сельской волости было тридцать семь деревень и сел, несколько хуторов, а также помещичьих усадеб. Нередко случалось так, что какой-либо срочный циркуляр надо было доставить сразу во многие места. Рассыльному требовалось не менее трех дней, чтобы обойти всю волость, побывать всюду, где требуется. И Петя делал это в любую погоду: и тогда, когда ярко светило солнце, и когда лил дождь либо шел снег, и в осеннюю слякоть, и в весеннее половодье.

Случалось и так, что только-только волостной рассыльный обойдет всю волость, только-только вернется домой, чтобы отдохнуть, как писарь или помощник снова посылают его в столь же длительный поход. Но бывало, конечно, и так, что у Пети оказывалось два, три или даже четы-

ре свободных дня, и тогда он занимался, чем хотел. В такие дни мы обычно с ним и встречались.

Петя часто рассказывал мне, как он ходит по деревням, как в половодье, не в силах перебраться через реку, бросает стоящему на том берегу человеку принесенную из волости бумагу, предварительно завернув в нее камень; большей частью бумага благополучно достигала того берега, но бывали и «недобросы»: камень падал в воду, а вместе с ним тонула и казенная бумага. Ох, тогда попадало от писаря!

Чтобы меньше было хождения, Шевченков иногда прибегал к хитрости: встретит в волостном правлении мужика, пришедшего по своим делам, и, во-первых, вручит ему бумагу для той деревни, где живет мужик, и, во-вторых, прибавит штуки две или три, чтобы тот отнес в соседние деревни. И ничего, мужик берет. Для мужика, говорил Петя, и волостной рассыльный — начальник.

— Ну, а где же ты еду берешь, когда ходишь по деревням? — спросил я однажды у Пети.

— Еда — дело пустое, — деловито ответил он мне. — Меня знают во всех деревнях и в любой накормят, стоит только попросить...

Пожалуй, это последнее обстоятельство — «в любой деревне накормят» — было для Пети Шевченкова наиболее выгодным из всего того, что давало ему рассыльничество, потому что семья его жила крайне бедно и даже попросту голодно.

3

В те годы, о которых я говорю сейчас, семья Шевченковых состояла из четырех человек: матери, отца, Пети и его младшего брата Николая. Потом — одна за другой — в семье появились две девочки.

Ни земли, ни даже огорода у Шевченковых не было. Все, чем они располагали, так это старая изба, у которой уже начали отваливаться углы. Кроме Пети, никто из Шевченковых нигде не работал и ничего не зарабатывал. А Петин заработок был три рубля в месяц.

Все, знаящие отца и мать Шевченковых, безоговорочно осуждали их, считая обоих невероятными лентяями, лежебоками.

— Есть нечего, обуться и одеться не во что, а они хоть бы палец о палец ударили, — говорили о них. — Уж хоть бы детей родных пожалели...

Все это было правильно. Бывало, наступит летняя страда, все от мала до велика в поле. Надо убрать все вовремя, пока стоит хорошая погода. Все спешат, торопятся, чуть ли не разрываются, чтобы всюду успеть. А Тимофей Шевченков в это время лежит на печке (верно, я сам видел — в летнюю жару да еще на печке!) или чинит лапти, которые в такую пору обычно почти никому не нужны. А между тем он еще молод: ему не более тридцати пяти — тридцати семи лет. И здоровьем бог не обидел. Тимофей свободно мог бы пособить кому-либо в косье или в чем другом. Смотришь — и заработал бы что-нибудь — ну, хотя бы пуд хлеба или мешок картошки.

Петина мать — то же самое. Бабы с темна и до темна жнут, не разгибая спины, из сил выбиваются, а она — в лес за грибами да за ягодами.

Осенью, когда сельскохозяйственные работы закончены, мужчины — все, кому только возможно, — едут в города на заработки. Иные едут по вербовке, а многие — на свой риск и страх. Но едут. А Тимофей Шевченков никуда не едет. Он не может расстаться со своей печкой...

Все это я примечал сам еще в детские годы, но вряд ли это беспокоило меня. Лишь когда стал взрослым, начал серьезно задумываться: почему никто из Шевченковых ничего не хочет сделать, чтобы семья их

жила ну хоть чуточку лучше. Что им мешает — лень или есть какие-то другие причины? И я пришел к выводу, что не работают Шевченковы-старшие, конечно, от лени, но что столь упорная лень, безразличие, равнодушие ко всему появились не сами по себе, а были вызваны какими-то весьма вескими причинами. Вероятно, много лет подряд, рассуждал я, семья Пети Шевченкова — не только его отец и мать, но возможно, что и дед с бабушкой, — выбивались из сил, делали все, что могли, чтобы жить по-человечески. Но у них ничего не выходило, как это бывало в те времена со многими. Неудача следовала за неудачей, беда — за бедой. А другие люди как бы и не замечали их, — никто даже не подумал протянуть им руку, чтобы помочь выбраться из трясины, которая называется бедностью. И, конечно, у Шевченковых опускались руки, надежды сменялись безнадежностью, вера — безверием. В конце концов появилась полная апатия ко всему, полное нежелание делать что-либо. Делай — не делай, говорят в таких случаях, все равно ничего не изменится, все равно лучше не станет. К этой «философии», сами того не замечая, пришли, привыкли, по-видимому, и Шевченковы — мать и отец. Других объяснений я найти не мог.

Безразличие ко всему, в том числе к своей собственной судьбе, не исчезло у Шевченковых даже после того, как произошла Октябрьская революция. Безземельные Шевченковы сразу же могли — уже в начале восемнадцатого года — получить землю, а при некоторых усилиях — и лошадь, и сельскохозяйственный инвентарь. Это тем более так, что сын их Петр, ставший к тому времени совсем взрослым, работал в земельном отделе Осельского волисполкома. Но Шевченковы предпочли остаться безземельными. Единственно, что они сделали после революции, так это снесли свою старую хату и на ее месте поставили другую — правда, не новую, но такую, которая могла послужить еще не один год. Кроме хаты, они завели небольшой огород. Вот и все. Что же касается образа жизни, то он остался прежним, не изменился ни в чем.

4

Конечно, поведение родителей, их характер, их образ жизни сказались и на детях, в частности на Пете.

Петя, как я думаю, был человеком способным, сообразительным, и он мог бы сделать в своей жизни гораздо больше того, чем сделал. И если он не сделал положенного ему, то я объясняю это только тем, что его уже с детства как бы «размагнитили», у него не было силы воли, он не приучился (и его никто вовремя не приучил) к систематической, каждодневной работе, тем более к работе трудной. У него могли быть и были вспышки желаний, когда казалось, что он перевернет горы. Но вспышки гасли, и он становился совершенно равнодушным к тому, чего только что хотел добиваться.

Больше всего мой друг Петр Шевченков любил писать стихи. Но и тут у него не хватало упорства, чтобы хоть минимально подготовить себя для поэтической работы. Он мог писать, пожалуй, только то, что пишется само, без всяких усилий.

Я, уже будучи взрослым, много раз пытался помочь своему другу детства выбраться из того, по его выражению, «болота», в котором он находился.

В начале девятнадцатого года меня назначили редактором уездной газеты в Ельне. И Петя Шевченков то и дело писал мне все одно и то же, хотя и с различными вариациями: мол, ты теперь живешь в городе, а я пропадаю здесь, в деревенской глуши, где и слова-то не с кем сказать:

говори — не говори, все равно никто тебя не понимает; а там у тебя и люди другие, и книг, наверно, много, и доклады всякие ты можешь слушать, когда захочешь; вот мне бы туда...

Я подумал: в самом деле, почему бы Петра Шевченкова не пригласить на работу в Ельню? Это было вполне возможно.

В то время я не только редактировал газету, но по совместительству заведовал и ельнинским отделением «Центропечати». Отделение это занималось тем, что распределяло поступающую из центра литературу и рассылало ее на места. Оно же рассылало и ельнинскую газету. Работа не столь уж сложная, и я правильно решил, что Петр Шевченков вполне справится с ней. Договорившись, с кем требовалось, я написал своему другу, чтобы он как можно скорей переезжал в Ельню, чтобы занять пост заведующего уездным отделением «Центропечати». Было это в июне или июле девятнадцатого года.

5

Петр Шевченков приехал, приступил к работе. Поселился он в моей комнате, вместе со мной. Питался тоже тем, что могло найтись у меня. А у меня почти ничего не было, и мы часто попросту голодали. Это сразу же не понравилось Шевченкову и настроило его на грустный лад. А однажды дело дошло до того, что и он и я готовы были сделать что угодно, только бы найти хоть немного какой-нибудь еды. И мой друг предложил, вспомнив, очевидно, свои рассыльнические времена:

— Пойдем в какую-нибудь ближайшую деревню и попросим поесть.

Я ответил, что просить не буду, что я не умею просить и ничего у меня не получится.

Петя сказал:

— Просить буду я. Ты только будешь присутствовать.

И мы пошли. Может быть, я сейчас неточно помню название деревни, куда мы отправились, но, по-моему, то была деревня Коноплинка — верстах в двух или трех от Ельни.

Мы не случайно выбрали такой час, когда коров только что пригнали с поля и хозяйки начали их доить. Вначале мы с Петей делали вид, что, как бы прогуливаясь, зашли из Ельни в эту деревню и вот медленно бредем по улице просто так, от нечего делать. На самом же деле Петр искал удобную «позицию». И такая «позиция» нашлась. Поодаль одного из дворов, на небольшой лужаечке, стояли три мужика и о чем-то разговаривали. Мы не торопясь подвернули к ним, поздоровались и как-то незаметно включились в разговор. Петр Шевченков, вероятно, для пущей солидности, назвал даже, кто мы такие. Нам стали задавать всевозможные вопросы о международном положении, о войне, которая все еще продолжалась, о том, почему нет никаких товаров, и о многом другом. Мы отвечали как могли. А потом, через некоторое время, мой товарищ решил, очевидно, что долгожданный миг настал, и ляпнул: так и так, мол, мы совсем голодные, три дня ничего не ели, так вот — не можете ли вы чего-нибудь...

Мужики от неожиданности прямо-таки опешили и все вдруг замолчали. Замолчал и Петр Шевченков, не успев договорить всю фразу до конца. И молчание это показалось мне удручающе тягостным, невыносимым.

И вдруг один из мужиков совершенно неожиданно и просто сказал:

— Что ж, это можно.

С моих плеч как гора свалилась.

Кончилось тем, что нам дали по кружке парного молока и по куску настоящего ржаного хлеба, которого я уже давно не пробовал. И мы —

редактор уездной газеты и глава уездного отделения «Центропечати» — с необычайной жадностью, и в то же время сгорая от стыда, пожирали принесенную еду, торопились прикончить ее поскорей, как бы боясь, что ее могут отобрать у нас.

Когда мы уже в потемках вернулись в Ельню, я решительно и с какой-то озлобленностью сказал своему другу, что больше на такие штуки не пойду. Пусть умру с голоду, но не пойду!

— И я ни за что не пойду,— отозвался Петя.— А то все-таки неловко получилось.

Впрочем, главную роль сыграло не полуголодное существование, а то, что новая работа быстро стала надоедать Шевченкову. Все чаще и чаще он говорил:

— Ну, что это за работа? — перебирай да рассылай каждый день какие-то никому не нужные брошюры да газеты да бумажки всякие пиши... Не работа, а мертвечина какая-то!.. Да и Ельня — тоже мне город!.. Это лучше дома сидеть. Там пойдешь на Ворончину¹, ляжешь на траву в тени берез и про все забудешь. Просторно, тихо. Только ветерок шумит да птицы поют. А небо синее-синее...

Началось с таких разговоров, а кончилось тем, что через месяц — полтора Петр Шевченко бросил работу в «Центропечати» и уехал домой, в Оселье. Там он снова поступил в волисполком и пока что перестал жаловаться в письмах на свою судьбу.

Но этим дело не кончилось. Месяцев через шесть мне все-таки пришлось опять устраивать своего друга на работу — на этот раз он поступил делопроизводителем в уездный земельный отдел. Однако и там Петр Тимофеевич мог пробыть не больше двух-трех месяцев. А потом ушел, повторяя свое любимое выражение, что-де в земельном отделе — не работа, а мертвечина какая-то...

6

В начале двадцать первого года я переехал в Смоленск — в газету «Рабочий путь». Приглашать Петю туда я уже не решался и потому, что знал его характер, и потому, что начались годы нэпа, появилась безработица и найти работу, особенно для человека, который, в сущности говоря, делать ничего не умеет, стало делом весьма трудным.

Петя в это время жил в Оселье, работал в волисполкоме. Во время своих поездок домой — а ездил я довольно часто — мы много раз встречались с ним. Вместе ходили на Ворончину, вместе лежали на сочной зеленой траве в тени белых-белых, словно вымытых берез, говорили о том, как живет деревня, ну, конечно, и о стихах. Иногда читали какую-нибудь книжку. Мой друг пока и не заикался о том, чтобы я его устроил на работу в Смоленске.

Но когда вышла моя книжка стихов «Провода в соломе», я получил от Шевченкова письмо, в котором не то с завистью, не то с обидой он писал: «Ты теперь стал поэтом печатным. А я так и остался рукописным... Ах, если бы мне попасть в Смоленск, то наверно и я чего-нибудь достиг бы... Уехать из Оселья я хочу так, что даже трудно написать об этом. Поговори ты в Смоленске со своими знакомыми: может быть, они согласятся, чтобы я приехал. Я согласен на любую работу. Согласен быть даже курьером в редакции»².

¹ Ворончина, или Вороньво,— название местности, расположенной недалеко как от Оселья, так и от Глотовки. Когда-то там было поле. Но поле давным-давно забросили из-за того, что земля была неурожайная, и все оно заросло березами, осинами, всевозможными кустарниками. На Ворончине в изобилии водились грибы. На Ворончине мы часто бродили вместе с Шевченковым.

² Содержание писем Шевченкова, а также некоторые характерные выражения из них я привожу по памяти. Подлинники писем у меня не сохранились.

И мне стало жаль своего друга. Я поговорил с редакционным начальством, и мы сошлись вот на чем: предоставить Шевченкову штатную должность редакция не может, потому что все штатные места заняты. Да и неизвестно, что может делать Шевченков. Надо сначала посмотреть на его работу, а там и решать. Поэтому пусть он пока поработает внештатным репортером, а дальше видно будет.

В этом духе я и написал в Оселье.

Петр Шевченков приехал немедленно. Поселить его у себя я на этот раз никак не мог: я уже был женат и мы с женой занимали лишь одну небольшую комнату. Поэтому Шевченков стал жить в редакции, как некогда жил я после своего переезда из Ельни. Это было и неудобно, и в некотором роде удобно. Неудобно потому, что днем, когда шла работа и в редакции и в конторе, у Шевченкова не было своего уголка, где бы он мог уединиться. Но зато после работы (а работа кончалась часа в три дня) в его распоряжении было несколько комнат. Он мог и читать, и писать, или просто обдумывать что-либо. И никто ему не мешал.

В это время — а стояла уже осень — в Смоленске открылась губернская сельскохозяйственная выставка. Редакция поручила Петру Шевченкову пойти на выставку и написать что-либо с ней — ну, если не обо всей выставке сразу, то хотя бы об отдельных экспонатах.

Шевченков пошел, побродил по выставке, но написать ничего не мог. Я пробовал подсказывать ему, как можно написать, обещал переделать его заметку, но пусть он все же скажет в ней, что видел на выставке, что ему понравилось, что не понравилось. Все равно ничего не вышло. Редакция пробовала посылать нового репортера в различные учреждения, в суд, в милицию, чтобы он, получив там необходимую информацию, мог давать в газету небольшие репортерские заметки. Но и тут он оказался не на высоте: или вовсе ничего не приносил, или же писал такие заметки, в которых, кроме общих слов, не было ничего — ни конкретных фактов, ни событий.

Единственно, что мог писать Петя, были стихи. За стихами он проводил долгие вечера и даже целые ночи. Однако писал он так, что печатать его стихи было невозможно. Конечно, если сравнить стихи, написанные в Смоленске, со стихами, которыми мы «баловались» в детстве, то можно было сказать, что Шевченков далеко ушел вперед. Но где-то, на каком-то этапе он задержался дольше, чем следовало, а может быть, даже и вовсе остановился. Словом, его стихи не поднялись выше уровня тех, какие печатались в журнальчике «Жернов». А Шевченкову исполнилось уже тридцать лет.

Я много раз говорил с Петей, вместе с ним мы разбирали каждую его строку. Он обещал поправить все то, что неудачно, что слабо. И он действительно искренне хотел поправить. Однако недостаток не только поэтической, но и общей культуры приводил к тому, что исправлять, дорабатывать стихи он не мог: «Лучше я напишу новые...»

С большим трудом мне удалось «пропихнуть» в газету лишь два или три его стихотворения.

7

Из Смоленска Петр Шевченков уехал тоже очень скоро. Но в деревне опять не ужился. В самом конце двадцатых годов он, по письму одного из своих знакомых, подался в Москву. Но и оттуда очень быстро вернулся домой — все по той же причине.

В начале тридцать первого года, когда жил я уже в Москве, Николай Шевченков уведомил меня письмом, что брат его Петр умер. Николай прислал несколько последних стихотворений, написанных братом.

В № 9-10 журнала «Колхозник»¹ в память о своем друге я напечатал некролог и поместил три стихотворения покойного: «Кино в деревне», «В стране лордов» и «Новое поле». Последнее я хочу воспроизвести здесь:

Новое поле

Проклинал я родимые межи
И ушел от бесхлебных полей.
А теперь, когда трактор их режет,
Они стали любовью моей.

Здравствуй, новая, светлая хата!
Здравствуй, праздник колхозной весны!
Скоро край наш, забытый когда-то,
Станет житницей нашей страны.

Так закончился жизненный путь моего чудаковатого и не приспособленного к жизни друга и товарища Петра Тимофеевича Шевченкова, с которым мы вместе росли, вместе учились, вместе читали книги и совсем еще неопытной рукой писали стихи.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СВИСТУНОВ

1

Василий Васильевич Свистунов, наряду с другими сыгравший в моей судьбе весьма существенную, если не сказать самую существенную, роль, родился в крестьянской семье в деревне Никулино, что недалеко от местечка Хиславичи нынешней Смоленской области.

Его отец — Василий Свистунов — был человеком грамотным, отбывал службу в армии полковым писарем. Из армии он вернулся унтер-офицером и занял опять же государственную должность сидельца (продавца) казенной винной лавки.

Лавка была в деревне Коситчино, в двадцати пяти верстах от Ельни.

Служба в казенной винной лавке дала Василию Свистунову возможность определить в гимназию сначала старшего сына — Василия, а потом и младшего — Степана. Как Василий, так и Степан учились сначала в ельнинской казенной гимназии. Но Василий скоро сбежал оттуда и поступил в смоленскую гимназию Ф. В. Воронина. Степан тоже сбежал, но несколько позже.

Дело в том, что директором ельнинской гимназии долгое время был некто Муратов — сухой, бездушный человек, реакционер, мракобес. Штат учителей у Муратова был подобран тоже соответственный. Учащихся преследовали за каждый пустяк. Порядки, установленные в ельнинской гимназии, называли муратовщиной. Оттуда уходили все, кому только было можно.

После того, как началась первая мировая война и царские винные лавки закрылись, Василий Свистунов-отец организовал в Коситчине потребительский кооператив. Он и возглавлял этот кооператив, и работал продавцом в коситчинской кооперативной лавке. Несколько позже он со

¹ Во избежание путаницы, которая происходит почти всегда, когда речь идет о журнале «Колхозник», я, пользуясь случаем, хочу еще раз объяснить, что тонкий иллюстрированный двухнедельный журнал «Колхозник» выходил в издательстве «Крестьянская газета» в Москве до февраля 1932 года. Редактором этого журнала одно время был я. В 1934 году по инициативе и под редакцией А. М. Горького в том же издательстве начал выходить журнал тоже под названием «Колхозник», но то был журнал совсем другого типа. Предназначен он был для сельской интеллигенции и выходил один раз в месяц. «Колхозник» выходил и после смерти Алексея Максимовича — до 1939 года.

всей семьей переехал в Новую Рудню — волостной центр Рославльского уезда, где тоже работал в кооперации. Только после Октябрьской революции семья Свистуновых переехала в Никулино, где у нее был и свой дом и земля. Но Свистунов-отец и тут продолжал работать в кооперации, хотя характер работы был несколько иной, чем раньше. Так, в 1926 году он задумал создать крестьянский кооператив, который бы взял в свои руки водяную мельницу. До тех пор мельницу арендовал некто Калнин.

Однако Свистунову не удалось достичь того, что он задумал: арендатор Калнин, по рассказам, подкупил самогонщика из деревни Муравьево Сергея, и тот, дождавшись удобного случая, дал Свистунову выпить стакан отравленного самогона. Свистунов через несколько часов умер.

2

Василий Васильевич Свистунов учился в гимназии Ф. В. Воронина до весны 1911 года. Он уже перешел в седьмой класс. Однако учиться дальше не стал. Он твердо решил поехать в деревню, хотя бы в самую заброшенную, в самую захудалую, чтобы учить там грамоте крестьянских детей.

Василий Васильевич считал, что и он, и многие другие люди находятся в большом долгу перед русским мужиком, который и кормит, и поит всех, и взамен этого ничего или почти ничего не получает. Лучшим способом хотя бы частично расплатиться с мужиком за его тяжкий труд он считал, по крайней мере для себя, — учить крестьянских детей, постепенно выводить деревню из того мрака, из того бесправия, в котором она находилась. Это было вполне в духе народнических идей и настроений, воспринятых со всем энтузиазмом молодости.

Брат Василия Васильевича, Степан, рассказывал мне, что у Василия, да и у самого Степана была специальная молитва, которая читалась каждый раз после еды. Вот она, эта молитва: «Благодарю тя, мужиче, яко насытил нас земных твоих благ и удостоил принять хлеб твой насущный, добываемый тобою в поте лица твоего».

Василий Васильевич, выдержав экстерном экзамены на звание сельского учителя, приехал в нашу Глотовскую школу в ожидании назначения на работу. К нам он приехал и потому, наверно, что хорошо был знаком со второй нашей учительницей Александрой Васильевной Тарбаевой. С нею он встречался, когда еще учился в Ельне. В Глотовке он подружился и с первой нашей учительницей — Е. С. Горанской.

3

Скоро состоялось его первое знакомство и с нами, учениками Глотовской школы.

Я хорошо помню тот вечер поздней осени 1911 года. Мы, деревенские школьники — человек шесть-семь, — остались ночевать в классе. Одни остались по необходимости, так как жили далеко от школы и ходить каждый день туда и обратно им было трудно, особенно в ненастную погоду. Другие же, вроде меня, которые жили не так далеко от школы, остались за компанию. В школе, хотя она и была простой крестьянской избой, арендованной на время учебного года, мы чувствовали себя гораздо лучше, чем дома: здесь были друзья и товарищи, горела керосиновая лампа «молния», было светло и тепло. А дома — тусклый свет лучины, дым которой ел глаза, теснота, неустроенность, унылые разговоры взрослых о том, что хлеб скоро подойдет к концу, а денег нет ни

копейки, и так далее. От всего этого на душу ложилась такая тяжесть, что хотелось где-нибудь укрыться, спрятаться от нее. И я прятался в школе, частенько оставаясь там на ночь.

И вот одни из нас сидят за столом под лампой и готовят уроки. Другие же, забравшись на широкую русскую печь, вполголоса рассказывают друг другу различные истории и случаи.

Внезапно открывается дверь, и в класс входит Василий Васильевич. Было ему тогда не более девятнадцати — двадцати лет, но нам он казался уже вполне взрослым и даже солидным. У него была густая черная борода и такие же усы, не говоря уже об огромной копне волос, лежавшей на голове.

— Ну, ребята, приготовили уроки? — очень просто и очень дружелюбно спросил он.

— Приготовили..

— Тогда давайте почитаем что-нибудь.

— Давайте, Василий Васильевич, — хором согласились мы.

Мы рассаживаемся у стола, Василий Васильевич раскрывает принесенную с собой книгу и начинает:

В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков:
Семь временнообязанных,
Подтянутой губернии,
Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости,
Из смежных деревень —
Заплатова, Дырявина,
Разнтова, Знобишина,
Горелова, Неелова,
Неурожайка тож,
Сошлись — и заспорили:
Кому живется весело,
Вольготно на Руси?

О знаменитой поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» до того вечера мы и слыхом не слыхали.

Все слушали затаив дыхание.

В ту пору я, конечно, не мог еще понять всего огромного и глубокого смысла поэмы Некрасова, но поэма по-настоящему волновала и меня, и моих товарищей, многое, о чем в ней рассказывалось, мы видели в жизни, хотя и не задумывались над этим по малолетству.

Поэма увлекала нас еще и потому, что написана была она вроде сказки. А слушать сказки наши ребята могли хоть всю ночь. И мы пришли в полный восторг, когда Василий Васильевич дошел до того места, где рассказывалось о скатерти-самобранке..

Мы просили читать еще и еще. Однако было уже поздно, и Василий Васильевич прекратил чтение, пообещав прийти завтра.

На следующем чтении он предложил:

— А что, ребята, не устроить ли нам литературный вечер, на котором каждый из вас прочел бы что-либо из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»?

Мы, конечно, не понимали тогда, что такое литературный вечер. Однако же сразу и с большой радостью согласились, что вечер устроить надо. Мы смутно догадывались, что это будет что-то очень интересное: Василий Васильевич зря предлагать не стал бы... Все мы до единого были просто влюблены в этого молодого учителя.

Василий Васильевич написал нечто вроде инсценировки. По этой инсценировке каждый из нас должен был «разыграть свою роль», то есть прочесть определенный отрывок поэмы.

Наше выступление состоялось дней через десять. На него пришла вся деревня. Школьная хата оказалась битком набитой народом.

Мне досталась роль мужика Якима Нагого:

...Постой, башка порожняя!
Шальных вестей, бесовестных
Про нас не разноси!

.
А что глядеть зазорно вам,
Как пьяные валяются,
Так погляди поди,
Как из болота волоком
Крестьяне сено мокрое,
Скосивши, волокут:
Где не пробраться лошади,
Где и без ноши пешему
Опасно перейти,
Там рать-орда крестьянская
По кочкам, по зажоринам
Ползком ползет с плетухами —
Трещит крестьянский пуп!

Этот отрывок мне особенно пришелся по душе. Как раз недалеко от нашей деревни находилось точно такое же болото, о каком рассказано у Некрасова устами Якима Нагого. И мне казалось, что Некрасов описал именно наше болото и наших мужиков во время сенокоса на нем. Да и те, что присутствовали на вечере, говорили:

— Вот это уж действительно верно!.. Вот это здорово!.. Ну, в точности, как у нас!..

Некрасовский вечер был первым вечером самостоятельности в нашей местности, и прошел он с большим успехом, о нем долго потом вспоминали в деревне. Никогда ничего подобного раньше здесь не устраивалось.

Для меня же он был настоящим праздником — и потому, что я в нем участвовал, и потому, что все было так интересно и необычно.

Тогда мне казалось, как я уже говорил, что писать стихи можно лишь о чем-нибудь возвышенном: о красоте природы, о звездах, о любви... Да и писать-то надо какими-то особыми, необыкновенными словами — красивыми и даже не совсем понятными. А те слова, которые употребляются в повседневной речи, слова деревенские для стихов не годятся.

Именно Некрасов рассеял это мое заблуждение. Я увидел, что писать можно и о деревне, и о мужиках, и обо всем, что происходит вокруг. И что слова в стихах могут быть самыми обыкновенными, «мужицкими»... В своих стихах я стал описывать жизнь крестьян, их тяжелый труд, разные деревенские случаи и происшествия. Конечно, стихи мои в то время были очень слабыми. Но дело не в качестве их, а в том, что Некрасов как бы указывал мне, как и какие стихи можно и нужно писать. И я думаю, что это «указание» в значительной степени определило направление моих дальнейших опытов в поэзии.

Вскоре после памятного литературного вечера Василий Васильевич уехал. Он получил назначение в одну из сельских школ, находившуюся где-то на Алтае. Но он и после не один раз приезжал в Глотовку: то

осенью перед самыми занятиями в школе, то во время пасхальных каникул, то совсем уже весной, когда занятия в школе только-только кончились или должны кончиться через два-три дня.

Мы радовались каждому приезду Василия Васильевича, потому что каждый приезд неизменно давал нам что-либо новое, интересное, никогда ранее не виданное и не слыханное. Если он рассказывал нам — старшим ученикам—что-либо, то это такое, о чем мы и подозревать не могли раньше; если читал книгу, то это по большей части такая книга, какой не могло быть ни у кого другого. Кто, например, мог прочесть нам «Сказку о копейке» С. М. Степняка-Кравчинского, если издание этого произведения было строжайше запрещено царским правительством? А у Свистунова «Сказка» была: он своей рукой переписал ее в особую тетрадь и по тетради читал нам, и ценность «Сказки» поэтому казалась еще более высокой.

Раза два или три, с разрешения нашей учительницы, Василий Васильевич проводил с нами уроки по физике — уроки, не предусмотренные программой земской школы. И оттого, что о самом сложном он умел рассказывать не только просто, но и на редкость интересно, оттого, что он привез специально для нас необходимые приборы и проводил во время своих уроков различные опыты по физике, которые нам, деревенским ребятам, казались чуть ли не волшебством, — по всем этим причинам мы запомнили свистуновские уроки на всю жизнь. И очень были удивлены и опечалены, когда узнали, что за эти столь интересные и полезные занятия Свистунова с нами нашу учительницу Е. С. Горанскую собираются наказать, едва ли не лишить ее права преподавания в земских школах. Кто-то написал в Ельню донос, что-де Горанская позволяет заниматься с учениками «какому-то проходимцу, недоучившемуся гимназисту», который к тому же «и поведения сомнительного, и в бога не верует»...

Защитил учительницу от грозивших ей больших неприятностей М. И. Погодин. Он сказал, что сам разберется во всем. И действительно разобрался. Он не обнаружил ничего предосудительного ни в поведении учительницы, ни в поступке Свистунова. Только после этого Е. С. Горанскую оставили в покое.

Кстати сказать, от Василия Васильевича я впервые услышал и о так называемых правилах стихосложения. Узнав о том, что я пишу стихи, и прочитав какое-то мое «творение», Свистунов сказал:

— А ну-ка пойдем со мной: я должен тебе кое-что рассказать.

Мы пришли в учительскую, которая учительской никогда не была и только называлась так. В ней хранились школьные учебники, исписанные и новые тетради, глобус, географические карты и другие школьные принадлежности. У стены стояла узкая железная кровать: на ней во время своих приездов спал Василий Васильевич. Мы расположились за небольшим столиком, и Василий Васильевич начал объяснять мне, что такое ямб, хорей, дактиль и другие стихотворные размеры, которыми пользуются поэты. Объяснял он, как всегда, очень просто и понятно, дополняя свои объяснения примерами. Вероятно, на этот раз и ученик его оказался достаточно понятливым и усваивал все очень быстро. Как бы там ни было, но с тех пор я всегда по слуху мог точно определить, где поэт — преднамеренно или непреднамеренно — сбился с размера, где у него один размер, где начинается другой и тому подобное.

Когда разговоры о ямбах, хорях и прочем были закончены, я спросил:

— Василий Васильевич, ведь вы, наверно, и сами стихи пишете, раз все так хорошо знаете и умеете объяснять?

— Нет, не пишу,— ответил Свистунов, и ответ этот был полной неожиданностью для меня.

— Но почему же?

— Как почему? Да не умею, вот и все. Ничего не получается.— Василий Васильевич вдруг рассмеялся, словно вспомнил что-то очень смешное, и продолжал: — Один раз пробовал писать, написал четыре строчки, на этом и кончилось. Зарекся писать...

— Какие же это четыре строчки? Прочтите,— попросил я.

— Ну вот слушай.— И, смеясь, Свистунов прочел:

Роса уже обсохла,
Птицы уж запели.
Ночь уже издохла,
День начал свои затеи.

Над этими стихами посмеялся и я. Было чудно и странно, что такой умный и все понимающий человек не умеет писать стихов. А между тем это, по-видимости, было так. Писать он не умел, но стихи любил и читал их всегда с большой охотой.

5

С течением времени мы узнавали о Василии Васильевиче все больше и больше. Кто-то сказал нам, что Свистунов — толстовец. Имя Льва Николаевича Толстого мы хорошо знали, знали и некоторые его рассказы. Но что значит быть толстовцем — не понимали, конечно. Впрочем, я помню один разговор со Свистуновым, и разговор этот кое-что объяснил нам. Василий Васильевич говорил о непротivлении злу, горячо доказывал, что надо поступать по заповеди: если человека ударили по левой щеке, то он должен подставить правую.

Мы были очень удивлены и на этот раз стали возражать ему: мол, как же это так — тебя бьют, а ты и сдачи дать не смей?.. Но переспорить Василия Васильевича мы не могли: если он во что-либо верил, то защищал это веско и убедительно.

Стало известно и то, что Василий Васильевич — вегетарианец. Это мы восприняли как своеобразное городское чудачество. В деревне трудно было представить человека, который из каких бы там ни было побуждений и соображений отказался бы, например, от селедки или мяса, если они были,— разве что в великий пост в силу особой набожности.

Но даже эти чудачества Василия Васильевича, от которых он, надо сказать, впоследствии избавился,— даже они возвышали его в наших глазах. На нас неотразимо действовало, по-видимому, то, что шел он наперекор всему тому, что сложилось веками, что казалось установленным навсегда. Несмотря на это «навсегда», он, Василий Васильевич Свистунов, думал и действовал по-своему. Кто бы из нас мог подумать, что есть рыбу либо гусятину нельзя? А вот он не ест. То же, наверно, и с непротivлением злу: все действуют так, а он — совсем по-другому.

Я и все товарищи знали от Свистунова также, что Лев Толстой был в больших «неладах» с царем Николаем II и царским правительством, и это особенно привлекало Василия Васильевича к имени и учению великого писателя.

И весьма знаменательным, из ряда вон выходящим поступком было для нас путешествие Василия Васильевича на могилу Л. Н. Толстого летом тринадцатого года.

Утром жаркого летнего дня — стоял, вероятно, июль месяц — Василий Васильевич появился у нас в Глотовке. Собрал нас — человек пять бывших школьников, поговорил, порасспрашивал, кто как живет, что де-

лает, что собирается делать. А потом долго рассказывал нам о Л. Н. Толстом: о его всемирно известных произведениях, о его жизни и смерти и о его учении, которое для многих — как путеводная звезда в жизни. Он рассказал и о том, что в Ясную Поляну ежедневно приезжают и приходят люди — сотни и тысячи людей, — чтобы отдать дань уважения и любви памяти гениального человека, чтобы поклониться его могиле.

— Вот и я решил побывать в Ясной Поляне, — сообщил нам Василий Васильевич. — Собирался уже давно, да вот только теперь выбрался.

Сначала мы думали, что Василий Васильевич пойдет пешком только до станции Павлиново, а там поедет на поезде, но он сказал:

— Нет, я пойду пешком до самой Ясной Поляны... Зачем же на поезде?.. На поезде каждый дурак доедет. Пешком будет потрудней, но зато это и лучше, если подумать, куда и с какой целью ты идешь...

Нам это опять же очень понравилось. Раз человек готов перенести большие трудности, чтобы побывать на могиле Толстого, значит, могила эта действительно дорога ему.

Ушел он из Глотовки после захода солнца, чтобы «идти по холодку». Мы впятером, помнится, пошли провожать Василия Васильевича. Но «холодка» не было даже вечером, было жарко и душно, чувствовалось, что вот-вот соберется гроза. И она действительно начала собираться. Со всех сторон то и дело полыхали яркие зарницы, хотя грома еще и не было слышно.

Мы проводили Василия Васильевича до деревни Шилово, пройдя от Глотовки верст шесть, а то и больше. В поле за Шиловом мы простились со Свистуновым, чувствуя, что как бы присутствуем при начале какого-то очень значительного события, такого события, которое казалось нам и торжественным, и от которого становилось грустно. Свистунов подал каждому из нас руку, повернулся и двинулся дальше, не оборачиваясь назад. Шел он босиком и в одной рубашке, неся за плечами сапоги, подвешенные на палку, а также пиджак, наброшенный на нее. Мы стояли и глядели ему вслед, пока его фигура, все больше и больше отдаляясь от нас, совсем не исчезла в полусумраке летней ночи.

Мы повернули домой. На душе сразу же сделалось как-то уж очень пусто. Нам, однако, надо было спешить, потому что уже совсем явственно и с каждым разом все слышней становились раскаты грома. А перед Глотовкой мы уже пустились бегом, чтобы опередить дождь. И мы успели добежать до начала дождя. Но когда дождь хлынул и я уже лежал в сарае на теплом сене, где обычно ночевал в летнее время, вероятно, не мне одному представилась фигура Василия Васильевича, одиноко шагающего под дождем по ночной, безлюдной дороге, освещаемой лишь вспышками молний.

6

В нашей осельской церкви долгое время не было псаломщика. Наконец он приехал откуда-то. Это был молодой для его должности — не старше тридцати лет, — красивый человек с непривычным для наших мест именем — Юлиан, по фамилии — Родичев.

Юлиан Родичев аккуратно исполнял псаломщицкие обязанности, но на этом все церковное у него и кончалось. Свободного времени у Родичева оставалось много, и он использовал его отнюдь не для церкви. Он охотно лечил больных (лечил, правда, по лечебнику, медицинского образования у него не было), рассказывал мужикам, что пишут в газетах, что происходит как в нашей стране, так и за границей, ходил на охоту, читал книги — отнюдь не церковные. И в бога он вряд ли верил, хотя никому не говорил об этом.

Было похоже, что псаломничество Родичева — не настоящее, для видимости, что он, может быть, и не псаломщик вовсе. Это так и оказалось. Уже после Октябрьской революции я встретил Родичева в Ельне. Он был коммунистом, работал в уисполкоме. А потом его послали руководить совхозом «Мочулы» — одним из первых в Смоленской губернии.

Земли совхоза «Мочулы», если не ошибаюсь, принадлежали некогда Александру Николаевичу Энгельгардту или же в крайнем случае соседствовали с именем Энгельгардта, где тот проводил свои сельскохозяйственные опыты, где писал свои знаменитые «Письма из деревни», которые печатались в журнале Некрасова «Отечественные записки» и затем вышли отдельной книжкой. Этим «Письмам» в свое время дал высокую оценку В. И. Ленин.

Находясь в Мочулах, Юлиан Родичев не раз приглашал меня приехать к нему. Но я все никак не мог собраться, хотя меня сильно тянуло туда: хотелось посмотреть, как живут и работают люди в совхозе. Наконец я собрался в Мочулы, но случилось так, что до них не доехал.

Поздней осенью восемнадцатого года меня командировали в Смоленск. Ехал я туда ночью. И ни в поезде, ни в ожидании поезда на ельнинском вокзале не мог даже подремать, не говоря уже о сне. А в Смоленске мне предстояло побывать во многих учреждениях, и все их я мог обойти лишь на собственных ногах, трамвай не работал. К этому следует прибавить, что целый день я ничего не ел. Словом, когда все, что мне поручили, было сделано, я едва волочил ноги и едва смог дойти до вокзала, чтобы уехать в Ельню. До вокзала, впрочем, я дошел, но поезд, на котором мне предстояло ехать, уже давно отправился.

Вот тут-то я и решил, что поеду в Мочулы. Это ведь не так далеко, думал я. Пробуду там сутки, отдохну, выплусь, ну, конечно, и накормят меня там. А после этого можно будет двигаться и в Ельню.

Как бы подзадоривая меня, у платформы стоял поезд, на котором я мог доехать до станции Энгельгардтовская, а там рядом и Мочулы — рукой подать...

Я быстро подбежал к билетной кассе и попросил билет до Энгельгардтовской. Почему-то в наличии оказались лишь билеты второго класса (по-нынешнему это мягкий вагон). Я не стал раздумывать, быстро схватил то, что было, и выбежал на платформу. Затем вошел в свой вагон, который почему-то был почти пустым. В те годы все вагоны любого поезда обычно были набиты людьми так, что и повернуться трудно. Но я не стал долго раздумывать над этим, нашел свое купе, в котором я оказался в единственном числе, сел на мягкий диван, прислонившись спиной к стенке вагона, и сразу же заснул.

Долго или нет я спал, не помню, но проснулся на неизвестной мне остановке и тотчас же обратился к проводнику:

— Скажите, а скоро будет Энгельгардтовская?

Проводник с удивлением посмотрел на меня:

— Эк хватил — Энгельгардтовская!.. Проехали мы Энгельгардтовскую. Сейчас стоим в Васькове. Слезай, пока не заехал бог весть куда. Я быстро сошел с поезда, а поезд двинулся дальше.

Оказалось, что ждать обратного поезда в Васькове мне придется не менее двенадцати часов. А если поезд опоздает, то и больше... Я начал подумывать, не пойти ли мне пешком по шпалам: дойду до Энгельгардтовской, а там и Мочулы недалеко... Но в то же время я чувствовал, что сил у меня осталось маловато для подобного путешествия. Да и мужики, хорошо знавшие местные условия, с сомнением посмотрев на меня, оглядев мою обувь и одежду, сказали:

— Не дойдешь, парень. В грязи утонешь. Тут, брат, сейчас не дороги, а болото. Да и промочит тебя до костей: видишь, какой дождь лупит!

Я не мог не согласиться с этими доводами и никуда не пошел, терпеливо стал ждать поезда. И когда поезд пришел и я сидел уже в вагоне, мне ни за что не хотелось сходить ни на станции Энгельгардтовская, ни где бы то ни было, хотелось лишь одного: как можно скорее добраться до Смоленска, а там — до Ельни, до дому.

Вскоре после этой курьезной поездки связь моя с Юлианом Родичевым оборвалась вообще: он, по-видимому, куда-то уехал, а куда — я не знаю.

В бытность же свою псаломщиком в Оселье, еще в довоенное время, он в одно из воскресений пригласил к себе всю нашу троицу — Петра Шевченкова, Николая Афонского и меня. Мы расположились в садике, который примыкал к дому, находившемуся почти у самой церкви, — в нем Родичев снимал комнату, — расположились вокруг стола, сделанного из грубых, неоструганных досок, ножки которого были врыты в землю. На столе стояла чернильница, лежали три ручки со вставленными в них новыми перьями и довольно много двойных — большого формата — листов линованной писчей бумаги. Тут же находился один лист, первая страница которого уже была исписана рукой Родичева.

Родичев сказал нам следующее:

— Я, ребята, позвал вас вот зачем. Хочу попробовать послать прошение о том, чтобы в Глотовке закрыли казенную винную лавку, или кабака, как говорят у вас. Вы сами понимаете, что близость кабака к деревням Глотовке, Оселью, Громше и другим очень способствует тому, что многие мужики из этих деревень спиваются, несут в казенку последний грош, оставляют свои семьи без куска хлеба... Я постараюсь уговорить мужиков всех окрестных деревень, чтобы они подписали прошение: пусть начальство поймет, что закрытия винной лавки требуют они сами... Я, — продолжал Родичев, — написал образец прошения — вот он. — И наш хозяин показал нам тот самый лист бумаги, первая страница которого уже была исписана. — Но посылать прошение, написанное моей рукой, нельзя: мой почерк в городе могут узнать, и тогда почти наверняка у меня будут большие неприятности. Да и прошению не поверят: подумают, что это я подбил мужиков написать его, а вовсе не они сами решили просить о закрытии казенки. Будет гораздо лучше, если прошение напишет кто-либо из вас: ваших почерков никто не знает, а если и узнают, кто писал, то вам ровно ничего не будет — ведь вы же еще несовершеннолетние... Если вы согласны со мной, пусть каждый из вас точно спишет то, что написал я. Если случится, что вы напишете что-либо не так или посадите кляксу, берите другой лист бумаги и начинайте все снова. Если опять выйдет какая-либо оплошность, пишите в третий раз... Когда каждый из вас переписет прошение без помарок и ошибок, то из трех мы выберем самое лучшее, и я отошлю бумагу куда следует после того, как мужики поставят на ней свои подписи...

И наша троица взялась дружно за работу. Я был прямо-таки горд тем, что участвую в столь важном деле, что если и вправду закроют у нас казенку, то, значит, в этом будет и моя заслуга.

Кроме того, вид белой чистой бумаги опьянял меня. Я был готов даже нарочно делать кляксы либо допускать описки, чтобы только, взяв новый лист, писать снова и снова. Впрочем, кляксы и ошибки появились то у одного, то у другого из нас сами по себе, без всякой нашей преднамеренности. Поэтому и мне, и моим товарищам пришлось переписывать столь необычную для нас бумагу, какой является прошение, раза по три, а то и по четыре.

Наконец Юлиан Родичев сказал, что хватит, что теперь уже есть из чего выбрать. Он после выберет сам и сделает все, что требуется сделать дальше.

Происходило это летом тринадцатого года. При очередном приезде Василия Васильевича мы рассказали ему, как всеми силами старались писать прошение о закрытии кабака и как нам хочется, чтобы его закрыли.

— Это было бы хорошо, если бы закрыли,— ответил Василий Васильевич.— Но старались вы напрасно: вашу казенку ни за что не закроют.

— А почему вы знаете? — спросили мы.

— А вот почему...— И Василий Васильевич очень просто и понятно, словно бы он объяснял какую-либо арифметическую задачу, начал нам рассказывать о государственном бюджете царской России: что такое бюджет, для чего и как он составляется, на что расходует царское правительство бюджетные средства, за счет чего покрываются расходы...

— И вот смотрите, что получается,— продолжал Василий Васильевич: государственный бюджет царского правительства по доходам составляет два миллиарда рублей. Половину этих денег, то есть целый миллиард рублей, царь Николай получает от прибыли за продажу водки. Так разве он станет закрывать казенные винные лавки, если от этого приток денег в царскую казну уменьшится? Нет, не станет он закрывать и другим не разрешит, чтобы закрывали. Ему, наоборот, важно, чтобы водки продавалось как можно больше. Ну и винных лавок чтобы тоже больше было. А вы — закрывать...

Так Василий Васильевич Свистунов дал нам первый урок о государственном бюджете царского правительства. И Свистунов опять был прав: глотовскую казенку не только не закрыли, но даже ни одним словом не ответили на прошение, которое мы писали с таким старанием.

7

Если Василий Васильевич был в больших «неладах» с царским режимом, то не в меньших «неладах» был он с церковью — и с православной, и с католической, и с любой другой. Разговоры о том, что церковь, религия, вера в бога приносят людям только вред, возникали у нас с Василием Васильевичем не раз, но это чаще всего были разговоры короткие, они возникали случайно, по какому-либо частному поводу, и обычно тут же заканчивались.

Но потом наступил срок, когда Василий Васильевич, по-видимому, задумал поговорить с нами более серьезно. Это было уже в пятнадцатом году, перед самым праздником пасхи. Наш общий любимец, как и раньше, решил часть пасхальных каникул провести у своих знакомых учительниц в Глотовской школе.

Вечером он пригласил нас к себе, и мы пришли в столь знакомую комнатку, которая, как я уже говорил, называлась учительской, хотя в ней был всего лишь склад школьных принадлежностей.

На небольшом столике у окна горела керосиновая лампа с зеленым абажуром, а мы разместились возле столтика на скрипучих венских стульях. Необходимо заметить, что когда в этих записях я говорю мы, то это чаще всего значит, что речь идет о нашей троице, о трех «лунатиках», так как именно «лунатики» после окончания школы долго не могли забыть ее, сильнее других были привязаны к ней, чаще других заходили туда, когда надо и не надо, и также чаще других вели разговоры с Василием Васильевичем, когда он бывал в Глотовке.

Я не помню, с чего начался разговор в тот очень памятный для меня вечер, но разговор буквально завладел нами, и вряд ли кто-либо из нашей тройки согласился бы уйти до окончания его. Впрочем, разговор — это сказано неточно. Был не разговор, а великолепный, необыкновен-

ный, захватывающий рассказ Василия Васильевича о боге, о церкви, о религии и о многом другом, что связано с ними. Мы, то есть Шевченков, Афонский и я, ограничивались лишь тем, что иногда задавали Василию Васильевичу вопросы, прося его объяснить нам то одно, то другое. И он тут же давал самые исчерпывающие ответы, приводя в доказательство самые неожиданные и такие яркие примеры, которые не только убеждали, но буквально покоряли нас.

Сейчас трудно вспомнить какие-либо подробности нашей беседы. Да это, может быть, и не так уж важно. Важнее всего те результаты, которыми закончилась наша беседа.

Мы незаметно для себя просидели у Василия Васильевича всю ночь. И когда вышли из школы, было уже совсем светло. И вышли — все трое — как бы совершенно обновленные, как бы открывшие в себе какой-то иной, радостный мир, которого раньше не знали, как бы нашедшие большую правду, столь необходимую людям.

И тут же, возле школы, мы дали друг другу клятву, что отныне перестанем ходить в церковь, что не будем великим постом говеть и что вообще — бога нет.

— Бога нет! — хором сказали мы все трое с полной убежденностью, что это так, и с большим воодушевлением.

Что касается меня и Шевченкова, то мы не нарушили данной клятвы. Нарушил ее лишь Николай Афонский, убоявшийся отца-деспота, служившего, как сказано, церковным старостой и прочившего своего сына в псаломщики.

8

В намерениях и желаниях Василия Васильевича Свистунова едва ли не главное место занимало открытие крестьянской гимназии (или мужицкой, как часто называл ее Свистунов).

Мысль об открытии такой гимназии зародилась у Свистунова уже давно — вероятно, еще до того времени, как он сдал экстерном экзамены на звание учителя начальной школы. И с тех пор она не давала ему покоя. Выпускникам Глотовской школы Василий Васильевич говорил:

— Ну что же, ребята, начальную школу вы закончили, а дальше-то вам учиться не придется: в гимназию никого из вас не примут. Гимназии строятся не для мужицких детей. А если кто из вас случайно и попадет в гимназию, то вряд ли сможет в ней учиться: во-первых, потому, что за учение надо платить, и притом платить довольно много. Во-вторых, учась в гимназии, надо жить в городе. А на какие шиши он будет жить?.. Вот поэтому-то, — продолжал Василий Васильевич, — нам и нужны свои, крестьянские гимназии, — ну, на первое время хотя бы только одна, — нужны потому, чтобы и мужицкие дети имели право и на деле могли получить полное среднее образование. Конечно, царь никогда не согласится открывать такие гимназии: ему невыгодно, чтобы русский мужик стал грамотным, образованным... Так что за это дело придется взяться нам самим...

И Василий Васильевич начинал излагать, а вернее — пока фантазировать, каким образом, на какие средства можно открыть крестьянскую гимназию. Планов у него было несколько, и он постоянно думал о них: одни из них он сразу же отвергал, другие принимал, но потом видоизменял их, придумывая все новые и новые возможности.

Так, почти сразу же был отвергнут план, рассчитанный на то, что деньги на содержание гимназии дадут богатые жители деревень.

— Какое им дело до крестьянских детей?! — говорил Василий Васильевич по поводу своего же первоначального плана. — Они свои день-

ги лучше пропьют либо в карты проиграют, а на гимназию и ломаного гроша не дадут.

В другой раз Василий Васильевич развивал такую идею:

— Можно организовать большую лотерею. Предположим, будет напечатано два миллиона лотерейных билетов. Стоимость — одна копейка за билет. Распространять билеты можно поручить учителям. И, право же, они продадут два миллиона билетов: никто не пожалеет заплатить за билет одну копейку. Ну, что такое копейка!.. А между тем валовой сбор у нас составит двадцать тысяч рублей! Из этих денег надо будет покрыть расходы по организации лотереи, но останется все же много. И вполне можно будет приступить к делу.

Существовал и третий план открытия крестьянской гимназии, и, по моему, он больше всех других приходился по душе Василию Васильевичу. По его предположениям дело должно было обстоять так:

— Надо найти таких учителей (они несомненно есть и найти их можно!), которые согласились бы преподавать в крестьянской гимназии бесплатно. Зимой они работали бы в школе, а с весны вместе с учениками старших классов обрабатывали бы и засевали землю, чтобы обеспечить весь коллектив продуктами питания на следующий год. Это легче всего сделать в Сибири: земли там много, земля плодородная, и урожаи, как правило, бывают весьма высокими. Ну, конечно, крестьянская гимназия может располагать и некоторыми денежными средствами. Их можно будет время от времени выплачивать учителям, чтобы те могли и обуться, и одеться, и приобрести некоторые необходимые вещи.

Иными словами, Василий Васильевич намерен был создать гимназию-коммуну, в которой крестьянские дети могли бы получать полное среднее образование, такое, как если бы они учились в городских гимназиях.

Василий Васильевич уже пробовал проводить со своими учениками некоторые опыты, находясь еще в начальной школе — где-то на Алтае в Барнаульском уезде, недалеко от станции со странным названием Чик.

Из его рассказов нам было известно, как он и его ученики посадили однажды картофель. И так как посадка была произведена по всем правилам агрономической науки, а ребята умело и очень старательно ухаживали за своим картофельным полем, то урожай получился небывалый — гораздо более высокий, чем у местных крестьян.

Отправлялся Свистунов со своими учениками и на заготовку дров, хотя он мог бы купить дрова за школьные деньги. И тут школьники во главе со своим учителем легко справились с этим делом.

9

Школу-коммуну Василию Васильевичу удалось открыть только в семнадцатом или даже девятнадцатом году. Но теперь сделать это было значительно легче, чем до революции. Вероятно, Советское государство платило учителям — какое ни на есть — жалованье. Тем не менее главную тяжесть по содержанию школы несли учащиеся и учителя. Учащиеся убирали классы, мыли полы, топили печи, варили себе еду, заготавливали дрова и делали многое другое. Учащимся помогали учителя, которые, кроме того, вели преподавательскую работу, не считаясь со временем. Так, например, один Василий Васильевич преподавал в школе и физику, и математику, и немецкий язык, и еще что-то. Столь же усердно работала и первая жена Василия Васильевича — Клавдия Ивановна. Однако свистуновская школа-коммуна просуществовала недолго. Какие-то бюрократы из отдела народного образования решили закрыть ее. И

закрыли. Причем по совершенно нелепому поводу: мол, школа очень уж необычная, не похожая на другие. Поэтому она якобы портит всю стройную систему народного образования, всю картину его.

Василий Васильевич очень тяжело переживал закрытие своей школы-коммуны...

* * *

Последний раз Василий Васильевич был в Глотовке поздней осенью восемнадцатого года. Я в то время работал в Ельне, но на короткий срок приехал в свою деревню, чтобы навестить отца и мать. Тут-то мы и встретились с Василием Васильевичем. У меня даже сложилось впечатление, что он, узнав каким-то образом, что я в Глотовке, приехал вслед за мной специально. Такое с ним иногда бывало: если есть у него немного свободного времени, он вдруг сядет в поезд, приедет в Павлиново, а затем, пройдя пешком двадцать или даже двадцать пять верст, неожиданно-негаданно появляется в Глотовке. Пробудет в ней часа два или три, поговорит с кем нужно — и в обратный путь тем же способом, каким прибыл сюда. Все это было вполне в духе Василия Васильевича и вполне под силу ему — человеку чрезвычайно жизнедеятельному, энергичному, непоседливому. Казалось, что он не может просидеть и одной минуты, чтобы чего-либо не делать, чего-либо не предпринимать.

День, когда Василий Васильевич прибыл в Глотовку в последний раз, был солнечный и морозный. Земля основательно подмерзла, и можно было ходить где угодно без опасения попасть в грязь. Поэтому мой неожиданный гость, не заходя в избу, сказал мне:

— Пойдем побродим где-нибудь в поле или в лесу.

Придя через поле в ближайший перелесок, мы долго ходили по его опушке то туда, то обратно. Земля была густо усыпана желтой осенней листвой, и листва эта грустно шуршала у нас под ногами.

Мой спутник был угрюм и сердит и никак не походил на того Свистунова, которого я знал раньше,— на человека жизнерадостного, веселого, доброжелательного.

Василий Васильевич стал пробирать меня за то, что я ушел из гимназии¹. Он полагал, что, несмотря ни на какие лишения, ни на какие тяготы, я должен был продолжать учение. Мои возражения он пропускал мимо ушей, не принимал их в расчет и продолжал крыть меня на все корки. Кончилось все тем, что мы впервые и притом довольно основательно поссорились.

Этой ссоре способствовало не только то, что я ушел из гимназии, но и то, что Василий Васильевич сильно был расстроен и разобижен действиями рославльских уездных властей.

Дело в том, что он несколько месяцев работал в Рославльской земской управе,— работал и при Временном правительстве, и при советской власти. Сначала он был только членом управы, а потом и ее председателем. Его как учителя больше всего интересовала постановка в уезде дела народного образования. А как раз народное образование и было поставлено в уезде плохо. И никакие усилия Василия Васильевича исправить положение ни к чему не привели: рославльское начальство либо вовсе не замечало его предложений по улучшению работы школ, либо начисто отвергало эти предложения.

Из Рославльской земской управы Свистунов вынужден был уйти. Он отправился учительствовать сначала в Самарскую губернию, а потом в уже хорошо знакомую ему Сибирь. Вот там-то, в Сибири, он и создал школу-коммуну. А в Глотовке он был перед самым своим отъездом.

¹ Речь о том, как я поступил в гимназию, как учился там, будет впереди.

В Глотовской школе уже не работали знакомые Свистунову учительницы — А. В. Тарбаева и Е. С. Горанская, — они перевелись в другие школы. Поэтому и в школу нашу Свистунов на этот раз не зашел. Побродив со мной часа два или три, он отправился обратно. Я некоторое время провожал его, но и тут Василий Васильевич продолжал осуждать меня за мой поступок. А рославльское начальство ругал он самыми последними словами.

Расстались мы с ним если не врагами, то все же не очень дружелюбно. И наши связи оборвались на довольно длительный срок.

10

На страницах этих записок мне еще не один раз предстоит встретиться с В. В. Свистуновым. Но это — потом. Сейчас же я хочу лишь очень кратко рассказать о тех годах, когда мы жили вдали друг от друга.

Василий Васильевич вернулся из Сибири в двадцать пятом году, и приехал он прямо в Москву. Вряд ли стоит перечислять те школы, те рабфаки и другие учебные заведения, в которых он работал, живя в Москве. Важно отметить лишь то, что всюду он показал себя как очень талантливый педагог, до самозабвения любящий школу.

Он был не только талантливым педагогом, но и талантливым учеником. В Москве Василий Васильевич не только работал, но, работая, сумел окончить два факультета — физико-математический и филологический.

В двадцать шестом году, когда готовилась к печати моя первая книга стихов «Провода в соломе», я по делам, связанным с этим изданием, приехал из Смоленска в Москву и впервые после размолвки встретился со Свистуновым. Пошли мы к нему с моим старым приятелем Яковом Матвеевичем Заборовым, который тоже переехал в Москву (раньше он жил в Ельне).

Я не помню всех подробностей этой встречи, но общее впечатление у меня было такое, что Василий Васильевич внутренне очень изменился. Об этом говорило уже одно то, что он женился и жил вместе с женой, хотя раньше он отрицательно относился к браку. Отказался он также и от своего вегетарианства. На длинных, вместительных книжных полках в его комнате я увидел большое количество книг В. И. Ленина. Правда, коммунистом он не был и не стал им. Но я хорошо знал Василия Васильевича. Он никогда не ставил на свои книжные полки книги, которые были ему не нужны, которые он не читал бы самым наивнимательнейшим образом.

Василий Васильевич проявлял большой интерес к моей книжке стихов, которая должна была выйти в Госиздате. И помню, я наизусть прочел ему несколько стихотворений из числа включенных в книжку, и он весьма одобрительно отозвался о них. А Я. М. Заборов рассказал не лишнюю интереса историю, как он помогал мне выпустить мой первый сборник. Дело в том, что по какому-то недоразумению рукопись «Проводов в соломе» (тогда этого названия еще не было — оно появилось позже) первоначально попала в издательство «Долой неграмотность». Издательство послало мои стихи на отзыв А. С. Серафимовичу. Тот прочел, некоторые из них похвалил, о некоторых написал, что они недоработаны. Поэтому издавать книжку он пока не рекомендовал, предлагая автору еще раз пересмотреть свои стихи и поправить в них то, что надо поправить.

Я сам впоследствии видел эту рецензию. Она была небольшая — всего полстраницы машинописного текста.

После неудачи в издательстве «Долой неграмотность» Заборов забрал оттуда мою рукопись и передал ее в Госиздат. При этом Заборов договорился, что возглавлявший тогда литературный отдел Госиздата Осип Мартынович Бескин прочтет мои стихи сам.

О. М. Бескин прочел их вечером и, несмотря на поздний час, начал звонить своим знакомым, рассказывая, что он открыл нового поэта. При этом некоторые стихи он тут же читал по телефону.

Так была решена судьба первой моей книжки «Провода в соломе». И когда в двадцать седьмом году она вышла, я не замедлил послать ее В. В. Свистуну. В ответ я получил исключительно хорошее, дружески-душевное письмо, в котором был и отзыв о книжке, и выражение любви к тем местам и к тем годам, от которых эта книжка начиналась.

11

В последний раз я встретился с Василием Васильевичем лишь в самом начале сорок восьмого года.

Живой, энергичный, любознательный, Василий Васильевич стремился не туда, где легче, а туда, где трудней и где поэтому он нужней. Только этим и можно объяснить, что, перебивав во многих местах нашей страны, он решил поехать на Север, за Полярный круг, где и учительствовал вместе со своей женой Н. Е. Павловой в поселке Кильдинстрой Мурманской области.

Там в конце сорок седьмого года он заболел, и местные врачи направили его для лечения в Кисловодск.

По дороге туда он остановился в Москве у родственников жены, откуда позвонил мне.

— Еду в Кисловодск, — сказал он, — да вот что-то неважно себя чувствую... Не знаю, как и быть...

Вечером я со знакомым врачом К. А. Щуровым поехал в Замоскворечье к Свистуну. Врач без труда установил, что тот болен весьма серьезно, что у него септический эндокардит, что Кисловодск ему противопоказан, что надо немедленно положить его в больницу.

Так и сделали. Я договорился, с кем было нужно, и Василию Васильевичу было предоставлено место в Ново-Басманной больнице.

Однако для лечения нужен был пенициллин. А где его взять? Производить свой пенициллин мы в то время еще не умели, а купить американский могли в очень ограниченном количестве. Лишь с большим трудом мне удалось достать всего миллион шестьсот тысяч единиц пенициллина. Это — немного. Но больше взять было неоткуда...

Больного выписали из больницы в начале мая, и казалось, дела у него поправились. По крайней мере так говорил он сам, когда я привез его к себе. Мы с ним посидели, поговорили, вспомнили прошлое. И все это было удивительно хорошо. И, конечно, мне и в голову не могло прийти, что вижу я Василия Васильевича в последний раз.

А это было именно так: летом от его брата Степана я узнал, что человека, которого я искренне любил, которому я столь многим обязан, который сделал столько добра людям, — этого человека уже нет. Умер он в городе Задонске — на родине своей жены Нилы Евгеньевны Павловой.

А совсем недавно я узнал еще одну подробность, о которой и не подозревал и которая, может быть, лучше всего говорит о том, каким педагогом был В. В. Свистун, как любил он школу и ребят-школьников.

После Ново-Басманной больницы Нила Евгеньевна писала своему мужу, чтобы тот немедленно ехал в Задонск — отдохнуть от болезни, набраться сил...

«Но, — пишет мне она теперь, — он не послушался». Ему непременно хотелось присутствовать на школьных экзаменах в Кильдинстрое. И в середине мая, несмотря на то, что ему стало хуже, он все-таки приехал в Кильдинстрой. «Я, — говорит далее в своем письме жена Василия Васильевича, — вызвала из Мурманска хорошего врача и по его совету отправила больного снова в Москву. Там его опять положили в больницу... Я приехала в Москву в середине июня и нашла его в еще худшем состоянии... Он настаивал, чтобы я везла его в Задонск на свежий воздух. Двадцать второго июня я привезла его в Задонск, а двадцать четвертого он умер...».

ВОЙНА

1

Весть о начале первой мировой войны пришла в деревню совершенно неожиданно, свалилась как снег на голову в ясный летний день.

Все мои однодеревенцы, а вместе с ними и я, были на работе. Спешили, пока стояла хорошая, солнечная погода, закончить сенокос. А там — через два или три дня — предстояло начать жатву. И все людские помыслы были сосредоточены только на этом.

В моей памяти сохранилась такая деталь: мужики докашивали последние лужки, расположенные в низине на чрезмерно увлажненной земле. Косил и мой отец. А мы с матерью подгребали скошенную траву и носили ее на более высокое, сухое место: там, разбросанная по земле, она высыхала гораздо скорей, чем внизу. И невозможно было даже предостеречь себя, что именно в этот день — день, полный мирных человеческих забот и хлопот, случится то страшное — неотвратимое и непоправимое, — что все-таки случилось...

Во второй половине дня прямо на луг из волостного правления приискал конный нарочный, вручивший сельскому старосте большой пакет красного цвета.

Через несколько минут все уже знали, что началась война с Германией, что на завтра назначена всеобщая мобилизация и что поэтому все мужчины, подлежащие мобилизации, обязаны явиться завтра утром в волостное правление, явиться совершенно готовыми к отправке, со всеми теми вещами, которые им необходимо взять с собой.

Люди тотчас прекратили работу. Даже те семьи, которым мобилизация и война пока ничем не угрожали, не остались в поле, а вместе с остальными пошли в деревню. Страшная весть о войне как бы приглушила, придавила и взрослых и детей. Повседневные заботы и работы сразу отошли на второй план, они стали как бы ненужными и даже бессмысленными в такой момент.

Мужчины хмуро молчали, многие женщины начинали плакать. Дети сразу присмирели, прекратив свои обычные игры и забавы. Всем было невыразимо тяжело.

Вечером я встретился с Петей Шевченковым, но разговор у нас не клеился. Обычные наши интересы потеряли всю свою привлекательность. Их заслонила война, давившая на наше сознание всей своей незримой тяжестью и вселявшая в наши сердца какую-то неопределенную тревогу и страх.

Всю ночь в деревенских окнах светились огни, чего в обычное время никогда не бывало. Это матери, жены и сестры собирали на войну своих сыновей, мужей и братьев. То там, то здесь слышался женский плач — иногда тихий, иногда переходящий в рыдания.

Впоследствии я пытался описать эту скорбную, тревожную ночь в одном из своих стихотворений. Стихотворение не сохранилось, и я не помню ни одной строчки из него. Но общее содержание помню: в избе тускло горит семилитровая керосиновая лампа; старая мать сидит на лавке у окна и спеша дошивает холстинную рубашку для сына, которого поутру заберут на войну. Старуха шьет и думает о том, что, наверно, ей больше никогда не придется увидеть своего сына, что убьют его на войне, и она не будет даже знать, где находится его могила. Старуха не может сдерживать слез, и они — эти скорбные материнские слезы — то и дело каплют на холст, лежащий у нее на коленях.

Когда я писал эти свои стихи, у меня, помимо моей воли, неизменно вставали перед глазами строки из поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос»:

...В избушке — теленок в подклети,
Мертвец на скамье у окна;
Шумят ее глупые дети,
Тихонько рыдает жена.
Сшивая проворной иглой
На саван куски полотна,
Как дождь, зарядивший надолго,
Негромко рыдает она.

Меня особенно трогали слова о проворно бегающей иголке и строки «Как дождь, зарядивший надолго, негромко рыдает она». Это так походило на то, что делалось в нашей деревне в ночь перед мобилизацией, что я одновременно видел и некрасовскую Дарью, шьющую саван для умершего мужа, и старую женщину-мать, которая торопится поскорее закончить рубашку для сына, уходящего на войну. Я как бы ясно видел даже те крупные, похожие на горошины слезы, которые, падая из глаз, скатываются по белому, лежащему на коленях холсту.

2

Мобилизация проходила прямо под открытым небом — на площади у здания волостного правления, которое к тому времени было отстроено заново и находилось уже не в Оселье, а на краю Глотовки, недалеко от школы.

Мобилизованных записывали в отдельные списки и сразу же группами отправляли на станцию — кого на лошадях, кого пешком. Шли и ехали они — понурые, угрюмые, молчаливые, как будто здесь, на площади перед волостным правлением, их уже заранее приговорили к смерти и они теперь отправляются туда, откуда нет возврата никому.

— Эх, хоть бы выпить с горя! — говорили мужики, только что ставшие солдатами. — Все бы легче стало.

Но выпить было нечего: закрыты были все казенные винные лавки. На дверях глотовской лавки, находившейся совсем рядом с волостным правлением, также висел тяжеленный замок, а все запасы водки еще прошлой ночью были вывезены из Глотовки неизвестно куда.

На войну забирали не только людей, но и лошадей. Забирали даже телеги — те, которые покрепче.

— Разоряют хозяйство, — говорили меж собой старики, наблюдая, как на одних столиках, стоявших прямо на земле, переписывают людей, а на других — лошадей, повозки и сбрую. — Что теперь делать-то будем?..

С началом войны особенно трудно пришлось семьям, где совсем не осталось мужчин. А таких семей было немало. Все работы ложились на женские плечи, а между тем женщины умели делать далеко не все. Так, например, они не умели косить: испокон веков косьба в нашей местно-

сти считалась делом исключительно мужским. Теперь же волей-неволей и им пришлось взяться за косу. На первых порах это получалось у них плохо, и это вызывало насмешки по поводу их неумелой работы. Однако, претерпев всё, они постепенно научились в конце концов косить не хуже мужчин.

То же самое и с пахотой. До войны у нас пахали только мужики. Если же иногда приходилось пахать и бабам, то это лишь в том случае, если земля была особенно мягкой и вспашка ее не составляла большого труда. А как началась война, то и пахота, какой бы тяжелой она ни была, приходилась на женщин.

В годы Великой Отечественной войны, когда женщине приходилось, может статься, еще трудней, чем в первую мировую войну, в деревне сложили грубоватую, но в то же время очень горестную частушку:

Я — и лошадь, я — и бык,
Я — и баба, и мужик.

Я думаю, что эта горькая и правдивая песенка в зачаточном состоянии существовала еще в первую мировую войну. «Я — и лошадь, я — и бык, я — и баба, и мужик» русская крестьянка могла сказать о себе уже с четырнадцатого года.

3

Война прибавила хлопот и моему отцу. Обычно он ездил на станцию за почтой один раз в неделю — по вторникам. А теперь его могли послать в любое время. Частенько рассыльный из волостного правления приходил прямо в поле и говорил отцу:

— Писарь велел отвезти этот пакет сегодня же: пакет срочный и задерживать его нельзя.

Приходилось бросать все работы и — пешком ли, на лошади ли — отправляться в Павлиново. Отказаться было никак нельзя, хотя эти внеочередные поездки на станцию ничем не компенсировались.

Несколько раз отнести срочный пакет на павлиновскую почту отец посылал меня. В детстве я много ходил, и двадцать или двадцать пять верст до станции меня нисколько не пугали. Мне даже нравилось выполнять поручение отца — во-первых, потому, что я любил все, что касается почты, и, во-вторых, потому, что, выполняя поручения отца, помогая ему, я начинал представлять себя как бы уже совсем взрослым, способным не на какие-то там пустяки, а на важные и нужные дела.

Почта в Павлинове обычно открывалась в девять часов утра и закрывалась в два часа дня. Я к этому времени почти никогда не мог прийти в Павлиново, так как срочные пакеты волостной рассыльный приносил лишь к полудню, а то и позже. Однако около четырех часов дня через Павлиново проходил поезд, привозивший новую почту. Почтовые работники доставляли ее со станции и сразу же начинали разбирать. Разборка происходила с пяти и до семи часов вечера. Вот в эти-то часы я обычно и приходил в Павлиново. Через открытое окно подавал начальнику свой срочный пакет, а тот мне таким же путем — грудой писем, газет и журналов, то есть все то, что пришло в нашу волость. Мне доверяли получать все, за исключением ценных писем и денежных переводов.

Бережно завязав в белый платок полученное на почте, я важно шагал по станционному поселку к уже знакомой чайной: посылая меня на почту, отец почти всегда давал мне гривенник на мои личные расходы; на этот гривенник я и закатывал себе роскошные пиры в павлиновской чайной. Когда я захолил в нее, садился за стол и делал соответствующий заказ, передо мной неизменно появлялись французская булка, два куска

сахару, стакан с блюдцем и два округлых, пузатых чайника: большой — с кипятком, а маленький — с чайной заваркой.

Я в полном смысле слова блаженствовал, стараясь как можно дольше растянуть это редкое удовольствие. Да надо было дать отдых и ногам, которым предстояло снова преодолеть обратный конец от Павлинова до Глотовки. Иногда мне удавалось преодолеть его целиком, иногда же я, свернув немного в сторону, заходил в деревню Рисавы, где жили наш зять и сестра Прасковья, и оставался ночевать у них.

На обратном пути, как только я, миновав Павлиново, выходил в поле, меня начинало разбирать страстное любопытство, неудержимое желание тут же, немедленно перебрать всю почту, пересмотреть, какие пришли газеты, какие письма и кому. Я усаживался на траве, в стороне от дороги, и начинал подробно «изучать», что же такое я несу.

Случалось так, что я при этом находил и письма, адресованные мне же. Это были письма преимущественно от В. В. Свистунова, уже находившегося в Сибири, на станции Чик. Письма свои Василий Васильевич всегда писал очень четким и разборчивым почерком. В большинстве случаев они были довольно длинными и всегда весьма содержательными. Он писал мне о многом: о школе, где работает, о своих учениках, о сибирской природе, о том, что под окном его квартиры растут две березки, которые всегда напоминают ему глотовские и осельские места, которые он так полюбил. Часто Свистунов с горечью повторял в своих письмах уже знакомые мне по личным разговорам с ним мысли о том, что крестьянским детям нигде не дают ходу, что учиться в гимназиях они не могут, не говоря уже об университете. Начав с детей, он переходил к крестьянству вообще, приводя примеры, как худо живет оно.

Все это производило на меня огромное впечатление. Я считал Василия Васильевича Свистунова самым правдивым, самым справедливым человеком из всех тех, кого я успел узнать за свою пока еще весьма короткую жизнь.

Не писал мне Василий Васильевич лишь о войне — вероятно, по цензурным соображениям. Но намеками он все же давал понять, что является решительным противником этой войны.

Почему Василия Васильевича самого не взяли в армию, я в то время не догадался расспросить: то ли его не взяли по близорукости (он носил очки), то ли он пользовался отсрочкой как учитель, то ли была еще какая-либо причина, но он избежал мобилизации, хотя возраст его был призывным.

4

Из рассказов Свистунова я уже давно знал, что в Москве существует издательство «Посредник», созданное еще при жизни Л. Н. Толстого и по его инициативе. Я знал также, что издательством руководит Иван Иванович Горбунов-Посадов и что оно выпускает много дешевых по цене книжек специально для деревни. В числе этих книжек есть и такие, которые написаны рядовыми крестьянами, живущими в деревне. Я не только знал все это, но некоторые посредниковские книжки мне удалось уже и прочесть. Наиболее памятной из них была небольшая книжечка стихов Спиридона Дрожжина. В предисловии к стихам говорилось, что Дрожжин — это поэт-пахарь, который живет в деревне и занимается хлебопашеством.

Стихи у Дрожжина были такие, что мне показалось: и я могу написать не хуже, чем он. В данном случае я впадал в ту самую ошибку, в которую впадают многие начинающие поэты и все те, кто пробует писать

стихи. Читая простые по форме стихи, они тоже думают, что могут «не хуже». Однако это не так. Им хоть и кажется, что «не хуже», но на самом деле в их стихах чаще всего нет той внутренней силы, которая делает стихи живыми, поэтичными.

Конечно, Спиридон Дрожжин не принадлежал к числу поэтов, лучше которых написать трудно либо просто невозможно. Но ведь я-то был всего лишь мальчишка, у которого — ни своего поэтического материала, ни своего поэтического опыта. Поэтому-то моя уверенность — мол, и я могу не хуже — оказалась сильно преувеличенной и ни на чем не основанной. Но это я понял уже позднее.

А пока взял тетрадь в черном клеенчатом переплете, подаренную мне Свистуновым, и, переписав в нее свои стихи, написанные на деревенские темы, я по секрету от всех отправил их в Москву, прямо И. И. Горбунову-Посадову.

Недели через две, сидя недалеко от Павлинова на уже изрядно увядшей осенней траве и перебирая письма и газеты, я обнаружил ответ издательства «Посредник». Ответ был даже не один, а два: во-первых, мне вернули мою черную тетрадь, и, во-вторых, пришла открытка на мое имя, написанная своеобразным, каким-то уж очень острым и неразборчивым, почерком, похожим на то, как если бы открытка писалась по-немецки — узкими и на концах острыми готическими буквами. В открытке сообщалось, что издательство «Посредник» не может в настоящее время издать моих стихотворений и потому возвращает их. Открытка была подписана фамилией Алексеев.

Меня не очень огорчил отказ «Посредника», тем более что по неопытности я не понял подлинного смысла открытки: я воспринял ответ так, что мои стихи «Посредник» не может напечатать сейчас ввиду трудностей военного времени, но что после, вероятно, сможет и напечатает. Ведь в открытке же не сказано, что стихи слабые и что печатать их вообще не надо.

Мне все же стало почему-то досадно, что я получил ответ не от самого Горбунова-Посадова, на имя которого посылал стихи, а от какого-то Алексеева. Я был, однако, доволен, что и открытку и тетрадь получил на почте сам. Поэтому никто посторонний, даже отец мой, не мог знать о моей попытке стать «печатным поэтом».

Кстати, уж расскажу и о том, что с Алексеевым, который, как я узнал после, долгое время работал в издательстве «Посредник», мне пришлось совершенно неожиданно столкнуться еще раз при совсем иных обстоятельствах.

У меня с детства очень острая память на почерки. Если я хоть один раз прочел чье-либо письмо, то попадись мне — пусть даже через двадцать лет! — другое письмо, написанное тем же почерком, я с первого взгляда узнаю, кто писал.

Мне сразу же запомнился и почерк Алексеева. И вот в девятнадцатом или двадцатом году, когда я редактировал в Ельне уездную газету, пришла анонимная открытка, в которой некто неистово ругал и редактора, и газету, а заодно и советскую власть, у которой-де даже хорошей белой бумаги нет и потому газета печатается на желтой, оберточной. Общий смысл открытки сводился к тому, что нет, мол, господ большевики, напрасно вы хорохоритесь, ничего у вас не выйдет...

Я сразу же понял (узнал по почерку), что некто, написавший такую злобную открытку, — это Алексеев.

Как он очутился в Ельне, что он делал там — не знаю. Вначале я хотел было ответить ему через газету, поскольку своего адреса он не сообщил, а потом подумал: а зачем отвечать-то?.. Так и не ответил. И

поступил, как мне кажется, правильно. Злобствующих, антисоветски настроенных людей было в те годы препорядочно, и вряд ли следовало отвечать (да еще через газету) на всякий их выпад. Мне было только обидно и даже горько, что я очень ошибся в человеке. К людям я всегда относился с большим доверием, хотя нередко потом разочаровывался в них: они оказывались совсем другими, чем я думал. То же — и с Алексеевым. Я, правда, никогда не знал его, но по наивности своей считал, что он в известном смысле должен быть примером для других людей, коль работал в таком издательстве, как «Посредник», о котором я знал только хорошее. А тут вон что. И я искренне сожалел об этом.

5

Война продолжалась, и люди ни на минуту не забывали о ней, хотя они уже как бы немного привыкли, что она идет, и потому, возможно, меньше стали говорить о ней, занятые повседневными своими делами и заботами. Но война чувствовалась во всем. Начать хотя бы с того, что в деревне почти совсем не осталось мужчин, если не считать стариков и подростков. Молодежь с самого начала войны перестала собираться на свои вечерние гулянья. И там, где на деревенской улице совсем еще недавно слышались по вечерам и звонкие девичьи песни, и веселые шутки, и смех, стало тихо, безлюдно, пустынно.

— Какие уж там песни, коль война идет!

Павлиновские торговцы подняли цены на муку. Это было весьма огорчительно, потому что в нашей местности своего хлеба никогда не хватало, и по крайней мере половину годовой нормы его приходилось прикупать. В деревне и ахали и охали, но придумать ничего, конечно, не могли: хлеб подорожал, а тех, кто обычно зарабатывал деньги на хлеб семье, угнали на войну.

— Теперь придется зубы класть на полку,— сокрушенно говорили в деревне.

У нас еще не успели появиться искалеченные солдаты, но от многих, что ушли на войну, уже подолгу не было писем. И в семьях этих солдат заранее плакали по ним как по покойникам.

Особую боль вызывали письма, написанные перед боем. Они почти всегда были очень короткими и как бы даже стандартными: «...Иду в бой. Буду жив или нет — не знаю. Прощайте!..»

От таких писем плакали не только те, кто их получал, но и все те, чьи сыновья, мужья и братья были на войне.

У М. И. ПОГОДИНА

1

Наступила осень, и в Глововской школе начался новый учебный год. Это дало мне повод еще раз вспомнить, как полтора года тому назад, после выпускных экзаменов, все мне советовали непременно учиться дальше. Как будто было даже кое-что предпринято, чтобы осуществить это «дальше». А потом все оборвалось, отодвинулось назад и постепенно забылось. Впрочем, забыли не все: некоторые помнили, и помнили хорошо. Но что они могли сделать? И что мог сделать я сам? Ровным счетом ничего. А тут еще война. Правда, она не имела прямого отношения к моим желаниям и планам, но косвенно усложняла их осуществление.

Словом, я оказался в положении того бедняка из сказки, которого судьба решила облагодетельствовать. Она пообещала ему такой подарок, который мог сделать счастливым любого человека. Но когда судьба уже

несла этот подарок, то, заглядевшись на что-то, незаметно сошла с дороги и прошла мимо того бедняка. Так и остался он с тем, с чем был.

Моя судьба также прошла мимо меня, и обещанного «подарка» я не получил от нее. Это совсем не весело. Но еще более невесело мне стало, когда я заметил, что зрение мое, которое на известное время как бы стабилизировалось, снова стало хуже. По-видимому, опять произошло кровоизлияние в сетчатку глаза — я тогда хорошо уже знал этот медицинский язык. Надо было что-то предпринимать, и — чем скорей, тем лучше. Я решил пойти к Михаилу Ивановичу Погодину: может, он что-либо посоветует.

Я не знал, застану Михаила Ивановича в Гнездилове или нет: живя в Ельне, по месту своей работы, в Гнездилово он приезжал не так уж часто. Но я все-таки шел в Гнездилово, хотя шел с большой неохотой, я не умел и не любил обращаться к людям с просьбами: так стеснялся, так робел, что мог оборвать свою просьбу на полуслове, не успев рассказать даже сути дела, а потом из меня и при помощи клещей невозможно было вытянуть ни слова. Надеялся я только на то, что Михаил Иванович, человек редкостно добрый и отзывчивый, поймет меня.

Всю дорогу я думал, что скажу Погодину и как скажу, какими словами. Я обдумал и то, о чем надо сказать в первую очередь и о чем — позже.

Когда я всходил по ступенькам на знакомую мне веранду погодинского дома, где в летнее время Михаил Иванович обычно встречался с пришедшими к нему людьми, мой словесный рассказ о том, зачем я пришел, был окончательно готов. Я боялся лишь того, что слова, которые я отбирал с таким тщанием, вдруг вылетят у меня из головы как раз в тот момент, когда они более всего будут мне нужны.

Погодинскую веранду я знал потому, что однажды уже бывал на ней: я приходил в Гнездилово за компанию с Петей Шевченковым, который должен был вручить Михаилу Ивановичу какую-то бумагу из волостного правления.

Когда я взошел на веранду на этот раз, то там в ожидании Михаила Ивановича уже сидели три деревенские женщины, пришедшие «полечиться». Дело в том, что М. И. Погодин, окончив юридический факультет Московского университета, три года учился потом на медицинском. Этот последний Михаил Иванович не закончил, но он, конечно, многое понимал в медицине и в несложных случаях мог оказать помощь обратившимся к нему больным. Если же сам он ничего не мог сделать, то давал направление в ельнинскую больницу.

2

Бабы, которых я застал на веранде, полушепотом сказали мне, что «он дома, но еще не выходил. Теперь уже, наверно, скоро выйдет».

Действительно, через несколько минут Погодин появился на веранде. Он приветливо со всеми поздоровался и, заметив меня, сказал:

— Ты пока подожди. Сначала я займусь вот с ними, — и кивком головы он указал на баб. — А потом мы поговорим и с тобой.

С бабами он задержался недолго, хотя каждую расспросил, на что она жалуется, каждую выслушал. Потом ушел с веранды в дом и через несколько минут вернулся снова, неся в руках необходимые лекарства. Каждой из своих пациенток он дал то, что требовалось, каждой объяснил, как пользоваться лекарством. Бабы поблагодарили Михаила Ивановича и, низко поклонившись ему, ушли с веранды.

— Ну, теперь давай с тобой, — сказал Погодин, подходя ко мне. — Рассказывай, с чем пришел.

Я едва успел произнести несколько слов, как какой-то горячий комок подступил к горлу, и вместо того, чтобы продолжать разговор, я вдруг горько и неудержимо расплакался. Мне стало так обидно, что сдержаться себя я никак уже не мог. Я был разобижен и своей болезнью, и тем, что не могу учиться, и тем, что вот пришел сюда и должен о чем-то просить... Погодин всячески пытался меня успокоить, но из этого ничего не выходило. Казалось, что чем внимательней ко мне Погодин, тем горше становилось мне, тем острее я чувствовал свои несчастья и тем сильнее плакал, уже не в силах сказать ни одного слова.

Провозившись со мной около получаса и видя, что я никак не могу успокоиться, Михаил Иванович предложил:

— Ну, вот что: сегодня ты расстроен и ничего не можешь сказать мне толком. Поэтому иди сейчас домой. Но обязательно приходи ко мне в четверг к двенадцати часам дня. Я в четверг непременно буду в Гнездилове и непременно буду ждать тебя. Тогда ты мне все расскажешь. Хорошо?

— Хорошо,— ответил я Погодину, почти уже переставая плакать.— В четверг я приду.

С тем я и ушел. Мне было так неловко, так стыдно, что даже своим домашним я просто соврал, что Погодина в Гнездилове не застал, что он в Ельне и приедет оттуда только в четверг и в четверг я пойду к нему снова.

3

А в четверг все обстояло по-другому. Я без всяких слез рассказал Михаилу Ивановичу все, что должен был рассказать в прошлый раз,— и о зрении, и о том, как бы это устроить, чтобы я мог учиться дальше...

Погодин успокоил меня:

— Хорошо... Я подумаю, кое о чем разужнаю. Тебя я потом обо всем извещу. Наверно, все будет хорошо. Ты не унывай.

Уже совсем другим — успокоенным и окрыленным новыми надеждами — ушел я от Погодина. И едва вышел за ограду усадьбы, как меня нагнал какой-то человек с довольно большим свертком в руках.

— Это тебе от Михаила Ивановича,— сказал он, передавая мне сверток, и быстро ушел обратно. Все произошло так неожиданно, что я не успел даже поблагодарить. А благодарить было за что: в свертке оказалось целое богатство, обладать которым я мог разве только во сне.

Михаил Иванович подарил мне темно-синий костюм, а также сапоги. Все это было сшито из самого хорошего материала и почти совсем не ношено. Правда, костюм и сапоги, как и следовало ожидать, оказались для меня великоваты, но это уже совершенный пустяк, на который редко кто обращал внимание.

Когда в деревне узнали о погодинском подарке, когда я надел на себя только что полученные брюки, сапоги и пиджак, все в том числе и мои друзья «лунатики», пришли в крайнее изумление.

— Ну, брат, и везет же тебе! — с явной завистью говорили мои одноклассники.

После того как у меня появились столь дорогие сапоги, моему отцу пришлось разориться на целых три рубля: в погодинских сапогах нельзя было ходить по грязным дорогам, поэтому-то мой отец купил мне в Павлинове новые, первые в моей жизни калоши, которые уже сами по себе своим необыкновенно ярким блеском могли свести с ума любого. И когда я однажды прошел по деревне в полном своем наряде, какая-то баба, восхищенная всем, во что я был одет, громко сказала мне вслед:

— Ну, прямо как барин какой!..

«ПРОСЬБА СОЛДАТА»

1

С войной резко увеличилось в нашей волости количество выписываемых газет. Всех названий я даже и не припомню. В большом ходу была газета «Русское слово». Но, кроме нее, выписывали и «Утро России», и «Новое время», и «Русские новости», и «Биржевые новости», и многие другие. Наш осельский поп отец Евгений получал «Колокол» («Колокол», конечно, совсем не похожий на герценовский!). Были охотники и на «Газету-копейку».

Не выписывали газет только мужики — у них не было на это денег, да и к чему газета неграмотному? К тому же они как бы совсем не верили газетам, неизменно повторяя, что «все газеты врут», что «правды в газетах не найдешь»... В то же время с большим вниманием слушали, если кто-либо читал газету громко, либо настойчиво спрашивали у всех, у кого только можно, что пишут в газетах, как идут дела на войне.

Впрочем, один глотовский мужик по фамилии Родченков еще до войны начал выписывать газету «Сельский вестник», ежегодно возобновляя подписку на нее. Но выписывал он ее из тщеславия: никогда не читал своего «Сельского вестника» и лишь аккуратно складывал его — номер за номером — на полке самодельного шкафа. Стоила газета «Сельский вестник» всего два рубля в год. Но зато Родченков мог похвалиться, что он чуть ли не один из всех мужиков, проживающих в Осельской волости, получает газету.

Когда-то Родченков столярничал и неплохо зарабатывал. Но на моей памяти у него уже не было никаких заказов на столярные работы, и он занимался лишь сельским хозяйством. Однако он не пропускал ни одного случая, чтобы не похвалиться, какой он хороший столяр.

— Эх ты, голова!.. — внушал, бывало, Родченков кому-либо, кто сомневался в этом. — Я рамы делал для самого господина земского начальника, и даже он был доволен моей работой. А не то что!..

2

В газетах все чаще и чаще начали появляться стихи о войне. Я прочитывал все, какие только попадали мне в руки. А потом и сам захотел написать о войне. И я написал стихотворение под названием «Просьба солдата». Посылать его я никуда не стал: мне вспомнилась моя неудача с посылкой стихов в издательство «Посредник». Поэтому я только переписал свое «военное стихотворение» на отдельном листке и отдал учительнице Е. С. Горанской. Прошло несколько недель. Я, конечно, не забыл о своем стихотворении, но в то же время не испытывал к нему и никакого особого интереса.

И вдруг — уже глубокой осенью, а именно 28 ноября 1914 года¹ — стихотворение появилось в московской газете «Новь». В редакционном примечании говорилось, что автору — четырнадцать лет, что он окончил народное училище, живет в деревне и что стихи были переписаны и отосланы в редакцию учителем — подписчиком «Нови». Фамилия учителя не называлась, но это был Михаил Сельницкий (его отчества я не помню), учительствовавший в Шиловской школе, которая находилась в шести верстах от нашей деревни. М. Сельницкий иногда бывал в гостях у моей учительницы Е. С. Горанской и «Просьбу солдата» переписал, по-видимому, у нее: никому другому я своих стихов не давал.

¹ Точную дату я установил много лет спустя.

Кажется, я в то время мог бы стать самым счастливым человеком в мире, если бы только увидел свои стихи напечатанными. Но М. Сельницкий почему-то не счит нужным показать их мне, — он показал их только учительнице, специально приехав в нашу школу под вечер после уроков. От учительницы я и узнал о напечатании своих стихов. А стихи в напечатанном виде увидел лишь в начале пятидесятих годов: ныне покойный критик А. К. Тарасенков прислал мне фотокопию стихотворения, которую он получил в Ленинской библиотеке.

Вот стихи «Просьба солдата» в том виде, в каком они были написаны:

Светит солнца луч
Догорающий,
Говорит солдат
Умирающий:

— Напиши, мой друг,
Ты моей жене —
Не горюет пусть
О моей судьбе.

А еще поклон
Передай ей мой,
И меня она
Пусть не ждет домой.

Если ж жить вдовой
Ей не нравится, —
С тем, кто по сердцу,
Пусть венчается.

А еще тебе
Я хочу сказать:
Моему отцу
Не забудь писать —

Дескать, жив-здоров
Твой сынок родной,
Только ты его
Не зови домой...

Зашло солнышко,
Запылал закат.
Вместе с солнышком
Кончил жизнь солдат.

8 октября 1914 г.

Стихотворение это, конечно, не блещет никакими особыми достоинствами. Однако оно является наиболее удавшимся мне стихотворением из всех тех, что написаны были до него.

И когда я — уже в пятидесятих годах — решил включить в свой двухтомник несколько ранних стихотворений, то первым в этой рубрике поставил «Просьбу солдата».

3

Не знаю, по какой причине, но именно к «Просьбе солдата» мои читатели проявили довольно большой интерес. Меня часто спрашивали — преимущественно в письмах — о том, например, что натолкнуло меня на тему об умирающем от ран солдате, — ведь я же был все-таки лишь мальчишкой и войны не видел. Но чаще всего спрашивали (главным образом те, что писали или собирались писать диссертации о моем творчестве): верно ли, что «Просьбу солдата» я написал, подражая известной песне на слова И. З. Сурикова «Степь да степь кругом»...

Я отвечал на обращенные ко мне вопросы: да, мол, по-видимому, это так и есть, что «Просьба солдата» появилась под влиянием песни о ямщике, замерзающем «в степи глухой», хотя сам я вряд ли создал, что подражаю Сурикову. Наоборот, мне могло даже казаться, что суриковской песни я и не читал никогда, и не слышал ее. Но только — казаться. На самом же деле суриковская песня наверняка жила во мне. Иначе откуда же могла появиться подражательность?..

4

Независимо от того, что, о чем и как говорится в стихотворении «Просьба солдата» и насколько оно подражательно, я хочу здесь рассказать, почему я взялся за стихи об умирающем солдате, что меня побудило написать такие именно стихи.

В одной из газет я прочел стихотворение. Какая это была газета, как называлось стихотворение, кто его автор — не помню. Но я сразу же запомнил само стихотворение, так оно поразило меня.

С тех пор прошло более пятидесяти лет, а прочитанные тогда стихи я помню и сейчас — хотя, может быть, в некоторых местах и не совсем точно. Вот они:

Ночь порвет наболевшие нити,
Вряд ли их дотянуть до утра...
Об одном вас прошу: напишите,
Напишите три строчки, сестра.

Напишите жене моей бедной,
Напишите ей несколько слов,
Что я в руку был ранен безвредно,
Поправляюсь и буду здоров.

Напишите, что мальчика Вову
Я целую — как только могу
И австрийскую каску из Львова
Я в подарок ему берегу.

А отцу напишите отдельно,
Как прославлен наш доблестный полк
И что в грудь я был ранен смертельно,
Исполняя свой воинский долг.

В ту пору я еще ни разу не видел госпиталя, не знал, что это такое, какая в госпитале обстановка, что и как может происходить в нем и т. п. Но при чтении стихотворения в моем воображении сразу же возникла картина: ночь, комната и в ней — узкая железная койка у самой стены. На койке — смертельно раненный, умирающий человек. Возле койки — небольшой столик, на котором горит то ли совсем маленькая керосиновая лампа, то ли огарок свечи, освещающий лишь один угол комнаты. И тут же, рядом с койкой, на табуретке — сестра милосердия с листком бумаги в левой руке и с карандашом в правой, внимательно слушающая тихие, медленные слова смертельно раненного человека, готовая исполнить его предсмертную просьбу.

Вероятно, до меня как-то дошел драматизм этой возникшей в моем воображении картины. Я почувствовал, как мужественно ведет себя этот лежащий на узкой госпитальной койке человек, которого к утру уже не будет в живых... И хотя был я всего лишь деревенским мальчишкой, мало что видевшим в своей жизни, меня потрясла та «святая неправда», к которой прибегал раненый, чтобы не сделать больно, не нанести удара своей жене, которую он, по-видимому, очень любил. И все говорило, какой это был хороший человек. И как он хорошо придумал: чтобы жена

не почувствовала беды, получив письмо, написанное не ее мужем, а кем-то другим, он уверяет о якобы небольшом ранении в руку — потому, мол, и писать сам не могу пока. Но этого мало: чтобы письмо не вызвало даже тени подозрения, он придумал еще и «австрийскую каску из Львова», которую якобы бережет «для мальчика Вовы» (а если бережет, то, значит, когда-нибудь привезет ее!).

Но особенно взволновала меня последняя строфа:

А отцу напишите отдельно,
Как прославлен наш доблестный полк
И что в грудь я был ранен смертельно,
Исполняя свой воинский долг

Это была уже не «святая неправда», а «святая правда». Ее тоже нужно было кому-то сказать, и сказать по-мужски, мужчине, отцу, от которого нет смысла скрывать правду.

Все эти рассуждения о прочитанном стихотворении пришли ко мне, конечно, гораздо позже. Вначале же я не рассуждал, не анализировал, я просто чувствовал все стихотворение целиком, все от первой до последней строки, не делая попытки разложить его на составные части.

И в то же время я сознавал (или, точнее, понимал подсознательно), что написано оно не о солдате, а об офицере, то есть, по тогдашним моим представлениям, о человеке богатом, о барине. Оно как бы пришло ко мне из другого мира. Об этом мне говорило даже то, что мальчика звали Вовой: в деревне такого имени не было ни у одного мальчишки. Да и об «австрийской каске из Львова» простой солдат не стал бы писать домой.

Итак, стихи об офицере... А вот о солдате, о мужике, думалось мне, никто таких стихов не написал и, наверно, не напишет, хотя солдаты тоже погибают на фронте. И солдатам приходится, конечно же, во много раз трудней, чем офицерам.

От этих мыслей образ умирающего офицера, которому посвящено стихотворение, несколько не стал менее значительным. Но мне хотелось, чтобы и о солдате были написаны стихи.

Вот таким образом и возникло и появилось стихотворение об умирающем солдате-мужике.

Между прочим, я только теперь заметил: в моем стихотворении нигде не сказано, что солдат умирает именно от ран и именно на войне. Повидимому, я считал ненужным говорить об этом, так как обо всем говорило само время, тот самый 1914 год, когда «Просьба солдата» появилась на свет.



МУСТАЙ КАРИМ

★

Я В ГОРЫ УХОЖУ

С башкирского

КАРУСЕЛЬ ВСЕ ВЕРТИТСЯ...

Карусель все вертится и вертится...
Что-то там темнеет, что-то светится...

Вертится — способна душу вытрясти:
Карусель построена на хитрости.

Ползающий, скачущий, летающий.
Всякий молчаливый и болтающий

Мчатся на одной и той же скорости,—
Жаба надувается от гордости,

Простаки застыли в удивленьи:
— Не отстать улитке от оленя!

— Мышь и слон — да это чудо просто,—
Гляньте, одинакового роста!

Все равно, кто толще или тоньше,—
Мчатся с быстротой одной и той же...

Что-то впереди готово вырасти..
Карусель построена на хитрости.

Мальчик скачет на коне — далеко ли?..
Девочка сидит на быстром соколе.

Он коня подхлестывает прутиком.
Эй, кто там! Свидетелями будьте-ка.

Что вот-вот догонит он подругу!
Он уж ей протягивает руку...

Девочка со смехом оборачивается,
Будто бы на веточке покачивается...

К взгляду взгляд, ладонь к ладони тянется..
Что-то с ними будет? Что-то станется?..

Два бутона рядышком вздуваются...
Шаг меж ними... Только все ль сбывается?

Только есть шаги такие в мире,
Что и моря-океана шире:

В них — дорога от земли до солнца,
Время в них, что вечностью зовется,

Коль летишь ты на коне крылатом,
А она на соколе куда-то...

Карусель ведь кружится и кружится,
Что-то возникает, что-то рушится.

Ведь не все, как хочется, устроено:
Карусель на хитрости построена.

Стоп! Земля! Все остальное — мелочи.
Мальчик, дай скорее руку девочке

И держи!.. Пускай вам в счастье верится...
Шар земной все вертится и вертится...

Ты смотри, держи ее, не выпусти! —
Шар земной построен ведь на хитрости...

Я С САБАНТУЯ ВОЗВРАЩАЮСЬ...

Я с сабантуя возвращаюсь. Зной
Пошел на спад. И день идет к пределу.
Я невредим. И все мое — со мной.
Лишь где-то шапка с головы слетела.

Что шапка! Голова была б цела,
Все остальное — дело наживное...
Потешились мы за день — ну, делá! —
Над кем-то — я, а кто-то — надо мною.

На столб пытался влезть...
— Не выйдет, друг,—
Сказала моей прыти моя сила.
Под «Барыню» — меня толкали в круг,
Под «Лапти» — сам плясал, хоть не просили.

Кто побойчей, тот на майдан спешил
С соперником схватиться... Я в запарке
С повязкой на глазах людей смешил —
Горшки крошил, размахивая палкой.

Науку понял важную весьма:
Себе под стать всяк друга подбирает,
Те — с браги набираются ума,
Те — пьют айран, последний ум теряют.

Я с сабантуя не спеша пешком
Иду домой — и удивляюсь встречным.
Все поздравляют — руку жмут, кивком:
— С прошедшим праздником тебя!
С прошедшим!..

И умный и дурак, и стар и млад —
Все поздравляют,
Местный и нездешний.
Подряд.
— С прошедшим праздником! — твердят
И вторят: — С сабантуем прошумевшим!

К лицу ли вам приличья нарушать?
Вы времени не тратьте бесполезно!
Минувшим счастьем можно ль утешать?
С прошедшей жизнью поздравлять уместно ль?

Нам радоваться ль радости былой?
На солнце, что зашло, уж не согреться.
Поздравьте с миновавшею бедой,
С утихнувшей, с прошедшей болью сердца...

Я возвращаюсь... Шапки нет как нет.
Что шапка! Мы о шапке не заплачем..
О, я еще на сабантуй чуть свет
Помчусь хоть раз на скакуне горячем!

* * *

Душа бунтует, видя черноту
Замерзших трав. Душа моя терзается,
Когда звезда, сгорая на лету,
В насыпанный могильный холм вонзается.

В чем смысл? Где милосердие найти?
Зачем так беспощадно расточается
Все сушее?.. Приходят — чтоб уйти.
Ушедший — никогда не возвращается...

Душа бунтует: отчего все бренно,
Что беспредельной создано вселенной?..

А разум мой спокоен. Все — в пути.
Что домыслы?.. Все движется, вращается.
Не вечен мир. Приходят — чтоб уйти.
Ушедший — никогда не возвращается.

Спокоен разум... Бесполезен спор.
И все мне ясно: непреклонно строгий
Давным-давно объявлен приговор
И истекли обжалованья сроки.

НЕ ЗОВИТЕ, ГОРЫ...

Расулу Гамзатову.

Не зовите, горы, далью синей,
Не зовите, горы, не зовите!
Я теперь живу внизу, в долине,—
И не в тесноте, и не в обиде...

Солнце здесь восходит чуть позднее
И немного ранее садится.
Сумерки ленивые, чернея,
Виснут, не желая торопиться.

Всем доволен я. Вполне доволен.
Сделанным... Чего мне опасаться?..
Даже ветер здесь — и тот не волен
Ковыля седин моих касаться.

И взнуздал вдали от выси горной
Я коня мечты моей крылатой...
И любовь вернулась вдруг покорно
В то гнездо, что бросила когда-то.

Не зовите, горы, далью синей,
Не зовите высотой снежной!
Я теперь живу внизу, в долине,
Здесь так тихо, мирно, безмятежно.

Там, в горах, мою тропу обвалы
Оборвали... Реки да утесы...
Юности моей следы сковала
Корка льда и занесли заносы...

Каждый шаг опасен там стократно,
Там тропа над пропастями вьется...
Если вдруг оступишься — обратно
О тебе лишь весть одна вернется.

Здесь — блаженство!.. Только еле-еле
Вынести могу и половину!..
В горы — в камнепады и в метели,—
В горы ухожу! Прощай, долина!

Перевела Елена Николаевская.

АЛЬБЕР КАМЮ

★

ПАДЕНИЕ

Повесть

— **Ч**то, если я предложу вам свои услуги, месье? Не сочтите меня навязчивым — просто без моей помощи вы навряд ли объяснитесь с тем вон гориллоподобным субъектом за стойкой, а он-то и вершит судьбами этого заведения. Он говорит только по-голландски, и если вы не изберете меня своим ходатаем, ему нипочем не сообразить, что вы намерены заказать можжевельовку. Ну вот, кажется, он понял меня. Он кивнул, а это, видимо, означает, что мои доводы приняты к сведению. Видите, он идет сюда. Он даже торопится. Но с какой благопристойной медлительностью он это делает! Вам повезло: он не зарычал. Когда он не желает обслуживать, то ограничивается рычанием, после чего никто уже не решается настаивать. Эти полуживотные пользуются своего рода привилегией: они ничего не делают вопреки своему настроению. Впрочем, я ретируюсь. Рад был оказать вам эту маленькую услугу. Благодарю вас, месье. Охотно согласился бы, но не хочу вам докучать. О, вы слишком любезны. Что ж, ставлю свой стакан рядом с вашим.

Да, пожалуй, вы правы, его молчаливость оглушает. В ней есть что-то от подавляющего безмолвия девственных лесов. Иногда меня просто поражает упрямство, с которым наш молчаливый приятель пренебрегает цивилизованными языками. Ведь его ремесло — принимать в своем амстердамском кабаке, который он неизвестно почему назвал «Мехико-Сити», моряков всех национальностей. При подобной профессии его невежество не очень-то удобно, не так ли? Представьте себе кроманьонца, снявшего комнату в Вавилонской башне! Казалось бы, он должен по меньшей мере скучать по родным местам. Так нет же, наш друг даже не ощущает своего изгнания. Спокойно шествует он своей дорогой, и ничто не заставит его свернуть с пути. Те немногие фразы, которые я от него слышал, всегда были весьма определенны: да или нет, принимается или отвергается. Что именно? Очевидно, он сам. Не скрою, меня привлекают подобные характеры, как бы вырубленные из одного куска. Размышляя по роду своих занятий, да и по призванию о человеческой природе, порой испытываешь своеобразную ностальгию по приматам. Уж им-то не свойственны задние мысли.

Хотя, по правде говоря, наш приятель втайне вынашивает таковые. Не понимая, о чем говорят в его присутствии, он стал крайне недоверчив. Оттого-то у него такая сумрачно серьезная мина человека, подозревающего, что вокруг него творится что-то неладное. Это мешает завести с ним беседу о чем-либо, не имеющем отношения к его профессии. Кстати, взгляните поверх его головы — видите на стене светлый прямоугольник, как будто сняли с гвоздя картину? Там действительно висела картина, и картина весьма любопытная, настоящий шедевр. Я был свидетелем того, как хозяин этой обители в свое время приобрел ее и как позднее уступил ее другому. Все это он проделал одинаково недоверчиво, после недельного пережевывания всех за и против. В этом отношении цивилизация, пожалуй, слегка искажила первозданную простоту его натур.

Заметьте, я нисколько не осуждаю его. Я даже уважаю его вполне обоснованную недоверчивость и, право же, охотно разделил бы ее, если бы не моя прирожденная общительность, в которой вы только что убедились. Увы, я большой болтун, месье, и легко завязываю знакомства. И хотя я умею сохранять подобающую дистанцию, все средства для сближения кажутся мне подходящими. Живя во Франции, я не пропускал ни одного умного человека, не осчастливив его своими конфиденциями. Вижу, вас покорила моя последняя фраза. Но у меня пристрастие к велеречивым оборотам и вообще к ученым словечкам. Поверьте, я не раз упрекал себя за эту слабость, хотя мне давно уже ясно, что любовь к тонкому белью не обязательно предполагает немые ноги. Впрочем, и это вздор. Стиль, как атлас, часто маскирует коросту. Но я утешаю себя тем, что в конце концов и кознязычие не гарантирует чистоты. Выпьем-ка еще можжевельники.

Как долго вы пробудете в Амстердаме? Красивый город, не правда ли? Ча-рующий? Давненько не слышал я этого словца. С тех пор, как уехал из Парижа, а это было много лет назад. Но у сердца своя память, и я по-прежнему помню нашу столицу и ее набережные. Париж — фантом, сцена в великопепных декорациях, населенная четырьмя миллионами призрачных силуэтов. По последней переписи их, кажется, уже пять? Что ж, скоро они сделают себе еще малышей. И это меня нисколько не удивит. Мне всегда казалось, что наших сограждан обуревают две страсти — идеи и совокупление. Они занимаются этим попеременно. Однако поостережемся их осуждать: ведь в этом они не одиноки — такова вся Европа. Иногда я раздумываю: что скажут о нас будущие историки? Для характеристики современного человека им, видимо, хватит одной фразы: он совокуплялся и читал газеты. Боюсь, что подобная характеристика полностью исчерпает предмет.

Голландцы? О нет, месье, голландцы далеко не так современны. Дело в том, что у них слишком много свободного времени. Чем они занимаются? Вот эти господа, например, живут за счет трудов вон тех дам. Все они, впрочем, и самцы и самки, обыкновенные буржуа, которые приходят сюда, привлеченные дурной славой этих мест или просто по глупости. Короче говоря, из-за недостатка воображения или от его избытка. Время от времени эти джентльмены балуются ножичком или пистолетом, но вообще-то такие вещи не в их характере. Этуго просто-напросто требует их роль, и они помирают со страха, выпустив последний патрон. Я считаю, что по части морали они много выше всех прочих — тех, кто приканчивает ближнего тихой сапой в семейном кругу. Кстати, вы не находите, что наше общество идеально приспособлено для убийств подобного рода? Вы, конечно, слышали о крошечных рыбешках бразильских рек? Целыми стаями набрасываются они на неосторожного пловца и в несколько мгновений обглаживают его своими быстрыми зубками, да так, что от него остается голый скелет. Они не могут иначе — так уж они устроены. Вам, конечно, хотелось бы прожить жизнь честным человеком? Не хуже других? Еще бы! Что ж, вполне естественное желание. Так вот: вас сожрут. Так уж устроены наша работа, наша семья, наши организованные досуги. Крошечные зубки обглодают вашу плоть до самых костей. Но нет, я не прав. Дело не в них. Так уж устроены мы сами: вопрос в том, кто кого сожрет первый.

Наконец-то несут нашу можжевельнику. Ваше благополучие! Слышали? Наш гориллоид отверз уста. Он назвал меня доктором. В этих краях все доктора или профессора. Голландцы любят уважать — они делают это по доброте своей и из скромности. Во всяком случае злобность совершенно не в характере этой нации. Между тем я не врач. Если вас интересует моя профессия — до приезда сюда я был адвокатом. Теперь же перед вами — кающийся судья.

Но разрешите представиться: Жан-Батист Кламанс, ваш покорный слуга. Рад познакомиться. Вы приехали сюда по делам? Что-то вроде того? Отличный ответ. И к тому же весьма многозначительный: все мы в некотором смысле «что-то вроде»... Если вы не против, я сыграю роль детектива. Мы с вами вроде бы

одного возраста. У вас глаза человека, умудренного своими четырьмя десятками лет и вроде бы уразумевшего, что к чему. Вы вроде бы неплохо одеты, во всяком случае так, как одеваются там, у нас. У вас холеные руки. Одним словом, вы вроде бы буржуа. Но буржуа рафинированный! Вы кикнули на мои ученые словечки, а это говорит о том, что вы культурны вдвойне: во-первых, они вам знакомы, а во-вторых, они вас коробят. И, наконец, отмечу без ложной скромности, что я вас заинтересовал, а это свидетельствует об известной живости вашего ума. Итак, вы — что-то вроде... Но какое все это имеет значение? Род занятий меня интересует намного меньше, чем принадлежность к той или иной секте. Позвольте задать вам два вопроса. Не отвечайте, если сочтете их нескромными. Есть ли у вас состояние? Кое-какое? Отлично. И вы не раздали его бедным? Нет? В таком случае вы принадлежите к тем, кого я называю саддукеями. Если вы не знакомы со Священным писанием, это вам ничего не скажет. Ах, кое-что говорит? Так, значит, вы знаете писание? Что ж, тогда вы заинтересуете меня вдвойне.

Я же... Но судите сами. Глядя на мой рост и физиономию, которую многие находят свирепой, меня вполне можно принять за игрока в регби. Не так ли? Но если со мной побеседовать, мне не откажешь в некоторой утонченности. Верблюду, отдавший свою шерсть на мое пальто, несомненно, страдал чесоткой. Зато ногти у меня в порядке. У меня тоже немалый опыт, и тем не менее я доверяю вам, не соблюдая мер предосторожности и, в сущности, руководствуясь только выражением вашего лица. Далее. Несмотря на мои благовоспитанные манеры и изящество речи, я навсегда матросских баров Зейдика. Но оставим дальнейшие поиски. Дело в том, что моя профессия двойственна, как двойственна моя природа. Вам уже известно, что я кающийся судья. В моем случае просто и ясно только одно: у меня нет решительно ничего. Да, раньше я был богат. Нет, своего богатства я беднякам не раздал. О чем это говорит? О том, что я был таким же саддукеем, как и вы... О! Слышите портовую сирену? Ночью на Зейдерзее будет туман. Вы уже собираетесь? Простите, если задержал вас. С вашего разрешения, заплачу я. В «Мехико-Сити» вы у меня в гостях. Рад был принять вас тут. Да, завтра вечером я, естественно, буду здесь, так же, впрочем, как и в любой другой вечер. С удовольствием приму ваше приглашение. Как пройти к вашей гостинице? Гм... Проще всего было бы... Одним словом, если мое присутствие вас не стесняет, я прожужу вас до порта. Оттуда, обогнув Еврейский квартал, мы выйдем на живописные проспекты, по которым бегут трамвайчики, полные цветов и оглушительной музыки. Ваша гостиница на одной из этих улиц — на авеню Дамрак. Нет, нет, только после вас. Сам я живу в Еврейском квартале — так во всяком случае он назывался до того, как его расчистили наши братья фашисты. Сработано было что надо! Семьдесят пять тысяч вывезенных и уничтоженных евреев — это ли не пожирание подчистую! Я в восторге от такого редкостного прилежания и терпеливой систематичности. Если не имеешь характера, следует всецело предаться системе. В данном случае она была выше всякой критики. И вот я живу на месте одного из величайших преступлений в истории. Вероятно, все это и помогает мне понять нашего гориллоида и истоки его недоверчивости. Кроме того, это помогает мне противостоять своей натуре, которая непреодолимо склоняет меня к доброжелательству. Когда я встречаю новый ум, что-то во мне бьет тревогу: «Назад! Опасность!» Я остаюсь настороже, невзирая ни на какие симпатии.

В одной деревушке во время массовых репрессий немецкий офицер рыцарственно предложил некой старушке самой выбрать, кого из двоих ее сыновей расстреляют как заложника. Представляете себе, что это значит — выбрать! Этого? Нет, того. И потом увидеть, как его уводят. Не будем ни за что ручаться — в этом мире возможны любые сюрпризы. Я знавал одного кристально чистого человека, доверявшего всему и всем. Он был пацифистом, анархистом и любил одинаково беззаветно не только людей, но и животных. Это была, бесспорно, избранная душа. Так вот, во время одной из последних войн в Европе он удалился в деревню и начертал на пороге своего дома: «Откуда бы ты ни пришел — добро пожаловать!» Как по-вашему, кто отозвался на это приглашение? Петеновские

молодчики. Они пожаловали к нему запросто, как к себе домой, и выпустили ему кишки.

О, пардон, мадам! Впрочем, она все равно ничего не поняла. Эту публику не смущает ни поздний час, ни дождь, зарядивший еще несколько дней назад. К счастью, у нас есть можжевелька, единственный светоч в этих потемках. Чувствуете, как ваше существо пронизывает ее желтоватый, золотистый огонь? Люблю бродить вечерами по городу — с теплом от можжевельки в жилах. Иногда я брожу ночи напролет, мечтая или ведя бесконечные беседы с самим собой. Совершенно верно, так же как сегодня. Боюсь, что у вас уже пошла голова кругом. О, благодарю вас, вы очень любезны. Но я просто переполнен: стоит мне открыть рот, слова льются сами собой. Должно быть, меня вдохновляет эта страна. Я люблю ее народ, толкущийся на тротуарах, загнанный в тесноту своих домов и каналов, окруженный туманами, стылыми землями и морем, дымящимся, как щелочной раствор. Я люблю этих людей за их двуликость. Они и здесь, и где-то далеко отсюда.

Да-да. Слыша, как тяжело ступают они по грязной мостовой, видя, как неуклюже пробираются они между лавками, торгующими золотистой сельдью и драгоценностями цвета опавшей листвы, вы, несомненно, сочтете, что нынче вечером они здесь, рядом с вами. Вы, как и все прочие, принимаете этих славных людей за племя синдиков и купцов, которые ставят свои эюк в прямую связь с шансами на царствие небесное, а в виде лирических отступлений изредка разрешают себе, нацепив широкополую шляпу, послушать урок анатомии. Ошибаетесь. Ноги их ступают по земле — это верно, но взгляните, где их головы: они в тумане, нисходящем с красно-зеленых неоновых реклам, в тумане от мятной настойки и можжевельки. Голландия, месье, это туманный и золотистый мираж: ночью он золотистей, чем днем, днем туманней, чем ночью. Эта призрачная страна населена такими вот Лознгрингами, мечтательно катящими на своих черных велосипедах с высоким рулем, — велосипедах, подобных граурным лебедям, кружащим, не зная отдыха, по стране вдоль каналов и морских берегов. Они грезят, уставившись на медноцветные облака, они кружат, как лунатики, в золотом фимиаме тумана и о чем-то молят. О нет, они вовсе не здесь, а за тысячи километров, на пути к далекой Яве. Они молятся причудливым индонезийским божкам, которыми у них заставлены все витрины и которые витают сейчас где-то над нами, пока не зацепятся, подобно косматым обезьянам, за какую-нибудь вывеску или ступенчатую крышу, как живое напоминание тоскующим колонистам о том, что Голландия — не только торгашеская Европа, но и море — море, вездущее в Сипанго и к тем островам, где люди умирают в безумии и счастье.

Но я распустился и веду себя, как истый адвокат. Приношу вам свои извинения. Ничего не поделаешь — привычка, а может быть, и призвание. К тому же мне хочется лучше раскрыть перед вами сущность этого города и вообще суть вещей. Ведь мы подошли к самой сердцевине. Не знаю, заметили ли вы, что концентрические каналы Амстердама напоминают круги ада. Конечно, ада буржуазного, населенного дурными сновидениями. Проникнув сюда снаружи и пройдя эти круги один за другим, замечаешь, что субстанция жизни с ее злодействами становится все гуще, все мрачнее. Сейчас мы в последнем кругу. В кругу... Ах, вам и это известно! Черт возьми, вас не так-то легко подвести под определенную категорию. Но в таком случае вы поймете, почему я утверждаю, что средоточие мира находится именно здесь, несмотря на то, что мы с вами на самом краю материка. Конечно, подобное утверждение выглядит несколько причудливо, но тонко чувствующий человек со мной согласится. Да, мы на самом краю. Во всяком случае читателям газет и распутникам не дано зайти дальше. Они стекаются сюда со всех концов Европы и замирают на бесцветном песке подле этого моря, врезавшегося в сушу. Они слушают вой сирен и тщетно пытаются различить в тумане силуэты судов. Потом они возвращаются вдоль каналов обратно. Вымокнув под дождем и продрогнув, они заходят в «Мехико-Сити», чтобы на всех языках мира заказать стакан можжевельки. Там-то я их и поджидаю.

Итак, до завтра, дорогой соотечественник. Теперь вы не собьетесь с пути. Возле этого моста я вас покину. Я никогда не хожу по мостам ночью. В силу некоего обета. Кстати, представьте себе такую ситуацию: на ваших глазах в воду бросается человек. Одно из двух: или вы прыгаете с моста, чтобы его выудить, — и тогда в холодную погоду вы рискуете здоровьем, или удаляетесь, испытывая после несостоявшегося прыжка странную ломоту в пояснице. Доброй ночи! О чем вы? Ах, эти дамочки за стеклом? Это мечта, месье, доступная даже бедняку, мечта о путешествии в Индию. Эти куколки надушены заморскими пряностями. Вы входите, они задерживают занавески, и вы уже в пути. Боги вселяются в обнаженные тела, мимо проплывают неведомые острова, увенчанные шевелюрой пальм, лохматой от ветра. Советую испытать на себе.

* * *

— Что такое кающийся судья? Вижу, что порядком заинтриговал вас. Прав же, я сделал это без задней мысли и готов все объяснить. В некотором смысле это даже входит в мои служебные обязанности. Но чтобы мой рассказ был понятнее, сначала я расскажу вам кое-что о своей жизни. Несколько лет тому назад я был довольно известным адвокатом и жил в Париже. Разумеется, я не назвал вам своего настоящего имени. Я был специалистом по так называемым благородным делам. Иначе их называют еще «вдова и сиротка». Не знаю почему: ведь в конце концов есть немало хищных сироток и пронырливых вдовиц. Но мне достаточно было учуять в обвиняемом легкий запах невинности, чтобы мои манжеты яростно заметались над головой. И как! Это был какой-то ураган! Казалось, в этих манжетах трепещет мое сердце. Можно было подумать, что сама юстиция спала со мной по ночам. Убежден, что вы пришли бы в восторг от точности моих выражений, верности настроения, убежденности, пыла и сдержанного негодования. Природа не обидела меня внешностью, благородные повадки давались мне без труда. К тому же меня поддерживали два искренних чувства: удовлетворение от того, что я нахожусь по сю сторону барьера, и инстинктивное презрение к судьям как таковым. По правде говоря, это презрение было не таким уж инстинктивным. Теперь-то я знаю, что оно имело свои резоны. Но со стороны оно казалось безотчетным пристрастием. Я далек от мысли, что в судьях отпала необходимость. И все-таки до моего сознания не доходило, как может человек добровольно избрать это удивительное занятие. Конечно, я мирился с ними, раз уж они существовали, — как мирятся с саранчой. Разница заключалась в том, что набеги прямокрылых не приносили мне ни сантима, тогда как, дискутируя с этими презираемыми мной существами, я немало зарабатывал.

Впрочем, это не имело особого значения. Я был на стороне права — вот что вносило мир в мою душу. Ах, месье, сознание, что за тобой закон, удовлетворение собственной правотой и своеобразная радость самоуважения — могучий двигатель, помогающий нам держаться и преуспевать. Попробуйте лишить человека всего этого, и он превратится в бешеного пса. Сколько преступлений совершено только потому, что люди, их совершившие, не в силах были вынести своей неправоты. Я знал одного промышленника, который изменял своей жене, хотя она была безупречна и вызывала всеобщее восхищение. Этот человек буквально приходил в иступление от сознания своей вины и полной невозможности убедить кого бы то ни было, да и себя самого, в том, что он человек добропорядочный. Чем более очевидной становилась добродетель его жены, тем больше он выходил из себя. В конце концов ощущение собственной неправоты стало для него совершенно невыносимым. И как, по-вашему, он поступил? Перестал обманывать жену? Вовсе нет. Он убил ее. Так мы с ним и познакомились.

Мое положение было предпочтительней. Я не только не рисковал пополнить собой лагерь правонарушителей — в частности, я не имел ни малейшего шанса убить свою жену, так как был холост, — но я брал на себя их защиту. Разумеется, они должны были быть образцовыми, хрестоматийными убийцами, как бывают хрестоматийные дикари. Сама манера защиты приносила мне огромное удовле-

творение. В своей профессиональной жизни я был поистине безупречен. Взятюк я, конечно, не брал, ни до каких плутней ни разу не опускался. И, что встречается не так уж часто, никогда не заискивал перед чиновниками и журналистами, хотя и те и другие могли бы мне быть полезными. Дважды или трижды я имел возможность получить орден Почетного легиона, но каждый раз с достоинством от него отказывался, и моя скромность была для меня вполне достаточной компенсацией. Наконец, я никогда не брал платы с бедняков и не вопил об этом на всех перекрестках. Поверьте, месье, я вовсе не собираюсь этим хвастать. Тут нет никакой моей заслуги: мне всегда смешна была алчность, сменившая в нашем обществе чувство собственного достоинства. Я метил повыше. Скоро вы поймете, что я имею в виду.

Обратите внимание на мое довольство. Я упивался собственным благородством, а всем нам отлично известно, что это немалое счастье, хотя для взаимного успокоения мы нередко делаем вид, что осуждаем подобные утехы как сугубо эгоистические. Я упивался той стороной своей натуры, которая так чутко реагировала на сирот и вдов, и в конце концов от частых упражнений она стала царить над всей моей жизнью. К примеру, я обожал помогать слепым переходить улицу. Едва заметив на каком-нибудь перекрестке шарящую трость слепца, я мгновенно устремлялся вперед, на секунду опережал чью-нибудь уже протянувшуюся к нему милосердную руку, похищал его и, минуя опасности уличного движения, с величайшей заботливостью, рукою нежной и твердой вел его через дорогу к тихой гавани тротуара, где мы и расставались, крайне признательные друг другу. Точно так же любил я указывать приезжим дорогу, давать прикурить, подталкивать перегруженную тележку или буксующий автомобиль, покупать газету в пользу Армии Спасения или букетик цветов у старушки, несомненно стацившей его на кладбище Монпарнас. Кроме того — о, это трудно объяснить! — я любил подавать милостыню. Один из моих друзей, истый христианин, признавался, что когда он видит нищего, подходящего к его дому, в первую минуту ему становится не по себе. Я же испытывал нечто похуже: я ликовал. Но хватит об этом.

Поговорим лучше о моей галантности. Она была бесспорна и всеми признана. Моя обходительность доставляла мне истинную радость. Иногда по утрам в автобусе или метро мне удавалось уступить место человеку, который в этом нуждался, или поднять какой-нибудь предмет, выскользнувший из рук пожилой дамы, и протянуть его с хорошо отработанной улыбкой, или хотя бы уступить такси человеку, спешившему больше, чем я. Подобная удача освещала потом весь мой день. Сознаться, меня радовало, когда трамвайчики бастовали и мне удавалось, подъехав к трамвайной остановке, усадить в машину кого-нибудь из моих несчастных сограждан, не знающих, как добраться до дома. Я вставал со своего кресла в театре, чтобы незнакомая мне парочка уселась рядом. Во время поездов я ставил чемоданы какой-нибудь юной особы на полку, слишком высокую для ее роста. И сколько еще подобных подвигов я совершал чаще других людей, ибо тщательнее, чем кто-либо, изыскивал возможности для этого! И какое сладострастное наслаждение я извлекал из них!

Я слыл человеком великодушным и был им на самом деле. Я много раздавал и частным лицам, и филантропическим организациям. Я расставался с вещами или денежными суммами без всякой боли, но к радости моей примешивалась легкая меланхолия, так как дары мои часто бывали бесплодны и не встречали должной благодарности. Я так любил давать, что терпеть не мог делать это по обязанности. Педантичность в денежных делах меня угнетала; подчиняясь ей, я приходил в дурное настроение. Мне необходимо было чувствовать себя господином своей щедрости.

Конечно, все это мелочи, но они-то и составляли существо утех, которые я постоянно открывал в своей жизни и особенно в своей профессии. Быть, например, остановленным в коридоре суда женой обвиняемого, которого защищаешь исключительно из жалости и из чувства справедливости, то есть бесплатно, услышать,

как эта женщина лепечет, что невозможно, нет, совершенно невозможно выразить, как они мне обязаны, ответить ей, что иначе поступить я не мог, что всякий на моем месте поступил бы так же, предложить ей помощь на черный день, а затем, резко оборвав ее излияния, чтобы она не испортила их чем-нибудь лишним, поцеловать бедняжке руку и тут же, не дав ей раскрыть рта, исчезнуть — как по-вашему, разве это не стоит большего, чем какая-то вульгарная амбиция, разве это не значит достигнуть кульминационной точки, когда добродетель вскармливает себя самое?

Немного подробнее о вершинах. Теперь вам ясно, что я имел в виду, когда говорил, что мечу повыше? Именно эти самые кульминационные точки, в коих и заключался смысл моей жизни. Я чувствовал себя не в своей тарелке, если не был на высоте в полном смысле этого слова. У меня появилась потребность быть выше всех во всем, включая мелкие житейские ситуации. Коляску я предпочитал такси, автобус подземке, верхние этажи нижним. Я любил летать в открытых спортивных самолетах, обозревая беспредельные небеса. Плавая на судах, я имел обыкновение прогуливаться по полуюту. В горах я удирал из долин, лежавших в котловинах, на плоскогорья и перевалы. Короче говоря, перед вами человек вершин.

Если бы судьба моя сложилась иначе и мне пришлось бы выбирать между ремеслом токаря или кровельщика, можете не сомневаться, я выбрал бы крыши и легко свыкся бы с головокружением. Всевозможные трюмы, гроты, пропасти, подземелья внушали мне ужас. Особую ненависть испытывал я к спелеологам, которые имели наглость занимать первые полосы газет своими изысканиями, внушавшими мне омерзение. Стремление проникнуть на глубину в восемь сотен метров с риском застрять в какой-нибудь скалистой расщелине (или, как выражаются эти безумцы, сифоне) казалось мне подвигом людей извращенных, с болезненной психикой. Во всем этом было что-то преступное.

Совсем другое дело — естественная терраса на высоте в пятьдесят или шестьдесят метров, с которой так хорошо видно море, залитое солнечными лучами. Здесь, высоко-высоко над человеческим муравейником, отлично дышится. Особенно когда ты один. Я всегда был убежден, что все великие пророчества, проповеди и чудеса совершались на огромной высоте. По-моему, человек не способен мыслить в подвалах и тюремных камерах (если только они не в башнях, с просторным ландшафтом из окна). Там можно лишь медленно покрываться плесенью. И я отлично понимаю человека, который, постригшись в монахи, обнаружил, что его келья выходит на стену, а не на открытый простор, как он ожидал, — и тотчас скинул с себя рясу. Что до меня, то, поверьте, я не собирался плесневеть. Сутками напролет карабкался я в себе самом и на глазах у других на свои вершины, возжигал там яркие костры и упивался ликующими приветствиями, несущимися ко мне снизу. Сознание своего превосходства стало для меня источником постоянных радостей.

Профессия, к счастью, благоприятствовала моей страсти к вершинам. Она избавляла меня от горького разочарования в ближних, которых мне удавалось обязывать, не обязываясь у них самому. Она ставила меня над судьями, которых я судил в свою очередь, над обвиняемыми, которых я вынуждал к признательности. И, что самое ценное, месье, все это сходило мне с рук. Я был неподсуден. Я парил где-то под сводчатыми потолками судебного зала, подобно античным богам, время от времени спускавшимся с помощью специальной машины на сцену, чтобы изменить ход действия и внести в него определенный смысл. В конце концов жизнь наверху — пока еще единственный способ быть известным и уважаемым.

Кое-кто из моих милых подзащитных, убивая, руководствовался теми же соображениями. В той невеселой ситуации, в которой они оказывались, чтение газет, несомненно, давало им что-то вроде печальной компенсации. Как и большинство людей, они не в силах были больше переносить безвестность, — это отчасти и толкнуло их на ужасные злодеяния. Чтобы стать известным, в общем-то, достаточно убить свою консьержку. Но, увы, слава эта эфемерна — слишком многие

консьержки заслуживают, чтобы их пырнули ножом. Преступление постоянно на авансцене, но преступник, едва мелькнув, уступает место другому. И потом, короткий триумф покупается слишком дорогой ценой. Мне же защита злополучных искателей известности приносила славу подлинную и к тому же достигнутую более безопасным способом. Все это побуждало меня прилагать похвальные усилия к тому, чтобы они расплачивались как можно дешевле: ведь то, что они платили, они платили и за меня. Но если я и был что-нибудь им должен, то мое благодарное негодование и щедро расточаемые чувства оплачивали долг сполна. И так, судьи карали, обвиняемые расплачивались, я же, свободный от осуждения и наказания, легко парил над судом, осиянный райским ореолом.

И в самом деле, разве это не было раем — жизнью в полном смысле этого слова? Так я и жил, месяц. Мне никогда не приходилось учиться жить. В этом отношении я знал все чуть ли не от рождения. Есть люди, для которых основная проблема в жизни — скрыться от себе подобных или по крайней мере как-то приспособиться к ним. Я же приспособился ко всему, нимало об этом не заботясь. Непринужденный — когда следует, молчаливый — если в этом была необходимость, умеющий быть и развязным и степенным, я всегда вел себя, сообразуясь с обстоятельствами. Потому-то популярность моя была велика и успехи в свете несчетны. Я был недурен собой, мог танцевать до упаду и в то же время, напустив на себя скромность, блеснуть эрудицией. Я умел одновременно — а это не так-то просто — любить и женщин и юстицию. Я занимался спортом и изящными искусствами... На этом я, пожалуй, остановлюсь, чтобы вы не заподозрили меня в самодовольстве. Итак, представьте себе человека во цвете лет, идеально здорового, не знающего, что такое бессонница, человека блестяще одаренного, одинаково искусного в упражнениях телесных и интеллектуальных, не богатого и не бедного, полностью довольного собой, но проявляющего это только в форме благодушной общительности. Разве я не имел всех оснований считать, что жизнь моя вполне удалась?

Да, немногие люди были столь естественны, как я. Я принимал жизнь безоговорочно, принимал ее такой, как она есть, не отвергая ни ее величия, ни ее причуд, ни ее тягот. В частности, все плотское, физическое, материальное — то, что приводит столь многих в смятение и обескураживает в делах любви и в часы одиночества, — несколько не угнетало меня, а приносило одни только радости. Я никогда не отрекался от тела. Отсюда моя уравновешенность и спокойная уверенность в себе. Люди, меня окружавшие, явственно ощущали ее, и она, по их собственному признанию, помогала им жить. Итак, моего общества искали. Иные полагали, что близко сошлись со мной. Люди, их дары, сама жизнь — все шло мне навстречу, и я принимал почести с горделивым благодушием. По правде говоря, будучи человеком столь естественным и гармоничным, я ощущал себя немножко и сверхчеловеком.

Родился я в честной, но незнатной семье — отец мой был офицером — и тем не менее должен вам смиренно сознаться, что иной раз, проснувшись, я чувствовал себя принцем крови, а то и небожителем. Это происходило вовсе не оттого, что я считал себя умнее других. Такая уверенность стоила бы недорого: ведь ее разделило бы со мной множество тупиц. Мне неловко в этом сознаться, но в те времена я считал себя избранным от рождения. Да-да, избранным из всех смертных. Мое преуспеяние казалось мне уготованным самой судьбой. Я думал так отчасти из скромности, ибо не решался приписать свои удачи одним только своим достоинствам. Мне не верилось, что сочетание в одном существе столь разнообразных и часто полярных качеств могло быть всего лишь игрой случая. Поэтому, наслаждаясь жизнью, я чувствовал себя как бы предназначенным для этого неким божественным указом. Эта уверенность была тем более удивительна, что я всегда был убежденным атеистом. Но так или иначе, она возносила меня над повседневностью, и я буквально парил над ней. Это продолжалось долгие годы. Честно говоря, я и теперь вспоминаю о них с легкой завистью. И вот однажды вечером... Впрочем, это совсем другая история, о ней в свое время. Возмож-

но, я кое-что преувеличиваю. Но поверьте, в те времена все доставляло мне удовольствие и ничто по-настоящему не удовлетворяло. Каждая новая удача заставляла меня жаждать следующей. Я переходил от праздника к празднику. Мне случалось танцевать ночи напролет, теряя голову от близости людей, от кипения жизни. Иногда на исходе ночи, когда танец, легкое опьянение, раскованность и какая-то исступленная самозабвенность пронизывали меня ощущением томительного и сладострастного восторга, на какую-то долю секунды, на пределе изнеможения, мне чудилось, что я постиг наконец тайну всего сущего. Но к утру изнеможение проходило, вместе с ним исчезала и тайна, и я снова устремлялся вперед. Так я и несся по жизни, всегда довольный и никогда не удовлетворенный до конца, не ведая, где остановлюсь, вплоть до того дня, вернее до того вечера, когда смолкла музыка и погасли огни. И праздник, на котором я был так счастлив...

С вашего разрешения, я призову нашего друга примата. Кивните ему головой в знак благодарности, а главное — выпьем! Я так нуждаюсь в вашей симпатии! Вижу, что подобное признание вас удивляет. Но разве вас самого никогда не охватывала внезапная потребность в чьей-нибудь симпатии, помощи, дружбе? Наверняка да. Я же научился довольствоваться одной симпатией. Ее легче добиться, и к тому же она неприятельна. Фраза: «Ах, как вы мне симпатичны!» — неизбежно подразумевает другую, но уже не произносимую вслух: «А теперь займемся-ка своими делами». Так главы правительств выражают соболезнование — они отлично понимают, что это самая дешевая реакция на катастрофу. Дружба много сложнее. Добиваешься ее труднее и дольше, но, когда она есть, от нее невозможно отделаться. Не думайте, что друзья будут звонить вам ежевечерне — как это им полагалось бы, — опасаясь, что именно в этот вечер вы решили наложить на себя руки. Звонят они и не потому, что вы нуждаетесь в их компании и хотели бы с ними прогуляться. О нет, обычно они делают это, когда вы не одни и вообще когда жизнь прекрасна. А на самоубийство они вас, пожалуй, и подтолкнут, полагая, что для вас это наилучший выход из положения. Хорошо еще, что друзья не слишком-то о нас заботятся. Что же касается тех, кто любовь к вам считает своим прямым долгом — я имею в виду родственников и сотоварищей (словцо-то какое!), — тут дело другое. Их телефонные звонки косят, как автоматные очереди. Уж эти-то бьют без промаха! Иуды!

Какой вечер? Ах, тот! Погодите немного, со мной надо быть терпеливым. Поверьте, все это имеет прямое отношение к моей истории. Как-то мне рассказывали об одном человеке, который спал на полу только потому, что друг его был арестован: он не хотел наслаждаться комфортом, недоступным тому, кого он любил. Увы, месье, кто станет спать на полу ради нас с вами? И разве сам я на такое способен? Вообще-то говоря, способен и сделаю это когда-нибудь. Все мы однажды так поступим. И в этом будет наше спасение. Но это нелегко, ибо дружба наша рассеянна и, в сущности, импотентна. Хотеть и мочь — для нее далеко не одно и то же. Может быть, дело в том, что она недостаточно хочет? А может, мы попросту недостаточно жизнелюбивы? Вы, конечно, заметили, что одна только смерть по-настоящему будоражит наши притупленные чувства. Как обожаем мы друзей, только что нас покинувших. Как восторгаемся мы нашими учителями, когда рот их забит могильной землей! И хвала — быть может, та самая, которой они ждали от нас всю жизнь, — легко слетает с наших уст. А знаете, почему мы так справедливы и великодушны к мертвецам? Все объясняется очень просто. По отношению к ним у нас нет никаких обязательств. Они не стесняют нашей свободы, и мы можем располагать своим временем, как нам заблагорассудится. Мы поем им дифирамбы на досуге в промежутках между коктейлем и любовницей. Единственное, к чему нас обязывают мертвые друзья, это память. Но, увы, память у нас так коротка! А в друзьях, умерших недавно, мы любим свое волнение, свою скорбь, то есть опять-таки нас самих!

Когда-то у меня был друг, которого я всячески избегал. Он слишком носился со своей нравственностью и потому порядком мне надоел. И тем не менее, когда пробил его смертный час, он послал за мной. Я не отходил от его изго-

ловья, и он скончался, пожимая мне руки, весьма довольный моим поведением. В свое время одна женщина буквально преследовала меня. К счастью, у нее хватило ума умереть молодой. Как я полюбил ее после этого! А что за прелесть самоубийство! О, месье, какая вокруг него поднимается восхитительная суматоха! Безостановочно звонящий телефон, сердце, полное до краев, короткие, но многозначительные фразы, сдерживаемое горе и даже немножко упреков по собственному адресу...

Таков человек, месье. Он двулик и не способен любить других, не любя одновременно себя самого. Понаблюдайте своих соседей, когда дом ваш посетит смерть. До сих пор они мирно жили своей маленькой сонной жизнью. Но вот им повезло: к примеру, умирает консьерж. Вся эта публика мгновенно пробуждается, вертится юлой, обменивается подробностями, выражает друг другу соболезнование. Труп не успел еще остыть, а спектакль уже в полном разгаре. Ведь люди жить не могут без трагедий, да и как иначе — это их маленькое путешествие в трансцендентность, их аперитив. Честно говоря, я не случайно заговорил о консьерже. В свое время я знавал одного: это был субъект, поистине обиженный богом, — чудовищно злобный, злопамятный и ничтожный тип, способный вывести из себя даже францисканца. За все время я не перебросился с ним и парой слов, но сам факт его существования омрачал мою привычную удовлетворенность жизнью. Но вот он умирает, и я отправляюсь на его похороны. Как по-вашему, почему?

Два дня, предшествовавшие погребальной церемонии, были чрезвычайно заняты. Жена консьержа заболела. Она лежала в своей каморке, и перед ее кроватью стоял на козлах гроб. Нам приходилось брать корреспонденцию самим. Мы открывали дверь, говорили: «Добрый день, мадам», выслушивали панегирик покойному, на которого консьержка указывала при этом перстом, забирали почту и удалялись. Ничего веселого, не так ли? И тем не менее весь дом промаршировал через эту комнату, насквозь пропитанную фенолом. Жильцы не обращались к слугам, все они рады были сами использовать неожиданную удачу. Впрочем, и слуги тишком последовали их примеру. В день похорон выяснилось, что гроб слишком велик и его невозможно вынести из комнаты. «Родной мой! — причитала со своей кровати изумленная консьержка — в голосе ее смешались восхищение и горечь. — Ты был крупным мужчиной!» — «Не волнуйтесь, мадам, — отозвался распорядитель, — сейчас мы пронесем его стоймя». Его и в самом деле несли сначала стоймя, а потом уже обычно. И я был единственным (если не считать бывшего швейцара из кабаре, с которым, как выяснилось, покойный пил по вечерам перно), кто дошел до самого кладбища и бросил цветы на гроб, роскошь которого была просто поразительной. Затем я нанес визит консьержке, чтобы выслушать благодарственные тирады этой комедиантки. Вы спросите почему? Чтобы получить свой аперитив. Только и всего.

Как-то мне пришлось хоронить сослуживца по коллегии адвокатов. Это был мелкий служащий, что никогда не мешало мне пожимать ему руку. Кстати сказать, на работе я проделывал это со всеми, иногда по два раза на день. Этой простодушной сердечностью я снискал без особых затрат всеобщую симпатию, столь необходимую для моего преуспевания. Так вот, председателю нашей коллегии не пришлось заниматься похоронами. Все хлопоты взял на себя я, причем накануне отъезда. Разумеется, я понимал, что мое участие не пройдет незамеченным и будет соответствующим образом прокомментировано. Даже снег, валивший в тот день, не был для меня помехой.

Какой вечер? О, не беспокойтесь, я дойду и до него. Но позвольте сначала закончить историю моей консьержки. Для полноты переживаний наша вдовица, вконец разорившись на крест, на дорогой дубовый гроб и щедрую милостыню, вскорости подцепила какого-то хлыща с недурным баритоном. Он ее частенько дубасил, и из их комнаты неслись ужасные вопли. А минуту спустя он распахнул окно и распевал свой любимый романс «О, женщины — красотики!». «И все же...» — говорили соседи. Что «все же»? — позвольте вас спросить. Все. **казалось бы**, свидетельствовало и против баритона, и против консьержки. И тем не

менее ничто не доказывало, что они не любили друг друга. И ничто не доказывало, что она не любила и своего первого мужа. Позднее, видимо, перетрудив голос и кулаки, этот фрукт дал стрекача, и безутешная вдовушка снова принялась петь дифирамбы покойнику. Но в конце концов я знавал многих, которые не были ни более постоянными, ни более чистосердечными, хотя все, казалось бы, говорило в их пользу. Я вспоминаю человека, отдавшего двадцать лет своей жизни вертихвостке, ради которой он пожертвовал друзьями, карьерой, приличиями. В один прекрасный вечер он понимает, что никогда не любил ее. Он просто-напросто скучал, не знал, куда себя девать, как и большинство людей. Вот он и придумал себе жизнь, полную сложностей и драматических происшествий. Ведь должно же что-то происходить — разве не этим озабочена большая часть человечества? Все равно что — пусть даже рабство без любви, война, смерть. И так, да здравствуют похороны!

Но у меня не было даже этого оправдания. Мне некогда было скучать, ибо я царствовал. А в тот вечер, о котором я собираюсь вам рассказать, я скучал менее всего. Уверю вас, мне совсем не хотелось, чтобы что-нибудь произошло. А между тем... О, месье, этот прелестный осенний вечер до сих пор стоит перед моими глазами. В городе было еще тепло, но от Сены уже веяло сыростью. На западе небо еще не потемнело, но краски понемногу сгущались. Слабо поблескивали фонари. Я шел вдоль левого берега Сены по направлению к мосту Дезар. В пролетах между закрытыми ларями букинистов мерцала река. На набережных не было почти никого — Париж ужинал. Я шагал по пропыленной желтой листве, напоминающей о недавнем лете. Небосвод понемногу заполнялся звездами, они возникали, когда я удалялся от фонаря, и исчезали, как только я подходил к следующему. Я чувствовал себя вполне умиротворенным и смаковал мягкость этого вечера, тишину, снизошедшую на землю, опустевший Париж. День прошел удачно: один слепец, надежда на мягкий приговор, горячее рукопожатие одного из клиентов, несколько великодушных поступков, а после полудня блестящая импровизация в кругу друзей о жестокосердии правящего класса и лицемерии интеллигентской элиты. Я поднялся на безлюдный в этот час мост Дезар, чтобы поглядеть на реку, едва различимую в сгустившемся ночном мраке. Я стоял лицом к памятнику Генриха IV, как бы господствуя над островом. Я чувствовал, как душу мою переполняет сознание своего могущества и некой завершенности. Выпрямившись, я собрался было закурить сигарету — сигарету довольства, — как вдруг у меня за спиной прозвучал громкий смех. Удивленный, я резко обернулся — никого. Я подошел к перилам — ни парусника, ни шлюпки. Я снова повернулся к острову и опять услышал позади смех — на этот раз несколько дальше, как будто он спускался вниз по реке. Я замер. Смех понемногу затихал, но все еще явственно звучал где-то за мной, и несся он от реки, больше ему неоткуда было взяться. В ту же минуту я ощутил лихорадочное биение своего сердца. Поверьте, в этом смехе не было ничего таинственного: он звучал просто, естественно, почти дружелюбно и, казалось, все оставлял на своих местах. Вскоре он смолк окончательно. Я вернулся на набережную, прошел по улице Дофин и купил пачку сигарет, хотя в этом не было никакой необходимости. Я был ошеломлен и задыхался. В тот вечер я позвонил одному из своих друзей, но его не оказалось дома. Я не решался выйти на улицу. Неожиданно смех прозвучал под моими окнами. Я распахнул створки. На тротуаре, подле моего дома, весело прощалась молодежь. Пожав плечами, я затворил окно. В конце концов мне надо было заняться деловыми бумагами. Я зашел в ванную, выпил стакан воды. В зеркале улыбалось мое лицо, но мне показалось, что за моей улыбкой проглядывает другая, мне дотоле несвойственная...

О чем вы? О, простите, я задумался. Мы непременно увидимся завтра. Да-да, завтра. Нет, сегодня никак не могу. К тому же со мной хочет проконсультироваться вон тот бурый медведь. Он честный малый, и я знаю наверняка, что полиция придирается к нему из чистого зловредства. Вы находите, что у него лицо убийцы? Да, его физиономия говорит сама за себя. Он действительно хоро-

ший налетчик, но — не удивляйтесь — он еще и специалист по продаже картин. Каждый голландец — специалист по картинам или тюльпанам. Вон тот, например, субъект с такой благой физиономией наделал много шума, похитив знаменитую картину. Какую именно? Со временем я, возможно, расскажу об этом подробнее. Не удивляйтесь моей осведомленности. Хотя я в основном кающийся судья, но и у меня есть свой конек, своя энгрова скрипка: для этих славных ребят я советчик по юридическим вопросам. В свое время я тщательно изучил здешние законы и приобрел клиентуру в этом квартале, где никому нет дела до ваших дипломов. Добиться этого было не так-то просто, но ведь я внушаю людям доверие, не так ли? У меня простодушный смех, крепкое рукопожатие — тут это немалые козыри. К тому же мне удалось уладить несколько трудных дел — сначала я занимался этим из расчета, потом по убеждению. Ведь если сутенеры и жулики будут всегда и повсюду нести наказание, то так называемые порядочные люди сочтут себя абсолютно невиновными. А по-моему, — внимание, месье, я подхожу к самой сути! — этого не следует ни в коем случае допускать. Иначе будет над чем посмеяться.

* * *

— Благодарю вас за вашу любознательность, мой дорогой соотечественник. Собственно, в моей истории нет ничего необычного. Но раз уж она вас заинтересовала, слушайте. Несколько дней я помнил об этом смехе, потом понемногу стал о нем забывать. Время от времени мне казалось, что я все же слышу его, иногда он звучал во мне самом. Но, в общем-то, я без особых усилий думало чем придется. Впрочем, сознаюсь: с тех пор нога моя не ступала на парижские набережные. Когда мне случалось проезжать там в автомобиле или автобусе, все во мне замирало и весь я обращался в слух. Но ничего не происходило, Сена оставалась позади, и я снова дышал полной грудью. В такие минуты мною овладевало легкое недомогание. Ничего определенного, просто я ощущал какой-то упадок сил, а мое обычное хорошее настроение улетучивалось бесследно. Я ходил к врачам, они прописывали мне укрепляющее. Я «укреплялся», но потом расклеивался опять. Жизнь уже не давалась мне так легко, как прежде: когда на сердце тоска, чахнет и тело. Порою мне казалось, что я отчасти утратил искусство, которому никогда не учился, хотя хорошо его постиг — я имею в виду искусство жизни. Уверен, что с этого все и началось.

Сегодня вечером я тоже чувствую себя не в форме. Рассказ мой не клеится. По-моему, я говорю хуже обычного и речь моя не так уверенна, как всегда. Должно быть, это из-за погоды. Сегодня трудно дышится, воздух тяжел и теснит грудь. Что, если мы немного пройдемся по городу? Благодарю вас.

Как все же великолепы каналы по вечерам! Мне нравятся миазмы цветной воды, запах палой листвы, мокнувшей в каналах, мертвенный аромат, идущий от шлюпок, наполненных цветами. О нет, уверяю вас, в этом пристрастии нет ничего болезненного. Это всего лишь один из моих «пунктиков». Честно говоря, я заставляю себя восхищаться этими каналами. Больше всего на свете я люблю Сицилию, особенно когда стоишь на освещенной солнцем вершине Этны, а остров и море лежат у твоих ног. Хороша и Ява, но только в сезон пассатов. Да, в юности я побывал там. Одним словом, я обожаю острова. Там легче чувствовать себя властелином.

Прелестное здание, не правда ли? Вон те две головы — это головы негритянских невольников. Своего рода вывеска. Когда-то дом принадлежал торговцу невольниками. О, в те времена люди не прятали своих карт. У них было достаточно мужества, чтобы заявить: «Вот мой дом, я продаю невольников, торгую черным мясом». Попробуйте представить себе человека, который в наши дни публично признался бы в подобной профессии. Какой скандал! Воображаю моих парижских собратьев! Уж тут-то они встали бы стеной и разразились соответствующими манифестами. Трезво поразмыслив, я присоединил бы свой голос к их хору. Рабство? Фи, мы, конечно, против! То, что мы вынуждены вводить его у себя дома

или, допустим, на заводах, — в порядке вещей. Но бахвалиться этим — явный моветон.

О, я, конечно, понимаю, что все мы неизбежно властвуем или подчиняемся. Каждому человеку рабы нужны, как воздух. Господствовать — значит дышать, не так ли? Ведь даже самый обездоленный не может обойтись без воздуха. Самый последний на социальной лестнице имеет все-таки супругу или отпрыска. Если он холост, то хотя бы собаку. Короче говоря, для человека самое главное — иметь возможность наорать на существо, не имеющее право ответить тем же. «Отцу не перечат» — вам, конечно, известна эта формула. В некотором смысле она поразительна. Кому же еще перечить в этом мире, если не тому, кого любишь! Но, с другой стороны, она вполне разумна. Ведь должен же кто-то иметь право на последнее слово. В противном случае на всякий довод можно найти возражение, и так до бесконечности. Конец этому кладет только власть. Чтобы уразуметь эту истину, мы потратили немало времени. Вы, конечно, тоже знаете, каким очаровательным образом философствует теперь наша старушка Европа. Мы уже не говорим, как в былые наивные времена: «Я думаю так-то и так-то. А какова ваша точка зрения?» С некоторых пор мы стали выражаться коротко и ясно. Диалог уступил место безапелляционным декларациям. «Такова истина, — вещаем мы. — Вы можете спорить, сколько вам заблагорассудится. Придет время, и полиция докажет вам, что я прав».

Милая наша планета! Наконец-то мы тебя раскусили. Раскусили мы и себя самих и теперь уже отлично знаем, на что мы способны. Не будем далеко ходить за примерами. Я всегда хотел, чтобы мне служили с улыбкой на устах. Печальная мина на лице у служанки отравляла мне весь день. Разумеется, служанка имела полное право быть печальной. Но — рассуждал я — для нее самой было бы лучше исполнять свои обязанности смеясь, а не плача. В глубине души я, конечно, имел в виду себя. Знаю, что подобные рассуждения не делают мне чести, но, в сущности, они не так уж нелепы. Из тех же соображений я никогда не обедал в китайских ресторанах. Отчего? Оттого, что у азиатцев, когда они молча глядят на белых, презрительный вид. Естественно, они сохраняют его, прислуживая за столиком. Попробуйте-ка насладиться заливным цыпленком или — что еще труднее — попытайтесь, глядя на них, сохранить уверенность в своей правоте!

Строго между нами: ведь рабство — и особенно рабство с улыбкой на устах — неизбежно. Конечно, этого не следует признавать во всеуслышание. Для человека, не удержавшегося от искушения иметь рабов, будет намного разумнее, если он станет называть их свободными. Прежде всего из соображений принципиальных. И потом не следует доводить этих людей до отчаяния. Ведь надо же чем-то компенсировать им их рабство. Иначе они перестанут улыбаться, и мы не сможем сохранить свою совесть незапятнанной. Мы вынуждены будем заняться собой и тотчас же взвсем от боли или впадем в смирение — и то и другое нам вовсе ни к чему. К тому же вывеска «Рабство» неприлична. Итак, долой вывески! В самом деле, если все примутся вопить в открытую о своем истинном ремесле, о своей подлинной сути — голова пойдет кругом. Вообразите такую визитную карточку: «Дюпон, трусливый философ, или собственник-христианин, или блудливый человеколюбец» — за точными определениями дело не станет. Но ведь это был бы ад. Да-да, именно так и должен он выглядеть: улицы в сплошных вывесках, и уже ничего не поправишь. Все классифицировано раз и навсегда.

А вы, дорогой соотечественник? Какова ваша вывеска? Вы не отвечаете? Ну, ладно, мы еще к этому вернемся. Свою-то я знаю отлично. На ней изображено двуликое существо, очаровательный Янус, и над ним мой фамильный девиз: «Не доверяй!» А на визитной карточке: «Жан-Батист Кламанс, комедиант». Но я немного отвлекся. Так вот, через некоторое время после того вечера я сделал любопытное открытие. Расставаясь с очередным слепцом на тротуаре, куда я помог ему приземлиться, я поклонился. Этот поклон, несомненно, предназначался не слепому: ведь тот не мог его увидеть. Но тогда кому же? Публике. Роль сыграна — актер отвешивает поклоны. Премило, не правда ли? А однажды —

речь идет о тех же временах — я сказал шоферу в ответ на его благодарность за помощь, что никто не поступил бы так, как я. Конечно, я хотел сказать, что всякий поступил бы так же. Злополучная оговорка надолго засела в моем сердце. По части скромности я не имел себе равных. Смиренно сознаюсь, мой дорогой соотечественник, меня всегда распирало от тщеславия. «Я-я-я!» — рефрен всей моей драгоценной жизни, явственно звучащий в каждом моем слове. В разговоре я ни секунды не мог обходиться без похвалы, причем хвастался я со сносшибательной скромностью, которой владел в совершенстве.

Итак, я всегда жил свободным и могущественным. Я чувствовал себя освобожденным от каких бы то ни было обязательств, исходя из того милого соображения, что я — существо единственное и неповторимое. Не скрою, я всегда считал себя не только самым умным, но и самым чувствительным и самым ловким человеком на свете — первоклассным стрелком, несравненным шофером, бесподобным любовником. Даже там, где я был явно не на высоте, скажем в теннисе, где я мог быть только самым ординарным партнером, я умудрялся убедить себя, что, будь у меня время для тренировок, я, песомненно, вошел бы в число лучших теннисистов. Свое превосходство я считал бесспорным, и это питало мою безмятежность и доброжелательность. Делами других я занимался совершенно добровольно, из одного милосердия к ближнему. И это лишний раз укрепляло меня в любви к себе самому.

Эти истины наряду с некоторыми другими открылись мне понемногу после вечера, о котором я вам рассказывал. Но не сразу и не слишком отчетливо. Сначала пришлось напрягать память. Постепенно картина прояснилась, и я вспомнил то, что давно уже знал. Мне всегда помогала жить поразительная способность забывать. Я забывал решительно все, и прежде всего свои решения. В сущности, ничто не имело для меня значения. Война, любовь, нищета, самоубийство — все это, естественно, возбуждало мой интерес, если к тому понуждали меня обстоятельства, но я проявлял его лишь из вежливости и для виду. Правда, иногда я притворялся, что меня захватило что-либо, далекое от моей повседневной жизни. Но в глубине души я был чужд всему этому, если только не ущемлялась моя свобода. Все скользило по мне. Все соскальзывало с меня бесследно.

Самое забавное, что моя забывчивость выглядела как добродетель. Вы, конечно, встречали людей, чья религия заключается в прощении оскорблений. Они и на самом деле прощают их, но никогда не забывают. Материал, из коего я вылеплен, не позволял мне прощать обиды, но зато я всегда с легкостью забывал о них. Люди, считавшие, что я ненавижу их, поражались, видя, с какой сердечной улыбкой я пожимаю им руку. Судя о других по себе, они восхищались величием моей природы или презирали меня за трусость, не подозревая, что мое поведение объясняется предельно просто: я уже все забыл, забыл совершенно, вплоть до их имен. Таким образом, мое безразличие к людям, а порой и неблагодарность легко сходило за великодушие.

Так я и жил изо дня в день, не зная никакой реальности, кроме — «Я-я-я!». Изо дня в день женщины, изо дня в день порок или добродетель, изо дня в день дьявольская монотонность. И, в сущности, изо дня в день Я, один только Я. Я двигался вперед по поверхности жизни, но это было движение в царстве слов, а отнюдь не в мире реальном. О, книги, едва прочитанные, друзья, которых едва успел полюбить, города, которые едва посетил, женщины, которыми едва овладел.. Я двигался по инерции или со скуки. Вокруг сновали люди, пытаюсь зацепиться за меня, — к несчастью, из этого ничего не выходило. К несчастью — для них. Я же по обыкновению забывал всех и вся. И никогда не забывал о себе самом. Но мало-помалу память возвращалась ко мне. Точнее, я возвращался к ней и вскоре обнаружил одно дремавшее во мне воспоминание. Но прежде чем рассказать о нем, позвольте привести несколько примеров того, что мне открылось в ходе моих изысканий. Уверен, что рассказ мой вас заинтересует.

Как-то, сидя за рулем, я замечтался черед зеленым светофором. Наши нетерпеливые сограждане принялись безостановочно сигналить мне в спину, и вдруг

я вспомнил об одном происшествии, случившемся при аналогичных обстоятельствах. В тот день меня обогнал на мотоцикле маленький сухощавый человек в очках и брюках-гольф. Остановив мотоцикл на красный свет, человек безуспешно пытался завести заглохший мотор. Когда зажегся зеленый светофор, я попросил его со своей обычной учтивостью отвести мотоцикл, чтобы дать мне возможность проехать. Человечек, продолжавший раздраженно возиться с задохшимся мотором, в полном соответствии с парижским кодексом благовопитанности предложил мне убираться ко всем чертям. Я продолжал настаивать на своем по-прежнему вежливо, но уже с некоторым нетерпением в голосе. До моего сведения тут же было доведено, что меня собираются стереть в порошок. В это время у меня за спиной раздавалось несколько гудков. С еще большей твердостью призвал я своего собеседника к вежливости и попросил его учесть, что он мешает движению. Темпераментный господин, пришедший в полное отчаяние из-за явно забастовавшего мотора, сообщил мне, что если я хочу получить хорошую затрецину, он с радостью удовлетворит мое желание. Подобное хамство привело меня в ярость, и я вышел из машины с намерением надрать уши мерзкому сквернослову. Я всегда считал себя человеком нетрусливым (но что мы знаем о себе!), к тому же я был на голову выше своего противника и обладал недурными бицепсами. Я и теперь еще уверен, что в тот момент скорее способен был дать затрецину, чем получить ее. Но едва я ступил на мостовую, как вокруг нас начала собираться толпа, и какой-то субъект стал убеждать меня, что я буду последним негодяем, если позволю себе ударить человека, сидящего верхом на мотоцикле, а стало быть, находящегося в менее выгодном положении, чем я. Я было обернулся к самозванному мушкетеру, но даже не успел его увидеть. Неожиданно раздавался оглушительный треск мотора, и в ту же минуту я получил звонкую оплеуху. Прежде чем я сообразил, что произошло, мотоцикл умчался. Окончательно растерявшись, я шагнул к моему д'Артаньяну, но в это время прозвучал сердитый хор гудков — сзади выстроилась внушительная вереница всевозможных машин. Зажегся зеленый свет. И я, все еще немного растерянный, вместо того чтобы проучить затронувшего меня нахала, смиренно уселся в машину. Наглец послал мне вдогонку «жалкого труса», и это впоследствии тоже всплыло в моей памяти.

Вам эта история, конечно, кажется пустяковой. Может быть, вы и правы. И тем не менее я долго не мог ее забыть, хотя у меня и были смягчающие обстоятельства. Пусть я оставил оскорбление без ответа, но все-таки трусом я не был. Захваченный врасплох, поносимый с двух сторон, я совсем потерял голову, а автомобильные гудки довершили мое замешательство. И все же я внезапно почувствовал себя несчастным: мне не удавалось избавиться от ощущения, что я поступил с честью. Снова и снова видел я себя покорно сающимся в машину, под насмешливыми взглядами толпы, получившей от всей этой истории немалое удовольствие, тем более что был я тогда, помнится, в элегантном синем костюме. В ушах моих снова звучало «жалкий трус», и это определение уже не казалось мне несправедливым. Одним словом, я был публично развенчан. Правда, виною тому было стечение обстоятельств, но ведь за обстоятельствами дело не станет. Постфактум я отлично понимал, как мне следовало поступить. Мысленно я представлял, как отвешиваю д'Артаньяну оплеуху, сажусь в машину, пускаюсь в погоню за оскорбившей меня мартышкой, настигаю мотоцикл, прижимаю его к тротуару, отгаскиваю в сторону грубияна и даю ему хорошую взбучку, как он того заслужил. Этот фильм в нескольких вариантах сотни раз прокручивался в моем воображении. Но минувшего не воротить, и меня в течение нескольких дней терзала черная злоба.

Черт возьми, снова дожди! Не переждать ли нам в этом подъезде? Ну, вот и отлично. Так о чем бишь я? Ах да, о чести! Когда я вспомнил об этом маленьком происшествии, я уяснил, что оно означает. Я понял, что мои иллюзии не выдержали испытания жизнью. Я воображал — только воображал, теперь в этом не было сомнений! — что я совершеннейшее существо, внушающее уважение и своими

профессиональными, и чисто человеческими качествами. Я считал себя чем-то средним между Серданом¹ и де Голлем. Одним словом, я хотел первенствовать во всех областях. Важничал я постоянно и охотнее кокетничал своей физической ловкостью, чем достоинствами сугубо интеллектуальными. Но, увы, молча проглотив публичное оскорбление, я утратил возможность любовно лелеять свой умильный образ. Будь я на самом деле другом истины и разума, каковым себя считал, я не придал бы никакого значения этому происшествию, несомненно, забытому всеми его участниками. Единственно, в чем я мог обвинить себя, так это в том, что рассердился из-за пустяка и что, рассердившись, не взял себя в руки и не обуздал своего гнева. Но я сгорал от желания любой ценой взять реванш, настигнуть, одержать победу. Моя сокровенная мечта — быть умнейшим или великодушнейшим человеком на свете — полностью уступила место стремлению быть чьинибудь физиономии и вообще стать сильнее всех, причем в самом примитивном смысле этого слова. Надеюсь, вы не станете оспаривать той простой истины, что всякий интеллигентный человек мечтает стать гангстером и царить в обществе с помощью грубой силы? А поскольку это не так легко, как может показаться при чтении детективных романов, интеллигенты повально бросаются в политику и примыкают к самым экстремистским партиям. Что за беда, если мы унизим этим свой разум, — зато мы будем командовать. Я, например, в один прекрасный день открыл в себе потенциального угнетателя.

В результате я понял наконец, что защищаю виновных и наказуемых лишь постольку, поскольку их проступки не причинили мне никакого ущерба. Их виновность питала мое красноречие лишь потому, что не я был их жертвой. Когда же под угрозой была моя особа, я становился не только судьей, но, больше того, разгневанным господином, готовым, не считаясь с законами, избить виновного, поразить его, поставить на колени. Согласитесь, мой дорогой соотечественник, что после такого открытия довольно трудно всерьез верить в свое призвание и считать себя избранным свыше защитником сирот и вдов.

Раз уж дождик усилился и нам все равно некуда деться, я, пожалуй, расскажу вам об очередном открытии, всплывшем в моей памяти через некоторое время. Присядемте на эту скамейку, под навесом. Столько столетий просидели тут курильщики со своими трубками, глядя, как тот же дождь сеется на те же каналы. То, что я намерен вам рассказать, немного сложнее. На этот раз речь пойдет о женщине. Предварительно замечу, что у женщин я добивался успеха без особого труда. Не стану утверждать, что мне удавалось добиться их счастья или хотя бы своего собственного. Я добивался успеха — и все тут. Я добивался всего, едва успев этого пожелать. И, представьте, меня находили обаятельным. Знаете, что такое обаяние? Это умение добиться согласия, не задав ни одного прямого вопроса. А я умел в свое время этого добиваться. Вас это удивляет? Не отрицайте, я вижу. Что ж, если поглядеть на мою физиономию, ваше удивление вполне естественно. Увы! После определенного возраста человек полностью зависит от своего лица. Мое же... Впрочем, не будем вдаваться в подробности! Факт остается фактом: во мне находили обаяние, и я этим пользовался.

Тут не было никакого расчета. Я оставался искренним, во всяком случае почти искренним. Мои отношения с женщинами были естественными, непринужденными и, как говорится, легкими. К ним не примешивалось лукавство, разве только лукавство явное, в котором женщины видели нечто лестное, что-то вроде особого доверия к ним. Я любил их всех, а стало быть, согласно известной поговорке, не любил никого. Я всегда находил женоненавистничество вульгарным и глупым. Почти все женщины, которых я знал, были лучше меня. И тем не менее, ставя их столь высоко, я заставлял их служить мне гораздо чаще, чем сам служил им. Как это понять? Видите ли, настоящая любовь — величайшая редкость. Она встречается два-три раза в столетие. Все остальное время в роли любви выступают тщеславие или скука. Я же отнюдь не был Португальской монахиней.

¹ Сердан — известный французский боксер.

Хотя в то же время навряд ли я был человеком с холодным сердцем. Напротив, меня нередко переполняла некая умиленность, на глаза мои легко набегали слезы. Но порывы мои неизменно обращались на меня самого, и умиление, в сущности, я испытывал только от собственной персоны. Только что я сказал вам, что никогда не любил. Конечно, это не так. В моей жизни была одна великая любовь, и объектом этой любви, естественно, был я сам. В остальном же, после неизбежных треволнений ранней юности, я пришел к одному, и чувственность, голая чувственность всецело воцарилась в моей интимной жизни. Я искал объекты для завоевания и утех. На это толкал меня мой темперамент — в этом отношении природа была ко мне милостива. Признаться, я порядком гордился своим темпераментом и извлекал из него максимум удовольствий, хотя трудно сказать, что утолялось в такие минуты в большей степени — жажда наслаждений или амбиция. Должно быть, вам кажется это бахвальством? Не спорю. Но, увы, я бахвалюсь тем, что было на самом деле. Уж если говорить о моей чувственности, то она была всегда столь ощутима, что я ради пустячного десятиминутного адюльтера отрекся бы от отца с матерью, хотя не переставал бы при этом мучиться горьким раскаянием. Что я говорю! Именно ради десятиминутного, особенно если бы я знал, что встреча эта останется единственной. Само собой разумеется, и тут у меня были свои принципы: в частности, жен своих друзей я считал священными. Иными словами, я заранее, хотя бы за несколько дней, переставал испытывать к их мужьям дружеские чувства. Может быть, все это следует называть не чувственностью, а как-то иначе. Ведь в чувственности нет ничего отталкивающего. Если быть абсолютно откровенным, то дело тут, видимо, в своеобразном физическом недостатке — в прирожденной неспособности видеть в любви нечто большее, чем просто секс. Подобный недостаток — в конечном итоге довольно удобная вещь. В сочетании с моей способностью забывать он благоприятствовал моей свободе. Он придавал мне вид независимый и отчужденный, а это было залогом будущих успехов. Я всегда далек был от романтичности и именно поэтому постоянно давал пищу для романтических притязаний. В этом отношении наши приятельницы напоминают мне Бонапарта: они уверены, что смогут победить там, где другие потерпели поражение.

Занимаясь женщинами, я утолял не только чувственность, но и свою любовь к игре. В женщинах я видел партнеров по некоей игре, в общем довольно невинной. Я органически не переносил скуку и всегда ценил в жизни одни развлечения. Даже самое блистательное общество быстро меня утомляло, тогда как с женщинами, которые мне нравились, я не скучал никогда. Со стыдом сознаю, что я променял бы десяток встреч с Эйнштейном на первое randevu со смазливенькой фигуранткой. Правда, после десятого randevu я бы смертельно затосковал по Эйнштейну или хотя бы по хорошей книге. Но, в общем, меня тянуло к высоким материям только в промежутках между моими маленькими развлечениями. Сколько раз, стоя на тротуаре с друзьями, в самый разгар спора я терял нить рассуждений своего собеседника только потому, что в эту минуту улицу пересекала какая-нибудь прелестница.

Итак, я играл. Я отлично знал, что женщинам не нравится, когда к цели идут слишком быстро. Сначала им необходима соответствующая беседа и, как они утверждают, нежность. В речах у меня недостатка не было, поскольку я был адвокатом, в нежных взглядах тоже — недаром в армии я играл на любительской сцене. Роли я менял часто, но пьеса всегда была одна и та же. У меня на вооружении были словечки необъяснимой магической силы: «Сам не знаю, как это произошло... Всем своим существом я противился этому, но поверьте... Ведь я так устал от любви...» Этот номер был одним из старейших в репертуаре и в то же время одним из самых эффектных. Недурно принималось и рассуждение о райском блаженстве, испытанном впервые в жизни. Может быть, оно и недолговечно, даже наверняка недолговечно — кто может за себя поручиться! — но пока что жизнь без него решительно невозможна. Особенно хорошо отшлифовал я одну маленькую тираду, которая всегда была наповал, — уверен, что она заслужит ваше одобрение. Суть ее заключалась в скорбном и смиренном признании, что я — нич-

то, что привязываться ко мне нет никакого смысла, что я уже свое отжил, что я никогда не знал настоящего счастья, что я отдал бы за него все на свете, но, увы, слишком поздно! Тайну этого «слишком поздно» я никогда не раскрывал, отлично понимая, как заманчиво очутиться в одной постели с Тайной. Как и подобает хорошему актеру, я в некотором смысле сам верил тому, что говорил. Не удивительно, что и мои партнерши тоже играли с большим подъемом. Наиболее чувствительные пытались меня понять — эти усилия повергали их в sentimentalную меланхолию. Другие, удовлетворенные тем, что я уважаю правила игры и деликатно начинаю со слов, безотлагательно переходили к делу. Итак, каждый раз я выигрывал дважды: удовлетворяя желание, я проверял свое могущество и укреплялся в любви к себе.

Дело обстояло именно так, и если я изредка возобновлял отношения с какой-нибудь из давно опостылевших любовниц, то меня толкало на это не только желание, разогретое разлукой, которая всегда усложняет простые вещи, но и стремление убедиться, что узы, связывавшие нас, еще сохранились, и только от меня зависит возобновить все сначала. Порой я даже заставлял их клясться, что они не будут принадлежать другому, — мне хотелось успокоить раз и навсегда какую-то глухую тревогу, иногда возникающую во мне. Но вообще-то говоря, сердце и даже воображение оставались при этом совершенно безучастными. Моя уверенность в себе была настолько велика, что я решительно не мог представить себе — часто вопреки очевидности, — чтобы женщина, принадлежавшая мне, могла отдаться еще кому-то. Клятвы моих любовниц, связывая их, одновременно освобождали меня. Я с легким сердцем порывал с женщинами, убедившись, что они будут верны мне, — в противном случае я почти никогда не шел на полный разрыв. Мне необходима была уверенность, что моя власть над ними будет длиться вечно. Забавно, не правда ли? И тем не менее это так. Одни заклинают: «Люби меня». Другие: «Оставь меня в покое!» Но есть еще одна порода людей, наихудшая и злосчастнейшая. Эти твердят: «Оставь меня в покое, но будь мне верна!»

К сожалению, проверки никогда не бывают окончательными, поэтому каждый раз все приходилось начинать сызнова. Такие вещи постепенно входят в привычку. Вскоре привыкаешь говорить не думая, слово предшествует мысли. И в один прекрасный день берешь раньше, чем успел по-настоящему пожелать. Можете мне поверить, для некоторых труднее всего на свете не взять того, чего не желаешь.

Подобная вещь случилась однажды и со мной. Нет смысла описывать эту женщину подробно, скажу лишь одно: в сущности, она не волновала меня, хотя мне нравилась ее внешность, в которой было что-то алчное и пассивное одновременно. Как и следовало ожидать, она оказалась вполне заурядной. И поскольку я никогда не страдал комплексами, то, расставшись с ней, я ее моментально забыл. Я был убежден, что эта женщина не имеет собственного мнения и что я остался в ее памяти таким, каким хотел себя изобразить. В свое время ее отрешенный вид меня и привлек. И тем не менее через несколько недель я узнал, что она говорила с посторонним человеком о моих недостатках. Вначале я почувствовал себя почти обманутым: она оказалась не такой уж отрешенной и отнюдь не лишена была пронизательности. Потом я пожал плечами и сделал вид, что все это меня забавляет. Я и в самом деле посмеялся над этим: какой вздор! С другой стороны, если только существует область, где сохранение тайны должно быть законом, то разве это не мир секса со всеми его причудами? Но ведь главное — остаться после разрыва в выигрыше. Итак, я пожал плечами, это верно, но хотите знать, как я поступил потом? Я постарался увидеть эту женщину снова, сделал все, чтобы ее соблазнить, и опять овладел ею. Это было не слишком трудно: женщинам тоже не нравится, когда игра кончается проигрышем. С этой минуты я почти бессознательно принялся мучить ее на все лады. Я оставлял ее и брал снова, я заставлял ее отдаваться мне в самое неподходящее время и в самых неподходящих местах. Я обращался с ней так грубо, что в конце концов привязался к ней, как тюремщик привязывается к своему узнику. И все это

длилось до того часа, когда она в мучительном и сладострастном смятении пропела громкую хвалу тому, кто ее поработал. С того дня я начал отдаляться от нее и вскоре забыл ее окончательно.

Вижу, что вы, несмотря на ваше благовоспитанное молчание, осуждаете меня. Согласен, проделка не из блистательных. Но вспомните свою собственную жизнь, мой дорогой соотечественник. Поройтесь в памяти — и вы наверняка обнаружите что-нибудь наподобие моей истории. Уверен, что немного погодя вы расскажете мне об этом. Что до меня, то я до сих пор смеюсь, когда в памяти моей всплывает это приключение. Но это уже другой смех, порядком смахивающий на тот, который я услышал на мосту Дезар. Я смеялся и над моими объяснениями в любви, и над моими защитительными речами. И, пожалуй, над речами больше, чем над объяснениями. Говоря с женщинами, я не так уж много лгал. В моем поведении инстинкт говорил прямо, не прибегая к околичностям. Любовный акт — это всегда признание. В нем обнаруживается великодушие, выставляет себя напоказ тщеславие или вопиет эгоизм. Ведь, в сущности, в этом моем злополучном романе я был вполне откровенен — откровенен больше, чем предполагал, — и полностью обнаружил свою подноготную и свое отношение к жизни. И все-таки моя частная жизнь — даже в тех случаях, когда я вел себя подобным образом, — была в большей степени достойна уважения, чем мои патетические разглагольствования о невинности и правосудии. Во всяком случае, когда я бывал с женщинами, я не обманывался на свой счет. Лицемерить в постели невозможно. Не помню уж, сам ли я сделал это открытие или где-то прочел об этом.

Размышляя о причинах, мешающих мне окончательно порывать с любовницами, что приводило к множеству одновременных связей, я убеждался, что мое любвеобильное сердце было тут ни при чем. Нет, не оно заставляло меня действовать, когда какая-нибудь из моих подруг, устав ожидать Аустерлица нашей любви, первая заговаривала о разрыве. Я незамедлительно шел на всяческие компромиссы, призывал на помощь все свое красноречие. Я пробуждал в ней нежность и страсть, делая вид, что испытываю то же, хотя на самом деле был всего лишь обеспокоен перспективой потерять ее любовь. Правда, иногда мне казалось, что я страдаю по-настоящему. Однако же едва мятежница окончательно покидала меня, я преспокойно забывал ее, так же как забывал, если она возвращалась. Когда возникала опасность быть оставленным, во мне говорила не страсть, не любовь, а одно только стремление быть обожаемым, го есть получать то, что, с моей точки зрения, мне причиталось. И, как только я был снова любим, а моя партнерша снова забыта, я расцветал, я блистал, я снова становился мил и симпатичен.

Кстати сказать, едва я возвращал утраченную было привязанность, как она начинала смертельно тяготить меня. В минуты раздражения я говорил себе, что идеальным решением проблемы была бы смерть интересующей меня особы. Лишь она навеки скрепила бы нашу связь и вместе с тем принесла бы мне освобождение. Но не мог же я желать полной или частичной гибели человечеству, не мог же я уничтожить жизнь на земле только затем, чтобы достигнуть наконец свободы. Против этого восставали мои чувствительность и человеколюбие.

Единственным сильным чувством, которое я испытывал, занимаясь своими интрижками, была признательность к тем женщинам, которые любили меня, не докучая, и предоставляли мне полную свободу действия. Никогда я не бывал с возлюбленной так мил и галантен, как в тех случаях, когда я приходил к ней, покинув постель другой, — я словно чувствовал себя в долгу перед всеми женщинами за то, что получил у одной из них. Но, как бы сложно ни выглядели мои чувства, суть их была предельно ясна: быть хозяином положения и диктовать свои условия другим. Я понимал, что могу быть счастлив только в том случае, если все человечество или по крайней мере большинство живых существ будут кружить вокруг меня, лишенные личной жизни, покорные, готовые ответить на мой зов, наконец обреченные на целомудрие до того момента, когда мне угодно будет

осчастливить их своей высокой милостью. Одним словом, для того, чтобы я жил счастливо, необходимо было, чтобы существа, отмеченные печатью моего избрания, не жили вовсе. Они должны были изредка воскресать, если на то будет моя воля.

Поверьте, в моем рассказе нет ни капли самолюбования. Вспоминая о тех временах, когда я требовал для себя все, не давая ничего взамен, когда я вербовал окружающих для услужения и как бы засовывал их в холодильник, чтобы они были всегда под рукой, если мне придет в голову ими воспользоваться, я чувствую, как меня охватывает любопытное ощущение. Не знаю уж, как его назвать... Вероятно, это все-таки стыд. Скажите, дорогой соотечественник, может ли стыд так обжигать сердце? Может? В таком случае это, должно быть, он. А возможно, это курьезное чувство имеет отношение к так называемой Чести. Но так или иначе, а оно не оставляло меня после одного происшествия, воспоминание о котором доминирует над всеми прочими. Не могу больше медлить с рассказом о нем. Надеюсь, вы будете снисходительны к отступлениям и некоторой доле фантазии.

Дождь, оказывается, прекратился! Вы не откажетесь проводить меня, месье? Как это ни странно, я устал, и не оттого, что много говорил, а от одной мысли о том, что мне предстоит вам рассказать. Пойдемте! Я постараюсь в нескольких словах рассказать вам о главном открытии моей памяти. Да и к чему лишние разговоры? Прочь напыщенные словеса! Пусть статуя предстанет перед вами во всей своей наготы. Итак... Это произошло ночью, в ноябре, за два или три года до того вечера, когда за спиной моей прозвучал смех. Я шел домой, на левый берег, через мост Руаяль. Был час ночи, мелкий морозящий дождик торопил редких прохожих. Я возвращался от своей очередной подруги, которая, должно быть, уже спала. Прогулка доставляла мне удовольствие. Тело мое было слегка отяжелевшим, но умиротворенным, теплая кровь пульсировала в нем размеренно, как дождик в тот вечер. Проходя по мосту, я обратил внимание на фигуру, перегнувшуюся через перила. Подойдя ближе, я различил силуэт стройной молодой женщины в черном, казалось, глядевшей на реку. Между темными волосами и воротником пальто виднелась тонкая полоска шеи, нежной и влажной от дождя, — она-то и привлекла меня. Но, поколебавшись с минуту, я двинулся дальше. Перейдя мост, я направился по набережной к бульвару Сен-Мишель, где я тогда жил. Я прошел уже метров пятьдесят, как вдруг до меня донесся шум рухнувшего в воду тела — несмотря на расстояние, в ночной тишине он показался мне оглушительным. Я остановился как вкопанный, но не обернулся. Почти одновременно я услышал крик, потом кто-то закричал еще и еще, но крики доносились уже издалека, как бы относимые течением. Потом все стихло. Тишина, наступившая в неожиданно сгустившемся мраке, казалась мне бесконечной. Я хотел бежать, но не мог сдвинуться с места. Меня сотрясала дрожь, видимо от холода и неожиданности происшедшего. Я твердил себе, что надо немедленно действовать, но чувствовал, как непреодолимая слабость сковывает мне тело. Не помню, о чем я тогда думал. «Слишком поздно, она уже далеко...» или что-то в этом роде. Оцепеневший, я долго вслушивался в тишину. Потом медленно зашагал под дождем дальше. О случившемся я никому не сообщил.

Ну, вот мы и пришли. Это мой дом, мое пристанище. Завтра? Пожалуй, если хотите. Охотно провожу вас на остров Маркен — посмотрите Зейдерзее. Итак, в одиннадцать в «Мехико-Сити». О чем вы? Ах, эта женщина? Не знаю, ничего не знаю. Ни на следующий день, ни потом я не читал газет.

* * *

— Кукольный городок, не правда ли? Живописности хоть отбавляй! Но я привел вас на этот остров, мой дорогой друг, вовсе не ради его живописности. Всякий другой заставил бы вас восторгаться чепцами, сабо или до блеска начищенными разукрашенными домишками, где рыбаки покуривают трубки, набитые

душистым табаком. Я же — один из немногих, кто сможет показать вам самое важное.

Мы подходим к дамбе. Чтобы избавиться от этих сусальных домиков, надо пройти вдоль нее. Присядемте, прошу вас. Ну, что скажете? Великолепнейший из потусторонних пейзажей, не правда ли? Слева горы песка — здесь называют их дюнами, — справа серая плотина, под ногами бледно-голубой песок, а прямо перед нами белесое море и бескрайнее небо, в котором отражаются тусклые воды. Несколько смягченный вариант ада. Сплошные горизонталы, совершенно обесцвеченное пространство, ни единого проблеска — жизнь, лишенная жизни. Взгляните на эту абсолютную стертость, на это Ничто, поражающее взгляд. И ни души, главное, ни души. Только вы и я перед лицом обезлюдевшей наконец планеты. Живое небо? Пожалуй, вы правы. Оно сгущается, разрывается просветами, воздвигает воздушные лестницы, замыкает ворота туч. Это голубиные стаи. Вы, должно быть, заметили, что в небесах Голландии мириады голубей. Их не видно потому, что они кружат слишком высоко, они машут крыльями, взмывая ввысь и снова опускаясь, наполняя небесные просторы мягким шелестом сероватых перьев, — на мгновение ветер доносит его до земли и тут же уносит вдаль. Там, в вышине, голуби ждут, ждут круглый год. Они кружат над землей, что-то высматривают, хотят опуститься. Но под ними ничего, кроме моря, каналов, домов с неприменными вывесками, и ни одной вершины, на которую можно было бы сесть.

Вам не понятно, что я хочу этим сказать? Ничего не поделаешь, я очень устал. Я теряю нить рассуждений и утратил прежнюю ясность ума, за которую в свое время меня так перевозносили друзья. Впрочем, о друзьях я говорю по привычке. У меня нет друзей — одни сообщники. Зато число их необычайно возросло — теперь это весь род человеческий. И среди них вы первый. Тот, кто рядом со мной, всегда первый. Как я выяснил, что у меня нет друзей? Очень просто: я открыл это в тот день, когда решил покончить с собой, чтобы потешить их веселым фарсом, а в некотором смысле и наказать. Но тут я понял, что наказывать-то, собственно, некого. Кое-кто удивился бы, но никто не почувствовал бы себя виноватым. До моего сознания наконец дошло, что друзей у меня нет. Впрочем, если бы они у меня и были, ничего бы от этого не изменилось. Вот если бы я мог убить себя и потом увидеть их физиономии — о, тогда игра стоила бы свеч. Увы, мой дорогой друг, могильный холмик слишком высок, крышка гроба слишком прочна, погребальный саван слишком плотен. Глаза души? О да, конечно, если только существует душа и если она зряча. Но в этом никто не уверен, никто не уверен ни в чем. А не то у нас был бы выход. Можно было бы надеяться, что нас примут всерьез. Людей не убеждают ни ваши доводы, ни ваша искренность, ни ваши страдания — их убеждает только ваша смерть. Каким бы вы ни были при жизни, для них ваш случай по меньшей мере сомнителен, вы можете рассчитывать лишь на их скепсис. Итак, имей мы хоть малейшую возможность насладиться этим спектаклем посмертно, мы не колеблясь постарались бы изумить их и доказать им то, во что они не хотели поверить. Но вот вы покончили самоубийством, и не все ли вам равно, поверили они в вас или нет. Вас уже не будет в живых, и вы не сможете вкушать их изумление и раскаяние, пусть даже мимолетное, ваша мечта — мечта каждого человека — присутствовать на собственных похоронах все равно не осуществится. Чтобы больше не быть величиной сомнительной, нужно просто не быть — только и всего.

А впрочем, разве это не выход? Ведь их безразличие причинило бы нам немало страданий. «Ты за это дорого заплатишь!» — сказала одна девица своему папаше, помешавшему ей выйти замуж за чрезмерно вылощенного дыхателя. И она тут же покончила с собой. Но папаша не заплатил ни гроша. Больше всего на свете он любил удить рыбу. Три недели спустя, в воскресенье, он отправился на реку, чтобы, как он выразился, забыться. Расчет оказался точным: он действительно забылся, вернее забыл. По чести говоря, меня удивило бы обратное. А бывает и так: человек решает умереть, чтобы наказать жену, но тем самым

возвращает ей свободу. Нет, очень хорошо, что мы ничего не увидим. Иначе мы рисковали бы услышать презабавные комментарии. Мне кажется, я их уже слышу: «Ах, бедняга, он наложил на себя руки оттого, что не мог перенести...» И отчего у людей такое убогое воображение? Они полагают, что самоубийцы руководствуются каким-то одним соображением. Между тем их вполне может быть и два. Однако людям это невдомек. Но тогда зачем умирать ради этого вздора? Ведь едва вы умрете, вашему поступку припишут самые идиотские или вульгарные мотивы. Ах, мой дорогой друг, удел мучеников всегда одинаков: их или эксплуатируют, или поднимают на смех, или забывают. Но понять — никогда.

И потом, к чему лукавить: я люблю жизнь — это моя основная слабость. Я люблю ее настолько, что воображение мое молчит, когда я пытаюсь представить что-либо, лежащее за ее пределами. В этом жизнелюбии есть что-то плебейское, не так ли? Аристократы всегда умели озирать себя и свою жизнь с некоторого расстояния. Если было нужно, они умирали. Их легче было сломать, чем согнуть. Я же гнусь, потому что продолжаю любить себя. Как вы думаете, что я должен испытывать сейчас, после того, что вам рассказал? Отвращение к себе? Все нет: ведь я всегда испытывал отвращение к другим. Разумеется, я знал собственные недостатки и сожалел о них. Но продолжал забывать их с упорством поистине замечательным. Зато всех прочих я непрерывно судил и осуждал в сердце своем. Вас это, конечно, шокирует? Вам, вероятно, кажется все это нелогичным? Но при чем тут логика? Все дело в искусстве скользить по жизни, и главное — да, самое главное, — при этом избегать осуждения. Я не имею в виду наказание. Наказание без осуждения еще можно стерпеть. Тут нам на помощь приходит одно словечко, полностью реабилитирующее нас, — «страдание». Наша задача — увильнуть от суда, избежать осуждения, сделать так, чтобы приговор никогда не был произнесен.

А это не так просто. Готовность осуждать, так же как готовность совокупляться, свойственна нам в одинаковой степени. Первое занятие даже предпочтительнее, ибо тут можно не опасаться несостоятельности. Если у вас есть на этот счет сомнения, прислушайтесь к разговорам, которые ведут за табльдотом наши благочестивые соотечественники, съехавшиеся летом в курортные отели, чтобы исцелиться от скуки. Если вы все еще не решаетесь на обобщения, почитайте писания наших знаменитых современников. Или понаблюдайте за своим семейством — уж оно-то убедит вас в два счета. Так не будем же, мой дорогой, давать повод — даже самого малого — для осуждения. В противном случае нас разделяют под орех. Мы должны быть осторожны, как укротители. Если укротитель перед тем, как войти в клетку, порезался во время бритья — хищники устраивают славную пирушку. Я это понял сразу в ту минуту, когда в голову мою закралось подозрение, что, возможно, я не такое уж совершенство. Я стал недоверчив, ибо знал, что слегка кровотоку и при случае меня слопают с потрохами.

Мои отношения с людьми внешне оставались прежними, но что-то в них бесповоротно расстроилось. Друзья мои несколько не изменились. При каждом удобном случае они по-прежнему заявляли, что подле моей особы их охватывает чувство уравновешенности и покоя. Но сам я расстался со своей былой гармоничностью, душа моя была во власти сумятицы. Меня не оставляло ощущение уязвимости и беззащитности перед угрозой публичного осуждения. Мои близкие перестали быть для меня привычной почтительной аудиторией. Кружок, группировавшийся вокруг меня, распался, и перед моим мысленным взором члены его уселись в ряд, как на суде. С той минуты, как я почувствовал, что во мне есть нечто подсудное, я понял, что в этих людях таится непреодолимая склонность к осуждению. В общем-то, они несколько не изменились, но внезапно они стали смеяться. Да-да, мне и вправду казалось, что при встрече со мной они с трудом подавляют желание расхохотаться. Дело дошло до того, что мне иногда мерещилось, будто они пытаются подставить мне ножку в буквальном смысле этого слова. Дважды или трижды, войдя в людное помещение, я даже вынужден был за что-то ухватиться, чтобы не упасть. А как-то я и на самом деле растянулся.

Разумеется, рационалист-картезианец, каковым я себя всегда считал, тотчас же овладел собой и приписал все эти происшествия разумному провидению, то бишь Случаю. И все же моя подозрительность получила постоянную пищу. Теперь, когда мое внимание было постоянно начеку, я стал повсюду открывать врагов. Сначала среди товарищей по работе, потом среди светских знакомых. Некоторым из них я в свое время оказал услуги. Другим должен был их оказать, но не сделал этого. Собственно говоря, все это было в порядке вещей, и поэтому мои открытия не причиняли мне особенной боли. Зато намного обиднее было то, что у меня оказались враги среди людей малознакомых или незнакомых вовсе. С наивностью, в которой вы уже убедились, я предполагал, что стоит человеку познакомиться со мной поближе, как он полюбит меня. Так нет же! Чаше всего я наталкивался на неприязнь как раз тех, кто знал обо мне только понаслышке и кого я не знал вовсе. Вне всякого сомнения, они подозревали, что я живу полной жизнью, утопая в блаженстве, — а такие вещи никогда не прощаются. У меня был откровенно удачливый вид, а это приводит дураков в бешенство. Кроме того, жизнь моя была заполнена до отказа, и нередко из-за недостатка времени мне случалось пренебрегать кое-кем из тех, кто домогался моей дружбы. По той же причине я незамедлительно забывал о них. Однако люди, чья жизнь отнюдь не изобиловала удачами, не забывали моего пренебрежения.

Ограничусь одним примером. Получалось так, что женщины в конечном счете обходились мне слишком дорого. Время, которое мне приходилось им уделять, я, естественно, не мог посвящать мужчинам — последние мне этого не прощали. Я попадал в безвыходное положение. Нам лишь тогда охотно прощают наши удачи и успехи, если мы согласны великодушно поделиться ими. Но непрременное условие счастья — не думать о других. А раз так, выхода нет. Счастливым и осужденный — или прощенный и несчастный. Однако в моем случае совершалась вопиющая несправедливость: ведь, в сущности, меня осуждали за давно минувшее счастье. Я долго жил в иллюзорной уверенности, что между миром и мной установилась гармоническая согласованность, а между тем на меня, рассеянного и улыбающегося, со всех сторон сыпались сгреды, насмешки, проклятия. В тот день, когда я в тревоге очнулся, — все раны мои открылись, с глаз моих спала пелена и силы покинули меня. Весь мир хохотал, тесно сгрудившись надо мной.

Такого не может вынести никто, кроме разве мудрецов (но ведь они не живут!). Злоба — единственная форма самозащиты. Люди торопятся осуждать, чтобы самим не быть осужденными. Одна из естественнейших для человека идей, возникающая как бы сама собой из глубин его естества, — идея собственной невиновности. В этом отношении все мы напоминаем одного тихого французика, попавшего в Бухенвальд. В то время, как писарь, такой же заключенный, регистрировал его в книге для прибывших, тот упорно пытался протестовать. Протестовать? Писарь и его помощники рассмеялись: «Это бесполезно, дружище. Тут не протестуют». — «Но, месье, — ответил французик, — мой случай особый: я невиновен».

У всех нас «случай особый». И все мы к чему-то зываем. Каждый хочет быть невиновным, даже если для этого придется посадить на скамью подсудимых весь род человеческий, а заодно и небеса. Вы не особенно обрадуете человека, похвалив его за старания, благодаря которым он стал умным или великодушным. Не он расцветет, если вы восхититесь его природенным великодушием. И наоборот, если вы скажете преступнику, что его преступление не вытекает из свойств его природы, но всего лишь следствие неблагоприятных обстоятельств, вы завоюете его горячую признательность. Скажи вы это в своей защитительной речи, он даже всплакнет. Между тем что за заслуга быть умным или честным от рождения! И потом преступники по натуре так же подлежат суду, как преступники волею случая. Однако эти пройдохи рассчитывают на снисхождение и пытаются доказать свою неподсудность, беззастенчиво оперируя то свойствами своей природы, то роковым стечением обстоятельств, даже если одно противоречит

другому. Главное — убедить в собственной невинности, доказать, что ваши природные добродетели бесспорны и что проступки, порожденные не зависящими от вас причинами, — явление в высшей степени случайное. И все это нужно людям лишь для того, чтобы избежать осуждения. Но поскольку избежать его не так-то просто, ибо трудно заставить кого-либо восторгаться вашей натурой и одновременно извинять ее, все стараются разбогатеть. Для чего? Неужели непонятно? Разумеется, ради власти. Но главное, чтобы как можно скорее избежать осуждения: богатство извлечет вас из толчеи метро и усадит в никелированный кузов автомобиля, уединит в купе первого класса, в роскошных кабинетах, в хорошо охраняемых просторных парках. Богатство — это еще не оправдание, но уже отсрочка, а ею пренебрегать не следует.

Не верьте друзьям своим, когда они просят вас быть с ними откровенным. Они просто-напросто надеются, что вы поддержите их точку зрения. Само обещание быть с ними искренним укрепляет их веру в собственную правоту. И почему, собственно, искренность считается не переменным условием дружбы? Жажда правды любой ценой — это страсть, которая никого не пощадит и ни перед чем не остановится. В сущности, в этой ниюгда очень удобной страсти есть что-то эгоистическое, порочное. Если вас попросят быть искренним, не колеблясь обещайте быть таковым, после чего лгите сколько угодно. Именно на это в глубине души рассчитывают ваши друзья, и вы таким образом вдвойне докажете им свою дружескую привязанность.

Кстати, об откровенности. Мы чрезвычайно редко доверяем свои тайны тем, кто лучше нас. Больше того, мы стараемся избегать их общества. Чаще всего мы исповедуемся перед теми, кто похож на нас и разделяет наши слабости. Ибо мы не желаем, чтобы нас поправляли или исправляли: ведь предварительно нас, должно быть, сочли небезупречными. Мы хотим, чтобы нам сочувствовали, чтобы нас ободряли на избранном нами пути. В общем, нам хотелось бы избавиться от греха, не сделав ни единого усилия для очищения. Мы недостаточно добродетельны и в то же время недостаточно циничны. Нам в равной степени не хватает энергии и для Добра и для Зла. Вы читали Данте? Неужели? Отлично. Стало быть, вы помните, что Данте допускал существование ангелов, сохранявших нейтралитет в споре между Богом и Сатаной. Он поместил их в преддверии Ада — в Лимбе. Так вот, мой дорогой друг, в таком же Лимбе и мы с вами.

Терпение? Вы совершенно правы. Чтобы ожидать Последнего суда, нужно немало терпения. Но вот беда: все мы страшно торопимся. Так торопимся, что мне пришлось даже превратиться в кающегося судью. Но прежде чем избрать эту профессию, я должен был как-то распорядиться своими открытиями и до конца разобраться в смехе моих современников. Кроме того, я должен был что-то ответить или хотя бы искать ответа на крик о помощи, обращенный ко мне в тот вечер. Это было нелегко, и я долго блуждал, не находя выхода. Я блуждал до тех пор, пока этот неумолкающий смех и те, кто смеялся надо мной, не убедили меня в том, что я полон противоречий. Не улыбайтесь, эта истина не так элементарна, как кажется на первый взгляд. И потом самые элементарные истины — те, что открываются после сложных. То, что должно было открыться в начале, открывается в самом конце.

Итак, после длительного самонизучения я окончательно постиг глубочайшую двойственность своей природы. Покопавшись в памяти, я понял, что скромность помогала мне блистать, смиренность — побеждать, добродетель — угнетать. Я вел войну мирными средствами и, корча из себя человека равнодушного, в конечном счете всегда добивался желаемого. К примеру, я никогда не жаловался, если приятели забывали о моем дне рождения. Все поражались и чуть ли не восхищались этой моей чертой. Но моя скромность имела свои тайные причины: мне очень хотелось быть в этот день забытым, чтобы иметь возможность горько плакаться самому себе. Уже задолго до этого знаменательного дня, о котором я отлично помнил, я расставлял ловушки и скрупулезно следил за тем, чтобы какая-нибудь мелочь не всколыхнула память тех, на чью забывчивость я рассчи-

тывал. Однажды меня даже мучило искушение переставить дни в настенном календаре. Зато потом, продемонстрировав свое гордое одиночество, я мог всецело отдаться усадом мужественной печали.

Таким образом, всякая моя добродетель имела свою оборотную — значительно менее привлекательную — сторону. В некотором смысле мои недостатки даже оборачивались к моей пользе. Я вынужден был маскировать свои пороки, а это придавало моему лицу холодность, которую смешивали с целомудрием, на мое безразличие отвечали любовью, мой эгоизм порою выглядел великодушием. На этом я останавлиюсь: злоупотребление параллелями может повредить моему рассказу. Да что говорить! Я прикидывался аскетом — и не мог устоять перед стаканом вина или хорошенькой женщиной. Я слыл человеком деятельным и энергичным, а в действительности только и мечтал о постели. Я бахвалился своей преданностью, но не было, пожалуй, ни одного близкого мне человека, которого бы я в конце концов не предал. Разумется, даже изменяя, я считал себя верным; при всей своей лености, я работал, как вол; ближним и помогал неустанно, хотя бы ради собственного удовольствия. Но напрасно я приводил себе эти плоские доказательства — они не слишком меня утешали. Иной раз по утрам, размышляя об особенностях своего характера, я приходил к убеждению, что более всего преуспел в презрении. И те, кому я помогал чаще всего, были как раз самыми презираемыми. Ежедневно я плевал в лицо моим слепцам и делал это со всей галантностью, волнением и альтруизмом, на которые только был способен.

Вообще-то говоря, у меня было одно оправдание. Но настолько ничтожное, что его смешно было принимать всерьез. Дело в том, что в глубине души я всегда считал дела человеческие чем-то пустячным. В чем крылось главное, стоящее, я не знал, но то, что я видел вокруг, казалось мне игрой, забавной или докучной. Иные людские тревобления были для меня решительно непостижимы. Я всегда поглядывал с удивлением и некоторой подозрительностью на этих странных существ, которые гибнут ради денег, приходят в отчаяние из-за неудавшейся карьеры, с пресерьезным видом посвящают себя благоденствию своих домочадцев. Несравненно лучше понимал я одного своего приятеля, который решил бросить курить и не курил вплоть до того дня, когда прочел в газете об успешном испытании первой водородной бомбы. Ознакомившись с ее великолепными качествами, он незамедлительно отправился в табачную лавку.

Естественно, иногда я пытался относиться к жизни серьезно. Но до меня тут же доходила вся вздорность моих усилий, хотя я продолжал играть свою роль, стараясь изо всех сил. Я корчил из себя человека энергичного, доброжелательного, умного, снисходительного, благородно негодующего, труженика, альтруиста, хорошего гражданина... Не буду продолжать, вы и так уже поняли, что я похож на моих голландцев, которые умеют присутствовать и отсутствовать одновременно: меня не было именно тогда, когда я, казалось, безраздельно был. По-настоящему я бывал искренен и воодушевлен, только занимаясь спортом или в те времена, когда играл для собственного удовольствия в пьесах, которые мы ставили в полку на самодеятельной сцене. И в этом и в другом случае правила игры были совершенно несерьезны — мы считали их правилами только потому, что это нас забавляло. Даже теперь битком набитые стадионы во время воскресных матчей или театры — всегдашний предмет моей страсти — единственные места в мире, где я чувствую себя невиновным.

Но кто сочтет подобную позицию законной, если речь идет о любви, смерти или нищете? Однако же что мог я с собой поделаться! Любовь Тристана и Изольды я представлял себе только в романах и на сцене. Агония умирающих казалась мне всего лишь блистательно сыгранной ролью. Жалобы моих неимущих клиентов были слишком однообразны, чтобы казаться искренними. Именно поэтому, живя среди людей и не разделяя их интересов, я решительно не мог поверить в серьезность моих обязанностей по отношению к ним. Я был достаточно учтив и равнодушен, чтобы отвечать им тем, чего они от меня ждали, — так было в моей

профессиональной, семейной и гражданской жизни, — но каждый раз некоторая доля рассеянности в конечном итоге все сводила на нет. Двойственность была символом всей моей жизни. Совершая самые серьезные из своих поступков, я обычно бывал холоден, как никогда. Именно двойственности, как это ни нелепо, я не прощал себе. Спасаясь от нее, я яростно отбивался от осуждения, которое ощущал в окружающих и в себе самом, и неустанно искал выхода.

Некоторое время жизнь моя текла так, будто ничего не случилось. Я был на рельсах и катился, как прежде. Вокруг меня, как нарочно, множились похвалы. В этом-то и крылось главное зло. Помните: «Горе вам, если люди говорят о вас хорошо»? Золотые слова! Так вот, горе мне! Машина стала капризничать, ее перебои были совершенно необъяснимы. Тогда-то и ворвалась в мою повседневную жизнь мысль о смерти. Я непрестанно подсчитывал годы, отделяющие меня от конца. Я вспоминал людей, которые в моем возрасте были уже покойниками. Я терзался мыслью, что время мое на исходе и я не успею выполнить свою задачу. Но какую? Этого я не знал. По совести говоря, разве стоило продолжать то, чем я занимался? Но дело было даже не в этом. Меня буквально преследовало совершенно смехотворное опасение: что, если я умру, так и не сознавшись в своем обмане? Нет, не богу и его земным наместникам — вы знаете, что я выше этого. Я думал об исповеди людям — например, другу или любимой женщине. Ведь останься в моей жизни хотя бы одна скрытая ложь, смерть сделала бы ее бесповоротной. И никто никогда не узнал бы правды, ибо единственный, кто ее знал, унес эту тайну в могилу. У меня кружилась голова при одной мысли о таком непоправимом правдоубийстве. Замечу мимоходом, что теперь подобная перспектива скорее доставила бы мне утонченное наслаждение. Знать то, что тщетно пытаются узнать другие, или, к примеру, прятать у себя предмет, из-за которого безуспешно сбиваются с ног толпы полицейских, — такая мысль кажется мне теперь восхитительной. Но не будем забегать вперед. Тогда я страдал, страдал по-настоящему, ибо не нашел еще панацеи.

Не раз я пытался от этого отмахнуться. В конце концов что значила ложь одного человека в истории человечества! Не тщеславие ли побуждает меня осветить ярким факелом истины какую-то жалкую единичную неправду, затерянную в океане поколений, как крупица соли в морских глубинах? Я убеждал себя, что смерть тела, если судить по тем смертям, которые мне пришлось видеть, сама по себе достаточное наказание, перекрывающее любую вину. Человек завоевывает свое спасение, то есть право исчезнуть раз и навсегда, в смертном поту агонии. И все-таки боль моя росла, смерть не отходила от моего изголовья. Я ложился и вставал с мыслью о ней, дифирамбы моих знакомых становились все более нестерпимыми. Мне казалось, что ложь растет вместе с ними и мне никогда уже не удастся избавиться от нее.

Наконец наступил день, когда я понял, что дальше так продолжаться не может. Мой первый порыв был почти бессознательным. Да, я — лжец, и я объявлю об этом сам, брошу свою двойственность в лицо этим кретинам даже раньше, чем они догадаются о ней. Раз уж меня понуждают к правде — я приму вызов. Чтобы избежать насмешек, я ошелмлю себя сам. Одним словом, я опять-таки был поглощен лишь одним — как бы избежать осуждения. Мне хотелось, чтобы смеющиеся были со мной заодно или, на худой конец, чтобы я был заодно с ними. Я мечтал о том, как буду отпихивать на улице слепцов, — эта мысль доставила мне внезапное глухое удовольствие, только тут я понял, до какой степени ненавидела их вторая половина моей души. Я лелеял планы о том, как буду прокалывать шины в инвалидных колясках, как надаю пощечин каким-нибудь сосункам в метро, как, проходя под строительными лесами, стану ругать рабочих «грязными свиньями». Но мечты оставались мечтами, а если я и делал что-нибудь подобное, то тут же забывал об этом. Само слово «правосудие» приводило меня в бешенство. Я по-прежнему вынужден был употреблять его в своих защитительных речах. Но зато я отыгрывался потом, публично предавая анафеме самый дух человека-революция. Я кричал о необходимости декрета, запрещающего при-

тесненным притеснять порядочных людей. А однажды, когда я смаковал лангуста на террасе ресторана и ко мне привязался какой-то попрошайка, я потребовал от хозяина, чтобы тот прогнал его. При этом я устроил овацию сему поборнику справедливости, заявившему: «Не мешай этим дамам и господам. Поставь-ка себя на их место». Наконец я выражал всем и каждому свои сожаления, что уже нельзя действовать, подобно одному русскому крепостнику, характер которого приводил меня в восхищение: он сек и тех крестьян, что ему кланялись, и тех, кто этого не делал. Дерзость и одних и других казалась ему в равной степени недопустимой.

Впрочем, на этом я не останавливался. Однажды, к примеру, я написал «Оду полиции» и «Апофеоз гильотины». Прямым своим долгом я почитал регулярное посещение кафе, где собирались наши присяжные человеколюбцы. Моя репутация, естественно, открывала передо мной все двери. Там я ронял, как бы невзначай, какое-нибудь крамольное словцо наподобие «слава богу» или «боже мой»... Вы ведь знаете, как чувствительны к подобным вещам наши трактирные атеисты. В первую минуту за моим ужасным восклицанием следовало всеобщее изумление. Сначала они молча переглядывались, потом раздражался невероятный гул: одни опрометью вылетали из кафе, другие возмущенно кудахтали, не слушая друг друга. Они бесновались и корчились в конвульсиях, как дьявол, окропленный святой водой.

Вы, вероятно, сочтете все это ребячеством. Между тем подобные проделки имели свои резоны. Мне хотелось расстроить игру, а главное, разрушить свою безупречную репутацию, одна мысль о которой приводила меня в ярость. «О, такой человек, как вы...» — любезно восклицал собеседник, и лицо мое тотчас бледнело. Раз уж их уважение не было всеобщим, я более не испытывал в нем потребности. Да и как оно могло быть всеобщим, если сам я не разделял его? Но в таком случае разве не наилучшим выходом было бы осмеяние всего — и уважения и осуждения? Мне нужно было во что бы то ни стало освободиться от душивших меня чувств. Чтобы выставить для всеобщего обозрения содержимое своей утробы, я стремился вдребезги разбить очаровательный манекен, который до этого демонстрировал на всех перекрестках. Вспоминаю свою беседу с молодыми стажерами. Раздраженный невероятными дифирамбами, которыми осыпал меня председатель коллегии, представляя юным адвокатам, я не мог более сдерживаться. Я начал с горячностью и воодушевлением, которых от меня ждали и которые были у меня всегда наготове. Потом, без всякого перехода, я стал рекомендовать юным прозелитам в качестве наилучшего способа защиты метод сплава. Но я имею в виду, говорил я им, не тот сплав, каким пользуется современное следствие, сажающее на скамью подсудимых рядом с вором порядочного человека, чтобы, возвеличивая последнего, тем самым подчеркнуть вину первого. Напротив, речь идет о такой защите вора, когда попутно разоблачается преступность честного человека, в данном случае адвоката. Свою мысль я пояснял следующим образом.

Предположим, я взял на себя защиту некоего симпатичного господина, совершившего убийство из ревности. «Господа судьи! — говорю я. — Разве не простительна ярость человека, убившегося, что его природная доброта предана отвратительным любострастием? И разве не постыдней быть по эту сторону барьера, сидеть на этой скамье и знать, что ты никогда не был по-настоящему добр и никогда не страдал от вероломства? Я свободен, и мне не грозит ваш приговор, а между тем кто я такой? Слесив до такой степени, что чуть ли не считаю себя Гражданином-Солнцем, блудлив, как козел, раздражителен, как фараон, ленив, как восточный властелин. Правда, я никого не убил. Что ж, пока никого! Но разве не взирал я с олимпийским спокойствием на смерть многих достойных людей? Возможно. И, возможно, готов продолжать в том же духе. А вот он — взгляните-ка на него, — он больше никогда не повторит содеянного. Он еще до сих пор не пришел в себя от того, что так ловко сработал». Началу мои юные коллеги были несколько ошарашены этими рассуждениями. Потом, после неко-

торых колебаний, рассмеялись. Окончательно успокоились они только тогда, когда я подошел к финалу своего монолога и патетически провозгласил мнимые права человеческой личности. В тот день привычка все-таки победила.

Возобновляя время от времени подобные милые выходки, я добился лишь того, что сбил с толку общественное мнение. Но отнюдь не обезоружил его и, конечно, не обезоружил себя самого. Удивление, которое я обычно вызывал у своих слушателей, и некое смутное замешательство, похожее на то, что читается сейчас на вашем лице — о, не протестуйте, это так! — не приносили мне ни малейшего успокоения. Как видите, для того, чтобы стать невиновным, недостаточно осудить себя — будь так. я был бы чист, яко агнец. Необходимо осудить себя определенным образом, и мне потребовалось немало времени, чтобы окончательно уяснить это. Я сделал это открытие только после того, как отрекся от всего, от всего решительно. А до тех пор смех продолжал витать вокруг меня, и все мои беспорядочные усилия не могли лишить его того почти нежного, доброжелательного оттенка, от которого мне становилось не по себе.

Кажется, начинается прилив. Сейчас наш корабль отчалит. Темнеет. Взгляните-ка, в вышине снова собираются голуби. Они теснятся друг подле друга, едва шевеля крыльями, и день понемногу меркнет. Если вы не возражаете, давайте помолчим и полюбуемся этой мрачноватой картиной. Я заинтриговал вас? Вы очень учтивы. Впрочем, кажется, я рискну заинтриговать вас по-настоящему. Прежде чем объяснить вам, что такое кающийся судья, я хочу рассказать вам о разгуле и мальконфоре.

* * *

— Ошибаетесь, мой дорогой, судно идет довольно быстро. Но Зейдерзее — море мертвое или во всяком случае почти мертвое. Из-за плоских берегов, затерянных в тумане, трудно понять, где оно начинается и где кончается. Плы-вешь-плывешь, а вокруг никаких перемен, и глаз не находит ни одного ориентира, по которому можно было бы определить скорость передвижения. В этой навигации есть что-то фантастическое.

У побережий Греции мной овладевало совсем иное чувство. На горизонте беспрестанно возникали все новые и новые острова; гребни гор, лишенные растительности, четкой линией отделяли сушу от неба; скалистые берега резко вклинивались в море. Кругом не было ничего смутного, в ослепительном дневном свете каждый выступ служил отличным ориентиром. Двигаясь безостановочно от одного островка к другому на нашем неторопливом кораблике, я не мог избавиться от ощущения, что мы непрестанно подпрыгиваем на упругих волнах, рассыпая вокруг пену и смех. С тех пор сама Греция неумоимо плывет где-то во мне, на краю памяти... Да что Греция! Разве сам я не плыву неведомо куда?.. Но остановите меня, дорогой мой, я становлюсь сентиментальным.

Кстати, вы бывали в Греции? Нет? Тем лучше. Что бы мы там делали, позвольте вас спросить? Увы, для Греции мы недостаточно чисты. Представьте себе, приятели прогуливаются там по улицам парами, взявшись за руки. Да-да, а женщины в это время сидят дома и видят из окон, как их солидные respectable усатые мужья с самым серьезным видом вышагивают взад и вперед по тротуару, сплетя свои пальцы с пальцами друга. На Востоке поступают так же? Возможно. Но, скажите откровенно, разве вы взяли бы меня за руку на одной из парижских улиц? Я, конечно, шучу. Для этого у нас слишком важная осанка — испорченность делает нас чопорными. Прежде чем появиться на островах греческого архипелага, нам пришлось бы мыться и мыться. Воздух там насыщен целомудрием, море жизнерадостно-ясное. А мы...

Давайте посидим в этих шезлонгах. Какой туман! Итак, помнится, я остановился на пути к мальконфору. Сейчас я расскажу вам, о чем речь. После бесплодных споров с самим собой, после того, как я понял, что хвататься мне решительно нечем и что мои попытки что-то изменить ни к чему не приведут, я решил оставить общество себе подобных. О нет, я не собирался искать необи-

таемый остров — таковых давно уже не существует. Я решил укрыться подле женщины. Ведь нет такой слабости, которую они осудили бы. Наоборот, им свойственно унижать силу и исподволь превращать ее в слабость. Женщина всегда была последней отрадой для преступника, а не для воина. Это его последняя гавань, последнее убежище, и не удивительно, что преступника обычно хватают в постели, у женщины. Разве женщина не все, что осталось нам от земного рая? И вот очертя голову бросился я к моему последнему прибежищу. Но теперь я не предавался красноречию. И хотя в силу привычки я по-прежнему немного играл, в игре моей не было ничего преднамеренного. Рискую показаться смешным, сознаюсь вам, что в те времена я, пожалуй, впервые почувствовал потребность в любви. Мерзко, не правда ли? Меня стала терзать какая-то глухая мука, мне начало казаться, что я что-то утратил, в чем-то себя обделил. И вот, побуждаемый отчасти желанием, отчасти любопытством, я решил кое-что предпринять, и поскольку у меня возникла потребность любить и быть любимым, я счел себя и вправду влюбленным. Иными словами, я свалил дурака.

Я стал частенько задавать женщинам вопрос, который раньше, будучи мужчиной достаточно опытным, избегал задавать. Я спрашивал: «Ты любишь меня?» Как вам известно, на такой вопрос обычно отвечают вопросом: «А ты?» Если я отвечал «да», то явно преувеличивал свои истинные чувства. Если же осмеливался сказать «нет», то рисковал потерять любовь моей подруги, а подобная перспектива заставляла меня страдать. Чем больше слабело чувство, в котором я надеялся обрести покой, тем настойчивее требовал я его от партнерши. Мало-помалу пыл моих заверений возрастал, из сердца своего я пытался исторгнуть нечто испепеляющее. В результате в один прекрасный день я воспылил мнимой страстью к одной очаровательной дурочке, которая до такой степени начиталась любовных романов, что говорила о любви с пылкой убежденностью интеллигента, проповедующего бесклассовое общество. Такая уверенность интригует, не правда ли? Я попытался заговорить с ней о любви и в конце концов уверовал в нее сам. Я верил в нее до того момента, пока эта особа не стала моей любовницей, и тут я убедился, что эротические книжки, так просветившие ее по части разговоров, отнюдь не научили ее любить. От любви к попугаю я исцелился, но тут же обнаружил, что сплю со змеей. Так или иначе, но мне пришлось искать в другом месте любовь, обещанную книгами и столь неуволнимую в жизни.

В любви мне недоставало подлинного порыва. Более тридцати лет я любил одного себя. От такой привычки избавиться почти невозможно. И я действительно не избавился от нее и остался человеком, органически неспособным на страсть. Я становился все щедрее на клятвы. Я любил сразу нескольких женщин подобно тому, как в былые времена завязывал сразу по нескольку связей. Но теперь я, пожалуй, приносил женщинам больше горя, чем прежде, во времена моего блистательного равнодушия. Не помню, говорил ли я вам, что мой попугай с отчаяния пытался уморить себя голодом. К счастью, я подросел вовремя и скрепя сердце поддерживал ее до тех пор, пока она не встретила, вернувшись из путешествия на остров Бали, инженера с седеющими висками, вполне отвечающего идеалу, описанному в ее любимом еженедельнике. В общем, мне не удалось, как говорят, очиститься страстью и этим заслужить право на вечность — я только добавил еще кое-что к тяжелой ноше прежних ошибок и заблуждений. Я так хлебнул прелестей любви, что потом долгие годы не мог без скрежета зубного слышать о любви Тристана и Изольды. Я сделал попытку отказаться от женщин и некоторое время пожить монахом. Я решил довольствоваться их дружбой. Но я не учел, что тем самым отказываюсь от игры. Увы, вне любовной сферы женщины вскоре осточертели мне сверх всяких ожиданий, да и сам я, признаться, утратил для них интерес. Отказавшись от игры, отрекшись от театра, я оказался во власти реальности. А реальность, мой дорогой, убийственно скучна.

Отчаявшись в любви и целомудрии, я решил окунуться в разгул, ибо именно это занятие способно заменить любовь, заглушить смех, восстановить душевное равновесие и даровать нечто, напоминающее бессмертие. Когда лежишь поздно ночью между двумя потаскухами, просветленно пьяный и свободный от всякого желанья, надежда уже не кажется пыткой, разум царственно бодрствует и мука жизни кажется навсегда преодоленной. В некотором смысле я всегда жил среди разгула и всегда при этом мечтал о бессмертии. В этом, вероятно, и крылась основа моей натуры. Может быть, это было следствием той самой великой любви к себе, о которой я вам уже говорил. Меня томила смертельная жажда бессмертия. Я слишком сильно себя любил и потому хотел бы, чтобы столь драгоценный объект моей любви не исчезал никогда.

Но согласитесь, что, будучи в трезвом уме и к тому же зная себя достаточно хорошо, довольно трудно найти веские доводы в пользу бессмертия для подобной похотливой обезьяны. Приходилось изобретать эрзацы: оттого-то я, алчущий вечной жизни, ночи напролет пьянствовал и валялся с шлюхами. Конечно, поутру я ощущал во рту горький привкус брэнности человеческой. Но зато перед этим я часами блаженно парил над землей. Стыдно сознаться, но я до сих пор с нежностью вспоминаю о ночах в одном мерзком притоне, куда я являлся ради некой девицы, плясавшей в этом заведении. Девица дарила меня своей благосклонностью, и однажды я даже подрался в ее честь с каким-то усатым фатом. Ночи напролет торчал я у стойки, освещенный красноватым светом, в грязи и прахе этого вертепа, безостановочно тянул вино и врал без зазрения совести. Перед рассветом я наконец попадал в никогда не застилающуюся постель к моей принцессе, которая всегда готова была для наслаждения и тут же засыпала как убитая. Как только проснувшийся день озарял мягким светом весь этот кавардак, я молча вставал и удалялся, осиянный победными утренними лучами.

Не скрою, алкоголь и женщины принесли мне единственное облегчение — большего мне не суждено было удостоиться. Поверьте, дорогой друг, такими вещами не следует пренебрегать. Пользуясь этим средством, вы легко убедитесь, что настоящий разгул всегда принесит освобождение, ибо он не требует от вас никаких обязательств. Он навсегда останется любимейшим занятием великих себялюбцев, ибо тут мы обладаем не другими, а самими собой. Разгул — это джунгли без прошлого и будущего, а главное, без зарокров и немедленного возмездия. Места, где этим занимаются, отгорожены от всего мира. Входящий туда оставляет у порога не только надежду, но и страх. Разговоры там не обязательны: то, для чего туда приходят, доступно без лишних слов, часто даже без денег. Так позвольте же воздать должное безвестным и забытым женщинам, которые так выручали меня в те далекие времена! Даже теперь к моим воспоминаниям о них примешивается что-то похожее на уважение.

Итак, я не колеблясь прибегал к этому спасительному средству. В те времена меня можно было даже встретить в так называемых домах греха. Я жил одновременно с немолодой проституткой и с совсем молоденькой великосветской барышней. С первой я играл в куртуазного рыцаря, вторую обучал кой-каким штучкам. К несчастью, у моей проститутки оказались вполне буржуазные задатки, и она согласилась писать мемуары для одного религиозного журнала, не чуравшегося современных идей. Барышня же вышла замуж, чтобы удовлетворить свои разбухшие инстинкты и пустить в ход мои замечательные уроки. Сознаюсь не без гордости, что в те времена меня принимали как равного в одной из сугубо мужских корпораций, на которые так часто возводятся всяческую напраслину. Упомяну вскользь и о пьянстве: вам ведь известно, что даже самые умные люди считают, что совершили нечто достойное, если им удалось осушить больше стаканов, чем их собутыльникам. Разумеется, и я мог бы обрести мир и свободу в этих расточительных удовольствиях. Но, увы, тут я встретил неожиданное препятствие в себе самом. Внезапно дала знать о себе чечень и утомление столь ужасное, что я не могу избавиться от него до сих пор.

Вечная история: едва начнешь играть в бессмертного, как через неделю-другую уже не уверен, дотянешь ли хотя бы до послезавтра.

Мне пришлось отказаться от своих ночных подвигов, но они не прошли бесследно: жизнь уже не причиняла мне прежней боли. Усталость, грызущая мое тело, одновременно как бы притупляла во мне чувствительные центры. Каждое излишество подкашивает жизненные силы, а стало быть, уменьшает страдание. Вопреки общепринятому мнению, в разгуле нет ничего необузданного. Это всегда лишь летаргия. Вы, конечно, замечали, что человек, томимый ревностью, ничего не желает так страстно, как спать с той, кого он подозревает в измене. Ему, несомненно, хочется убедиться раз и навсегда, что его сокровище принадлежит ему, и никому больше. Конечно, в первую очередь им руководит желание. Но, кроме того, он понимает, что одно только обладание может успокоить ревность. Кстати, о ревности. В основе ее не только воображение, но и самоанализ. Мы приписываем сопернику подлые намерения потому, что сами при аналогичных обстоятельствах имеем таковые. К счастью, избыток наслаждения ослабляет и воображение, и способность к самоанализу. Страдание дремлет вместе с мужской силой и пробуждается вместе с ней. По той же причине первая любовница избавляет молодых людей от метафизических медитаций, а некоторые браки, в сущности, легализующие разврат,— не что иное, как похоронные дроги для мужества и пытливости. Да-да, мой дорогой друг, буржуазный брак обул нашу страну в шлепанцы и в скором времени приведет ее к гибели.

Вы считаете это преувеличением? Возможно. Но я отвлекся. Мне просто хотелось рассказать вам о том облегчении, которое принесли мне несколько месяцев непрерывных оргий. Я жил как в тумане. смех сначала звучал в нем приглушенно, потом окснчательно захих. Безразличие, столь свойственное мне и раньше, теперь, не встречая никакого сопротивления, превращалось в какой-то склероз. Никаких эмоций! Ровное настроение, точнее, никакого настроения. Пораженные туберкулезом легкие исцеляются, засыхая, и понемногу душат их счастливого обладателя. Так и я мирно умирал, исцеляясь. Я по-прежнему зарабатывал на жизнь своим ремеслом, хотя репутация моя порядком пошатнулась из-за моего дерзкого языка, а регулярной адвокатской работе мешали мои похождения. Любопытно отметить, что ночные подвиги вредили мне намного меньше, чем мои вызывающие речи. К примеру, апелляции к богу — разумеется, чисто словесные, — которыми я стал пользоваться в своих выступлениях, внушали моим клиентам недоверие. Очевидно, они предполагали, что небеса защитят их интересы менее успешно, чем юрист, безусловно знающий параграфы кодекса. А отсюда один шаг до заключения, что я зываю к богу, чтобы прикрыть свое невежество. Мои подзащитные этот шаг сделали, и клиентура стала понемногу редеть. Но время от времени мне все же случалось выступать. Иногда, забыв о том, что я не верю ни единому своему слову, я даже выступал хорошо. Меня увлекало звучание собственного голоса, я покорялся ему и хотя уже не парил, как прежде, но все же слетка отрывался от земли и совершал нечто вроде бреющего полета. Вне службы я не виделся почти ни с кем, хотя и продолжал поддерживать одну или две опостылевшие и пережившие себя связи. Порой мне приходилось даже проводить вечера, исполненные одной дружбы, к которой не примешивалось вожделение, но, увы, при этом мной овладевала такая скука, что я почти не слышал обращенных ко мне речей. Я немного располнел, и мне стало казаться, что кризис наконец миновал. Мне оставалось только мирно стареть.

И вот однажды во время прогулки, на которую я пригласил одну из моих любовниц, не сказав ей, что это своего рода празднество в честь моего исцеления, я оказался на борту океанского парохода, естественно, на верхней палубе. Внезапно я заметил вдалеке, на волнах, отливающих сталью, черную точку. Я тотчас отвел глаза, сердце мое бешено заколотилось. Когда я заставил себя снова посмотреть в море, черная точка исчезла. Я уже раскрыл рот, чтобы крикнуть, чтобы глушеим образом позвать кого-то на помощь, как вдруг увидел ее сно-

ва. Должно быть, это было бревно, свалившееся с какого-нибудь корабля. И тем не менее я не мог заставить себя смотреть на него — оно казалось мне утопленником. И тут я осознал до конца, осознал без тени возмущения, как подчиняются идее, в истинности которой давно уже не сомневались, что крик, несколько лет назад прозвучавший над Сеной, ни на секунду не замолкал: волны Сены унесли его к Ла-Маншу, долгие годы носился он над бескрайностью океана, поджидая меня повсюду, — и вот мы встретились снова. И в ту же минуту я понял, что он будет вечно ждать меня над реками и морями — всюду, где струится горькая вода крещения. А здесь? Разве мы здесь не на воде? На воде гладкой, монотонно бесконечной, на воде, незаметно переходящей в земную твердь? Как-то не верится, что мы сможем вернуться отсюда в город. Нет, нам ни за что не выбраться из этой гигантской купели. Прислушайтесь! Разве до вас не доносятся крики невидимых чаек? Может быть, крики эти обращены к нам? О чем они умоляют?

Это те самые чайки, которые кричали и молили над Атлантикой в тот день, когда я окончательно понял, что несколько не исцелился, что я навечно загнан в тупик и что с этим пора примириться. Пришел конец моей горделивой жизни, но зато пришел конец сомнениям и мукам. Настал момент смириться и признать свою виновность. Настал момент заточить себя в мальконфоре. Должно быть, вам не известно, что в средние века так называли одиночки в подземных тюрьмах. Заточив туда осужденного, о нем забывали. От прочих камер мальконфор отличался оригинальным строением. Он был слишком низок, чтобы в нем можно было выпрямиться, и слишком короток для лежания. Приходилось осваивать нечто противоестественное — жизнь по диагонали. Уснув, человек падал; бодрствуя — сидел скорчившись. Дорогой мой, я совершенно уверен, что, несмотря на свою простоту, это открытие было гениальным. Непреложным приговором узник осужден был сидеть скрючившись день за днем, постепенно осознавая, что его одеревеневшее тело — это его виновность и что невиновность — это наслаждение выпрямиться в полный рост. Представьте себе завсегдатая вершин и верхних палуб в подобной клетушке. Трудно вообразить, что в такую камеру может угнать невиновный. Это было бы совершенно непостижимо! А если это так, то рассуждения мои не стоят ломаного гроша. Чтобы невиновность была превращена в какого-то горбуна! Нет, я даже на секунду не могу допустить такого. К тому же разве возможно поручиться за чью-либо невиновность? Ведь в греховности всего человечества мы абсолютно уверены, а стало быть, каждый свидетельствует о преступности всех. Вот на что я надеюсь, вот в чем заключается мой символ веры. Поверьте, религиям вовсе не к чему морализировать и метать громы и молнии. Для того, чтобы создать понятие греха и возмездия, вовсе не обязателен бог. Для этого вполне хватит наших ближних, которым в случае необходимости придет на помощь мы сами. Вы упоминали о Страшном суде? Позвольте почтительно рассмеяться. Я жду его без всякого трепета, ибо мне известно нечто похуже — суд человеческий. Для него не существует смягчающих обстоятельств, даже благие намерения вменяются в вину. Вы, вероятно, слышали о специальной камере для плевков, которую недавно изобрел некий народ, желая доказать, что он величайший в мире? Это каменный мешок, где заключенный стоит во весь рост, но не может шевельнуть и пальцем. Массивная дверь, запирающая его в этой бетонной раковине, оканчивается как раз на уровне подбородка. Таким образом, снаружи видно только лицо, и каждый охранник, проходя мимо, смачно в него плюет. Узник, втиснутый в камеру, не в состоянии даже утереться. Правда, он может прикрывать глаза, это ему не запрещено. Подобная штука, милый мой, изобретена людьми. Создавая этот маленький шедевр, они вполне обошлись без бога.

Что из этого следует? Извольте: единственное, что должен был сделать бог, это гарантировать людям невиновность. Религию я представляю в виде своеобразной прачечной — таковой она и была когда-то. Но это было недолго, всего три года, и тогда она еще не называлась религией. Потом мыло кончилось, и вот мы бегаем, утирая друг другу грязные носы. Все мы лодыри, все мы наказаны, все мы плюем направо и налево, а затем — опля! — пожалуйста в мальконфор! Глав-

ное. плюнуть первому — вот и все! Милый мой, я открою вам одну тайну. Не следует ждать Страшного суда. Он уже идет — идет непрестанно.

Пустяки, не обращайтесь внимания. Меня немного трясет из-за этой чертовой сырости. Вот мы и дома. Впрочем, если можно, проводите меня еще немного. Я еще не кончил, надо продолжать. Продолжать... Это труднее всего. Кстати, знаете, почему его распяли? Того, о ком вы сейчас, должно быть, думаете? О, для этого было найдено множество оснований. Если нужно человека уничтожить, за основаниями дело не станет. Гораздо труднее оправдать его и оставить в живых. Поэтому преступление всегда находит своих адвокатов, а невиновность — только изредка. Так вот, помимо всего прочего, о чем нам так назойливо твердят на протяжении двух тысячелетий, для этой ужасной пытки был еще один повод — главный и потому тщательнейшим образом скрываемый. Истинная причина заключалась в том, что сам он не был уверен в своей абсолютной невиновности. Если даже он и не был повинен в тех грехах, которые ему приписывали, то все же совершил другие, хотя бы и неведомые ему самому. Неведомые? Полно! Ведь он был у самого истока и должен был во всяком случае слышать о некоем избиении невинных. Младенцев иудейских умерщвляли в то время, когда он был спрятан родителями в надежном месте. Но разве не из-за него погибли ни в чем не повинные дети? О, конечно же, он этого не хотел! Эти солдаты, обгаренные кровью, эти младенцы, рассеченные надвое, внушали ему ужас! И я убежден, что, будучи таким, каким он был, он не мог этого забыть. И печаль, пронизывающая все его деяния, была неисцелимой скорбью человека, слышавшего по ночам стоны Рахили, которая рыдала над своими детьми и не желала внимать утешениям. Немолчно неслись в ночь жалобы несчастной Рахили, зовущей своих детей. Они погибли из-за него, а он был жив, жив!..

Зная то, что он знал, постигнув до конца человеческую природу (кто бы мог подумать, что иногда преступление не в том, что ты убил, а в том, что не умер сам!), он денно и нощно оставался наедине со своей безвинной виновностью. С каждым днем становилось все невыносимей держаться и все трудней продолжать. Не лучше ли было со всем этим покончить разом, отказаться от защиты, умереть, чтобы не быть единственным оставшимся в живых, чтобы перейти в иной мир — туда, где за него, быть может, вступятся. Здесь, на земле, ему никто не помог, и он горько плакал об этом, за что и был в конечном счете подвергнут строгой цензуре. Первым его цензором оказался третий евангелист. «Боже, боже, почто ты меня оставил?» — не правда ли, в этом крике есть что-то мятежное? А раз так — ножницы! Впрочем, если бы Лука эту жалобу не изъял, мы, возможно, не обратили бы на нее внимания — во всяком случае она заняла бы в Евангелии не так уж много места. Зато, будучи выброшенной, она вопиет. Такова диалектика жизни.

Итак, дальше продолжать он не мог. Уж мне-то известно, что это такое. Было время, когда я не знал, хватит ли у меня сил прожить еще хотя бы минуту. Можно воевать, притворяться влюбленным, истязать ближних, пописывать статьи в газетах или попросту судачить о соседях, сидя за рукодельем. Но иногда свыше сил человеческих — продолжать, всего-навсего продолжать. А он не был сверхчеловеком, можете мне поверить. В своей предсмертной агонии он закрычал, и потому я люблю его — умершего, так и не узнав, за что.

Но вся беда в том, что, умерев, он бросил нас совсем одних, и мы вынуждены продолжать — продолжать во что бы то ни стало, даже если мы замурованы в своих мальконфорах. Мы в свою очередь знаем то, что знал он, но не способны сделать то, что он сделал, и умереть так, как умер он. Конечно, мы не раз пытались выйти из положения, последовав его примеру. В конце концов это была гениальная находка — сказать нам: «Да, вы отнюдь не безупречны. Так стоит ли заниматься мелочами? Со всем этим можно покончить одним махом, на кресте!» Но в наше время слишком многие карабкаются на крест только затем, чтобы их получше было видно. Если нужно, они даже pinaют при этом того, кто уже так давно распят на нем. Слишком многие отказались от веры подлинной ради веры

показной. О, как несправедливо с ним поступили! Я не могу думать об этом без боли.

Но я снова рассуждаю, как защитник. Что ж, для этого у меня есть свои основания. Послушайте, в нескольких кварталах отсюда находится музей, который называется «Чердак господ-бога». Когда-то катакомбы здешних христиан были под самыми крышами. Ничего не поделаешь, подвалы тут всегда залиты водой. Теперь же, можете быть уверены, их господ нет ни в погребе, ни на чердаке. В тайных своих помыслах они взгромодили его на помосты трибуналов и именем его притесняют и судят. Вы помните, как кротко говорил он грешнице: «Иди с богом. Я не осуждаю тебя!» Но для них это ничего не значит, и они осуждают, никому не отпуская грехов. Получай по заслугам во имя господ! Господ? Но он никогда не требовал этого. Он только хотел, чтобы его любили, и ничего более. Конечно, встречаются люди, любящие его. Встречаются даже среди христиан. Но их можно перечесть по пальцам. Впрочем, он предвидел это. Ведь Петр — вам, конечно, это известно, — ведь Петр, этот трус, отрекся от него: «Я не знаю этого человека. Я не понимаю, о чем ты говоришь...» Каково? О, у Христа было чувство юмора. Как горько пошутил он, когда промолвил, указав на Петра¹: «На этом камне я воздвигну мою Церковь!» Вам не кажется это пределом иронии? Так нет же, они до сих пор ликут: «Вот видите, он это сказал!» Да, он действительно это сказал, и он отлично понимал, что говорит. А потом он ушел навечно, а мы остались судить и осуждать, с прощением на устах и беспощадным приговором в сердце.

Никто не решаете признаться вслух, что милосердия больше не существует. Напротив, мы трезвоним о нем безостановочно, но оправдания не выносим никому. Над мертвой невинностью слетаются, как коршуны, судьи всевозможных мастей — тут судьи Христа и судьи Антихриста (что, впрочем, одно и то же), и все они мирятся на одном — на мальконфоре. Суду подлежат не одни только христиане — все виноваты в равной степени. Знаете, во что превратили тут домик, где когда-то жил Декарт? В сумасшедший дом! Люди травят друг друга — это какое-то повальное безумие, и все мы, естественно, вынуждены принимать в этом участие. Вы, конечно, обратили внимание, что я сужу всех и вся. Уверен, что вы со мной вполне солидарны. А раз все мы судьи — все мы виноваты друг перед другом, все мы инсусы на свой подлый манер и гибнем на кресте, никогда не зная, за что. Во всяком случае все было бы именно так, если бы я, Жан-Батист Кламанс, не нашел выхода, единственного решения, истины...

О, не пугайтесь, дорогой друг, я умолкаю. К тому же нам пора расставаться, я уже дома. Не судите меня слишком строго, в одиночестве и тоске легко вообразить себя пророком. Кем же еще мог я стать в этой пустыне из туманов, камней и стоячих вод? И вот — перед вами пророк, опустошенный пророк нашей бездарной эпохи, зараженный алкоголем и лихорадкой, приникший всем телом к этой замшелой двери, воздевающий перст к тяжким пасмурным небесам и изливающий проклятия на беззаконное человечество. А человечество готово вынести что угодно, но только не осуждение — и в этом существо вопроса. Люди, придерживающиеся закона, могут не опасаться осуждения: закон обеспечит им должное положение при том режиме, в который они верят. Но самая страшная из человеческих мук — быть осужденным без закона. И, однако же, это наш удел. Избавленные от своей естественной узды, раскованные волею случая, судьи стараются всю. Единственное спасение — зайти дальше, чем они. А это приводит к невероятному бедламу. Армия пророков и исцелителей растет не по дням, а по часам. Все они лихорадочно торопятся провозгласить благой закон, изобрести спасительную организацию, пока земля еще не превратилась в пустыню. К счастью, наилучшим изобретателем оказался я! Да-да, именно мне суждено было стать альфой и омегой всех этих поисков. Именно я возвестил новый закон. Именно я стал первым кающимся судьей!

¹ П е т р -- по-гречески «камень».

Хорошо, завтра я расскажу вам, в чем суть этой великолепной профессии. У нас остаются считанные часы: ведь послезавтра вы уезжаете. Если хотите, зайдите завтра ко мне, звонить три раза. А куда, собственно, вы уезжаете? В Париж? О, я думаю о нем постоянно. Как он далек и как прекрасен! Я часто вспоминаю парижские сумерки в это время года. Вечерний полумрак, хрупкий и звонкий, медленно ниспадает на дымчато-голубые крыши, город глухо гудит, призрачно вздымает воды река. В такие вечера я долго бродил по улицам. А сейчас так же, совершенно так же бродят другие. Они бредут, делая вид, что спешат в свои унылые дома, к своим усталым женам... Ах, дорогой друг, если бы вы имели представление об этом одиночестве, блуждающем по улицам больших городов!..

* * *

— Простите, что вынужден принимать вас лежа. Пустяки, просто небольшая лихорадка. Обычно я лечусь от нее можжевельковой. Я уже привык к этим приступам. Это всего лишь малярия. Я подхватил ее, когда был папой. О нет, если я и пошутил, то лишь отчасти. Вы сейчас, конечно, думаете: поди попробуй отделить в его рассказах правду от вымысла. Говоря по совести, так оно и есть. Ведь и сам я порой... Один мой знакомый делил человечество на три категории: одни предпочитают не иметь тайны, лишь бы не приходилось врать, другие готовы врать, лишь бы иметь тайну, и, наконец, третьи любят и вранье и тайны в равной степени. Решайте сами, под какую из категорий я подхожу больше всего.

Но какое все это имеет значение? Разве ложь в конечном счете не приводит к правде? И разве мои истории, правдивые и придуманные, не исполнены одинакового смысла и не ведут к одной цели? А раз так, то что нам до их истинности или лживости — и в том и в другом случае они свидетельствуют о том, каким я был и каким стал. Иногда лгун говорит яснее, чем человек правдивый. Правда слепит глаза, подобно яркому свету. Зато ложь — мягкие сумерки, четко обрисовывающие каждый предмет. Одним словом, хотите верьте, хотите нет, но в лагере меня нарекли папой.

Присядьте, прошу вас. Вижу, вы озираете мою комнату. Пустовато, не правда ли, но зато чисто. Вермеер без мебели и кастрюль. И без книг — я давно уже ничего не читаю. А ведь когда-то дом мой ломился от книг, и все они читались с пятого на десятое. По-моему, это так же противно, как привычка съедать гусиную печенку и выбрасывать все остальное. Впрочем, я люблю одни только исповеди, а авторы исповедей, как известно, чрезвычайно не любят исповедоваться. Больше всего на свете эти люди боятся проговориться, и когда они делают вид, что переходят к признаниям, будьте начеку: сейчас они преподнесут вам нарумяненный труп. Но я этому положил конец. Никаких книг, никаких лишних вещей — все должно быть пусто и обнажено, как гроб. Кстати, на этих голландских кроватях, таких массивных, на этих белоснежных простынях, благоухающих чистотой, умираешь уже как в саване.

Вам не терпится узнать о моей папской аванюре? Уверю вас, в ней нет ничего фантастического. Не знаю, хватит ли у меня сил рассказать вам об этом. Попытаюсь, жар, кажется, спал. Это случилось давным-давно. Судьба забросила меня в Африку, где Роммелю на время удалось раздуть костер войны. Прямого участия в военных действиях мне принять не пришлось. От войны в Европе я уже избавился. И хотя меня мобилизовали, пороха я так и не понюхал. В некотором смысле я об этом даже жалею. Как знать, возможно, жизнь моя сложилась бы тогда по-другому. Но французская армия не нуждалась во мне на фронте. Она пригласила меня всего лишь участвовать в отступлении. Я снова обрел мой Париж, а заодно с ним и немцев. Я соблазнился Соппротивлением, о котором начали всерьез говорить как раз в тот момент, когда я обнаружил в себе патриота. Вы улыбаетесь? Напрасно. Я сделал это открытие в Шатле, в метро. Какой-то пес заплутался в лабиринте коридоров. Крупный, с шустрыми глазами, с ухом, разорванным надвое, и жесткой шерстью, он вертелся волчком и обнюхивал икры прохожих. Признаться, я люблю собак давней и нежной любовью. Люблю за то, что

они умеют прощать. Я подозвал его к себе. Поколебавшись мгновение, он с явной симпатией завил хвостом в нескольких метрах от меня. В эту минуту мимо меня бодро прошагал молодой немецкий солдат. Подойдя к собаке, он приостановился и потрепал ее по загривку. Нимало не колеблясь, пес с той же симпатией увязался за немцем и через минуту вместе с ним затерялся в толпе. Я почувствовал, как начинаю ненавидеть этого солдата, и, поразмыслив, решил, что ненависть моя носит сугубо патриотический характер. Увяжись собака за любым штатским французом, я не придал бы этому эпизоду никакого значения. Но тут мне почему-то взбрело на ум, что этот милый пес непременно станет любимцем какого-нибудь немецкого полка, и это предположение привело меня в бешенство. Результаты пробы на патриотизм показались мне достаточно убедительными.

Я решил переехать в Южную зону с намерением разузнать кое-что о Соппротивлении. Но, выполнив свой план и наведя справки, я заколебался: это предприятие показалось мне безумным, более того — романтическим. А главное, я понимал, что подпольная работа находится в вопиющем противоречии с моим темпераментом и пристрастием к вершинам, оваянным свежестью. Мне чудилось, что кто-то прикажет мне засесть в подвале и круглые сутки заниматься каким-нибудь рукоделием. А потом туда вломятся эти скоты — боши, они распустят мое вязанье и поволокут в другой подвал, где будут истязать до конца моих дней. Я восхищался людьми, отдающими себя этому глубинному героизму, но органически не способен был последовать их примеру.

Итак, я переселился в Северную Африку со смутным намерением перебраться оттуда в Лондон. Но ситуация в Африке была крайне запутанной, точки зрения несогласных между собой партий казались мне в равной степени справедливыми, и после недолгих размышлений я отказался от своих первоначальных проектов. Судя по выражению вашего лица, вам не нравится, что я опускаю подробности. Но, может быть, я делаю это потому, что высоко ставлю вашу способность все понимать с полуслова. Через некоторое время я осел в Тунисе, где одна из моих интимных приятельниц разыскала для меня работу. Эта женщина была очень неглупа и занималась в то время кино. Я последовал за ней в столицу Туниса. Но чем она занималась на самом деле, я узнал только после высадки союзников в Алжире. В день высадки мою подругу арестовали немцы, прихватив заодно и меня, хотя я не чувствовал за собой никакой вины. Не знаю, какая участь постигла мою приятельницу, мне же не причинили никакого зла, и после того, как прошли первые страхи, я понял, что мой арест был всего лишь мерой предосторожности. Меня интернировали в лагерь под Триполи, где заключенные страдали не столько от дурного обращения, сколько от лишений и жажды. Не стану вам всего этого описывать. Чтобы представить себе подобное место, мы, дети середины века, не нуждаемся в описаниях. Полтора столетия назад люди умилялись над озерами и лесными лужайками. Наш лиризм — лиризм заключенных. Одним словом, я доверяю вашему воображению. Вам остается домыслить лишь несколько деталей: солнце в зените, жара, песок, мошкара, нехватка воды...

Среди нас был один верующий молодой француз. Да-да, настоящий верующий, хотя это и неправдоподобно. Что-то вроде Дюгеклена¹. Он выехал из Франции в Испанию с твердым намерением перебраться в Африку, чтобы сражаться с фашистами. Католический генерал интернировал его во франкистский концлагерь. Там наш Дюгеклен убедился, что похлебка из нута была, так сказать, благословлена самим Римом, и это открытие повергло его в глубочайшую печаль. Ни небеса Африки, где он в конце концов очутился, ни лагерные развлечения никак не могли эту печаль развеять. От адского пекла и своих невеселых мыслей он даже немножко свихнулся. И вот однажды, когда мы сидели вдесятером под раскаленным свинцовым навесом, задыхаясь от мошкары и зноя, он снова принылся за свои филиппики против того, кого он называл Римлянином. Он зарос

¹ Дюгеклен — знаменитый французский полководец XIV века. В героических песнях его называли «цветом рыцарства».

многодневной бородой, взгляд его блуждал, обнаженный торс лоснился от пота, пальцы нервно постукивали по резко обозначившейся клавиатуре ребер. Он заявил нам, что необходимо избрать нового папу, который жил бы среди отверженных, а не молился, восседая на своем троне. И дело это не терпит никаких отлагательств. Он устремлял на нас свой потерянный взгляд и повторял, трясая головой: «Никаких отлагательств! Никаких отлагательств!» Внезапно он успокоился и мрачным голосом провещал, что папу необходимо избрать среди нас — пусть он будет обычным человеком с достоинствами и недостатками, и мы должны будем принести ему присягу на повиновение при условии, что он обязуется поддерживать в себе и других чувство родства со всеми страждущими. «У кого из нас больше всего слабостей?» — спросил он. Шутки ради я поднял руку. Никто не последовал моему примеру. «Отлично, Жан-Батист берет это на себя». Он, конечно, назвал меня иначе: ведь у меня тогда было другое имя. «Объявить себя самым недостойным, — заявил он, — мог только человек исключительных достоинств». А раз так, необходимо избрать именно меня. Все остальные, решив принять участие в игре, присоединились к нему. Но в нашем поведении, по правде говоря, была и доля серьезности: речи Дюгеклена произвели на нас определенное впечатление. Помнится, мне самому в ту минуту все это не казалось таким уж фарсом, и я решил, что наш пророк не так уж не прав. И потом это беспощадное солнце, изнурительная работа, борьба за лишний глоток воды... Короче, все мы были немного не в себе. Но так или иначе, а я в течение нескольких недель осуществлял свое папство и с каждым днем относился к нему все серьезнее.

Вас интересует, в чем оно заключалось? Я сделался чем-то вроде командира отряда или старосты по камере. Понемногу все, включая неверующих, стали мне повиноваться. Дюгеклен испытывал моральные муки, и я сделался его исповедником. Вскоре я понял, что быть папой не так просто, как кажется. Кстати, эта мысль мелькнула у меня и вчера вечером, после того как я излил столько презрения на наших братьев судей. Главной проблемой в лагере было распределение воды. К тому времени там образовалось множество групп — людей объединяли политические или религиозные взгляды, и каждая группа поддерживала своих товарищей. Я призван помогать своим — это уже было некоторым отступлением. Но даже среди своих невозможно было соблюдать абсолютное равенство. Я отдавал предпочтение то одному, то другому из товарищей, в зависимости от их состояния или от работы, которую им предстояло сделать. И, поверьте, порой эти предпочтения заходили далеко. Но, признаться, я чертовски устал, и у меня пропало всякое желание вспоминать те времена. Замечу только, что настал день и — круг замкнулся: я выпил воду, предназначенную для умирающего товарища. Нет, это был не Дюгеклен. К тому времени его уже не было в живых — он был слишком самоотвержен. Будь это он, я бы противился своему искушению дольше, потому что любил его, да, пожалуй, любил. Во всяком случае так мне кажется. Но факт остается фактом. Воду я выпил, убеждая себя, что люди нуждаются во мне больше, чем в умирающем, которому все равно не выжить. Я твердил себе, что обязан остаться в живых ради них. Именно так, друг мой, и рождаются под солнцем смерти империи и церкви. А теперь разрешите внести некоторую поправку к моим вчерашним речам. Эта великая идея пришла мне в голову, когда я рассказывал вам свою историю, не всегда до конца понимая, сон ли все это или явь. Моя идея заключается в следующем: папу надо прощать. Прежде всего оттого, что он нуждается в этом больше других. И потом разве это не единственный способ стать выше его?..

Вы хорошо заперли дверь? Проверьте, пожалуйста. Простите, но у меня своего рода замочный комплекс. Каждый вечер я поднимаюсь проверить запоры. Ни в чем нельзя быть уверенным. Надеюсь, вы не сочли мое беспокойство рефлексом перепуганного собственника? В свое время моя квартира и автомобиль всегда оставались незапертыми. Я не дрожал над деньгами и не цеплялся за то, чем владел. Честно говоря, владеть было немножко стыдно. И я не раз патетически изрекал во время салонных бесед: «Господа, собственность — это убийство!» Не

будучи настолько великодушным, чтобы разделить свои богатства с каким-нибудь достойным бедняком. Я предоставлял их в распоряжение случайных воров, надеясь таким способом внести коррективы в несправедливость судьбы. Впрочем, сейчас я ничем не владею. Так что теперь я беспокоюсь не за свою безопасность, но за свое самообладание и за себя самого. Кроме того, я должен быть уверен в неприступности врат, ведущих в мой маленький замкнутый мирок, где я и царь, и судья, и папа.

Откройте, пожалуйста, стенной шкаф. Там висит картина, взгляните на нее. Не узнаете? Это «Праведные судьи». Как? И вы не подпрыгнули от изумления? Значит, в вашей эрудиции все-таки есть пробелы? Но все равно, читай вы газеты, вы вспомнили бы, что в 1934 году в Гентском соборе святого Бавона была похищена одна из створок знаменитого алтаря братьев Ван-Эйк «Священный агнец». На ней изображены судьи на лошадях, приехавшие поклониться святому животному. Поскольку оригинал так и остался неразысканным, его заменили превосходной копией. Так вот, перед нами висит подлинник. Нет-нет, сам я тут ни при чем. Как-то вечером тот самый завсегдашней «Мехико-Сити», на которого вы обратили внимание, спяно спустил ее гориллоиду за бутылку водки. Сначала я посоветовал нашему приятелю повесить ее на самом видном месте, и пока детективы разыскивали ее по всему свету, наши праведные судьи в течение нескольких лет царствовали в «Мехико-Сити» над пьяницами и сутенерами. Потом гориллоид по моей просьбе препроводил ее сюда. Сначала он немного упирался, но потом я объяснил ему, как обстоят дела, и он порядком струхнул. С тех пор эти почтенные представители судейского сословия составляют мою единственную компанию. А там, над стойкой, от них осталась только отметина на стене.

Почему я не возвратил картину? Ого, да у вас полицейский инстинкт! Ладно, я отвечу вам, как ответил бы следователю, если бы кто-нибудь в конце концов догадался, что картина обретается здесь. Во-первых, оттого, что она принадлежит не мне, а хозяину «Мехико-Сити», который заслуживает ее ничуть не меньше, чем гентский архиепископ. Во-вторых, оттого, что среди людей, проходящих перед «Священным агнцем», нет ни одного, кто мог бы отличить копию от оригинала, а стало быть, я не причинил никакого ущерба. В-третьих, оттого, что благодаря всей этой истории я ощущаю свое могущество: тысячи людей восхищаются подложными судьями, и только я один знаю, где находится истинные. В-четвертых, оттого, что теперь я постоянно имею шанс угодить в тюрьму — возможность в некотором роде заманчивая. В-пятых, оттого, что судьи приходят поклониться агнцу, которого уже нет, невинности, которой больше не существует, и что ловкий грабитель, укравший эту картину, был орудием неведомой справедливости, которой невозможно противиться. И, наконец, оттого, что таким образом все оказывается на своих местах. А раз невиновность окончательно отделена от справедливости — первая распята на кресте, вторая лежит у меня в шкафу, — я получаю полную свободу действия. В частности, я могу с чистой совестью заниматься профессией кающегося судьи, к которой я пришел после стольких горестей и сомнений. Завтра вы уезжаете, пришло время рассказать вам, что же это такое.

Но сначала, с вашего разрешения, я сяду, чтобы легче дышалось. Я чертовски устал. Заприте, пожалуйста, моих судей на ключ. Благодарю вас. Итак, моя нынешняя профессия — кающийся судья. Моя контора обычно находится в «Мехико-Сити». Но если профессия — подлинное призвание, ею занимаются повсюду. Даже в постели, даже больной, я продолжаю исполнять свои функции. Впрочем, такую работу не исполняют, ею дышат, дышат ежесекундно. Надеюсь, вы не считаете, что я пять дней подряд держал перед вами столь долгие речи единственно ради удовольствия поговорить. В свое время я достаточно наговорился, ухитряясь при этом ничего не сказать. Теперь мои речи ведут к одному. Я, как обычно, стремлюсь заглушить смех и уйти от осуждения, хотя это скорее всего невозможно. Главная помеха в том, что мы сами судим себя первыми. Так расстроим же осуждение на всех, на всех без изъятия, чтобы на нашу долю пришлось его как можно меньше. Никогда и никому не прощать — вот мой исходный принцип.

Я отвергаю добрые намерения, простительные ошибки, невольные заблуждения, смягчающие обстоятельства. Я не отпускаю грехов и не раздаю индульгенций. Я просто подвожу итог и объявляю: «Все ясно, вы — извращенный тип, патологический враль, сатир, лицедей, педераст и тому подобное». Вот так. Коротко и ясно. В философии, как и в политике, я за такую теорию, которая отказывает человеку в невинности, и за такую практику, которая сажает его на скамью подсудимых. Как видите, дорогой друг, перед вами убежденный сторонник рабства.

Ведь, положи руку на сердце, без него не существует окончательного решения. Я пришел к этому довольно быстро. В свое время я круглые сутки разглагольствовал о свободе. Я поглощал ее по утрам вместе с тартинками, жевал ее весь день, источая освеженное свободой дыхание. Я обрушивал это величавое слово на тех, кто осмеливался мне противоречить, я заставлял его служить моим прихотям и моему властолюбию. Я шептал его в постели на ухо задремавшим возлюбленным — оно помогало мне покидать их. Я ронял его как бы невзначай... Однако я увлекся и, пожалуй, теряю чувство меры. Надо сказать, мне случалось служить свободе и более бескорыстно, и даже — какая наивность! — дважды или трижды защищать ее. Разумеется, не до такой степени, чтобы умереть за нее, но все же подвергая себя некоторой опасности. Моя неосторожность была простибельна: ведь я не ведал, что творил. В те времена мне было неизвестно, что свобода — это не награда, не орден, который обмывают шампанским в кругу друзей. И отнюдь не подарок — не коробка со сладостями, презентованная вам, чтобы вы лакомились, облизывая пальчики. Совсем наоборот, это тяжкое ярмо, одинокий бег на длинную дистанцию. Ни шампанского, ни друзей, поднимающих бокалы и взвизгивающих на вас с нежной любовью. Один в угрюмом зале, один в камере, один перед судом других и перед своим собственным. Всякую свободу венчает приговор. Вот почему свобода — непосильная ноша, особенно если ты страдаешь и тебя трясет лихорадка, и на всем белом свете нет человека, которого бы ты любил.

Ах, дорогой мой друг, для того, кто совсем одинок, у кого нет ни господина, ни господина, бремя жизни ужасно. И мы вынуждены выбирать себе господина, ибо господь нынче не в моде. Даже само это слово потеряло всякий смысл, и, произнося его, мы только шокируем окружающих. А ведь, в сущности говоря, наших присяжных моралистов, таких напыщенных и человеколюбивых, отличает от христиан только то, что они проповедуют не с амвона. Как по-вашему, почему они не возвращаются в лоно религии? Да потому, что они дорожат своим реноме. Они смертельно боятся скандала, оттого и не выбалтывают своих истинных мыслей. Я знавал одного писателя-атеиста, который смиренно молился перед сном. Зато как он обращался с богом в своих романах! Вот оно, наше человечество! Один воинствующий вольнодумец, с которым я поделился своим открытием, воздел, впрочем без всякого гнева, руки к небесам и промолвил со вздохом: «Для меня это не новость, все они таковы». По его словам, восемьдесят процентов наших писателей славили бы в своих книгах имя господне, если бы только могли под этим не подписываться. Но они подписываются, потому что любят себя, и никого не славят, потому что презируют друг друга. А поскольку они не могут совладать с жадной осуждения, они обращаются к морали. Одним словом, они страдают чем-то вроде добродетельного сатанизма. В забавные времена мы живем, не правда ли? Стоит ли удивляться, что умы в смятении. Я вспоминаю одного своего приятеля, который оставался атеистом, пока был верным супругом, и уверовал, как только стал прелюбодеем.

О, маленькие хитрецы, комедианты, лицемеры, как они, однако, трогательны! И поверьте, все они таковы, даже если пытаются поджечь небеса! Безбожники или святоши, бostonцы или парижане — все они христиане, все, от отца к сыну. Но только нет больше отца и нет заповедей. Они свободны, а значит, надо как-то выпутываться самим. И поскольку главное их желание — избежать свободы и приговора, они молят, чтобы им дали по рукам, изобретают ужаснейшие декреты и торопятся заменить церкви кострами. Савонаролы, сущие Савонаролы! Они

всегда готовы поверить в грех и никогда — в милосердие. Конечно, они о нем не забывают, но им хотелось бы, чтобы милосердие было обращено на них самих, им хочется одобрения, уверенности в себе, ощущения полноты жизни. Все они к тому же сентиментальны, а потому мечтают еще и о помолвке, о чистой, нетронутой девушке, о преданном друге, прекрасной музыке. Знаете, о чем, к примеру, мечтаю я, хотя я и далек от чрезмерной чувствительности, — об идеальной любви, полнящей душу и тело, об объятиях, восторженных и сладострастных, которые длились бы непрерывно, круглые сутки, в течение пяти лет. А потом — смерть. Но, увы!..

Вместо идеальной любви и помолвки нас ожидает скотский брак, с плетью и борьбой за власть. Главное, чтобы все стало младенчески простым и ясным, чтобы каждый поступок предписывался свыше, чтобы Добро и Зло были разграничены раз и навсегда. И я, несмотря на всю свою сицилийско-яванскую суть, вполне с этим солидарен, хотя никогда не был ортодоксальным христианином (что, впрочем, не мешает мне испытывать огромную симпатию к первому из христиан). В свое время на парижских мостах я понял, что смертельно боюсь свободы. И так, да здравствует господин, каким бы он ни был, — ведь он заменяет нам небеса! «Осанна нашему отцу, пока он еще с нами!.. Осанна нашим начальникам, нашим воспитательно строгим наставникам!.. Осанна нашим жестоким и горячо любимым вождям!..» Главное, отказаться от свободы и, непрестанно каясь, повиноваться еще большему негодяю, чем ты сам. Когда все мы станем виновными, это и будет настоящей демократией. Должны же мы как-то отомстить за то, что умирать нам приходится в одиночку. Ведь смерть — занятие одинокое, тогда как рабство по природе своей коллективно. Каждый получает свою долю, и, что особенно важно, получает ее одновременно с другими. И так, свершилось: все мы наконец едины и равны — все, склонив головы, стоим на коленях.

Разве не отрадно, что мы живем в обществе, уподобляясь ему, и что обществу в свою очередь уподобляется нам? Постоянная угроза ареста, бесчестия, смерти — вот святыне дары этого взаимоуподобления. Только презираемый, насилуемый, травимый, я могу дышать полной грудью, наслаждаться собой таким, каков я есть, только при этом условии я могу оставаться естественным. Вот почему, торжественно отсалютовав свободе, я решил тайком спихнуть ее кому-нибудь другому. При каждом удобном случае я проповедую в моем приходе — в «Мехико-Сити», толкая свою паству на подчинение, убеждаю их в удобстве рабства, которое выдаю за подлинную свободу.

Разумеется, я не настолько глуп, чтобы считать, будто рабство восторжествует в ближайшее время. Оно станет одним из великих благ будущего. Но ведь я должен как-то устроить свою жизнь сейчас, здесь, найти какой-то хотя бы временный выход. Значит, надо было искать другое средство распространить осуждение на все человечество, чтобы убавить груз, лежащий на моих плечах. И такое средство было найдено. Приоткройте, пожалуйста, окошко, здесь невероятная духота. Но не настужь, меня знобит. Моя идея проста и эффективна. Каким образом загнать человечество в воду, чтобы самому мирно сохнуть на солнышке? Взобраться для этого на кафедру, как это делает большинство моих современников, и проклинать оттуда заблудшее человечество? Но это опасно! Наступит день или, может быть, ночь, и внезапно прозвучит смех. Приговор, который вы вынесли другим, срикошетит вам прямо в физиономию, и, поверьте, удар этот будет весьма ощутимым. Как же быть? — спрашивал я себя. И тут меня гениально осенило. Я понял, что в ожидании господина и его хлыста мы должны ради конечной победы, подобно Копернику, вывернуть порядок вещей наизнанку. Поскольку, приговаривая других, мы одновременно осуждаем себя, необходимо судить себя со всей строгостью, чтобы иметь право так же поступать с другими. А поскольку судьи рано или поздно приходят к раскаянию, то не лучше ли проделать ту же дорогу в обратном порядке: начать с ампула кающегося, чтобы закончить ремеслом судьи? Вы следите за ходом моих рассуждений? Отлично. Для большей ясности я сейчас расскажу вам о своей работе.

Начал я с того, что закрыл кабинет в Париже и отправился в дорогу. Я хотел поселиться под чужим именем в каком-нибудь городке, где у меня не было бы недостатка в практике. Таких мест нашлось бы в мире немало, но не знаю уж, что именно — то ли простая случайность, то ли ирония судьбы, то ли жажда уюта, то ли потребность в некоем умерщвлении плоти заставила меня выбрать столицу туманов и вод, стиснутую каналами, как корсетом, необычайно густо населенную и посещаемую людьми со всех концов света. Я открыл свой кабинет в матросском баре. Портовая клиентура весьма разнообразна. Бедняки не ходят в роскошные рестораны, но так называемым порядочным людям — и вы в этом убедились сами — время от времени приходит в голову мысль посетить места, пользующиеся дурной славой. Обычно я выбираю среди них буржуа, особенно буржуа, утративших душевное равновесие. Я работаю не покладая рук. С изумительной виртуозностью я извлекаю из них тончайшие отзвуки.

И этим замечательным ремеслом я занимаюсь в «Мехико-Сити» уже несколько лет. Как вы убедились на собственном опыте, оно заключается в публичных исповедях, которые повторяются при всяком удобном случае. Я поношу себя вовсю. Это нетрудно: ведь теперь я полностью обрел свою память. Но — внимание! — я не делаю этого грубо, бия себя кулаками в грудь. Я искусно маневрирую, задерживая внимание на оттенках, прибегая к отступлениям, приновляя свои речи к слушателю и фактически набивая себе цену в его глазах. Я ловко смешиваю то, что имеет отношение только ко мне, с тем, что касается и других. Постепенно я набрасываю черты, общие нам обрeim, касаюсь невзгод, через которые мы оба прошли, говорю о наших общих слабостях, о наших общих благопристойных личинах — одним словом, о человеке наших дней, прочно засевшем в любом из нас. Понемногу возникает портрет, в котором можно узнать любого, хотя он и не списан ни с кого определенного. Маска наподобие карнавальной, похожая на всех вообще и ни на кого в частности. При виде такой маски обычно восклицают: «Черт возьми, где я встречал эту физиономию?» Едва лишь портрет закончен, я демонстрирую его, как это делаю сейчас, и восклицаю с душераздирающей скорбью: «Вот я какъв, милостивые господа!» Обвинительная речь окончена. Но портрет, который я предлагаю современникам, — зеркало.

Посыпая голову пеплом, неторопливо выдирая волосы, с лицом, изодранным ногтями, но с ясным взглядом, я обнажаю на глазах у всего человечества свои язвы и твержу: «Я последний из негодяев!» — ни на минуту не упуская из виду производимый мною эффект. Затем я незаметно перехожу в своих речах с «я» на «мы». И когда я резюмирую рассказанное словами: «Вот мы каковы!», игра сделана. Я бросаю им правду в лицо; я такой же, как они, мы выпечены из одного теста. Но у меня есть преимущество: я знаю об этом, что и дает мне право говорить. Надеюсь, вы признаете за мной это преимущество? Чем больше я обвиняю себя, тем большее право приобретаю судить вас. Больше того, я побуждаю вас судить себя самого, что значительно облегчает мою задачу. Ах, дорогой друг, мы странные и несчастные существа! Стоит нам оглянуться на свою жизнь, и в памяти сразу же всплывает такое, что заставляет нас презирать себя. Попытайтесь вспомнить забытое. Можете не сомневаться, я выслушаю вашу исповедь с самым братским сочувствием.

Не надо смеяться. Да, вы нелегкий клиент, я понял это с первого взгляда. Но рано или поздно вы последуете моему примеру — это совершенно неизбежно. Большинство моих собеседников были скорее сентиментальны, чем умны: от моих речей у них сразу шла голова кругом. Умных людей не следует торопить. Им достаточно растолковать метод. Они его, несомненно, усвоят, а усвоив, призадумаются. В один прекрасный день — отчасти ради забавы, отчасти из-за душевного разлада — они подсядут к нашему столу. Что касается вас, то вы не только умны — вы человек бывалый. И все же, положи руку на сердце, разве сегодня вы так же довольны собой, как пять дней назад? Я буду ждать вашего письма или вашего возвращения. А в том, что вы вернетесь сюда, я ни минуты не сомневаюсь. При следующей встрече вы найдете меня совершенно таким же. Да и к чему

мне меняться, если я нашел счастье по себе? Вместо того, чтобы терзаться над своей двойственностью, я с удовольствием принимаю ее. Именно в ней я, представьте, обрел тот уют, о котором мечтал всю жизнь. В сущности, я был не прав, когда утверждал, что главное — избежать осуждения. Главное — позволять себе решительно все, а взамен время от времени испускать громкие вопли о собственной низости. И я действительно снова позволяю себе все, но теперь уже смех не преследует меня денно и ночью. Я несколько не изменился: я по-прежнему люблю себя и по-прежнему заставляю людей служить себе. Но мои исповеди сделали все это легким и приятным, и теперь я наслаждаюсь дважды — сначала своей натурой, потом своим очаровательным раскаянием.

С тех пор, как я нашел выход, я предаюсь чему угодно — женщинам, гордыне, скуке, сожалениям и даже лихорадке, которая сейчас восхитительно овладевает мной. Наконец-то я царствую, и на этот раз буду царствовать вечно. Я нашел еще одну вершину, на которую вскарабкался только я один, чтобы судить оттуда всех и вся. Иногда, когда ночь особенно хороша, я слышу отголоски далекого смеха, и мной снова овладевают сомнения. Но я спешу обрушить груз моих пороков на творение божие и на его тварей — и возрождаюсь снова.

Итак, я буду ждать вас в «Мехико-Сити». Я знаю, рано или поздно вы придете туда засвидетельствовать мне свое почтение. Приходите когда угодно — я буду ждать вас. Снимите, пожалуйста, одеяло, мне трудно дышать. Так вы придете, не правда ли? Я даже готов продемонстрировать вам детали своего метода, так вы мне симпатичны. Вы увидите воочию, как я ночи напролет убеждаю их в собственной подлости. Сегодня же вечером я начну снова: я не могу лишиться удовольствия увидеть, как еще кто-нибудь, наслушавшись моих рассуждений, подкрепленных алкоголем, рухнет, бия себя в грудь. В такие минуты, мой дорогой, я расту, да-да, расту, дыхание мое становится легким, я возношусь на высочайший пик и обзираю оттуда бескрайнюю равнину. Какое опьяняющее блаженство чувствовать себя Богом-отцом и раздавать своим ближним беспощадные аттестации, обличая их жизнь и нравы. Я царствую среди моих гнусных ангелов, на высях голландского неба, и вижу, как из вод и туманов вздымаются сонмы теней — это множество множеств, ждущее Последнего суда. Медленно восходят они к небесам. Вот ко мне приближается один из них — на лице его, наполювину закрытом руками, я читаю страдальческий отпечаток общего удела и скорбь от сознания его неизбежности. А я — я всех понимаю и никого не прощаю, всех жалею и никому не отпускаю грехов. И главное, всем своим существом чувствую, что мне поклонятся, что меня обожают...

Честно говоря, я разволновался и больше не могу благоразумно оставаться в постели. Мне необходимо быть выше, чем вы, мои мысли неудержимо влекут меня вверх. По ночам, нет, скорее на рассвете — ведь падение произошло на заре — я выхожу из дому и стремительно шагаю вдоль каналов. В бледно-голубом небе понемногу редеть густки перьев — голуби медленно набирают высоту, и розоватые отсветы зари на крышах возвещают новый день моего существования. На Дамраке позванивает первый трамвай, и звон этот, глухо звучащий в предутренней сырости, пробуждает жизнь на краю Европы — той самой Европы, где в эту минуту сотни миллионов людей, моих подданных, нехотя, с горечью во рту, поднимаются с постели, чтобы идти на свою безрадостную работу. А я в этот миг мысленно парю над континентом, который подчиняется мне, сам того не подозревая. Я тяну, как абсент, горечь рассвета и, упившись наконец своим злоречием, чувствую себя счастливым, да-да, безумно счастливым. Молчите, я запрещаю вам в этом сомневаться! Я счастлив! О солнце, пляжи, острова, овеваемые пассатами! О юность! Одна мысль о ней причиняет мне смертельную боль!..

Прошу прощения, но я снова лягу. Боюсь, что я слишком расчувствовался... О нет, я, конечно, не плачу. Но иногда вдруг начинаешь терять почву под ногами и сомневаться в очевидных вещах, даже если ты, казалось бы, постиг секрет счастья. Разумеется, мое решение далеко от идеала. Но если тебе опосылела твоя жизнь и ты страстно хочешь ее изменить — выбирать особенно не приходится.

ся. Как стать другим? Увы, это желание неосуществимо. Для этого надо на некоторое время стать никем, забыть о себе хотя бы раз ради кого-то другого. Но как это сделать? Не судите меня слишком строго. Я, как тот старый бродяга, который однажды схватил меня за руку на террасе кафе. «Ах, месье,— сказал мне он,— скверных людей не бывает. Это просто люди, потерявшие путеводную звезду». Да, мы действительно потеряли свою путеводную звезду, свои утренние зори. Мы утратили святую невинность того, кто прощает себя сам.

Взгляните в окошко — идет снег. Я должен быть там, на улице. Вообразите себе Амстердам, спящий в ночной белизне, темный нефрит каналов под заснеженными мостами, пустынные улицы, мои приглушенные шаги... Да ведь это сама чистота, недолговечная, обреченная погибнуть в завтрашней грязи. Взгляните на огромные хлопья, порхающие за стеклом. Это голуби, уверяю вас, это они. Эти милые создания наконец решились спуститься,— взгляните, они погребли воды и крыши под толстым слоем перьев. Они стучатся во все окна. Какое нашествие! Будем надеяться, что они несут нам благие вести. Все будут спасены, вы слышите, все, а не одни только избранники, богатства и страдания будут разделены поровну, и вы, например, начиная с сегодняшнего дня будете спать на голой земле ради меня. Сбудется самое невероятное! Сознайтесь, ведь вы остолбенели бы, если бы с небес спустилась за мной колесница или внезапно запылали снежные хлопья? Но вы не верите в подобные вещи, не так ли? Я, к сожалению, тоже.

Все-таки я хотел бы выйти. О нет, не волнуйтесь, я уже успокоился. Не стоит слишком доверять моему восторженному полубреду. Поверьте, я искусно управляю им. А сейчас вы приступите к своей истории, и я узнаю, достигнута ли одна из целей моей самозабвенной исповеди. Я всегда втайне надеюсь, что мой собеседник окажется полицейским агентом и арестует меня за кражу «Праведных судей». Ведь за все прочее меня арестовать нельзя. А кража эта наказуема по закону, и я делаю все от меня зависящее, чтобы фигурировать на суде в качестве соучастника: я укрываю картину и показываю ее всякому, кто этого пожелает. Если вы меня арестуете, это будет недурным началом. Дальше все пойдет как по писаному, и меня, допустим, обезглавят. Я больше не буду терзаться страхом смерти — и в этом будет мое спасение. Мою голову, совсем еще свеженькую, поднимут над толпой, чтобы люди снова узнали во мне себя. И снова я буду образцом и вознесусь над всеми. Круг наконец замкнется, и я, сам того не ведая, покончу со своей карьерой лжепророка, вопиющего в пустыне и не желающего ее покинуть.

Но, к сожалению, вы не имеете отношения к полиции. Это было бы слишком просто. Как? Так вот оно что! Признаться, я об этом подозревал с самого начала. Стало быть, моя симпатия к вам была вполне закономерной. Итак, вы занимаетесь в Париже блистательной профессией адвоката! Я сразу почувствовал, что мы с вами одного поля ягода. Да и вообще, разве все мы не похожи друг на друга в те минуты, когда самозабвенно разглагольствуем, ни к кому, в сущности, не обращаясь, когда задаем одни и те же вопросы, хотя знаем наперед, что нам на них ответят? Так расскажите же мне, прошу вас, о том, что произошло с вами однажды вечером на берегу Сены и как вам удалось ни разу не рискнуть жизнью? Пусть прозвучат слова, много лет звенящие в моих ушах по ночам. Наконец-то я произнесу вашими устами: «Милая девушка, прыгни в воду еще раз, чтобы дать мне еще один шанс спасти нас обоих!» Еще один шанс? Какая опрометчивость! Вообразите, дорогой коллега, что нас ловят на слове. И приходится его выполнять! Брр... Ведь вода так холодна! Но не волнуйтесь. Теперь уже слишком поздно. И так будет всегда. К счастью!

Перевел с французского Л. Григорьян

О ПОВЕСТИ АЛЬБЕРА КАМЮ «ПАДЕНИЕ»

«Падение» («La Chute») — повесть, написанная в 1956 году,— последнее крупное произведение Альбера Камю. После «Падения» он до своей ранней смерти в автомобильной катастрофе (1960) издал в 1957 году сборник рассказов «Изгнание и царство» (два рассказа из этого сборника опубликованы в «Новом мире», № 1 за 1969 год).

В литературном наследии Альбера Камю есть незаконченное крупное произведение, которое, как предполагают, должно было стать одним из наиболее значительных. Некоторые французские биографы и критики видят в этом как бы символ всего его творчества, более того — всей его жизни, значительной и незавершенной. Лишь на сравнительно недолгое время Камю случилось утвердиться в том взгляде на жизнь, который казался ему верно найденным; искренность не раз заставляла его видеть слабость и ошибочность собственных построений. Вся его жизнь несла на себе печать духовного кризиса. Экзистенциалистская философия, усвоенная еще в студенческие годы, помешала ему правильно понять в сложных предвоенных условиях тактику французской компартии, к которой он на время примкнул, не становясь марксистом. Недаром его как философа и как художника так сильно занимал конфликт между абсолютным принципом личной морали и конкретными требованиями жизни,— подобный конфликт он пережил сам и до самого конца своей жизни не нашел удовлетворяющего решения.

Философские сочинения Альбера Камю интересны главным образом как явление, характерное для состояния современной философии на Западе. Для решения действительных философских вопросов в них опоры нет. Нет сомнения, что для общественного влияния Камю гораздо большее значение имела его роль в антифашистском Сопротивлении, а также его взгляды на то, в чем состоит достойное поведение человека в тяжелейшие годы господства реакции. Эта сторона деятельности Камю была по справедливости оценена органом французской коммунистической партии газетой «Юманите» — в некрологе, посвященном писателю. Особенно ценная часть литературного наследия Альбера Камю — его художественное творчество. Он выступает как критик явного или скрытого общественного и личного аморализма. Бросается в глаза, что Камю как художник гораздо историчнее и социально конкретнее, чем Камю теоретизирующий. Хотя в романе «Чума» проблема ставится очень широко — в масштабе всей человеческой истории,— антифашистское направление этого романа совершенно очевидно. Сам Камю написал: «Явное содержание «Чумы» — это борьба европейского Сопротивления против нацизма». Так же серьезно социально-критическое содержание повести «Падение».

Советские читатели, знающие повесть «Чужой», рассказы, напечатанные в журналах «Иностранная литература» и «Новый мир», а теперь прочитавшие повесть «Падение», несомненно, убедятся, что Альбер Камю, делающий иногда уступки символизму, в основном писатель реалистического направления. Вряд ли останется кем-либо незамеченным и особенное пристрастие Камю к русской классической литературе. Даже не зная ни философских этюдов Камю, посвященных проблематике «Братьев Карамазовых» и «Бесов», ни его инсценировки «Бесов», нельзя не почувствовать, в какой сильной мере влияние Достоевского определило и монологическую форму, и психологическую сущность, и трагические поиски правды в повести «Падение».

И если при чтении произведений Достоевского было бы ошибкой отождествлять мысли персонажей с мыслью автора, то не меньшей ошибкой было бы понимать выводы, к которым приходит герой «Падения», как основную мысль автора повести: ирония,

достаточно ясно звучащая, от этого предостерегает. Важнее всего в этой повести само-разоблачение «героя» — преуспевающего интеллигентного буржуа, которому случай открыл всю пошлость и лживость его собственной жизни. Здесь яснее, чем в более ранних произведениях Камю, выступает социально-классовая определенность враждебной автору морали: рассказчик в повести «Падение» уподобляет современных властителей общества древним саддукеям — реакционерам, богачам древней Иудеи; эгоизм, извращающий любое чувство, связывается в «Падении» с погоней за богатством, стремлением господствовать над другими людьми. Иначе, чем в более ранних произведениях Камю, звучит в этой повести и экзистенциалистский тезис «безвинной вины», заменивший собой тезис о «заранее осужденном» человечестве: в «Падении» речь идет об ответственности человека за свою собственную, не фатальную, не предопределенную вину, и речь идет также о возможности и достижимости подлинно человеческой жизни, подлинно человеческих отношений.

«Падение» — одно из самых реалистических и социально ясных произведений Камю. Оно указывает направление, в котором, возможно, развивалось бы его творчество.

И. Сац.



ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Г. ЛИСИЧКИН,

кандидат экономических наук



ЧЕЛОВЕК — КООПЕРАЦИЯ — ОБЩЕСТВО

(Ленинский кооперативный план и современность)

Всем известны слова В. И. Ленина о том, что «личная заинтересованность поднимает производство», что социалистическую экономику надо строить «не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, на личной заинтересованности»¹. Эти ленинские слова приводятся очень часто. Но порой им придается очень узкий смысл. Дело иногда изображают так, что, мол, достаточно увеличить зарплату той или иной категории работников вдвое, как производство, количество и качество продукции повысятся и того больше. Разумसेется, это слишком упрощенный подход. Дело не только в уровне оплаты, но и в самом принципе ее формирования, то есть в формах связи работника со средствами производства, или, говоря шире, в формах взаимоотношений: человек — общество.

В. И. Ленин одним из первых понял огромное значение материального стимула в строительстве социалистической экономики. Но материальный стимул для него не был равнозначен лишь признанию права человека на рост оплаты, пропорциональный только его личному усердию, — права, которое в таком узком понимании не соединяло, а разъединяло бы людей. Для него важно было найти такое решение вопроса о материальном стимулировании, которое органически связывало бы оплату труда со всей системой расширенного воспроизводства, а не выделяло ее в особую, автономную область, независимую от общих результатов хозяйствования. Вот почему В. И. Ленин после победы революции искал такой способ связи личных и общественных интересов, который мог бы стать моторной силой движения, роста всей социалистической экономики.

Это была не простая задача. По его собственным словам, решение ее составляло камень преткновения для многих социалистов. В статье «О кооперации», написанной как завещание, Ленин формулирует ряд принципов, которые и сейчас представляют большой интерес, имеют громадное практическое значение. И прежде всего потому, что и для нас, уже в иных условиях и на другом уровне, очень остро стоит та же самая проблема увязки общественных и личных интересов в развитии производства.

В том, что это так, легко убедиться, обратившись к практике, к выступлению нашей печати. Возьмем первый встретившийся нам пример из статьи, опубликованной в «Правде» (от 21 марта 1968 года). Директор совхоза «Октябрьский» Кемеровской области Н. Лобанов пишет: «С каждым годом продуктивность животноводства в нашем совхозе растет, и нам приходится снижать расценки за центнер надоенного молока, за центнер привеса скота, за сотню полученных яиц.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 151.

В 1964 году при удое 3215 килограммов молока от коровы оплата за центнер была 1 рубль 50 копеек, а в 1967 году надой составил 4362 килограмма, заплатили же дояркам по 1 рублю 24 копейки за центнер. Получается нелепая картина: животноводы материально не заинтересованы в дальнейшем повышении продуктивности ферм». Как видим, коллектив совхоза поставлен в такое положение, когда материальные факторы — корма, механизация и т. д. — не могут быть использованы с максимальным эффектом. И дело тут не в уровне оплаты, а в принципах ее формирования.

Аналогичные примеры можно было бы привести и из практики заводов: как только повышается производительность труда на том или ином участке, как только возрастает оплата — нормы выработки тут же пересматриваются, увеличиваются. И тогда возникает конфликт между частным, личным интересом и общественным, конфликт, сковывающий инициативу, мешающий ускорению роста производства. Много раз говорилось уже о том холодке, который возникает в коллективе по отношению к передовику, перекрывающему нормы. И причины этого понятны, тем более что они действуют не только на уровне отдельного труженика, но и в отношении предприятий.

Известно, что формирование фондов предприятия, в том числе и фонда зарплаты, идет, как это видно на примере совхоза «Октябрьский», не столько от создаваемого здесь продукта, сколько от утвержденных нормативов оплаты за выполненную операцию, если даже они и пересчитаны на единицу продукции. Отсюда и рождается стремление побольше «накрутить» тех операций, на которые действуют выгодные нормативы. Но нужно ли это для увеличения производства продукции, которой ждет потребитель? Далеко не всегда. Однако там, где достигается экономия по сравнению со средней узаконенной нормой, норматив в спешном порядке пересматривается. Предприятие, добившееся лучших результатов, оказывается в положении, равном остальным. И хуже того. Чем больше мобилизовано резервов в этом году, тем труднее перевыполнить новые нормативы в следующем. И вот уже лучшее предприятие, если его руководители настолько бесхитростны и простодушны, что обнаруживают свои резервы целиком, оказывается в худшем стартовом положении, чем его скромный, незаметный сосед.

Об этом противоречии писано-переписано, говорено-переговорено. Но оно по-прежнему остается одним из главных препятствий, одной из главных причин, тормозящих ускоренное повышение производительности труда. Ведь любое предприятие, приспособившись к утвержденным когда-то и где-то нормативам, не очень спешит их опрокинуть и шагнуть вперед. (Тут происходит то же, что и с отдельным работником.) Так-то спокойнее и надежнее, тем более что фонды предприятия зависят не от произведенного им продукта, а от действующих нормативов и от «пробивной» силы руководителей. И это не потому, что где-то сидят люди недобросовестные и безынициативные, а скорее от действия самого стимулирующего механизма. Из-за перебоев в его работе те же средства, те же люди работают с меньшей отдачей, чем на то можно рассчитывать. Так что не все в развитии производства зависит от материальных факторов.

Моральный стимул — положение работника на производстве — имсет ничуть не меньшее, а иногда даже и большее значение. Поэтому в последних партийных документах по хозяйственным вопросам подчеркивается необходимость совершенствовать производственные отношения, укреплять чувство хозяина в рабочем коллективе. И в этой связи ученые вносят предложения о повышении материальной заинтересованности трудящихся на базе прибыли. Речь зашла о том, чтобы наряду с оплатой труда по тарифной сетке, рассчитанной как сумма оплат за отдельные операции, разрешить предприятиям распределять какую-то строго определенную часть прибыли между его работниками. Эта система материально стимулирует коллектив уже не только к тому, чтобы производить продукцию, но стараться дать ее с низкой себестоимостью и такую, которая пользовалась бы спросом у покупателя. Оплата на базе прибыли должна рождать в кол-

лективе интерес не к выполнению отдельных операций, но наконец и к размеру и качеству созданного продукта.

Казалось, чего еще большего желать? На этой базе личные и общественные интересы должны были бы слиться воедино. Но жизнь преподносит сюрпризы там, где их меньше всего ожидают. Я расскажу сначала о нескольких случаях, чтобы предмет разговора был яснее, чтобы стало очевиднее, почему нас сейчас особо интересует методология ленинского решения проблемы сочетания интереса общественного и личного.

«СЦЕПКА» НА БАЗЕ ДОХОДА ИЛИ ПРИБЫЛИ?

Однажды в Министерство сельского хозяйства СССР пришел запрос от заместителя министра сельского хозяйства Грузии Д. Никурадзе. Он поставил перед союзным министерством вот какой вопрос. По установленному порядку, писал он, мы включаем в себестоимость продукции не только гарантированную оплату труда колхозников, но и почти все доплаты к ней. «В результате этого, — замечает Д. Никурадзе, — повышается себестоимость продукции в передовых колхозах, получающих высокие урожаи, выдающих в значительных размерах дополнительную оплату труда и дополнительно распределяющих по труду часть чистого дохода колхоза... При таком исчислении себестоимости продукции искусственно снижается уровень рентабельности колхозов с вытекающими отсюда последствиями».

Другими словами, заместитель министра говорит о том, что чем лучше хозяйство работает, тем относительно хуже его стоимостные показатели. Утверждение, прямо скажем, настолько неожиданное, что сразу принять его, пожалуй, невозможно. Я выехал в Грузию, чтобы своими глазами убедиться в том, о чем шла речь в письме. Мне порекомендовали подробнее познакомиться с показателями двух хозяйств, работающих в одном районе: колхозов в селах Саниори и Вардисубани.

Первое хозяйство сильное, второе — гораздо слабее. Взяв стоимостные показатели первого колхоза, я без труда определил, что 1964 год был самым удачным из последних лет. Действительно, общехозяйственная рентабельность складывалась здесь так: в 1964 году — 39,1 процента; в 1966 — 32,5; в 1967 — 34 и в 1968 году — 30 процентов. Себестоимость винограда — а это главная для здешних мест культура — была все эти годы около 24 рублей за центнер, кроме 1968 года, когда она поднялась до 29 рублей. Себестоимость пшеницы, кукурузы, молока была в 1964 году тоже самой низкой. Казалось бы, картина достаточно ясная, чтобы сделать вывод, что хозяйство по каким-то причинам с 1964 года постепенно сползает вниз. Но ничего подобного! Такой вывод был бы в вопиющем противоречии с истиной. В 1964 году урожай винограда составил здесь 42 центнера с гектара, в 1966 — 101,5 (год был особо урожайный), в 1967 — 78,4, в 1968 — 85,0. Виноград — основной источник жизни для местных колхозов. Увеличивалось его производство — росли доходы, расширялся валовой продукт («вал»). В 1964 году он составлял 336 тысяч рублей, а в 1966 — 746; в 1967 — 648 и 1968 году — 848 тысяч рублей. Правда, здесь сказались и некоторое увеличение цен на заготавливаемую в колхозах продукцию, принятое на мартовском Пленуме ЦК КПСС. Но рост производства сельскохозяйственной продукции за эти годы очевиден даже из натуральных показателей.

Итак, получается довольно странная ситуация: стоимостные показатели формируют об ухудшении работы колхоза, а натуральные говорят об обратном. И это не только, так сказать, во внутрихозяйственном разрезе. Если сравнить себестоимость продукции по двум названным хозяйствам (1967 год), то в колхозе Вардисубани она по ряду продуктов лучше, чем в Саниори, или где-то на том же уровне. А по урожайности разрыв между ними большой: в Саниори урожайность в полтора-два раза выше.

Почему же происходит такое несоответствие в показателях натуральной и стоимостной информации?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратим внимание на оплату труда колхозников. В 1964 году в колхозе Саниори на человеко-день выдавали 4 рубля 63 копейки; в 1966 — 9 рублей; в 1967 — 8,36 и в 1968 — 10 рублей 80 копеек. И вот по мере того, как росло производство, росла и оплата труда. А она — важная составная часть себестоимости и «тянет» порой до половины ее и больше. И выходит, что рост оплаты труда отрицательно влияет на рентабельность. В том, что это так, я убедился, сравнив лишь материально-технические затраты на производство единицы продукции в обоих колхозах. Оказалось, что в Саниори эти затраты (по растениеводству) в полтора-два раза ниже. А ведь показатели себестоимости говорили нам об обратном! Значит, та разница в оплате, которая разделяет эти хозяйства, а она не малая — 3,44 и 8,36, если брать 1967 год, — эта разница и путает нам стоимостные «карты».

Вот явление, о котором по существу писали в Министерство сельского хозяйства СССР из Грузии, спрашивая, как же быть в таком случае. Ведь стоимостные показатели все более настойчиво выдвигаются в число решающих.

С явлениями того же типа, что я увидел в Грузии, мне довелось познакомиться и в других местах. Например, в Эстонии. Есть там очень хороший колхоз «Эстония» Пайдеского района. Республиканские организации сочли возможным представить это хозяйство к высокой награде. В Эстонии — экономически крепкие хозяйства, и выделиться на их фоне не так-то легко. Однако когда копии годовых отчетов поступили в Москву на конкурс, то местная рекомендация вызвала немалое удивление. Рентабельность производства в этом колхозе оказалась низкой, себестоимость — высокой, а, например, молоко вообще было здесь убыточным, хотя хозяйство специализируется на его производстве.

В чем же дело? Оказывается, вот в чем. В 1965 году оплата человеко-дня была 6 рублей 18 копеек, а все доплаты к этому базисному, начально-расчетному уровню составили 30 копеек. Общая оплата человеко-дня обошлась в хозяйстве, значит, где-то около шести с половиной рублей. На следующий год базисная оплата — то есть без учета того, что получит колхозник в зависимости от результатов хозяйствования, от объема конечной продукции, — была тоже 6 рублей 18 копеек. Но прибыль оказалась высокой, и колхоз смог доплатить за ее счет крупную сумму — около двух с половиной рублей! Таким образом, общая оплата человеко-дня поднялась до 7 рублей 70 копеек. В 1967 году повторилось то же самое — общая оплата человеко-дня составила уже 8 рублей 80 копеек. Отчисления во все остальные фонды от прибыли от этого не страдали. Но вот что произошло с экономическими показателями колхоза.

Себестоимость продукции при таком высоком уровне оплаты труда резко возросла, общехозяйственная рентабельность упала с 16,5 в 1965 году до 8,1 процента (разумеется, если включать в себестоимость доплаты). Потому-то колхоз и выглядел так плохо на конкурсе передовых хозяйств в Москве. Выход был, правда, найден. Колхозу «Эстония» порекомендовали сделать перерасчеты по себестоимости и рентабельности и не включать в оплату те суммы, которые колхозники получили за счет перераспределения прибыли в 1967 году (то есть 2 рубля 50 копеек). И все стало на свои места. (Сейчас не будем задумываться над тем, насколько правомерно одну часть оплаты считать оплатой, а другую — случайным подарком, ниспосланным неизвестно откуда и за что.)

Тут недоразумение распуталось в пределах одного хозяйства. Мне же пришлось столкнуться с тем же самым конфликтом, развивавшимся, так сказать, уже в другой плоскости.

Знаменитый колхоз имени Татарбунарского восстания (Татарбунарский район Одесской области) не нуждается в похвалах. О его производственных успехах уже много написано.

Колхоз «Победа» (того же Татарбунарского района) — хозяйство послабее. Это видно и невооруженным глазом — достаточно только посмотреть на фермы,

поля, постройки. Но вот передо мной стоимостные показатели их работы. Они заставляют отдать предпочтение «Победе» или же поставить оба хозяйства на одну доску. Так, рентабельность в 1966 году в «Победе» была 152 процента, а в «Татарбунарском восстании» — 93; в 1967 году соответственно 91 и 100 процентов. То же и с себестоимостью. А разница только в урожайности зерновых — одной из главных здесь культур — составляет почти 8 центнеров с гектара в пользу колхоза имени Татарбунарского восстания. И здесь отличие в уровне оплаты труда (два с лишним рубля) влияет таким же образом на стоимостные показатели, как и в описанных выше случаях.

Более того, сравнение показателей работы республик обнаруживает ту же тенденцию, что и в случае с отдельными хозяйствами. В газете «Известия» (1 декабря 1967 года, № 284) приводятся данные о результатах работы эстонских и белорусских колхозов. Если сравнить их рентабельность (исчисленную как отношение чистого дохода к себестоимости), то окажется, что белорусские колхозы стоят выше эстонских, что эстонские артели работают хуже своих соседей. Но данные статистики свидетельствуют об обратном: урожайность, продуктивность скота, валовой доход на 100 га пашни и на работающего колхозника в Эстонии выше, чем у белорусов.

Выходит так, что перед хозяйством возникают как бы две противоположные задачи: погоняться за низкой себестоимостью, высокой рентабельностью, — должен относительно снижать или замедлять рост оплаты труда, но если оплата труда не будет расти в соответствии с ростом производства, то отключается этот стимул движения вперед. Следовательно, приведенные ранее цифровые сравнения и выкладки отнюдь не абстрактны, а задевают интересы непосредственных производителей. Короче говоря, опять и при стимулировании на базе прибыли речь идет о центральном вопросе экономики: как связать, на какой базе гармонично согласовать общественные интересы и интересы предприятия, каждого отдельного труженика; то есть хотя и совсем в других условиях, но речь идет о той же самой проблеме, которая стояла и перед В. И. Лениным в кооперативном плане.

Где же выход из этого положения?

Некоторые экономисты видят его в том, чтобы часть чистого дохода не делить в конце года на фонд зарплаты, а направлять главным образом в фонд накопления, на расширение производства. Фонд же поощрения, создаваемый из чистого дохода, видится им как источник своего рода единовременных премий к стабильной оплате труда, выдаваемых особо отличившимся труженикам. Эти премии — часы, путевки, мотоциклы — не будут включаться в себестоимость, а потому и влиять на рентабельность. Таким образом, вопрос, о котором сейчас идет речь, автоматически снимается. По сути дела речь идет о возврате к тому положению в области материального стимулирования, которое существовало накануне хозяйственной реформы, когда доплаты к основной оплате за труд были эпизодическими и незначительными.

Практики им резонно возражают: если принять это предложение, то произойдет сужение числа тех работников, кто вовлекается системой материального поощрения в борьбу за конечные результаты хозяйствования. Такая система будет слабо влиять на инициативу всего коллектива.

Другие экономисты предлагают иное: в расчетах по себестоимости, рентабельности брать не фактическую оплату со всеми доплатами к ней, а какую-то единую ставку — совхозную, например. Тогда распределяемая часть чистого дохода не обременяла бы показателей себестоимости, рентабельности. Коллектив был бы при этом материально тесно связан с конечными результатами хозяйственной деятельности своего предприятия.

Но тогда — можно возразить на это — все экономические расчеты, ведущиеся в хозяйстве, стали бы носить условный, формальный характер. Действи-

тельно, что это за показатель себестоимости, рентабельности, который не учитывает — и до 40 процентов — расходов на оплату труда! Кроме того, при таком счете теряется критерий экономической эффективности намечаемых мероприятий. При оплате, скажем, в два рубля за человеко-день колхозу выгодно опрыскивать свои сады на конных или тракторных опрыскивателях, а то и вручную: ничего, что много людей занято на операции! Но при 6—8 рублях выгоднее, может быть, применить самолет, а высвободившиеся силы использовать более производительным. Ну, а как оценить, как правильно выбрать экономически разумную меру, какую отрасль предпочесть развивать более быстрыми темпами, когда во всех расчетах проставлены не реальные цифры, а условные? Тут можно полагаться только на интуицию, а не на экономический расчет. Это опасно.

И все-таки в нашем случае на базе колхозов конфликт между показателем рентабельности, прибылью и ростом оплаты труда носит в значительной мере характер формальный или, вернее, бухгалтерский. Дело в том, что все средства, вырученные колхозом от реализации своей продукции, остаются в конце концов там, где они созданы. То есть в том же самом хозяйстве. Они не перераспределяются, не изымаются административно в пользу других. А колхознику, в общем-то, безразлично, выплатят ли ему за труд 5 рублей по одной графе или 3 рубля по одной, 2 — по другой.

Гораздо острее ситуация там, где «излишек» прибыли, превышающий установленный нормой максимум, изымается из хозяйства. Например, в совхозах, перешедших на полный хозрасчет, разрешается создавать за счет прибыли фонд материального поощрения, не превышающий 12 процентов к фонду зарплаты. Тут уже после получения на заработанный рубль максимум 12 копеек достигается «потолок», и материальный стимул, очевидно, после этого выключается из механизма ускорителей роста производства.

Итак, система поощрений на базе прибыли оказывается перед трудно решимой проблемой. Не ясно прежде всего, какую часть прибыли, какую часть созданного на предприятии продукта можно оставлять самим производителям, то есть тем, кто этот продукт вырастил. И, самое главное, как распределение средств из фонда поощрения увязать с задачей улучшения экономических показателей. Где же выход?

Давайте обратимся к главному — к мотивам и стимулам производственной деятельности социалистического предприятия. Для капиталиста, как известно, главное — достижение максимума прибыли. Для него расходы на оплату труда — величина сравнительно постоянная, не связанная с результатами хозяйствования. Капиталист платит рабочему относительно стабильную зарплату, представляющую в лучшем случае стоимость его рабочей силы, зафиксированную на рынке труда. Дополнительная прибыль от более производительного труда поступает самому капиталисту в карман. Поэтому он стремится к максимализации прибыли. Именно она и определяет все его решения, инициативу. В стремлении к своей цели капиталист готов экономить на всем, в том числе на зарплате рабочих и служащих, на санитарных условиях производства, на технике безопасности. Чем ниже уровень заработной платы, тем больше выгоды нанимателям труда. В острой классовой борьбе рабочие вырывают те или иные уступки, но это не меняет общей тенденции капитализма, где величина зарплаты определяется спросом и предложением на рабочую силу.

Если же присмотреться к практике наших колхозов, о которых шла речь, то нетрудно заметить коренное отличие в мотивах и стимулах развития производства, в принципах оценки «стоимости» рабочей силы. Колхозников, правление колхоза, его председателя интересует прежде всего размер, объем всего вновь созданного продукта, то есть валовой доход, а не какая-то его часть — прибыль. Чем он, доход, больше, тем выше можно оплачивать труд, больше строить производственных и культурно-бытовых объектов, пополнять отчисления на социальные нужды (пенсии, помощь престарелым и нуждающимся и т. д.). Но колхозники — хозяева производства, и в отличие от хозяина-капиталиста они не заинтересованы

в экономии на условиях и оплате труда, то есть на самих себе, во имя роста «чистого дохода». Говоря языком политэкономии, здесь нет стремления увеличить прибавочный продукт за счет необходимого. Более того, здесь по существу стирается грань между трудом необходимым и прибавочным и весь он становится необходимым: оплата труда необходима для жизни семьи колхозника, но без мелиорации, без производственных построек не было бы ни оплаты, ни ее роста. Вложения в развитие производства становятся в этих условиях необходимым условием роста благосостояния колхозников. Это то самое положение, о котором говорил Маркс: «Устранение капиталистической формы производства позволит ограничить рабочий день необходимым трудом. Однако необходимый труд, при прочих равных условиях, должен все же расширить свои рамки. С одной стороны, потому, что условия жизни рабочего должны стать богаче, его жизненные потребности должны возрасти. С другой стороны, пришлось бы причислить к необходимому труду часть теперешнего прибавочного труда, именно тот труд, который требуется для образования общественного фонда резервов и общественного фонда накопления»¹.

О том же самом писал в свое время и Н. Г. Чернышевский, характеризуя отношение к труду в коллективе, существующем на базе общественной собственности при отсутствии наемных отношений. Тут, говорил он, нет отделения прибыли от рабочей платы, нет и понятия об отделении самого рабочего от продукта, от его оплаты. Тут вознаграждением за труд признается весь продукт. Но и самое понятие вознаграждения сюда не вполне подходит: собственно говоря, тут продукт рассматривается не как вознаграждение за труд, а как результат труда. Вознаграждение, рассуждал далее Чернышевский, предполагает существование какого-то постороннего лица, присваивающего себе продукт и выделяющего из него производителю известную часть. В условиях социализма, где не будет наемного труда, не будет и «постороннего ценовщика», присваивающего себе продукт и выделяющего одну часть работнику. «В небольшой мастерской, в маленьком хозяйстве хозяин может наблюдать за исполнением дела,— писал Н. Г. Чернышевский,— тут нет большой разницы между работою хозяина и наемника, потому что наемник работает на глазах у хозяина, который может уследить за всякой мелочью. Но чем обширнее становится размер хозяйства, тем меньше возможности одному хозяину усмотреть за постоянно возрастающим числом работников, за подробностями дела, принимающего громадную величину. Тут наемный труд даром тратит половину времени, даром пропадает половина силы, даваемой машинами. Вместо наемного труда выгодой дела требуется тут уже другая форма труда, более заботливая, более добросовестная к делу. Тут нужно, чтобы каждый работник имел побуждение к добросовестному труду не в постороннем надзоре, который уже не может уследить за ним, а в собственном своем расчете; тут уже нужно, чтобы вознаграждение за труд заключалось в самом продукте труда, а не в какой-нибудь плате, потому что никакая плата не будет тут достаточно вознаграждать за добросовестный труд, а различать добросовестный труд от недобросовестного становится все менее и менее возможным кому бы то ни было, кроме самого трудящегося»².

В наших колхозах — и это одна из их отличительных черт — нет наемных отношений ни по форме, ни по существу. Нет здесь поэтому и категории зарплаты, как единой и общей для всех хозяйств ставки за выполненную операцию, установленной организацией, стоящей вне колхоза. Колхозники из выручки за проданную продукцию, из валового дохода сами определяют себе размер оплаты. Вот почему их интересует больше валовой доход, то есть вся вновь созданная стоимость, а не ее частичка — прибыль. Колхозники сами решают, сколько средств им пустить на оплату труда и сколько на расширение

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 539

² Н. Г. Чернышевский. Избранные экономические произведения, т. III, ч. 1, стр. 308.

производства. Конечно, в определении этого соотношения не может быть произвола. И подобно тому, как капиталист, получив прибыль, не может тратить ее произвольно по собственному желанию, не считаясь с интересами производства в будущем, точно так же, если не больше, коллектив артели заинтересован в разумном сочетании расходов на накопление и потребление. Такое сочетание регулируется объективными экономическими законами. И если в нынешнем году правление колхоза распределит в оплату больше, чем положено, если не сделает соответствующих капитальных вложений в производство (на мелиорацию, строительство и т. д.), то через год-два-три колхозники могут жестоко поплатиться за ошибку. Мне приходилось видеть хозяйства, которые несколько лет тому назад, стремясь перещеголять соседям по уровню оплаты трудодня, не вели в должном объеме производственное и культурно-бытовое строительство. Прошло время, и подрастающая молодежь стала уходить из этих хозяйств.

Не будем специально углубляться в проблему распределения валового дохода. Суть тут в несколько ином.

В. И. Ленин писал, что «крепостническая организация общественного труда держалась на дисциплине палки.. Капиталистическая... на дисциплине голода... Коммунистическая... к которой первым шагом является социализм, держится и чем дальше, тем больше будет держаться на свободной и сознательной дисциплине самих трудящихся, свергнувших иго как помещиков, так и капиталистов»¹.

Сознательная дисциплина трудящихся, о которой говорит В. И. Ленин, схожа с разумностью крестьянина, берегущего свою корову, лошадь даже порой за счет достатка семьи, но во имя ее настоящего и будущего. Сознательная дисциплина коллектива, разумно распределяющего свой доход, сродни именно ей. Ответственность и свобода в принятии решений относительно ведения производства и распределения доходов как раз и есть та основа, на которой развивается подлинное чувство хозяина. А для развития производства экономическое значение этого чувства ничуть не меньше, если не больше, чем применение нового станка или машины.

Свободная и сознательная дисциплина, собственная забота о своем завтрашнем дне как раз и должны проявляться в распределении валового дохода. Можно привести много примеров, когда на своих общих собраниях колхозники охотно соглашались с предложенной правлением схемой распределения валового дохода, хотя она с позиции сегодняшнего дня и кажется напряженной. Убедительные аргументы и учет перспективы развития обычно успешно противостоят потребительскому подходу.

Конечно, это не значит, что оплата труда должна складываться стихийно, на основе решения каждого отдельного предприятия, без вмешательства и регулирования со стороны государства. Прежде всего государство задает общие границы роста оплаты тем, что устанавливает пропорции распределения национального дохода на фонд потребления и фонд накопления. Кроме того, оно вырабатывает ориентиры, по которым каждое предприятие сможет сверять, насколько разумно оно распределяет свои доходы, насколько уровень оплаты на предприятии соответствует уровню общественной производительности труда. Общественные организации, сверяя эти два показателя, имеют возможность предупреждать ошибку.

Итак, если при капитализме размер зарплаты трудящегося зависит от рыночной стоимости его рабочей силы, а не от величины продукта, им производимого, в колхозах, на базе кооперативной собственности, оплата труда находится в зависимости от объема произведенного тут продукта. Где этот продукт больше — там, как правило, и оплата выше. И происходит это не потому, что в одном колхозе стоимость рабочей силы, то есть набор продуктов, необходимых для воспроизводства рабочей силы, дороже или дешевле, чем в другом. Этот фактор здесь не действует, как не действует он при распределении продукта, произведен-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 13—14.

ного единоличным крестьянином, владельцем мелкой мастерской, не нанимающим рабочих. И поэтому, когда в наших условиях заходит речь об исчислении стоимости рабочей силы, невольно вспоминаются саркастические слова Н. Г. Чернышевского по поводу подобного рода мыслей в связи с общественной собственностью. Упрекая Милля за неправильное толкование Луи Блана, он доводит до гротеска ошибку Милля, чтобы всем стала она очевидна. «...требует он (Блан.— Г. Л.), чтобы каждый посвящал все свои силы на работу в пользу коммунистической кассы, а получал содержание, какое она положит ему по рассмотрении его надобностей, т. е. это значит, что если она рассудит, что я могу существовать черным хлебом и толком, то я буду работать как вол, и будут посторонние мне люди кушать возделанный мною белый хлеб и говядину из выкормленного мною скота, а мне и понюхать никогда не дадут ни говядины, ни белого хлеба»¹.

По поводу такого рода толкования идей Луи Блана Чернышевский справедливо восклицает: «Ну, видно, что и глуп же этот Луи Блан! Да и парижские работники, что за олухи, что носили на руках такого фантазерного идиота».

Собственно, сам-то Милль не верил в реальность тех мыслей, которые он приписывал Луи Блану. «Предполагать,— говорил он,— что один или несколько человек, так или иначе выбранных, могут посредством той или другой организации второстепенных властей назначить каждому дело, соответствующее его способности, и распределять вознаграждения по заслугам каждого, хорошо распределять имущественную справедливость между членами общины,— предполагать, что все члены будут довольны тем, как они употребляют свою власть, и будут покоряться ей совершенно добровольно, это такое предположение, против которого едва ли надобно и спорить, потому что оно явная химера. Люди могут без ропота подчиняться определенному правилу, например, правилу равенства, или случаю, или внешней необходимости. Но чтобы несколько людей взвешивали каждого на своих весах, чтобы давали одному больше, другому меньше лишь потому, что так вздумали и рассудили,— этого люди не потерпят, если не считают этих людей существами высшими людей, не трепещут их сверхъестественного могущества»².

Разумность этого замечания, как мне кажется, очевидна. Поэтому предложения тех экономистов, которые в наше время советуют ориентировать систему материального стимулирования трудящихся не на размер созданного продукта, а на расчеты стоимости рабочей силы, противоречат, мне кажется, природе нашей экономики и не могут обеспечить успеха.

Итак, главное для колхозников — сколько делить и в каких пропорциях, а чистый доход для них — не самоцель. Вот почему совершенно справедливо то положение в обсуждающемся сейчас проекте устава сельхозартели, которое предполагает такой порядок: нормы выработки и расценки за выполненные работы в колхозах устанавливаются, «исходя из конкретных условий хозяйства, и утверждаются правлением колхоза». Здесь «потолок» в оплате тесно связан с объемом создаваемой в хозяйстве продукции, а не с какими-то административными ограничениями. Правы, видимо, поэтому те экономисты у нас и в других социалистических странах, которые на первый план в оценке деятельности социалистического предприятия предлагают выдвинуть валовой доход, который после соответствующих отчислений в централизованные фонды должен поступать в распределение на нужды коллектива, его создавшего.

Но обществу, социалистическому государству, самому предприятию не безразлично, какими средствами, при каких затратах достигается тот или иной объем валового дохода. Это нужно знать, чтобы отыскивать оптимальный вариант производства, оптимальную эффективность общественных затрат. Получена ли определенная сумма валового дохода с тысячи или с десяти тысяч гектаров зем-

¹ Н. Г. Чернышевский. Избранные экономические произведения, т. III, ч. 2, стр. 35—36

² Там же, стр. 22.

ли — государству, обществу это не безразлично. Потребовалось ли сосредоточить здесь десятки или сотни тысяч рублей основных средств — машин, построек или сооружений — тоже. Не зная этого, трудно, просто невозможно сказать: хорошо или плохо, что хозяйство добилось данного дохода. Сколько оборотных фондов (бензина, ядохимикатов, удобрений) потребовалось для достижения результата — тоже нельзя не учитывать. Чтобы соразмерить результат с этими затратами, надо их свести к общему знаменателю: этим знаменателем в наших условиях служат деньги. (Отсюда вытекает, кстати, настоятельная необходимость денежной оценки земли, без чего в сельском хозяйстве вряд ли можно вскрыть подлинный эффект затрат и повысить его, — об этом уже не раз говорилось в нашей печати.)

Но колхоз заинтересован не только в повышении эффективности, в разумном использовании общественного труда. Свой собственный живой труд колхозники хотят вкладывать так, чтобы от этого была наибольшая отдача, выгода государству, хозяйству, каждому отдельному труженику. Труд же, как известно, овеществлен во всей вновь созданной стоимости, в валовом доходе. В прибыли заключена лишь одна его часть. Следовательно, валовой доход, отнесенный ко всем авансированным средствам, материально-техническим затратам и ко всему труду, овеществленному во вновь созданной стоимости, гораздо правильнее отражает эффективность социалистического предприятия.

Когда со специалистами Телавского производственного управления мы посчитали рентабельность производства колхоза села Саниори по той логике, о которой шла речь, то недоразумение, поразившее нас вначале, отпало. Плохой год — 1964 — так и остался по стоимостным показателям плохим, а хороший — 1966-й — стал хорошим. И оплата труда, рост ее не отбросил рентабельность производства с того места, которое обеспечено было в производстве. В 1964 году рентабельность составила 23,1 процента, в 1966 году — 46, в 1967 — 35 и в 1968 — 38,6 процента. Натуральные и стоимостные показатели стали давать одинаковую информацию.

В колхозе «Эстония» поправка на доплаты из прибыли, как помним, обошлась в снижение рентабельности вдвое, хотя валовой доход колебался незначительно. При подсчетах же по рекомендуемому нами методу экономически оправданный рост оплаты не смазывает результатов хозяйствования: рентабельность в этом случае составляет соответственно 29,7; 26; 28,4.

То же и в случае с хозяйствами Татарбунарского района Одесской области. С учетом всех прежних рассуждений, без оценки земли, получилось, что в колхозе имени Татарбунарского восстания рентабельность, этот главный показатель хозяйственных успехов предприятия, составила в 1966 году почти 41 процент, а в «Победе» — 44 процента. Некоторое преимущество «Победы» объясняется чрезвычайными мерами, принятыми для оздоровления экономики этого хозяйства. Здесь специально расширяли посевы подсолнечника — культуры очень выгодной, и сократили планы по зерну. Так что подсолнечник пока еще спасает «Победу». А это значит, что с полной достоверностью пользоваться стоимостными показателями при оценке хозяйственной деятельности предприятий можно лишь тогда, когда устанавливается одинаковое отношение к хозяйствам, когда до разумного минимума ограничены привилегии одних, получаемые за счет ущемления других. И это не только при доведении планов, но и при установлении цен и т. д. Конечно, слабым хозяйствам нужно помогать. Нельзя их бросать на произвол судьбы. Но, видимо, эта помощь, когда она оправдана, должна идти по специальным каналам — банковский кредит и т. д., а не за счет создания искусственных, тепличных условий их существования. Но это уже другой, тоже важный и сложный вопрос; в нашем же случае речь шла о гармоническом сочетании и роста оплаты труда с развитием стоимостных показателей. На наш взгляд, ориентация на категорию валового дохода создает более благоприятные условия для решения этой задачи. Так, более естественно устанавливается гибкая связь между ростом оплаты труда и повышением

его производительности. И не только это — интересы государства и предприятия, как видно хотя бы на таком примере, тоже удается сочетать гораздо гармоничнее.

Об этом мне рассказали в Министерстве сельского хозяйства Грузии. Сейчас колхозы уплачивают налог с чистого дохода в размере 12 процентов, если рентабельность хозяйства выше 15 процентов, то есть с дохода, образующего этот уровень рентабельности, налог не берется, им облагается сумма с 16 процентов и выше. Колхоз села Хуцубани Кобулетского района Аджарской АССР получил в 1967 году 419 тысяч рублей чистого дохода, то есть по этим условиям он должен был бы выплатить государству налог в сумме 32,7 тысячи рублей (рентабельность колхоза — 37 процентов). Однако правление колхоза решило распределить часть чистого дохода — 193 тысячи рублей — среди колхозников. Значит, практически чистый доход, подлежащий обложению, сократился уже до 226 тысяч рублей, а реальная рентабельность упала до 22 процентов. В результате государство получило не 32,7 тысячи рублей, а 23 тысячи. Дело, конечно, не в количественной стороне, а в принципе. А он, как видим, сводится к тому, что при расчетах предприятия с государством на основе прибыли возникает такая ситуация, когда предприятие заинтересовано всеми способами уменьшить облагаемую часть прибыли даже за счет неоправданных увеличений фонда материального поощрения. На базе расчетов от валового дохода такие случаи вряд ли возможны. Здесь отношения предприятия с государством могут быть гораздо открывеннее.

Какой же вывод напрашивается из тех наблюдений, о которых здесь рассказано? Прежде всего тот, что стимулирование на основе «сдельщины», на основе оплаты за операцию, а не за созданный продукт, предполагает, что кто-то за пределами предприятия определяет заранее твердую ставку оплаты за проделанную операцию, нормативы расходования средств и материалов. На этой основе создается первое противоречие, которое можно сравнить с состязанием в перетягивании каната. Тот, чей труд оценивается, пытается отстоять возможно более высокую ставку оплаты за операцию, максимальную норму расходования всех других средств. Тот, кто его оценивает, вынужден в этой ситуации действовать сдерживающе под давлением реальности, которую трудно представить себе, находясь вдали от предприятия. Но главное в том, что для оцениваемого источник его материального благополучия перемещается при этом в значительной степени в сферу, не зависящую от успехов его труда, от уровня квалификации. Это не может не влиять самым отрицательным образом на рост трудовой активности. На этой основе и может как раз рождаться стремление поменьше поработать — побольше получить. Распределение же на базе валового дохода основы для развития такой психологии не дает, ибо нет другого источника материального благополучия, кроме собственных усилий, не с кем торговаться о нормах оплаты, штатных единицах, окладах и т. п., раз нормы эти определены размером созданного продукта. Сейчас 30 процентов колхозов страны платят за труд значительно выше, чем совхозы. И это хорошо там, где соблюдается правильное соотношение между фондом накопления и фондом потребления. Передовые совхозы же, государственные предприятия, лишены такой возможности существенно повысить оплату труда и другие отчисления до общего разрешения. Это сильно сдерживает рост производства.

Стремление к повышению прибыли, к рентабельности находится, как видим, в противоречии с возможностями сколько-либо серьезного поощрения за счет прибыли. Игнорирование же этого факта ведет вообще к формализации многих экономических расчетов. «Стимулирование» коллектива, где нет ни по форме, ни по существу наемных отношений, осуществляется путем сознательного, пропорционального распределения самим коллективом своего валового дохода в фонд накопления и в фонд потребления. При этом противоречие между обоими фондами по существу снимается — если только учитывается объективный характер пропорций, складывающихся в этой области. Валовой доход, как основа для рас-

четов между предприятием и государством, создает более здоровую основу и для их взаимоотношений. Отсчет (налогов и т. п.) от прибыли предприятия ведет к тому, что предприятие может занижать свои возможности получения прибылей и нарушать соотношение между фондами накопления и потребления в пользу последних: ведь при этом уменьшится сумма средств, выплачиваемых государству в качестве налога, и больше средств останется на предприятии.

В нашем народном хозяйстве существует сейчас два принципа формирования фондов предприятия, две формы «сцепки» производителя со средствами производства: одна — на базе валового дохода (в кооперативах), другая — на базе нормативов. Система распределения на базе валового дохода — при всей ее нынешней непоследовательности и эклектичности, обусловленной привнесением элементов другой, нормативной системы — имеет, на наш взгляд, ряд серьезных преимуществ. Кооперативная форма «сцепки» производителя со средствами производства открывает в определенных случаях, как видим, возможность эластичнее увязывать общественные и личные интересы.

Как это отражается на результатах хозяйствования?

О «ВЫСШИХ» И «НИЗШИХ»

В статье «Гектары. Центнеры. Рубли», опубликованной в «Новом мире» в 1965 году (№ 9), речь шла о колхозе «Дружба народов» и совхозе «Большевик» Красновардейского района Крымской области. Случайно ли оказалось так, что колхоз по своим экономическим показателям во многом превосходит совхоз, хотя последний не из числа слабых по своему потенциалу? Сравнение двух хозяйств еще ни о чем не говорит. Но вот мелькнуло позднее (см. «Новый мир», № 12, 1967) и другое настораживающее сообщение — начальника Ставропольского краевого статистического управления Н. Цогоева: «В 1965 году совхозная продукция обошлась (по Ставрополю.— Г. Л.) государству с учетом бюджетных ассигнований примерно на 10—12 процентов дороже, чем колхозная. Спрашивается, почему же совхозная продукция обходится гораздо дороже, чем колхозная? Почему совхозы, как государственные предприятия, рентабельны менее колхозов, хотя они и призваны быть образцом организации крупного социалистического производства?»

Вопрос, как говорится, поставлен в лоб.

Может быть, это явление типично только для Ставропольского края? Может быть, здесь кто-то притесняет совхозы, создавая за их счет более благоприятные условия для колхозов? Но вот передо мной книга секретаря Уральского обкома партии Б. Жумагалиева «Дары степных просторов», изданная в Казахстане в 1968 году. «Совхозы области,— пишет он,— имеют основных производственных фондов, техники и помещений значительно больше, чем колхозы... Товарной продукции было получено на 100 рублей основных производственных фондов в совхозах на 43 рубля, а в колхозах — на 80 рублей. Совхозы,— продолжает Б. Жумагалиев,— приобретают техники больше, чем колхозы, и — самое тревожное — хуже ее используют. Финансируя совхозы, государство дает им необходимые средства на расширение основных производственных фондов, независимо от результатов их хозяйственной деятельности. Техника, а также помещения для животных обходятся совхозам по существу бесплатно. Отсюда и стремление некоторых недальновидных директоров как можно больше, иногда без надобности, получать тракторов, комбайнов и другой техники. В колхозах же дело обстоит иначе» (стр. 101—102).

Значит, явление, подмеченное в Крыму и на Ставрополье, далеко не местно го значения.

У меня собраны данные о работе колхозов и совхозов РСФСР. Там прослеживается та же тенденция.

Когда сопоставляют результаты хозяйствования колхозов и совхозов, очень часто разницу в показателях пытаются объяснить тем, что в совхозы за последние годы влилось очень много слабых колхозов. Действительно, только в РСФСР начиная с 1954 и по 1957 год в совхозы перешло 14 611 колхозов. Это, конечно, отражается на абсолютных цифрах показателей хозяйствования совхозов. Но вот сравнение ряда старых совхозов Краснодарского края с колхозами — сравнение, на показатели которого указанный момент не имел влияния:

В рублях за 1966 год

Показатели	Районы									
	Кущевский		Тихорецкий		Тимашевский		Ленинградский		Отраденский	
	с/х Кущевский	к/х им. Ленина	с/х Тихорецкий	к/х им. Кирова	с/х Тимашевский	к/х «Путь к коммунизму»	с/х «Искра»	к/х «Кубань»	с/х Подгорный	к/х им. Крупской
Валовая продукция на 100 руб. основных и оборотных средств	85,4	176	92,5	101	84,4	77	95,2	81	45,0	117
Валовой доход на 100 руб. основных и оборотных средств	35,2	111	44,9	61	21,9	48	29,9	56	22,3	59

Как видим, по одному из самых главных показателей — по валовому доходу, то есть по размерам вновь создаваемой стоимости в расчете на человеко-день и на 100 рублей всех фондов, — сопоставляемые колхозы почти во всех случаях оказываются в более выигрышном положении, чем совхозы. Та разница в выходе продукции на рубль затрат, которая отличает колхозы от совхозов, как раз и представляет собой, так сказать, стоимость морального стимула, так как она обеспечена не количеством вложенных средств, а иной формой смычки, связи производителя со средствами производства.

Все эти данные, не претендуя на абсолютную точность в сопоставлении показателей, обнаруживают одну главную тенденцию: при равных исходных данных, совхозы работают менее эффективно, чем колхозы. Поэтому явление, подмеченное в Крыму, не случайно.

Речь не идет о противопоставлении колхозов совхозам. И те и другие являются коллективными, общественными, социалистическими производственными организациями. Все это так. Вызывает, однако, удивление: почему колхозы имеют, при равных условиях, лучшие результаты хозяйствования, хотя по инерции кое-кто еще до сих пор склонен относить колхозную собственность к «низшей» форме собственности? Отчего «низшей»?

Готовый ответ гласит: из-за уровня обобществления. В колхозах он ниже, в совхозах выше, оттого и социалистическая собственность разделяется на «высшую» и «низшую».

Постараемся разобраться, что имеется в виду под уровнем обобществления.

В книге «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» В. И. Ленин так разъяснял понятие «обобществление труда». Дело, говорил он, совсем не в том, что люди работают в одном помещении (это только частица процесса), а в том, что концентрация капиталов сопровождается специализацией общественного труда, уменьшением числа самостоятельных предприятий в каждой данной отрасли промышленности и увеличением числа особых отраслей промышленности, — в том, что многие раздробленные процессы производства сливаются в один общественный процесс: производства. При низком уровне обобществления труда кустарь сам сеял лен, сам прял и ткал — он был почти независим от других. В условиях высокого уровня обобществления труда дело обстоит иначе.

Производитель ткани зависит от производителя сырья, от того, кто выращивает хлопок, лен, а тот — от машиностроительного, химического завода, снабжающего село удобрениями и машинами и т. д.

То есть обобществление — это в первую очередь акт экономический, производственный. От того, что производители будут собраны под одной крышей или войдут в состав одной организации, уровень обобществления не повысится.

Отличается ли кооперативно-колхозное предприятие по уровню обобществления труда, понимаемого в этом, экономическом смысле слова, от предприятий государственных, от того же совхоза?

Конечно, нет! Оно так же втянуто в сферу общественного разделения труда и не может дня обойтись без поставок материалов от других отраслей народного хозяйства, как и любое государственное предприятие. Значит, когда говорят о различии в уровне обобществления труда, определяющем разную степень зрелости двух форм социалистической собственности, имеют в виду нечто другое, чем то понятие, которое подробно разъяснено у Ленина. Тогда что же? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберемся, чем же практически отличается колхоз от совхоза. Этих отличий по крайней мере три.

Прежде всего колхоз «живет» от реализации продукции, созданной коллективом именно данного предприятия, — его хозяйственная жизнь основана на принципах купли-продажи. Фонды же совхоза формируются в значительной степени путем перераспределения централизуемых доходов, причем размеры их мало зависят от конечных результатов хозяйствования того или иного предприятия.

Вся хозяйственная жизнь государственного предприятия строится на фондируемом снабжении его продукцией и на фондируемом сбыте того, что оно производит согласно планам. Товарно-денежные отношения выполняют здесь в основном учетную функцию. Цена, уровень рентабельности производства не имеют серьезного влияния на перспективы развития совхоза. Каждый совхоз является не столько самостоятельной хозяйственной единицей, «живущей» за счет только своего труда, сколько членом более широкого объединения — объединения всех государственных предприятий, между которыми происходит перераспределение фондов, денежных средств в соответствии с теми решениями, которые принимают руководители на том или ином уровне.

В колхозах, наоборот, товарно-денежные отношения регулируют производство. Поэтому каждый неудачный поворот с ценами на сельскохозяйственную продукцию, каждое неудачное решение в выборе структуры производства, сокращающее рентабельность хозяйства, больно бьет по экономике, по материальному положению членов коллектива. Такая не формальная роль товарно-денежных отношений в жизни кооперативных организаций обуславливает высокую степень их автономии, организационно-хозяйственной самостоятельности. Здесь нет тех перераспределенческих актов, которые типичны для совхозной системы. Любое отчуждение собственности того или иного колхоза может осуществляться лишь на базе актов купли-продажи. Здесь нельзя взять стадо коров, перегнать из одного хозяйства в другое, переписав его с одного баланса на другой. Так что в этом смысле — в смысле принадлежности к более широкой организации — колхоз в самом деле стоит на более низком уровне обобществления.

Как видим, разница в уровне обобществления, по которой отличают колхозы от совхозов, — эта разница заключается в роли, которая отводится в том и другом случае товарно-денежным отношениям. Там, где товарно-денежные отношения в своем подлинном смысле кажутся преодоленными, там представляется достигнутой высшая стадия обобществления. Там, где этого еще нет, — низшая.

Итак, опять все сводится к тому или иному отношению к судьбе товарного производства при социализме. Для тех экономистов, которым товарное производство кажется несовместимым с социализмом, принципы, на которых существуют колхозы, кажутся чуждыми, временными, подлежащими быстрейшему преобразованию. Отсюда и высокомерно-нисходящая их характеристика как представителей «низшей» формы собственности. Наоборот, те, кто считает, что социа-

листическое товарное производство отвечает нынешнему уровню развития производительных сил, видят в развитии колхозных принципов хозяйствования путь к повышению эффективности всего общественного производства. Более того, сравнение данных хозяйствования колхозов и совхозов наглядно убеждает нас в том, какая же система хозяйствования — товарная или нетоварная — в большей степени отвечает потребностям социалистической действительности. Это очень важный аргумент в дискуссии «товарников» с «нетоварниками», аргумент уже не только логически-абстрактного типа рассуждений, а самого что ни на есть практического, эмпирического свойства.

Из-за различного отношения к судьбам товарного производства при социализме по-разному видятся и перспективы перерастания двух форм собственности в общенародную, тем самым по-разному видятся и пути совершенствования производственных отношений в нашем народном хозяйстве в целом.

Так, если придерживаться разделения социалистической собственности на «высшую» и «низшую», то для превращения «низшей» в «высшую» нужно, как в свое время говорил И. В. Сталин, «выключить излишки колхозного производства из системы товарного обращения и включить их в систему продуктообмена между государственной промышленностью и колхозами». То есть нужно ускоренными темпами идти к налаживанию прямого продуктообмена во всем нашем народном хозяйстве и осудить, отбросить все практические мероприятия, исходящие из необходимости развертывания товарно-денежных отношений. Жизнь показала, что это было бы преждевременно. Поэтому на мартовском и сентябрьском Пленумах ЦК КПСС (1965 года), на XXIII съезде КПСС были разработаны меры, исходящие из развертывания социалистических товарно-денежных отношений, а не из их свертывания. Причем на этот раз речь шла не только о сфере деятельности колхозов (как это было на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС в 1953 году), но и о сфере деятельности предприятий государственных. «Торгашеская», по выражению Ленина, особенность кооперативных организаций перестает быть только их особенностью и превращается постепенно в общую характеристику любого социалистического предприятия. Так что по этой линии реально существующие различия между предприятиями обоих видов постепенно уменьшаются. Более того, высказанное на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС (1965) предложение об отказе в перспективе от утверждения предприятиям фонда заработной платы ориентирует наше народное хозяйство на постепенный переход к новой форме связи работника со средствами производства. Исчезает тем самым и основание для разделения двух форм социалистической собственности на первый и второй сорт. Не случайно поэтому в партийных документах последних лет исчезла бытовавшая раньше терминология: «высший», «низший». Наоборот, на мартовском Пленуме ЦК КПСС было специально подчеркнуто, что «на современном этапе наша обязанность состоит не в том, чтобы ускорять превращение одной формы в другую, а всемерно способствовать развитию и процветанию обоих типов общественного хозяйства». И в проекте устава сельхозартели тоже нет прежнего противопоставления двух форм собственности. Таким образом, совершенствование управления народным хозяйством должно, очевидно, происходить не путем перевода колхозов в совхозы или наоборот, а путем совершенствования производственных отношений в государственном и кооперативном секторах в одном направлении — в направлении широкого использования и там и там товарно-денежных отношений (переход на оптовую торговлю средствами производства, в частности) и вытеснения «нормативного» принципа формирования фондов предприятий (фонда оплаты труда, в том числе). Это направление, как уже упоминалось выше, и зафиксировано в последних партийных документах по хозяйственным вопросам. Оно, несомненно, приведет к дальнейшему сближению обеих форм социалистической собственности.

Восстановление ленинских норм хозяйствования, связанное с правильной оценкой роли товарно-денежных категорий в социалистической экономике, позволяет и в отношении к кооперации, к колхозам, занять более верную позицию. В

практической области это означает прежде всего то, что кооперативные организации, колхозы, должны быть поставлены в равные с остальными организациями и предприятиями условия по материально-техническому снабжению. Однако и сейчас нередки еще такие случаи, когда колхозы снабжаются во вторую, третью очередь, так сказать из «остатка». Это снижает эффективность затрат не только в колхозах, но и в целом по народному хозяйству, так как в этих случаях средства попадают не туда, где они нужнее, где могут дать больший эффект, а по административно-ведомственным «соображениям». Инерция прежних взглядов на колхозы как организацию более низкого типа продолжает сказываться и в сохранении неоправданных ограничений в развитии прямых связей между кооперативными и государственными предприятиями, что невыгодно ни той, ни другой стороне. Само собой разумеется, что преодоление прежней классификации собственности на «высшую» и «низшую» не может не затронуть и взглядов на планирование производства в колхозах, кооперативных организациях, на систему реализации продукции. Те ограничения, которые существовали здесь в прошлом и были оправданы с позиций прежних взглядов на перспективы развития, в новых условиях становятся нетерпимыми, и возникает необходимость быстрее преодолеть их.

Изменение взглядов на оптовую торговлю средствами производства — на значение, следовательно, товарно-денежных отношений, на задачи расширения оперативно-хозяйственной самостоятельности предприятий и объединений — заставляет во многом по-новому взглянуть на проблемы сближения двух форм собственности. Сближение будет происходить, видимо, не путем перенесения нетоварных форм хозяйствования из предприятий государственных на предприятия кооперативные, как это казалось раньше, а на основе развития и там и там товарно-денежных отношений, что должно сближать обе формы собственности, способствуя повышению уровня экономического обобществления.

Теперь по поводу второй особенности кооперативных организаций — отсутствия в них наемных отношений. В практике это ведет к тому, что каждый коллектив как бы замыкается в рамках своей организации, которая живет и развивается исключительно на доходы от труда лишь членов своего коллектива. Получается так, что кооперативная собственность приобретает внешне признаки групповой собственности. Именно так она и характеризуется в большинстве экономических работ. Но насколько справедлива утвердившаяся за кооперативной собственностью характеристика — «групповая»? Если и у нас, и в других социалистических странах существует групповая собственность, то, следовательно, при социализме существуют два принципа распределения благ в обществе. Один, действующий в государственном секторе, где все средства между трудящимися делятся по труду, и только по труду, так как отдельные рабочие коллективы не имеют своей собственности. Другой действует в кооперативах, где, очевидно, к оплате (если существует групповая собственность) принимается не только труд; тот кооператив, который располагает большей массой собственности, неизбежно получает от общества и больше благ. Выходит вроде бы как в кооперативах европейских социалистических стран, где в первое время после их создания оплата осуществлялась по труду и по внесенному паю земли. Только в нашем случае отклонение от социалистического принципа распределения было бы уже не внутри предприятия, а на уровне отношений государство (общество) — предприятие.

Само собой разумеется, если бы при распределении на уровне общества — кооператив сохранилось отклонение от социалистического принципа распределения, если бы в этом проявлялась незрелость, социалистическая неполноценность кооперативов, колхозов, тогда был бы совершенно оправдан прежний взгляд на колхозы как на помеху движению к коммунизму. Но и в Программе нашей партии, и в решениях мартовского Пленума ЦК КПСС, и в проекте устава сельхозартели подчеркивается прямо противоположная мысль: колхоз — школа коммунизма для крестьянства. И действительно, утверждение, что кооперативная собственность является групповой формой собственности и поэтому порождает отклонения

от социалистического принципа распределения по труду,— такое утверждение не обосновано, и оно опровергается жизнью.

Цены на продукцию кооперативных предприятий, как известно, утверждаются в плановом порядке государством, причем их природа такова, что они стремятся обеспечить равный доход на единицу общественно необходимого труда, тогда как при капитализме цена стихийно складывается так, чтобы давать равную прибыль на равный капитал. В самой природе социалистической цены заложен принцип распределения средств между коллективами по труду, а не по наличным капитальным средствам. В этом одно из важнейших отличий социалистической цены от цены при капитализме.

Кроме того, государство через налоговый механизм дополнительно изымает у кооперативных организаций то, что создано не трудом, а более благоприятными природными условиями или за счет рыночной конъюнктуры. Можно говорить о несовершенстве в действиях такого, именно стоимостного механизма распределения общественных средств по труду между кооперативными организациями и нужно настойчиво совершенствовать его,— но нельзя отказать ему в том, что его основные принципы находят в полном соответствии с социализмом.

При оценке кооперативной собственности как групповой допускается та ошибка, что игнорируется ее развитие и не берутся в расчет те условия, в которых это развитие протекает. Конечно, юридическая природа тех крестьянских средств, на базе сложения которых возникает кооператив, должна рассматриваться и рассматривается как собственность группы его учредителей. Но в специфических условиях социалистического государства количественная сторона дела быстро переходит в качественную. В условиях капиталистических групповая собственность — скажем, акционерное общество — может прекрасно действовать, загребая колоссальные прибыли деятельностью, приносящей обществу в целом непоправимый ущерб. (Вспомним хотя бы несколько последних шумных разоблачений на Западе — производство лекарств, отравлявших здоровье матери и ребенка, но обогащавших капиталистические компании).

В капиталистическом государстве кооперация является коллективным капитализмом. В условиях, когда политическая и экономическая власть находится в руках пролетариата, когда социалистическое государство сознательно направляет все хозяйственные и общественно-политические процессы в интересах всемерного удовлетворения растущих потребностей трудящихся, труд объединившейся группы производителей оказывается включенным в общее русло общественных усилий (через систему планов, цен, налогов и т. д.). Работа на себя оборачивается для нашего кооператива работой на общество, поэтому рост его богатства — это рост общенародного богатства, а не только какой-то отдельной группы людей. Рост же групповой собственности не равнозначен росту народного благосостояния. Всего лишь одна «деталь» — в чьих руках политическая и экономическая власть, — но она-то и определяет общенародный, а не групповой характер кооперативной собственности.

Важна и другая особенность кооперативной собственности — неделимые фонды. Это совершенно специфическая категория, охватывающая фактически все главные средства производства кооператива, созданные трудом его членов и не подлежащие разделу между ними. Кстати, паевые фонды, имевшие юридически характер групповой собственности, составляют в колхозах ничтожную долю процента к стоимости неделимых фондов, общественный характер которых признается абсолютно всеми.

Если кооперативную собственность отождествлять с групповой, то окажется совершенно невозможным понять то значение кооперации, которое ей придавал В. И. Ленин после победы Октябрьской революции.

«...Величайшим искажением основных начал Советской власти и полным отказом от социализма, — писал В. И. Ленин, — является всякое, прямое или косвенное, узаконение собственности рабочих отдельной фабрики или отдельной профессии на их особое производство, или их права ослаблять или тормозить распо-

ряжения общегосударственной власти»¹. К этой мысли В. И. Ленин возвращается часто и всякий раз решительно предостерегает от анархо-синдикалистского уклона. Об этом он писал в статье «Пролетарская революция и ренегат Каутский», показывая несостоятельность обвинения в том, что большевики хотят-де передать фабрики в собственность рабочих, а землю — в собственность крестьян. С этих же позиций В. И. Ленин критиковал на X съезде партии и «рабочую оппозицию». Как же понять тогда слова В. И. Ленина о том, что «при нашем существующем строе предприятия кооперативные... не отличаются от предприятий социалистических, если они основаны на земле, при средствах производства, принадлежащих государству, т. е. рабочему классу».

По существу, как видим, здесь ставится знак равенства между государственным и кооперативным предприятием по их отношению к социализму (без этого слова: «кооперация в наших условиях сплошь да рядом совершенно совпадает с социализмом» — не имеют смысла). Так что по сути и государственная и кооперативная собственность в условиях социализма являются разновидностями общественной собственности. Кооперативную собственность Ленин не рассматривал как групповую.

Одна из важнейших особенностей ленинского кооперативного плана — широкое понимание кооперативных связей в народном хозяйстве, не замкнутых пределами отдельного предприятия, а естественно продолженного до уровня, обеспечивающего оптимальный эффект хозяйствования на базе использования стоимостных категорий. Кооперированный труд при игнорировании закономерностей товарного производства дает результаты, хорошо известные нам по оценкам Пленумов ЦК КПСС.

К каким последствиям ведет недооценка этого фактора — широкого понимания кооперативных связей, не ограниченных пределами отдельного предприятия, — можно наблюдать на примере хозяйственной практики Югославии. До недавнего времени, по свидетельству самих югославских руководителей и экономистов, в Югославии было довольно широко распространено мнение, будто механизм товарного производства при социализме действует почти так же, как при капитализме, с той только разницей, что там на рынке выступают предприятия, находящиеся в частном пользовании, а при социализме такие же самые изолированные предприятия действуют на рынке, являясь уже общественной собственностью. Все отличие в действии стоимостного механизма сводилось с этих позиций к разнице между частным предпринимателем и коллективным. Идея «коллективного предпринимателя» была положена в основу разрабатывавшейся системы самоуправления. Мотивы действия «коллективного предпринимателя» были те же, что и у частного: больше заработать для себя; только круг лиц, входивший в это «себя», расширился во много раз. Общенациональные же интересы оказывались часто в противоречии с интересами отдельного предприятия, и решалось это противоречие нередко в пользу предприятия, а не общества. Собственно, и народно-хозяйственный интерес стал трактоваться отсюда как арифметическое сложение интересов отдельных предприятий, как компромиссное решение, более или менее удовлетворяющее всех. Общегосударственный план развития экономики виделся поэтому в основном как суммирование планов отдельных хозяйственных единиц. В этом случае открывается и реальная возможность для развития конкуренции, ослабляющей экономику страны. При этом не централизованный план, основанный на интересах всего общества, задает экономический интерес в развитии тех или иных отраслей, не этот план определяет атмосферу, логику поступков отдельных коллективов товаропроизводителей, а наоборот. Само собой разумеется, что план как простая сумма отдельных экономических решений и общенациональный план — вещи разные. О результатах такой недооценки централизованного руководства лучше всего говорят сами югославские экономисты, анализируя причины трудностей, возникших в югославской экономике накануне реформы 1965 года.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 481.

По этому поводу член ЦК СКЮ депутат скупщины Роман Альбрехт писал, что чрезмерная автономия предприятий влияет на возникновение явлений «сепаратизма предприятий», «узкого предпринимательства» и т. п. За это, продолжал Альбрехт, много лет уже критикуют руководителей предприятий, так как «они просто-напросто «замыкаются» в своих узких рамках и не могут из них выйти». Это ведет, писал автор, к тому, что при распределении доходов во все большей степени начинает играть фактор права собственности, то есть нарушается принцип распределения по труду, «в обществе появляются признаки превращения общественной собственности в собственную групповую».

В данном случае нас не интересует анализ положительных и отрицательных тенденций в развитии югославской экономики и выяснение их соотношений. Приведенные примеры и высказывания лишь иллюстрируют ту мысль, что игнорирование ленинского понимания сути кооперации чревато серьезными отрицательными социально-экономическими последствиями. Тем не менее сейчас в работах некоторых экономистов в европейских социалистических странах можно встретить повторение таких ошибочных взглядов, от которых уже отказываются те, кто проверил их на практике. Например, предлагается, чтобы за предприятиями было признано «в частно-правовой сфере право собственности в отношении материальных ценностей, гарантирующее им также по правовой линии, что они после отчисления государству или же после выполнения других обязательств будут правомочны свободно, по собственной воле и, следовательно, независимо от кого-либо решать вопросы эксплуатации, использования и распоряжения материальными ценностями — имуществом, которое находится в их хозяйстве».

Такое предложение, разумеется, никак не может быть принято. Оно не соответствует нынешнему этапу развития технического и общественного прогресса, противоречит ему и тянет экономику назад, к давно прошедшим временам. Роль общества, государства не может быть сведена к чисто фискальным и собесовским функциям. Задача состоит в том, чтобы обеспечить развитие всего народного хозяйства, всей экономики как одного единого комплекса, в составе которого каждая отдельная единица стремится к такой цели, которая и для нее самой, и для комплекса в целом была бы оптимальной. Не стихия рынка, а сознательные решения общества устанавливают главные пропорции развития экономики. Эти решения предшествуют рыночным. Но проверяются и корректируются они рынком.

Не только народнохозяйственные задачи, но и судьба отдельного предприятия не могут быть безразличны государству. Оно неотделимо от забот об их судьбе. Но эту свою важнейшую функцию государство выполняет прежде всего с помощью экономического механизма, сообразуясь с интересами производителя и потребителя, в то же время направляя и регулируя их отношения. Это, на мой взгляд, соответствует ленинской идее о последовательном осуществлении в народном хозяйстве принципов хозяйственного расчета. В этом состоит и практический смысл принципа демократического централизма в экономике.

В ходе хозяйственной реформы, проводимой в нашей стране, усиленно подчеркивается значение централизованного руководства народным хозяйством. Только на этой базе возможно развитие всех отраслей производства на современном научно-техническом уровне, только при этом условии будет обеспечен оптимальный вариант роста социалистической экономики.

В то же время советские экономисты усиленно ищут таких решений, которые обеспечивали бы максимум развития местной инициативы в достижении поставленных обществом целей. И не случайно их внимание обращается при этом на ленинский кооперативный план.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЦЕЦИЛИЯ КИН

★

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

В январе 1963 года, когда Виктору Кину, будь он жив, исполнилось бы шестьдесят лет, в Центральном доме литераторов в Москве устроили вечер его памяти. Никакой официальной части не было, пришли немногие люди, знавшие Кина лично, и многие, кто впервые услышал его имя в 1956 году, когда роман «По ту сторону» был переиздан после почти тридцатилетнего перерыва и как бы родился вторично. Никто не говорил по бумажке, не было ни намека на парадность, и вечер прошел так хорошо, что сама собой у многих товарищей возникла мысль, что надо бы издать сборник воспоминаний о Кине. И такой сборник, озаглавленный «Всегда по эту сторону», вышел в 1966 году. Его составителем и редактором был ныне покойный Семен Александрович Ляндрес, известный издательский работник, прекрасный человек, добрый и честный, принадлежавший к поколению чуть моложе Кина. Он не знал Кина лично, но работал над сборником с тактом и любовью.

Я тоже написала воспоминания для этого сборника, хотя мне было очень трудно это сделать. Сборник разошелся за несколько недель, и давно уже его невозможно достать, а многие люди присылают письма и просят. Поэтому теперь, когда мне опять случилось писать о пережитом, только более широко и подробно, я не смогла обойти многое из того, о чем уже рассказывала в этом сборнике. Воспоминания мои очень личные, и я вполне отдаю себе в этом отчет. У меня нет ни малейшей претензии на обобщения, на анализ и оценку исторических событий, на это я не имею никакого нравственного права. Но каждый человек, мне кажется, может что-то рассказать о своем времени, о близких людях, о товарищах и друзьях, о работе, о вкусах, о книгах, о том, как мы в молодости воспринимали события и поступки, чем увлекались, кого любили.

Мы с Кином были вместе почти четырнадцать лет, и я заранее прошу тех, кто будет читать эти воспоминания, извинить за то, что, рассказывая о нем, я невольно вынуждена буду немало говорить и о себе. Иначе не выйдет, потому что эти четырнадцать лет мы делили горе и радость, вместе увлекались работой, людьми и книгами, спорили и ссорились, и наши жизни были так тесно переплетены, что я по праву говорю «мы».

Вижу и помню — словно это не было так давно — совсем юного Кина, когда он работал в редакции «На смену»: худощавый, стройный, тонкие черты лица, подтянутость и изящество всего облика, галстук, широкий пояс, маленький бельгийский пистолет, с которым он никогда не расставался. И Кина в Москве, в комнате на Пречистенском (теперь Гоголевском) бульваре. Он — фельетонист «Комсомольской правды», два-три раза в неделю появляются веселые, лирические, насмешливые фельетоны; мы ждем ребенка, и Кин страстно хочет сына, но все время твердит: «Ну где там, разве моя старуха сумеет, обязательно родит девчонку». А потом телефонный звонок из лечебницы: «Черт побери, ребята, у меня сын!», — и охапка разноцветного душистого горошка... А потом работа

над «По ту сторону», Кин непрестанно курит и пишет по ночам на кухне, чтобы не мешать нам с малышом, однажды на кухне он убивает крысу. Роман близится к концу, мы обсуждаем каждый вариант, каждый абзац, и часто я упрашиваю Кина не выбрасывать какую-нибудь сцену, но он неумолим («Нет, это не лезет») и все равно выбрасывает, и поиски нужного слова, единственно точного, и вот он будит меня однажды ночью: «Ну, вот и конец», — и мы до утра не спим и начинаем перечитывать различные сцены романа.

И Кин в Италии — споры о социальной базе фашизма, черновые записи: «Я — автор, и моим оружием является презрение», отвращение к наглým фашистским бонзам («Я хочу дожить до того времени, когда их будут вешать на фонарях!») и прогулки с фотоаппаратом по развалинам древнего Рима.

И Кин в Париже в незабываемые дни февраля тридцать четвертого года, серая Сена, серое небо, серые, прокопченные дымом большого города здания, первые шаги Единого фронта, комсомольцы и молодые рабочие-социалисты братски обнимают друг друга во время демонстрации, конная полиция, кровь на мостовых. И каждые полчаса Кин по телефону передает в Москву, в ТАСС, лаконичную, насыщенную фактами информацию о происходящих событиях.

Так писать воспоминания все-таки нельзя, потому что получается абсолютная безалаберщина, и Кин первый выругал бы меня за «дамское рукоделье» или что-нибудь в этом роде. Но он выругал бы меня и в том случае, если бы я вздумала кропотливо, «в хронологическом порядке», рассказывать обо всем, начиная с первого знакомства и кончая страшной ночью на третье ноября тридцать седьмого года. А мне хотелось бы написать так, чтобы Кин мог, как бывало изредка, мягко и шутливо сказать: «Немножко обучил все-таки свою старуху...»

Попытаюсь из всего передуманного и пережитого выбрать то, что мне кажется самым важным в жизни Виктора Кина и в своей жизни, самым характерным для нашего поколения.

* * *

Екатеринбург (теперь Свердловск), январь 1924 года, страшные морозы. Масса людей собралась в клубе: партийный и комсомольский актив по традиции, как и каждый год, отмечает дату Кровавого воскресенья. Но почему-то собрание долго не открывают, в зале чувствуется какая-то напряженность, никто не понимает причин задержки, и это тревожит. Наконец на сцену, где должен сидеть президиум, выходит секретарь губкома партии. «Товарищи, — говорит он, и чувствуется, что старается говорить твердо, — товарищи, мы получили телеграмму... Скончался Владимир Ильич». Голос срывается, и больше он не может сказать ничего и стоит неподвижно, утирая слезы, и волна скорби и рыданий прокатывается по залу. Острое, беспощадное горе, нестерпимое чувство утраты. Потом начинают расходиться, выхожу и я на улицу, мороз дикий, слезы замерзают на ресницах, и иду, как слепая, не различая дороги, без мыслей, с чувством полной опустошенности. Потом меня нагоняет Кин, и мы в молчании доходим до моего дома. Говорить не о чем, слишком больно, просто надо пройти эти полчаса рядом.

Номер 4 (110) газеты «На смену», органа Уральского областного комитета РКСМ, статью редактировал Кин, был целиком посвящен памяти Владимира Ильича. Статья Кина открывает газетный разворот:

«...Смерть Ленина принесла нам не только величайшее горе, но и величайшую ответственность. Без Ленина мы должны стать еще упорней, еще тверже, еще осторожнее, потому что нет уже заботливой ленинской руки, исправляющей наши ошибки и промахи.

Теснее ряды, товарищи! Комсомольцы — наследники ленинского дела — должны помнить, что наша задача — смена уставшей, израненной старой гвардии ленинского поколения!»

* * *

Кин приехал в Екатеринбург 27 апреля 1923 года. С Дальнего Востока он вернулся в марте, ЦК дал ему короткий отпуск для поездки в Борисоглебск к

родным, а потом он получил назначение на Урал. Уже 13 мая на губернском съезде комсомола его избрали членом губкома, и он стал завполитпросветом. Первые месяцы жизни на Урале Кин тосковал. Каждые несколько дней он писал своему другу Антону. Антон — партийная кличка, речь идет о Константине Антонове, одном из организаторов пензенского комсомола, впоследствии одним из руководителей дальневосточного комсомольского подполья. Антон был замечательным работником и безукоризненным товарищем. Кин был глубоко привязан к нему. Матвеев в романе «По ту сторону» — это Антон, которому приданы некоторые черты другого товарища Кина по Дальнему Востоку — Виктора Шнейдера. Письма Кина к Антону, к счастью, оказавшиеся у меня, выразительно говорят о его работе, окружении, планах и настроениях. «Вероятно, природа дала мне очень ограниченный запас дружеских привязанностей, — писал Кин Антону, — кажется, на Дальнем Востоке я израсходовал его целиком и на Урал не осталось ничего. Живу, работаю, но никак не могу сойтись ни с одним из ребят. А ребята есть хорошие, душевные».

Кину казалось порой, что они с Антоном сделали «крупную глупость», уехав с Дальнего Востока. Он жил еще тамошними интересами, не мог сразу приспособиться к другому ритму работы и укладу жизни «в Сов. России» и порою хандрил. Впоследствии, когда Кин писал роман, эти настроения были удивительно точно переданы в главе «Безайс и романтика».

«Я знаю многих, — говорил Безайс, — которые будут завидовать нам от всего сердца. Сейчас у нас что-то вроде каникул. Там, в России, фронты кончились, и люди взялись за другие дела. Я видел своими глазами, как на вокзалах ставили плевательницы и брали штраф, если ты бросаешь окурки на пол. Это веселое, бесполовое время, когда утром работали, а вечером шли к мосту на перестрелку с бандитами, там кончилось. А мы взяли и опять уехали в девятнадцатый год...»

Кин-Безайс принадлежал к поколению людей, которым к моменту Октябрьской революции едва исполнилось четырнадцать — пятнадцать лет. Ее пламя навсегда обожгло их, они не мыслили себя вне революции, они считали себя законными преемниками «уставшей, израненной старой гвардии ленинского поколения». Вероятно, отсюда их удивительная цельность и целеустремленность, отсюда же — революционная романтика.

И еще одна примета времени — легкий, шутивно-иронический тон. Кин писал Антону: «Нравственно разлагаюсь. Позавчера опустил до покупки шевровых ботинок. Дошел до такого дна, как собственная подушка. Чем только это кончится — не знаю. Единственным сдерживающим центром служит фотография». Эти строчки по интонации кажутся мне удивительно «безайсовскими».

Однако мало-помалу настроение у Кина улучшалось. После перехода на работу в редакцию (июль 1923 года) он повеселел. Газета выходила раз в неделю, живая, многополосная, с множеством иллюстраций и карикатур. Впоследствии она стала выходить раз в три дня. Сохранилась подшивка, перелистываешь ее и решительно во всем — от передовой до «почтового ящика» — ощущаешь то неповторимое время. Из номера в номер — героическая тема борьбы международного пролетариата, работа уральского комсомола, обязательная страница «Молодая деревня», популярные научные статьи, отрывки из художественных произведений (Горький, А. Н. Толстой, Серафимович, Эптон Синклер, О. Генри, Джек Лондон). Стихи, разные дискуссии, кажущиеся сейчас ребячески-наивными, но тогда волновавшие молодежь (должны ли девушки снимать головные уборы во время исполнения «Интернационала»? Подавляющее большинство откликнувшихся отвечает: «Да, должны»), очень активная антирелигиозная пропаганда, библиография, раздел «Чтобы все знали», где сообщалось об исключенных из рядов комсомола за пьянство или хулиганство и т. д. В каждом номере дается словарь встречающихся в тексте иностранных слов, регулярно идут «Вопросы и ответы», которые показывают, с каким доверием молодые читатели обращаются в редакцию своей газеты по самым разнообразным поводам.

В одном из писем Кин признавался Антону, что ничто не может доставить ему большего удовольствия, чем когда хвалят «На смену». Он был прирожденным газетчиком, вкладывал в газетную работу много любви, инициативы и темперамента. Так было на Урале, и в «Комсомольской правде», и в «Журнал де Моску». Характерно, что Кин всегда считал журналистику своей основной профессией, роман «По ту сторону» он написал «просто потому, что так захотелось», и уже после опубликования и успеха романа Кин, не задумываясь, вернулся к журналистике, перейдя на работу в ТАСС.

* * *

В 1923 году Кин сделал шуточный плакат, который, как мне кажется, представляет собою очень характерный для него документ, и мне хочется описать его подробно. Вверху слева: «6.IX.1920» — дата вступления Кина в партию. Фотография Кина (контуры головы), красный пионерский галстук. Рядом — фотоаппарат, значок «КИМ», крупным шрифтом набранное: «Маяковский», зеленый абажур для настольной лампы, обертка от пачки махорки. Над головой Кина — заголовок газеты «На смену», трубка, орудия производства: ручка, чернильница, редакционные ножницы, красный карандаш. Листок из записной книжки, тезисы к докладу т. Суворикина о работе РКСМ летом. Вызывающий лозунг: «Табак — лучший друг человека». Вверху, справа, в облаках — вуз. Где-то внизу, под Маяковским, фотоаппаратом и пр., — наклеен бумажный рубль с надписью «бюджет». Около трети плаката отделено широкой сине-желтой полосой, на которой большими буквами написано: «ДОЛОЙ». Сюда попало многое: математика (вспомним, как ненавидел Безайс математику и как это описано в незаконченном романе о журналистах), семейный очаг — орудий младенец, самовар, ложки, пузырьки с лекарствами, пуговица; театр, поэты «Кузницы» Герасимов и Кириллов, критик-напостовец Лелевич — у Кина были очень определенные литературные вкусы. И, наконец, внизу плаката, там, где как бы подводятся итоги, — браунинг и парабола кипучей жизни Кина: условная человеческая фигурка с баульчиком в руке, вся — движение от точки «Варшава» к точке «Владивосток».

В этом плакате, веселом, остроумном и задорном, чувствуется своеобразный и уверенный стиль, и, в сущности, все основные элементы плаката отнюдь не гротеск, а очень верное, тонкое, милое и юмористическое отражение вкусов и настроений двадцатилетнего Кина.

Семейный очаг, впрочем, скоро появился. О первой встрече моей с Кином можно сказать и много и мало. Это произошло на вечеринке в комсомольском общежитии на Васнецовской улице, где тогда жил Кин. Случилось так, что разговор зашел о литературе, Кину неожиданно попала собеседница, которая слушала его до двух часов ночи с неослабеваемым интересом и некоторым пониманием, и он был доволен. В тот вечер много говорили о скандинавах — Ибсене, Гамсуне, Бьернсоне. Ибсена Кин впервые прочел на Дальнем Востоке. В дневниках сохранилась запись об этом, она мне кажется очень интересной.

«Свободный, 14.II-22 г.

Помню, как-то давно я пробовал взяться за Ибсена, но тотчас же отказался от этой затеи. Он показался мне донельзя скучным и серым. Здесь, в Свободном, я совершенно случайно начал читать его, заинтересовавшись заглавием («Союз молодежи»). И он сразу захватил меня. Ясно, что это писатель глубоко буржуазный. Его пьесы насыщены пропитаны буржуазным либерализмом и идеализмом. Место действия — круг буржуазии средней руки. Но зато — какая неподражаемая, захватывающая живость, яркость и сила его пьес!

Вообще я думаю, что точная копия существующего не есть искусство. Право, это скучно. Именно потому мне графика нравится больше чистой живописи. Кроме того, я ненавижу читать пьесы. Но Ибсен! Я плюнул на все: на идеализм, на буржуазность, на форму изложения и читал, читал — каждый день до 3—4 часов утра. Я прочел «Союз молодежи», «Кукольный дом», «Призра-

ки», «Враг народа», «Дикая утка», «Дева моря», «Гедда Габлер», «Росмерсгольм», «Столпы общества», «Маленький Эйольф» за три дня... Я не успокоюсь, пока не прочту его всего!»

* * *

Эту увлеченность книгой Кин пронес через всю жизнь. Когда мы переехали в Москву, книжное хозяйство не было, видимо, еще полностью налажено. Во всяком случае существовало несколько огромных подвалов, где были свалены горами прямо на полу тысячи томов книг, преимущественно на иностранных языках, но встречались и великолепные русские издания. Возможно, это были книги, реквизируемые у каких-нибудь белоэмигрантов, не знаю, и не помню, где эти склады находились, — но отлично помню обстановку. Иногда Антон или Кин получали туда пропуск на несколько человек с разрешением отобрать и купить, что понравится. Отправлялись мы туда обычно вчетвером — Кин, Антон, борисоглебский товарищ Кина Ипполит и я. Электрический свет, огромное помещение, никаких полок, столов и стульев, никаких продавцов. Мы рассаживались на полу и начинали рыться в этих жемчужных россыпях. Было много книг с замысловатыми экслибрисами прежних владельцев, книги разной степени сохранности, у некоторых переплеты, обглоданные мышами, некоторые в кожаных с золотым тиснением или элегантных замшевых переплетах, чаще попадались разрозненные тома, но изредка — полные комплекты. Особенно много было французских книг, изданий восемнадцатого или девятнадцатого века, порой встречались совсем старинные, с металлическими застежками.

Каким наслаждением для нас были дни, проведенные в этих книгохранилищах, — впрочем, слово не то, — это не книгохранилища, не склады, а пещеры, куда мы отправлялись в поисках клада. К бескорыстному наслаждению примешивался своего рода спортивный азарт: кому больше повезет! Постепенно у нас с Кином накопилось много сокровищ: различные издания «Жиль Блаза» и подражания ему (русские, немецкие Жиль Блазы), «Хромой бес» издания начала восемнадцатого века, очаровательный «Гептамерон» Маргариты Наваррской, превосходный экземпляр романа Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен», — кстати, Кин решительно предпочитал эту вещь роллановскому «Кола Брюньону», и, наконец, наш «Черный бриллиант» — великолепное прижизненное издание Вольтера — сто томов маленького формата в переплетах из светлой кожи.

Разумеется, в поисках книг мы не могли ограничиваться «пещерами», да туда и не всегда пускали. Зато хоть каждый день можно было бродить вдоль Китайгородской стены у Ильинских ворот. Здесь на развалах продавались книги, преимущественно на русском языке, попадалось много замечательных изданий.

Крупным событием было открытие Мультатули. Его замечательный роман «Макс Хавелар» открыл для себя и для всех нас наш новый друг Гриша Литинский. Кин с восторгом читал и перечитывал книгу Мультатули — «гражданская» тема в литературе всегда увлекала его, а тут еще было произведение самого высокого класса. И «Макс Хавелар» встал в тот ряд, где первое место занимал несравненный «Тиль Уленшпигель» — книга, которую Кин любил страстно.

Большим событием была и скандинавская «Эдда» в сабашниковском издании, — ее нашел сам Кин. Он вообще любил мифологию и эпос, Гомера, былин, «Нибелунгов», наивную и героическую «Песнь о Роланде», греко-римскую мифологию. Но «Эдда» заняла совершенно особое место. Кин читал ее вслух и не переставал восхищаться выразительностью, лаконизмом и трагическим величием первой песни, «Прорицания провидицы»:

Залаял пес Гармр у пещер Гнипагэллара:
Узы расторгнуты, вырвался Волк!
Много я знаю; вижу я, вещая,
Грозно грядущий жребий богов.
В распре кровавой брат губит брата;

Кровные родичи режут друг друга:
 Множится зло, полон мерзости мир.
 Век сейир, век мечей, век щитов рассеченных,
 Вьюжный век, волчий век — пред кончиною мира...
 Ни один из людей не щадит другого.

Кин не раз вспоминал и цитировал «Эдду», говоря об идеологии фашизма. Кроме того, он говорил друзьям о «Прорицании провидицы» как о блестящем примере того, как переводчик владеет искусством аллитерации, — эти вопросы всегда живо интересовали его.

Говорить о литературных вкусах Кина можно бесконечно долго, потому что они были отчетливы, разнообразны, и еще потому, что с первой нашей встречи на Васнецовской и до конца литература органично входила в нашу жизнь. К книгам, так же как и к людям и поступкам, Кин относился активно: знал, что любит и чего не любит, и отстаивал свои вкусы со свойственным ему полемическим темпераментом. Он не терпел того, что называл «мистифицирующей манерой изложения». В это понятие входили ложная глубокомысленность, психологические дебри, фраза, за которой нет настоящей мысли. Он любил прозрачную, лаконичную, насыщенную прозу Пушкина, Лермонтова, Стендаля, Мериме, любил Бальзака, Мопассана, Франса. Какой-то другой стороной души он страстно любил «Жиль Блаза», «Гаргантюа», «Дон-Кихота» и «Кандида».

Из наших классиков Кин очень любил и часто перечитывал Гоголя и Щедрина, некоторые романы Тургенева, в особенности «Отцы и дети». Из современников, кроме Маяковского, он очень любил Багрицкого, высоко ценил фадеевский «Разгром», «Зависть» Юрия Олеши, «Интервенцию» и «Наследника» Славина, «Сердце» Ивана Катаева, великолепную публицистику Ларисы Рейснер. Вообще же он читал массу книг — плохих и хороших, — у него была полушутливая теория, что плохие книги тоже надо непременно читать, так как это практически полезно: показывает, как не следует писать.

Я не упомянула о том, как любил Кин английскую и американскую прозу. Из современников он успел прочесть и оценить «Фиесту» и «Прощай, оружие» Хемингуэя, романы Вудворта, Дос-Пасоса, Честертона. Книги Твена и О. Генри были почти настольными, Кин очень любил Кипплинга — и прозу, и баллады. Совершенно особое место занимал Диккенс. Диккенсовский юмор, афоризмы Самуэля Уэллера (тогда была принята такая транскрипция) — все это было обиходным, как, например, знаменитое выражение «в пикквикском смысле». Алексей Максимович Горький, который очень хорошо отнесся к роману «По ту сторону» и к самому Кину, поддразнил его, однако, когда Кин был у него в Сорренто, за «приверженность к английскому юмору». Это была истинная правда, и из писателей только один Алексей Максимович подметил ее. Еще в Борисоглебске ребята говорили: «Мистер Кин», «Мистер Изин» (Ипполит), кого-то, не помню уж, из литераторов иначе не звали, как Урия Гип. Молодой Кин даже подписывал иногда свои письма друзьям «В. Кин, эсквайр». Впрочем, еще чаще он называл себя «добрым санкюлотом». В тридцатых годах в Париже «добрый санкюлот» любил, когда удавалось засветло оторваться от напряженной тассовской работы, бродить по набережным Сены и, как бывало в Москве, рыться в книгах, обмениваясь всякими «профессиональными» замечаниями с букинистами, среди которых встречались настоящие знатоки и любители. Немало хороших книг Кин привез из Парижа.

* * *

Памятная веха в жизни Виктора Кина — время «Комсомольской правды». Впервые создавалась большая, ежедневная комсомольская газета. Первым редактором был назначен Александр Слепков, но скорее номинально, фактическим же (а потом и официальным) редактором, организатором и душой газеты был замечательный человек и журналист Тарас Костров. Кина пригласили на работу в «Комсомольскую правду» за несколько недель до начала выхода ее в свет, когда подбирались основная группа сотрудников, было это весной 1925 года.

Через некоторое время попала в газету и я, вначале заменяла товарища, ушедшего в отпуск, а потом меня неожиданно вызвал Костров, как всегда ласково пошутил со мной и спросил, не хочу ли я остаться на постоянной работе в редакции, и, если хочу, он обещает сделать из меня газетчика, только надо будет его слушаться. Костров говорил душевно, мило и благожелательно. Никогда не забуду, как он сдержал свое слово и обучал меня, терпеливо, внимательно и умело. Но однажды был случай, когда Костров, при всей своей мягкости, рассердился: я расплакалась из-за того, что не пустили подготовленную моим отделом (пионерским) полосу, так как ее вытеснил более важный материал. Попало мне тогда от него, да еще Костров рассказал об этом Кину, и тот долго издевался, утверждая, что я «ревела, как белуга».

Тараса Кострова все в редакции горячо любили. Был он не просто бесребреником, но человеком, совершенно не умеющим и не желавшим хоть немного подумать о себе. Ходил он в какой-то потрепанной тужурке, и однажды против него устроили заговор: кассир не выдал ему жалованья на руки, а зато ему за глаза купили новый костюм. Костров совершенно растерялся, но не захотел пререкаться со всем коллективом. Впрочем, через несколько дней костюм почему-то выглядел потрепанным, и больше мы таких экспериментов с туалетами своего редактора не проделывали.

Как все мы любили свою газету, как много душевного горения вкладывали в работу! Когда вышел сотый номер, в нем был напечатан один из лучших фельетонов Кина, так и называвшийся «Сотый». Весь номер носил какой-то праздничный характер, а вечером в редакции сдвинули столы, убрали папки и чернильницы, украсили комнаты цветами, приготовили ужин, вино. Пришли все — от редактора до уборщицы. Настроение было замечательное, газета за несколько месяцев завоевала громадную популярность и авторитет среди молодежи, работа давала большое удовлетворение, внутри самой редакции царил атмосфера подлинного товарищества.

Кин не только сам писал фельетоны, он привлекал к сотрудничеству в газете других товарищей, подсказывал темы, на первых порах, если нужно было, не только правил, но буквально переписывал чужие фельетоны. Не всегда его старания увенчивались удачей, но нескольких талантливых людей он нашел, и они регулярно печатались. Среди них был Павел Гугуев, который долго жил у нас на Пречистенском бульваре, потому что у него в то время не было своего пристанища. Он был тяжело болен, у него был жестокий туберкулез, и он рано погиб. Назову еще одного очень одаренного человека, — это был Вадим Охременко.

Однажды мне самой пришлось обратиться к помощи Кина, и он спас меня от грозившего позора. Мне заказали для журнала «Революция и культура» материал о каких-то сектантах, и я легкомысленно согласилась, не учтя того, что нужна была не статья, а очерк. Что это было! Статья бы получилась, материал интересный, но очерков я писать решительно не умела, никогда не пробовала и теперь столкнулась с непреодолимыми для меня трудностями этого жанра. Коротче говоря, я не смогла написать ничего, получалось скучно, протоколно и вяло, а отказаться было уже невозможно: очерк был вставлен в план номера. И вот на моих глазах за каких-то два часа Кин переделал всю мою беспомощную писанину в настоящий очерк. Разумеется, больше никогда в жизни я за очерк не бралась.

* * *

В 1926 году Кин начал работать фельетонистом в редакции «Правды» — более серьезная, более ответственная работа. Но «Комсомолка» оставалась первой любовью, о ней он думал, когда в тридцатых годах начал писать роман о журналистах. При аресте Кина все рукописи забрали и уничтожили, но случайно сохранились разрозненные листки, из них удалось сделать мозаику, и отрывки из этого романа, которому Кин не успел дать названия, опубликовал в 1959 году «Новый мир». Кин не успел также придумать имена всем персонажам, в романе

фигурируют Розенфельд, Мороз, Мифасов, действительно работавшие в те годы в «Комсомольской правде». Роман автобиографичен, герой его — Безайс, вернувшийся после Дальнего Востока в Москву. События романа в основном верно отражают реально происходившие в те годы в жизни Кина и его друзей события. Одна из основных сюжетных линий — острая внутривластная борьба. Впрочем, роман и по времени и по масштабам выходил за рамки работы в «Комсомольской правде», так как Кин довел действие до тридцатых годов (в частности, Безайс еще с одним товарищем ездили в деревню на коллективизацию — так и на самом деле было). Главной идеей романа было показать духовное мужание и рост ребят поколения Безайса, показать, как, сохраняя романтические идеалы своей юности, они постепенно приобретают опыт, серьезную идейную закалку, как овладевают теорией и как все это преломляется в жизни. В этом смысле, употребляя теперешнюю терминологию, можно сказать, что роман был высокоинтеллектуальным, насыщенным политическими и литературными интересами Кина и его друзей.

Но был этот роман и лирическим. Всю свою любовь к газете, уважение к делающим ее людям Кин сумел выразить лаконично, порою с оттенком свойственной ему легкой иронии, но с большим, подлинным чувством. Вот, например, как звучит отрывок о секретаре редакции:

«Странное это дело, но вот за полтора десятка лет работы, проведенных в разных редакциях, с самыми разнообразными людьми, Берман еще ни разу не видел «хорошего номера», в котором ничто не нарушало бы гармонии шрифтов, рисунков и верстки. Всегда надо было что-нибудь поднять, отодвинуть или выкинуть. «Хорошего номера», наверное, никогда не было на свете, да и не будет. Это миф, отвлеченная мечта о недостижимом величии, невозможная, как философский камень или вечный двигатель. Но таков закон всякой работы — надо шире размахиваться, надо мечтать о громадном, чтобы получилось просто большое».

Это — жизненная философия Виктора Кина, которой он был неизменно верен: «Надо мечтать о громадном, чтобы получилось просто большое».

* * *

Период Института красной профессуры — 1928—1930 годы. Только что вышел роман «По ту сторону». Но Кин не из тех людей, кто мог бы соблазниться писательскими лаврами, он изо всех сил готовится к экзаменам, а экзамены предстоят серьезные: философия, политэкономия, русская и западная история. В 1928 году литературное отделение только создавалось, организовывал его И. М. Беспалов, слушатель философского отделения. Кажется, первым мысль о создании литературного отделения ИКП высказал Анатолий Васильевич Луначарский, возглавил это отделение В. М. Фриче, он читал и лекции, но недолго: в 1929 году он умер.

На первом курсе только что организованного отделения училось всего шесть человек: Ваня Беспалов, Виктор Кин, Саша Зонин, Володя Григоренко, Щукин и вскоре умерший Щелканов. В основном занимались философией и литературоведением, семинары вели В. Ф. Асмус и В. Ф. Переверзев, несколько лекций по эстетике прочел Луначарский. У Кина началось время страстного увлечения философией. Интерес к ней возник еще в Борисоглебске: пятнадцатилетние Кин, Ипполит и их товарищи кое-что по философии читали. В ранних юношеских дневниках Кина встречаются ссылки на Энгельса, Канта, Шопенгауэра, Ницше. Исторические работы Маркса Кин уже в екатеринбургский период знал отлично. Однако настоящее изучение философии началось только в период подготовки к экзаменам в ИКП. В это же время Кин штудировал «Капитал» (в 1924 году он завидовал Антону, который поступил в университет и мог «вовсю» заняться «Капиталом»). У меня на полке стоит «Капитал» с подчеркиваниями и пометками Кина. Достаточно просмотреть этот том, чтобы убедиться, как основательно и увлеченно — как и все, что он делал, — штудировал его Кин.

Сохранились некоторые институтские работы Кина: «Диалектика формы и содержания в эстетике Гегеля» и «Образ нигилиста в творчестве Тургенева».

Мне очень хотелось бы рассказать о Ване Беспалове и Пете Рожкове, близких друзьях Кина по ИКП, но я подробно писала о них в сборнике воспоминаний и сейчас скажу только несколько слов. Ваня Беспалов, уралец, в 1921 году поступил в Свердловский коммунистический университет и вместе с группой других свердловчан присоединился к делегатам X партийного съезда и принял участие в подавлении Кронштадтского мятежа. В ИКП он начал учиться в 1926 году и ко времени знакомства с Кином свободно читал Маркса и Энгельса в подлиннике (Кин страшно ему завидовал, так как сам не знал немецкого), свободно ориентировался в сложных вопросах философии и эстетики. Они с Кином очень сблизились, хотя и спорили нередко, так как были людьми разного темперамента: Кин упрекал Ваню за мягкость, а тот его за запальчивость. Но их очень многое объединяло — в частности, глубокая любовь к Маяковскому.

Второй близкий друг Кина по ИКП, Петя Рожков, был человеком совсем иного склада, чем Ваня. Петр Данилович Рожков был односельчанином Михаила Ивановича Калинина. В деревне у Рожкова оставались сестры, набожные до фанатизма, он говорил об этом с яростью («порубить их, что ли?»), но по складу характера и сам был фанатиком. У него были резкие черты лица, отрывистая речь, и при всем том он был добрым и порою застенчивым, хотя это и пряталось под показной бравадой. На подаренном Кину экземпляре своей книжки «Нужна ли нам романтика?» Рожков написал: «Чтобы победить в борьбе, первых, необходимо знать, куда вести дело, т. е. необходимо иметь принципы, во-вторых, необходимо страстно мечтать». В этой надписи — весь Рожков. Он был человеком редкой цельности, и это сказывалось порою в смешных и трогательных мелочах. Когда Кин спросил в письме, что привезти Пете в подарок из-за границы, тот ответил, что ему нужен только черный галстук, так как такие галстуки любил Владимир Ильич.

Рожков поступил в ИКП годом позже, чем Кин. С ним вместе учился Марк Гельфанд, одареннейший человек с тонким литературным вкусом, очень способный лингвист. Он был сыном врача, родом из Балашова. Со слов товарищей (сам он никогда не говорил об этом) я узнала об одном эпизоде его юности. С раннего детства Марк страдал тяжелой бронхиальной астмой. В годы гражданской войны он вступил добровольцем в Красную гвардию, однако вскоре с ним случился тяжелый приступ астмы, его отправили в госпиталь и тут же демобилизовали. Тогда Марк выстрелил в себя, оставив записку, в которой говорилось, что, если он не может быть бойцом революции, жить не стоит. Врачи выходили Марка, потом его дело стали разбирать по партийной линии. Решили, что он заслуживает исключения, но ввиду возвышенности мотивов, толкнувших его на попытку самоубийства, из партии, разумеется, не исключили и не наложили партийного взыскания.

Так относились к миру молодые, восемнадцати-девятнадцатилетние парни: незачем жить, если нельзя быть солдатом революции. Вспоминаю Матвеева из «По ту сторону», да и Кин много раз говорил, что человеку, оказавшемуся за бортом революции, жить не стоит. Это не упадочничество и не малодушие, а что-то совсем другое, идущее из глубины души. Помню, что Марк Гельфанд, несмотря на тяжелую болезнь, мучившую его всю жизнь, отличался редкой трудоспособностью и настойчивостью, он массу читал, в нем был какой-то врожденный эстетизм, книгу он любил страстно, очень чувствовал стихи.

* * *

Зимой 1930 года, кажется в конце января, в нашу квартиру на Плющихе пришел Маяковский. Это было большое событие. Никем и никогда Кин так безоговорочно не восхищался, как Маяковским. Он пришел со своими друзьями — Н. Н. Асеевым, О. М. Бриком, С. М. Третьяковым и В. А. Катаняном. Были, разумеется, Беспалов, Рожков, Гельфанд и, кажется, Зонин.

Кин до этого был уже лично знаком с Маяковским, встречался с ним несколько раз, кажется, Маяковский и на Плющихе уже побывал, но я не была тогда в Москве и не знаю подробностей. А сейчас напишу о том, чему сама была свидетельницей.

Все началось с очень смешного инцидента. Один из наших гостей предвзительно позвонил Кину с просьбой увести куда-нибудь нашу овчарку: он боялся собак. Кин сказал об этом мне, и я закрыла Вольфа в самой дальней комнате. Гости явились все вместе, наши уже ждали их, все прошли в первую комнату. Минут через пять я услышала чей-то визг, сердце у меня упало, я побежала на голос, распахнула двери и застала такую картину: Маяковский лежит на моей тахте, задыхаясь от смеха, все хохочут, а Вольф положил лапы на плечи того самого товарища, который просил, чтобы собаку увели. Господи! Вероятно, безошибочный собачий инстинкт заставил Вольфа кинуться именно на него (впрочем, без всяких злых намерений). Я влетела в комнату в полной панике, Кин, который смеялся чуть не до слез, сказал: «Познакомьтесь, это моя жена», — но мне было не до гостей, я схватила Вольфа за ошейник и увела. Это происшествие настроило всех на веселый лад.

Я не знаю, о чем говорили в той комнате, но потом все перешли в столовую. Маяковский спросил, где наш сын. Левушка был немного простужен и сидел у себя в кровати; Маяковский все же захотел поглядеть на него, и мы пошли в детскую. «Здравствуй, — сказал ему Маяковский, — ты меня знаешь?» — «Нет, не знаю, вы к нам не приходили, а вы кто?» — «Я — Маяковский». На это последовал неожиданный ответ: «Конечно, знаю, я вас читал». Мальчику было тогда четыре с половиной года. Маяковский был поражен: «Что ты говоришь, что ты читал?» И тут выяснилось, что он в самом деле умеет читать и читал детские стихотворения Маяковского. Тот был в совершенном восторге. Когда мы вернулись в столовую, он несколько раз повторил: «Понимаете, клоп, от земли не видно, а говорит: я вас читал. И действительно читал». Через несколько дней Маяковский прислал мальчику чудесный подарок — немецкую железную дорогу: поезд, семафоры, световая сигнализация и т. д. Видимо, он был очень тронут встречей со своим маленьким читателем.

Ужин прошел непринужденно и весело. Помню, что Маяковский читал стихи, написанные им когда-то в Бутырках. Маяковского до того вечера я видела только в Политехническом музее. В домашней обстановке он был совсем иным — милый, добродушный, очень простой, бесконечно обаятельный. Здесь он не казался трибуном, блестящим полемистом, он держался так, словно бывал у нас много раз, естественно, дружески, внимательно и деликатно.

В то время Кин готовился к отъезду: он должен был выехать на весеннюю полевную кампанию в Хоперский округ в качестве редактора выездной газеты «За большевистский сев». Это была газета на колесах, для нее оборудовали специальный вагон, где помещались и редакция и типография. Маяковского очень интересовала эта поездка, и он хотел принять в ней участие. Однако, когда Кин выехал из Москвы в двадцатых числах февраля, Маяковский с ним не поехал: его задерживали репетиции феерии «Москва горит» в Московском цирке. Он все-таки надеялся присоединиться к Кину позднее, и я по телефону сообщала ему о передвижениях вагона-редакции. В марте сев на юге был закончен, и газету перебросили на Урал. За несколько дней до смерти Маяковского я позвонила ему, сказала новый адрес. Он относился ко всему этому с живым интересом, хотел все-таки поехать, просил написать об этом Кину. 14 апреля мы узнали страшную весть, я телеграфировала Кину, он выпустил номер газеты, где говорилось: «Умер величайший поэт пролетарской революции», — а над вагоном вывели траурный флаг. Смерть Маяковского была для Кина большим горем.

* * *

В начале июня 1931 года мы всей семьей уехали за границу, в Италию. Кин закончил занятия в Институте красной профессуры, работа фельетониста ему

уже несколько приелась, хотя своей профессии журналиста он не изменял никогда. В это время Кин был увлечен работой над романом «Лилль» — о первой мировой войне. Тема романа требовала не только книжного знания Западной Европы, нужен был какой-то разгон, какая-то перемена, и Кин охотно согласился поехать в Рим корреспондентом ТАСС.

Подготовка к отъезду, оформление, визы и так далее заняли не много времени. Кин заглядывал в библиотеки, знакомился с тассовскими архивами, касавшимися Италии. Вообще же мы, как оказалось впоследствии, довольно правильно, хотя и не очень конкретно, представляли себе тамошнюю обстановку. Должна сознаться, что, когда мы готовились к отъезду, я не придумала ничего умнее, чем составлять подробные конспекты по истории итальянской живописи. Мне казалось, что это совершенно необходимо. Кроме того, я решила, что надо быть элегантною, и с этой целью купила себе белую шелковую косыночку. (В Вене сотрудник полпредства, встретивший нас на вокзале, сказал, что в таком виде в гостиницу даже показаться нельзя, — пришлось прежде всего отправиться в магазин и купить соломенную шляпку. Забегая вперед, скажу, что в Риме я вела себя ничуть не умнее: первое платье, которое я там купила, было черное шелковое, совершенно закрытое и строгое, — это в адскую летнюю жару — и чулки я тоже попросила черные, но мне любезно объяснили в магазине, что черные носят только во время траура.) Все это, разумеется, пустяки, но ведь и в пустяках сказываются приметы времени, а мне хочется, ничего не приукрашивая и не стилизуя, рассказать, какими мы были и как вели себя летом 1931 года.

А теперь снова возвращаюсь к книге. Среди книг, за которыми мы охотились, среди наших любимых писателей почти не было итальянцев. Мне было бы, конечно, приятнее сказать по этому поводу что-либо иное, но я дала себе слово даже в мелочах не отступать от правды, а это отнюдь не мелочь. Итак, что мы знали об итальянской литературе? В сущности, совсем немного. В детстве все, разумеется, читали и увлекались романом Джованьоли «Спартак», но вряд ли его перечитывали. Такая же судьба постигла и Де Амичиса: его знаменитая книга «Сиоге», называвшаяся у нас «Дневник школьника», очень нравилась тем, кто читал ее лет в десять, но уже в пятнадцать (я пробовала) она оставалась читателя равнодушным. В «золотой фонд» нашей литературы входил «Декамерон» — это считалось классикой, и Боккаччо мы очень любили. Благодаря театру знали некоторые пьесы Гольдони, а «Принцесса Турандот» Карло Гоцци, поставленная Вахтанговым, стала радостным событием для множества людей. Что еще? Стыдно признаться, но к Данте относились с подобающим почтением, и только. Лишь много позднее, в Италии, для меня начали звучать по-настоящему и остались со мной навсегда неповторимые торжественные и строгие строчки:

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.

Мы с Кином знали «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо, «Неистового Роланда» Ариосто, знали лирику Петрарки, но все это как-то не очень трогало. А вот книга Бенвенуто Челлини «Моя жизнь», великолепно переведенная Лозинским и изданная у нас, и Кину и мне страшно нравилась. Помню, как мне во Флоренции показывали на мосту Арно домик, в котором жил Челлини. Что же мы знали еще? Знали «Государя» Макиавелли и «Мандрагору», знали роман «Обрученные» Мандзони, из современных авторов — немного: одну-единственную пьесу Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора», «Трагическую повседневность» Папини, «Ужин шуток» Сема Бенелли, довольно много романов Д'Аннунцио, но не могу припомнить, что именно: они как-то слились для меня. Вергу, к стыду своему, я не знала совсем, что-то читала Матильды Серао, что именно — не помню. Читала какие-то вещи Гвидо да Верона, но и тогда воспринимала их, как третий сорт. В «Чтеце-декламаторе» — тогда это было популярное издание — печаталось много стихотворений Ады Негри, и, надо сознаться, они

в то время пронзали на меня впечатление. Отчетливо знали мы Маринетти, его «Манифесты» были переведены на русский язык, футуризм, как литературное движение, всех нас интересовал.

Странно, но получалось так, что мы воспринимали Италию (не только Кин и я, но, наверное, многие) сквозь призму восприятия некоторых не итальянских писателей. Все мы увлекались книгой Войнич «Овод», — я и теперь ее бережно люблю, — разумеется, прежде всего захватывала драматичность сюжета, но не только это: образ Монтанелли, как и самого Овода, врезался в сердца. Очень большое влияние имел на нас Стендаль, в юности я так любила его, что повсюду возила с собою его миниатюрный портрет. Суждения Стендаля об Италии принимали для меня характер аксиомы — это было непреложно, абсолютно; в Италии мы повторяли стендалевские маршруты, специально ездили в Чивитта Веккию посмотреть на домик, где жил Анри Бейль. Впоследствии, во Франции, я познакомилась и подружилась с крупным советским дипломатом Львом Михайловичем Караханом; он был тогда нашим послом в Турции, жена его, знаменитая в то время советская балерина Марина Семенова, выступала на сцене Гранд-опера, и Карахан несколько раз приезжал в Париж и жила там подолгу. Он тоже очень любил Стендаля и говорил мне, что, наверное, в мире существует нечто вроде масонской ложи «стендалистов», которые друг друга каким-то загадочным образом сразу узнают. И вот мы с ним — члены этой ложи.

Но я воспринимала Италию, еще не зная ее, не зная, что мне доведется когда-нибудь попасть туда, и сквозь призму восприятия великого русского поэта. «Итальянские стихи» Александра Блока и сейчас принадлежат к числу самых моих любимых, и я помню их наизусть — весь цикл. Я не знаю, переведены ли эти стихотворения на итальянский, — вероятно, переведены. Но, по правде говоря, есть вещи, которые может переводить лишь человек такого же огромного таланта. У Блока в этом цикле есть гениальное стихотворение «Равенна», — мало, мне кажется, в мировой поэзии встретится стихотворений такой же колдовской, необъяснимой прелести и гармонии:

Все, что минутно, все, что бrenно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.

И еще стихи о Равенне, и о Сполето, о Венеции, о Перуджии, о Флоренции и Фьезоле, о Сиене — все они написаны в 1909 году, когда Блок совершал свое путешествие по Италии.

* * *

Да, была вечная, священная для всех, кто умеет думать и чувствовать, Италия. Но была и Италия Муссолини — та реальность, с которой нам предстояло встретиться. Повторяю дату: начало июня 1931 года. В Вене, в гостинице, где мы остановились, рано утром к нам явились полицейские с обыском. Это было до такой степени неожиданно и нелепо, что и выразить нельзя. Кин не знал по-немецки буквально ни слова и мог выразить свое негодование только мимикой и жестами, очень выразительными. Меня в детстве учили французскому и немецкому, но немецкий язык мне не нравился из-за его тяжеловесности, и я очень скоро бросила им заниматься. Но тут, при чрезвычайных обстоятельствах, какие-то обрывки слов появились сами собой. Я кричала на полицейских:

— Das ist doch unmöglich! (Это невозможно!)
— Aber was machen sie? (Но что же вы делаете?)
— Das ist ja Schande! (Какой стыд!)

Они не обращали на протесты никакого внимания. Мы не знали, как дозволиться до полпредства. Все это продолжалось недолго, но было отвратительно и вывело нас из себя. Потом полпредство выразило протест австрийским властям. В тот же день было еще одно впечатление, которое я до сих пор не могу забыть.

Мы гуляли по городу и внезапно увидели маршировавших штурмовиков. Я называю их штурмовиками условно. Это были какие-то военизированные отряды, но как их называть правильно — не знаю. Гитлер не пришел еще к власти, еще не было никакого аншлюса, эти штурмовики представляли только какие-то темные круги. Но зрелище было очень страшным. Прекрасный город, собор Святого Стефана, нарядная толпа. И эти штурмовики, маршировавшие, казавшиеся чем-то ирреальным, каким-то символом тупой и неумолимой, злобной, слепой силы...

Вечером мы зашли в кинематограф и по чистой случайности попали на великолепный фильм. Не помню, английский это был фильм или американский, назывался он «Эскадрилья «Аврора» и произвел на Кина исключительно большое впечатление. Сюжет был как будто очень несложен. Первая мировая война. Английская эскадрилья «Аврора», размещенная, если не ошибаюсь, во Франции. Фильм начинается с того, что командир сидит один и смотрит, сколько его самолетов возвращается на базу после военных действий. Один, два, три, четыре... не помню сколько, но не все. Будни войны, каждодневный бой, каждодневный риск, частая гибель.

Ни одной женской роли, ни намек на какие-нибудь любовные переживания. Сделано все это блистательно: сдержанно, лаконично, если можно так выразиться — антигитторично. Эту вещь можно было расценить не просто как очень удачный фильм, но как своего рода творческий манифест, который Кину чрезвычайно импонировал. Эта манера отвечала каким-то сокровенным его вкусам. Под впечатлением этой картины мы уехали из Вены. Впоследствии, когда «Эскадрилья «Аврора» шла в Риме, мы пошли на нее еще раз вместе, а потом Кин остался еще на один сеанс. Было несколько фильмов, которые ему нравились не только как зрителю, но как художнику, среди них «Трус». Об этом сохранилась даже заметка в записных книжках: «Фильм «Трус». Б. берется за дела, которым все предрекали неудачу, и тем не менее у него все выходит».

Последнее, чисто зрительное воспоминание мое об Австрии: маковые поля, которыми я любовалась из окна вагона. До этого я никогда не видела маков другого цвета, кроме красного. У Блока есть строчки «Золотые и красные маки надо мной тяготеют во сне»; мне всегда почему-то казалось, что это только поэтический образ, а тут я сама увидела золотые маки, и голубые, и красные, и это было совершенно феерично.

В Риме нас встретили несколько товарищей. Они отвезли нас в гостиницу, которая, если мне не изменяет память, называлась «Термини». Мы прожили в ней больше недели, пока не подыскали квартиру на Корсо Умберто. Стояла адская жара, такая жара, что мне свет не был мил. Кин и Левушка переносили ее легко и в первый же день отправились осматривать город. А я сидела в номере гостиницы с закрытыми окнами и опущенными шторами, пытаюсь спастись от раскаленного воздуха, и была в самом упадочном настроении. Потом мне сказали, что в Италии не то пятьдесят, не то семьдесят лет не было такого жаркого лета. В те дни, к счастью, не дул сирокко, но вскоре нам предстояло и это испытание. Шли дни. Все хлопоты по найму квартиры легли на Кина, я из-за жары совершенно вышла из строя. Один раз Кин заявил, что это невыносимо — все время сидеть взаперти, он уговорил меня хоть проехаться на машине по городу. Я запомнила только пиацца Кавур; пальмы, пинии, прекрасные здания, фонтаны мелькали перед глазами, но все было залито рыжим, золотым, нестерпимым солнцем, и я сказала, что не могу это переносить: номер в гостинице казался все-таки прибежищем.

Когда мы переехали в свою квартиру, я устроила такой же режим и там: замурованные окна и так далее. Кто-то научил меня, что в жару надо пить не лимонад и оранжад, а крепкий черный кофе, надо принимать не прохладные, а горячие ванны, — все это я на всю жизнь запомнила. Квартира была большая и очень комфортабельная. Мы взяли домашнюю работницу, ее звали Клотильда, она была очень смуглая, черноволосая, уроженка Рима. Клотильда решила, что нам будет понятнее, если она все глаголы станет употреблять в неопределенном

наклонении. Было очень неприятно, что она только так разговаривает с нами: «Вы ходить, вы говорить»... — и вообще у нас как-то не установилось контакта. Вероятно, она презирала меня за абсолютную мою непрактичность, за то, что я не умела считать деньги, почти ни во что не вмешивалась и целыми днями читала.

Я взяла номер газеты «Джорнале д'Италия» и начала читать не какие-нибудь заметки, а сразу передовую статью. Она была подписана именем Вирджинию Гайда. Я начала переводить статью на русский язык, частично догадываясь о смысле слов по аналогии с французскими, частично прибегая к помощи словаря. Дело шло довольно хорошо, но я споткнулась на одном слове. Итальянское не я, не задумываясь, восприняла как отрицание, а по смыслу фразы получалась совершенная ерунда, нонсенс. Не — никакое не отрицание, а соответствует французскому *en : vi ne prego-je vous en prie* (я вас об этом прошу).

Может быть, не так надо было приступать к изучению языка. Но мне до сих пор кажется, что выбор метода — дело очень субъективное, мне лично этот способ подходил. К грамматике я всегда испытывала некоторое отвращение, хотя умом понимаю, что это неправильно. Как бы то ни было, через несколько недель, несмотря на жару, которая меня изводила, я вполне свободно читала итальянские газеты. Правда, только газеты, читать книги я тогда еще не пробовала. После первой прогулки по городу, когда я запомнила только пиацца Кавур, и после переезда из гостиницы на квартиру я вышла из дому только один раз — в магазин. Тем временем и мой муж, и мой сын вели нормальный и разумный образ жизни и быстро осваивались с городом и разговорной речью. Однажды Кин настойчиво попросил меня показаться в нашем полпредстве, потому что там все недоумевали, почему он прячет свою жену. Обещала поехать.

Я очень хорошо помню это утро. Набралась решимости, взяла извозчика и поехала на виа Гаэта, 5. Меня ждали и приветливо приняли сотрудники, а потом повели в кабинет к советнику полпредства. Это был Марсель Розенберг, о котором те, кто читал мемуары Ильи Эренбурга, знают. Марсель стал потом ближайшим нашим другом, и мне хочется написать о нем по возможности подробно. Я пишу это и смотрю на его большой портрет — этот снимок сделан несколько позднее, в Париже, но таким же Марсель был в то утро, когда я увидела его впервые. Просторный кабинет, очень сильный вентилятор создает ощущение прохлады. За небольшим столиком сидит стенографистка, и навстречу мне поднимается человек с удивительно интересным и тонким лицом, карими глазами и обаятельной улыбкой. Он в огромной степени обладал тем, что французы называют «личный шарм». Он смотрел на меня, улыбаясь приветливо и, как мне показалось, чуть-чуть насмешливо. Впоследствии он говорил, что я была «смешная маленькая девочка в черном платье». Стенографистка вышла. Я пробыла в кабинете, вероятно, с полчаса, потом Марсель отвел меня к себе (он жил в этом же доме, как большинство работников полпредства) и познакомил со своей женой Любой. Выпив чашечку кофе, я отправилась домой, причем Марсель сказал, что они посетят нас в ближайшие дни.

Полпредом в то время был Дмитрий Иванович Курский, но он находился в отъезде. С ним я познакомилась позднее. Дмитрию Ивановичу было в то время под шестьдесят, он принадлежал к поколению старых большевиков-интеллигентов. Юрист по образованию, он после Октябрьской революции организовал в Москве первые народные суды и с осени 1918 года был народным комиссаром юстиции. Он был человеком глубоко порядочным, скромным и сдержанным. Полпредом в Италии Дмитрий Иванович был уже года три или несколько больше, серьезно интересовался вопросами, связанными с фашизмом. У него была хорошая личная библиотека, и он охотно разрешал Кину ею пользоваться. Я, разумеется, вслед за Кином тоже читала почти все, что он приносил домой.

Еще о языке. К газетному тексту я относилась совершенно уверенно — он почти не вызывал трудностей. Однажды мне попался иллюстрированный журнал, оказалось, что и нехитрую беллетристическую его часть читать очень легко. Что

касается книг... Должна признаться, что первая книга, которую я прочла по-итальянски, была «Королева Марго» Дюма. Я ее вполне сознательно купила в магазине, рассудив, что уж роман-то Дюма (я все его романы в то время любила, даже слабые) я непременно одолею. Это читалось очень легко, без всякого почти напряжения. Смешно мне сейчас это припоминать, но в тот же период я купила на итальянском языке гоголевского «Тараса Бульбу». С чего я это сделала — ума не приложу. Это было просто ужасно. Вероятно, переводить Гоголя вообще очень трудно. Но этот перевод казался мне тогда ниже всякой критики, прелесть текста, знакомого и любимого с детства, куда-то исчезла и получилось бог знает что. Когда пишешь чистую правду, как я делаю сейчас, обязательно получается как-то неправдоподобно, но так вышло, что сразу после «Королевы Марго» и «Тараса Бульбы» я уверовала в свои познания в итальянском языке и начала читать ни более ни менее, как произведения дуче.

Может быть, я ошибаюсь, мне кажется, что я читала «Статьи и речи», три тома, — не ручаюсь за точность заглавия. Читала с живым интересом, многое меня удивляло, потому что всегда надо читать первоисточники: моя московская подготовка оказывалась явно недостаточной.

В это же лето произошел такой случай. В Рим приехал оперный театр — я не помню откуда, из какого города, но итальянский. В наше полпредство прислали приглашительные билеты, но никто не выразил желания поехать. Я поехала одна. Труппа выступала в здании летнего театра на территории виллы Боргезе. Точнее, это была летняя сцена, а публика сидела под открытым небом. Пишу это и ловлю себя на том, что я не уверена, точно ли, — может быть, все-таки это было помещение. Зато все последовавшее врезалось мне в память. У меня было место в восьмом или девятом ряду. Около меня было несколько свободных мест (в полпредстве остались никем не использованные билеты). Довольно долго не начинали, я не понимала, почему спектакль задерживается. Вдруг появилась группа людей в форме фашистской милиции. Они появились со стороны сцены и уселись ряда за четыре впереди меня. При их появлении все встали и начали скандировать: «Duce, duce, alala!» Погас свет, и началось первое действие оперы.

Но я сгорала от любопытства. Мне ужасно хотелось как следует рассмотреть Муссолини (а вдруг больше такого случая не представится?!). Едва начался антракт, я встала, подошла к тому ряду, где они сидели, и спросила человека, сидевшего с краю, который — Муссолини. Он взглянул на меня и спокойно ответил: «Quello» (Вот этот). Оказалось, что Муссолини был четвертым от него. Я сказала «Grazie» (Спасибо), уже смутно ощущая, что сделала что-то неловкое и неуместное. Муссолини повернулся и посмотрел на меня. Терять было нечего, я уставилась на него во все глаза. Прошли годы и десятилетия, после этого я множество раз видела Муссолини и слушала его речи, но запомнился он мне именно таким, каким я его увидела в первый раз: небольшие глаза, в тот момент устремленные на меня, знаменитая нижняя челюсть, пухлые пальцы и перстни на них.

Все это длилось, может быть, минуту. Я вернулась на свое место немножко растерянная, и тотчас ко мне подсел какой-то человек в штатском и заговорил со мною. Да, я в самом деле была еще совсем дурочкой, и ему пришлось в ответ на мой недоуменный вопрос тихо произнести слово «полицая». Произошел бессмысленный разговор:

— Синьорина француженка?

— Нет.

— Японка? (Меня многие принимали за японку.)

— Нет.

Слово за слово выяснилось, кто я такая. Полицейский, видимо, был человек опытный и тотчас понял, что подле него сидит не злоумышленница, покушающаяся на жизнь Муссолини (а ведь было несколько покушений!), а просто наивная молодая женщина, которую он назвал даже не синьора, а синьорина. Поняв,

что оснований беспокоиться у полиции нет, он очень любезно похвалил мой итальянский язык, произнес обязательную фразу о том, что «все русские способны к языкам», спросил, как мне нравится Рим, и вообще начал светский разговор. Потом он простер свою любезность до того, что спросил, не интересуют ли меня другие лица, сидевшие рядом с Муссолини. И, наконец, последняя деталь в этой маленькой комедии. Мой собеседник спросил меня, что в России говорят о дуче. По-моему, я вышла из положения довольно удачно; я сказала: «Говорят, что это очень энергичная личность». Полицейский остался вполне доволен и хотел еще поговорить со мной о музыке Россини, но я сказала, что у меня заболела голова, и поехала домой, не дождавшись конца антракта.

Дома у нас был Марсель. Я все рассказала, как на духу, и оба они — Кин и Марсель — стали меня отчаянно ругать за эту дурацкую мою выходку. Марсель боялся, как бы за этим не последовали какие-нибудь неприятности и осложнения, чуть ли не дипломатического порядка. Кин ужасно на меня рассердился и сказал, что я хуже ребенка и что он меня никуда не будет отпускать одну. Я чувствовала себя отвратительно и, наверное, с неделю после этого события возобновалась. Но — удивительная Италия! — не произошло абсолютно ничего. Думаю, что такая штука в нацистской Германии приняла бы иной оборот. Дразнили меня этой историей очень долго.

* * *

Рим летом 1931 года. Мы втянулись в работу. Кин освоился с ней удивительно легко. Разобраться в политической обстановке — это лишь часть задачи корреспондента. Надо было свыкнуться с непривычным распорядком и укладом жизни, почувствовать, а не только понять умом, чем дышит страна. Надо было очень много узнать, осознать, выяснить для себя самого. Мы жили довольно замкнуто. В условиях фашистского режима не было возможности широко общаться с людьми. Советская колония была маленькой, так как в Риме жили только работники полпредства, русские сотрудники смешанной советско-итальянской нефтяной компании «Петролея» и корреспондент ТАСС. Торгпредство находилось в Милане.

В полпредстве работало несколько итальянцев. История одного из них очень интересна. Это товарищ Мотта, коммунист, который в двадцатых годах, спасаясь от преследования фашистов, забегал на территорию нашего посольства, да там и остался. Он стал работать консьержем, фашисты не чинили к этому никаких препятствий. Жена Мотта поселилась с ним, у них были дети, жена ходила вполне свободно, куда хотела, но сам Мотта не мог переступить через порог здания полпредства, выйди он на тротуар — его могли арестовать. Но он так привык к этому образу жизни, что его и не тянуло никуда. Когда после каких-то амнистий ему сначала сократили срок, который он должен был бы отбывать в заключении, а потом и совсем отменили приговор, Мотта как-то отправился с женой в кафе, а потом больше не захотел выходить на улицу: отвык. Не знаю, как дальше сложилась его судьба.

Садовником работал пожилой человек, «достопочтенный» Гранди, бывший депутат парламента. Хорошо помню синьору Фиори, которая преподавала итальянский язык некоторым сотрудникам полпредства, давала уроки и мне. Это была милая, скромная женщина средних лет, как мне говорили — вдова видного социалиста. Синьора Фиори жила вместе с сыном своего покойного мужа от первого брака, очень любила юношу, часто рассказывала о нем. Неожиданно его арестовали: в квартире у них нашли листовки. В ту ночь была одновременно арестована целая группа комсомольцев в Риме и окрестностях — их выдал провокатор. Кин был на суде, его потрясло, что подсудимые сидели в клетках, — эта отвратительная символика ужаснула его.

Иногда к нам заходил один молодой адвокат, живший неподалеку, — фамилию его я забыла. Он изучал русский язык самостоятельно и самозабвенно, без всяких практических целей. На правах соседа он обратился к Кину с просьбой

оказывать ему иногда консультацию, а Кин попросил меня. Я ему охотно помогала, как умела, но не всегда бывала на высоте, потому что не могла объяснить «почему». Помню, например, как он с непосредственностью и темпераментом южанина настаивал, чтобы я ему объяснила, почему и зачем в русском языке существует столько приставок к глаголам и как человек может их запомнить: ставить, отставить, доставить, выставить, расставить, переставить, приставить и так далее. Я смеялась и уверяла его, что это обогащает язык, но он не соглашался.

У меня самой иногда происходили конфузы с итальянским. Я быстро овладела разговорной речью, но не знала разных «хозяйственных» слов. Как-то раз мы зашли с Кином в магазин, и я отважно попросила у продавщицы «patata di alluminio» вместо того, чтобы сказать «padella di alluminio». В общем, вместо того, чтобы попросить алюминиевую сковородку, я попросила алюминиевую картошку. Девушка страшно смеялась, говорила «извините, синьора» и опять принималась хохотать так заразительно, что хохотали и мы, хотя сначала не понимали, в чем дело. Другой раз вышел конфуз со словом «gelato», которое мы вдруг забыли оба. Зашли в кафе и... ну, никак не могли вспомнить. Объясняли, что оно белое, сладкое, холодное, что его едят маленькими ложечками, — так и ушли, не получив мороженого: никто нас не понял. Выпили с горя по чашечке каффэ-эспрессо. Вышли — и сразу вспомнили, — бывает же так.

Мы много бродили по городу, иногда повторяя указания и маршруты, вычитанные у Стендаля, иногда выходили из дому без заранее намеченной цели, шли наугад, куда глаза глядят, — Кин всегда имел с собою фотоаппарат. Он делал снимки, которыми мог бы гордиться профессиональный фотограф. У меня сохранилось множество сделанных им фотографий. Мне не хочется говорить банальности на тему с неповторимой красотой Рима, и я прошу поверить мне на слово, что она не оставляла нас равнодушными. Мы прожили в Италии почти два с половиной года и понимали, что на нашу долю выпала большая удача.

Теперь я опишу первый в моей жизни дипломатический прием. Это было 7 ноября 1931 года. Прием был в пять часов пополудни. Кин, конечно, пошел и меня настойчиво просил прийти, просили Марсель и другие товарищи, но я не захотела. Почему? Тогда я заявила, что мне это совершенно неинтересно, а теперь мне кажется, что в глубине души я немножко стеснялась. Как бы то ни было, Кин уехал один, а я уселась за пишущую машинку (это было страстное мое увлечение, я только-только научилась печатать) и стала писать письма. Вдруг позвонили по телефону. Это оказалась жена полпреда, Анна Сергеевна Курская. Она все лето провела в Москве, только в эти дни приехала, и мы не были еще знакомы. Анна Сергеевна очень просила меня приехать. Я попробовала возражать, но уже не так, как говорила с мужчинами. Делать было нечего. Скоро за мной приехал полпредский шофер.

Думаю, я нужна была главным образом потому, что говорила по-французски и уже довольно порядочно — по-итальянски. Как бы то ни было, я явилась в полпредство, где всех гостей встречали Дмитрий Иванович и Анна Сергеевна. Тотчас меня подхватил наш морской атташе Чекунский и представил мне какого-то старичка адмирала. Это было поистине тяжелое испытание. Решительно ничего страшного в церемонии праздничного приема, конечно, не оказалось, но адмирал меня извел: он раза четыре рассказал мне о том, как в каком-то (не помню!) году, будучи молодым офицером, побывал в Одессе. Это было лейтмотивом нашей беседы. Кроме того, конечно, — «русские очень способны к языкам», «как вам нравятся памятники древнего Рима?». Было три-четыре обязательных темы. Впоследствии мне нередко приходилось бывать на приемах, и эти темы фигурировали непременно. Это напоминает, как москвичи, гордые своим замечательным метро, неизменно спрашивали иностранцев (в первые годы, конечно), как оно им нравится.

На том, первом приеме, когда я не знала, как бы мне избавиться от словоохотливого адмирала, выручил меня Марсель. Он в огромной степени обладал

той светской непринужденностью и свободой обращения, которая обязательна для хорошего дипломата; кроме того, он почувствовал, что «девочка» (он всегда так говорил обо мне) «au bout des forces»¹. После беседы с адмиралом я чувствовала себя очень уверенной и в то же время пришла к выводу, что приемы и в самом деле штука совсем неинтересная. Я и сейчас так думаю.

* * *

Случайно в маминых бумагах я нашла два старых своих письма того времени. Писала я «в Союз», как мы говорили, очень часто. Чувство тоски по родине, не покидавшее нас, иногда проявлялось особенно остро. Хотелось все время знать, как живут близкие люди, хотелось не отрываться от Москвы. Мы получали газеты и литературные журналы, следили за новыми книгами советских авторов, нам очень часто писали родные, товарищи, друзья, нас волновали и живо интересовали события, происходившие в общественной и литературной жизни нашей страны. В то же время очень хотелось, чтобы близкие знали, чем живем, чем дышим мы, какая обстановка нас окружает. Вот отрывок из одного моего письма, я привожу его сейчас потому, что в нем — то непосредственное, свежее восприятие, которое сейчас делает письмо человеческим документом, говорящим о времени:

«Рим, кажется, декабрь.

Дорогие мои!

Прошу вас не смеяться над словом «кажется»: я не могу выразить иначе свое отношение к нашей действительности. Представьте себе день такой теплый, мягкий, солнечный, как у нас в самом расцвете мая; зеленую листву, массу цветов — астры, розы, гвоздики, хризантемы, орхидеи, азалии; мутную, желтую реку Тибр, по которой несутся вперегонки лодки и гребцы с голыми руками; вечерний, кремовый, нежный туман, обволакивающий людей и здания; переливающиеся фонтаны. Вы, разумеется, можете представить себе все это схематически, но не так, как на самом деле. Сейчас Рим очарователен. Пойдите в Боргезе, это знаменитый парк, — вы заблудитесь в аллеях, среди мраморных теплых скамеек, статуй, цветников, среди нимф и фавнов и среди девушек с бронзовыми телами, с кувшинами в классических, совершенных руках, среди зарослей пальм и пиний и неожиданных лужаек. Вы забудете на минуту, что сейчас 1931 год, и вы вообразите XVIII век. Да, на этих скамейках естественнее выглядели бы женщины в белых люконах, в платьях «помпадур», чем парочки римских буржуазок с офицерьем в хаки... Ну, хорошо, довольно отступлений.

На днях я опять отправилась в картинную галерею Боргезе. В сущности, всего несколько сюжетов, бесконечно варьируемых художниками разных веков и школ: мадонна — с Христом, с детьми, около Голгофы; сам Христос в окружении ангелов или учеников, или один, или снятый с креста; святой Себастьян, пронзенный стрелами, еще несколько популярных святых. Это — религиозная живопись. Я не говорю, конечно, о таких монументальных произведениях, как Сикстинская капелла в Ватикане, а о массе картин. В одном зале вы видите мадонну Боттичелли и мадонну Гвидо Рени, какая колоссальная разница. У Боттичелли — условные лица, строгие, скупые линии, блесклые, бесконечно благородные краски, стилизованные дети и цветы. У Гвидо Рени — живая, прекрасная женщина; вся картина выдержана в теплых, глубоких, мягких тонах, темный фон оттеняет лицо его мадонны, не строгой, не грустной, а спокойной и очень по-земному красивой. Описывать все картины невозможно, скажу коротко, что это огромное удовольствие: рассматривать их, не торопясь, не захлебываясь от наплыва впечатлений, а пристально замечая детали, сравнивая, сопоставляя, так сказать, переживая картину.

Вообще я начинаю систематическое хождение по римским музеям, с книгами, каталогами и т. д. У меня перед глазами печальный пример двух наших то-

¹ Совершенно без сил (франц.).

варищей, которых перебрасывают в Париж. Они пробыли здесь десять месяцев и не удосужились побывать даже в Ватикане, сейчас спохватились, но уже поздно: через несколько дней надо уезжать. Подумайте, как обидно — жить в Риме и не увидеть всех его сокровищ. Мы уже кое-что видели, пожалуй, даже много, но я хочу внести в это дело новые элементы: смотреть разумнее, сознательнее, подробнее, чтобы по крайней мере о Риме сохранить яркие воспоминания.

На днях впервые были в оперетте. Оркестр никуда не годный, балет тоже, но играют хорошо; все это в меру глупо, но смешно и время от времени стоит заглядывать. В оперу здесь ходить немислимо: билет в амфитеатр стоит 4—5 долларов. Да и вообще настоящая опера — в Милане, а здесь так, туалеты показывают, черт с ними. Кроме того, в оперу в моих платьях не пойдешь: нужны всякие вечерние наряды. Вообще же здесь театральное искусство стоит на очень низком уровне по сравнению с Союзом: здесь преобладают варьете, драмы в нашем понимании нет. Разумеется, не голько МХАТ или театр Вахтангова, но и Камерный — для них верх искусства. Кстати, о русском театре здешние газеты много пишут, как и о нашей литературе».

Сейчас я перечитываю это письмо и улыбаюсь. Но именно такая я была, так воспринимала живопись, такие были суждения и лексика. А непосредственно после последней приведенной фразы (я ничего не пропускаю) совершенно неожиданно говорится: «Последняя здешняя новость: смена ген. секретаря фашистской партии, но это абсолютно никакого политического значения не имеет, так как у них генсек погоды не делает, делает ее только один человек: Муссолини».

Смешное письмо, разумеется. Прimitивные рассуждения о мадоннах Боттичелли и Гвидо Рени, а потом вдруг, без всякой связи с предыдущим, последняя новость — «смена ген. секретаря фашистской партии». Слитные, укороченные слова в стиле того времени.

Декабрь 1931 года. Я помню очень хорошо, что генеральным секретарем фашистской партии был тогда назначен Акилле Стараче. Непосредственно перед ним этот пост занимал Джуриати, но мне он представляется какой-то бледной фигурой, и я о нем почти ничего не могу припомнить, кроме того, что его считали интеллигентным человеком. То же говорили об Аугусто Турати, который читал в Римском университете лекции по «истории революции». Не помню, читал ли он их, еще занимая пост генсека, или позднее, но помню очень хорошо, что почти сразу после торжеств по случаю десятилетия режима, осенью 1932 года, в печати появилось какое-то грозное официальное сообщение, касавшееся Турати. Он оказался скомпрометированным, так как в своей личной переписке не очень стеснялся в характеристиках, а письма каким-то образом стали достоянием властей. Тогда обо всей этой истории в кругах иностранных журналистов много говорили — этому не придавали особого политического значения, но это был довольно крупный скандал, а скандалами всегда интересуются.

О Стараче говорили как о совершенном ничтожестве, как о тупице и удивлялись, почему выбор Муссолини пал на него. Он как будто считался опытным «аппаратчиком», но как личность представлялся воплощением ординарности. Никто не думал тогда, что Стараче удержится в качестве генерального секретаря целых десять лет и будет на самом деле играть какую-то роль если не в политике, то во всяком случае в установлении «фашистского стиля» жизни.

* * *

В ТАССе хранились подшивки некоторых газет за много лет. Кин читал их очень внимательно, я — выборочно. Но все, что только было возможно, об убийстве Matteotti прочла и я. В 1924 году, когда его убили, об этом, разумеется, писали и в советской печати. Мы с Кином еще только несколько месяцев жили вместе, привычки обо всем говорить друг с другом. Я помню, что и тогда нас потрясало это убийство. Итальянские газеты двадцать четвертого года, конечно,

не давали достаточно полной информации, но они отражали растерянность режима, отражали и оппозиционные настроения в стране: ведь тогда еще не был принят пресловутый «Закон об охране государства» и газеты не были унифицированы. Многое, конечно, забылось, но врезались в память и имена убийц, и экстремистские заклинания Фариначчи, и отчеты о заседаниях палаты, самые первые, когда труп Маттеотти еще не нашли. До сих пор я не могу думать об этом хладнокровно.

У меня сохранился отрывок из записных книжек Кина, относящихся к 1932 году. Вот он:

«Я автор, и моим оружием является презрение. Это оружие я бережно кладу вместе с завернутым в газету, принесенным с фронта револьвером, лежащим под стропилами крыши миланского рабочего, вместе со штыком, зарытым в огороде анконского батрака, вместе с листовками, запрятанными за пазуху генуэзского комсомольца, вместе с красным знаменем, засунутым в снопах тосканского крестьянина.

Исполнилось уже свыше 10 лет с того дня, как Муссолини разогнал парламент, ликвидировав буржуазную демократию для установления террористической диктатуры буржуазии. Эта победа над противником, который сам ничего так не желал, как своего поражения, это страшное побоище вождя черных рубашек с парламентским чучелом, эта реакция, которая называет себя «революцией», эта революция, полученная из руки короля, благословляемая попами и охраняемая полицией, составляет все идейное и историческое богатство нового режима, весь его эпос и мифологию».

Мне кажется, этот отрывок очень интересен, мне хотелось показать, о чем думал Кин в фашистской Италии. Разумеется, он наслаждался прогулками по Риму, когда мы впервые открывали для себя изумительные фонтаны, развалины античного Рима, окрестности, бродили по стендалевским маршрутам, любовались закатом, сидя на скамейке в прославленной Вилле Боргезе. Разумеется, он отлично сознавал и радовался, что живет в «вечном городе», с громадным уважением и интересом знакомился с памятниками искусства. Но так силен был политический темперамент, так отчетливо было все его отношение к миру, что Кин ни на минуту не мог забыть, что над этой прекрасной страной, над этим бесмертным городом тяготеет позор фашизма.

Когда-то давно, когда Кин работал в «Комсомольской правде», он озаглавил свой фельетон о тогдашнем болгарском премьер-министре Цанкове — «Мразь». Это название не было случайным. Тема безграничного презрения к врагу органически вытекала из всего мирозерцания Кина: не только ненависть, но отвращение, безграничное презрение к этим «нищим духом», как писал Кин. Такой же «мразью» он считал Бенито Муссолини. Дуче был в представлении Кина не только палачом, не только убийцей Маттеотти и столько других мужественных патриотов и гюремщиком Грамши. — он был выскочкой, парвеню, мелким, тщеславным актеришкой с перстнями на коротких, жирных пальцах, обожавшим позировать перед фотоаппаратами. Он часто выступал с речами перед толпой, собравшейся на площади Венеция, и мы уже наизусть знали все его повадки, заученную жестикуляцию, безудержную демагогию, красноречие присяжного оратора, неизменно начинавшего свои речи обращением: «Чернорубашечники! Народ Рима!» Кин своим острым взглядом газетчика отлично видел, что чернорубашечников хватало, но никакого «народа Рима» там не было, в лучшем случае жалкие чиновники, которых заставляли имитировать энтузиазм, скандируя вкуче с полицейскими и фашистской милицией: «Дуче, дуче, ала-ла!»

В романе «Лилль», над которым Кин много работал в те годы. Бенито Муссолини, разумеется, фигурировал, но лишь в качестве ренегата, исключенного в 1914 году из социалистической партии, организовавшего на деньги, которые получал от французов, газету «Пополо д'Италия» и агитировавшего за вступление Италии в войну на стороне Антанты, — по времени роман не доходил до эпохи фашизма. При жизни Кина не были еще опубликованы документальные данные,

подтверждавшие, что Муссолини получал деньги и от царской охраны, но достаточно много было известно уже тогда.

Кин ни к чему это относился поверхностно. В Италии, стремясь по-настоящему глубоко и объективно разобраться в исторических фактах, он перечитал массу книг, сборников речей, подшивки газет за прошлые годы, всю доступную документацию. Его интересовало все: социальная база фашизма, философия главы итальянских неогегельянцев Джованни Джентиле, выдвинувшего идею создания «Стато этико» (этического государства) и утверждавшего, что «всякая сила моральна, даже если это сила дубинки», вопрос о взаимоотношениях фашистского правительства и Ватикана, писания Маринетти, Д'Аннунцио и пр. и пр.

Итак, рефрен: «Я автор, и моим оружием является презрение». Но для того, чтобы презирать, надо не только сильно чувствовать и страстно верить в свою правоту, надо знать, надо интеллектуально быть несравненно выше своих идейных противников, надо уверенно, свободно разбираться в их идеологии, легко отбрасывать демагогическую шелуху, обнажая истинный смысл. Для того, чтобы ясно представить себе корни пресловутого фашистского «корпоративного строя», Кин, не ограничиваясь тем, что, так сказать, лежало на поверхности, изучал историю страны, историю общественной мысли, итальянского национализма, возникновение фашизма как политического движения. Так, и только так, понимал Виктор Кин задачу публициста: не схема, а диалектика, не поверхностно-«приблизительная» полемика, а безошибочно меткая, основанная на точном знании стрельба по врагу.

Мы не вели разговоров на политические темы ни с кем из итальянцев, с которыми встречались. Это было невозможно. Отношения с работавшим в ТАССе синьором БаттиSTONE, или с адвокатом, учившим русский язык, или со случайными людьми, с которыми мы иногда сталкивались или встречались на приемах, не позволяли таких разговоров. В общем, мы жили очень замкнуто: кроме советской колонии, Кин общался с коллегами по «Stampa estera», встречался с итальянскими журналистами, но среди них не было никого, с кем бы установились личные отношения. Как можно было в то время судить о том, что кроется за фасадом режима? Мы очень внимательно следили за прессой, старались читать между строк. Часто ходили слушать речи Муссолини, которые он произносил с балкона палаццо Венеция. Кин всего несколько раз за все время нашей жизни в Италии побывал на заседаниях палаты депутатов. Он не вынес от посещений палаты никаких ярких впечатлений.

Сейчас я хочу рассказать о том, как обстояли наши личные дела в 1932 году. Наш мальчик, который выучился говорить по-итальянски так, словно это был его родной язык, ходил в школу. Кин много работал, а я по мере сил помогала ему, но все же оставалось много времени свободного и для прогулок по городу, и для разъездов по стране. Мало-помалу мы так освоились с Римом, что чувствовали себя там совершенно уверенно и свободно. Кое-что казалось нам провинциальным. Вечером город засыпал очень рано, после десяти все как будто погружалось в сон.

Марсель и его жена в декабре 1931 года уехали в Париж. За семь месяцев мы очень подружились, и без них стало тоскливо. Мы часто переписывались, один раз Люба по рассеянности не дописала адрес и на конверте значилось просто «Цецилии Кин. Италия». Исправные почтальоны доставили письмо в срок. Решили, что весной я приеду в гости в Париж.

В начале 1932 года в Рим приехала новая сотрудница — не в полпредство, а в «Петролея»: смешанное итало-советское нефтяное общество, которое возглавлял в то время советский работник Альберг, а заместителем у него — коммерческим директором, — итальянец, фамилию которого я не помню. Матильда Рихтерман (а попросту Муся) была направлена сюда Наркомвнешторгом и стала работать секретарем «Петролея».

Надо сказать, что о Мусе мы слышали еще до того, как увидели ее в полпредстве. Колония была маленькая, все всё знали. О Мусе было известно, что

она все свободное от работы время плачет, потому что тоскует по Ленинграду и по сестре. Товарищи из «Петролеи» утверждали всерьез, что однажды она чуть не попала под машину, когда, вся зареванная, переходила через дорогу. Все эти шутки имели некоторое основание. Муся легко осваивалась с языком (она знала французский и немецкий), у нее был общительный характер, и к ней хорошо относились на работе все сотрудники — и русские и итальянцы, но она чувствовала себя очень одинокой. Наша семья стала для нее прибежищем. Она приходила к нам каждый день после работы и уходила в гостиницу только ночевать, проводила с нами воскресные дни. В интересах истины должна признаться, что иногда она начинала плакать и при мне, вспоминая о своих родных, но, в общем, у нас она оттаяла.

Я стала уговаривать Мусю переехать к нам, но она почему-то не решалась. С присущей ей наблюдательностью и чувством реальности она очень скоро обнаружила, что наша Клотильда — не тот человек, который нужен в семье, где хозяйка больше склонна читать книжки или бродить по музеям, нежели проверять расходы. Муся где-то разыскала чудесную девушку Марию, мы расстались с Клотильдой, и у нас стала жить Мария, которую мы от души полюбили и которая также любила всех нас. У Марии был жених Нелло, очень славный парень, тоже деревенский. Нелло работал в каком-то баре или кафе, каждую субботу он отдавал половину своей получки Марии, и она клала ее на сберегательную книжку: они копили деньги, чтобы можно было пожениться. Так как мы платили Марии много больше, чем она зарабатывала до того, как пришла к нам, свадьбу удалось ускорить чуть ли не на год. Но о свадьбе Марии я расскажу потом, потому что это произошло уже в 1933 году, а пока у нас весна 1932-го.

В апреле я решила поехать в Париж к Марселю и Любе. Теперь я могла совершенно спокойно оставить мужа и сына, так как над ними взяла шефство Муся. Я очень просила и уговаривала ее переехать к нам, в особенности теперь, когда это было бы так важно, но она никак не хотела. Все деньги на расходы я вручила не Кину, а ей, мы обо всем договорились, и я уехала.

(Окончание следует)



В. ЛАКШИН

★

МАРК ЩЕГЛОВ

(Напоминание об одной судьбе)

Есть такие люди в каждом поколении: поприще их может казаться скромным, труды, оставленные ими, малочисленными и незавершенными, но захват их нравственного влияния необычайно широк. Кажется, одно уже их присутствие на земле, вне зависимости от того, что дано было им осуществить, делает жизнь теплее, разумнее, ободряюще действует на душу. И сама смерть не кладет предела их влиянию, но как будто еще закрепляет его. Незримо продолжается цепная реакция добрых слов и дел, развязанная этими людьми.

Больше десяти лет прошло со дня смерти Марка Щеглова, и мне нужно делать уже некоторое усилие, чтобы представить себе, каким он был — его походку, слова, жесты. Но стоит мне раскрыть его книгу, как я начинаю различать знакомый голос. Нет, это не условный литературный образ: я слышу самый натуральный, со всеми запинками и покашливаниями голос Марка Щеглова.

Вот он размечтался:

«...Белой точкой на горизонте, в исчезающей отдаленности моря появляется корабль, за ним еще один и еще. Ветер и волны дружно влекут их, они летят, слегка накренысь, у них почти живые, стройные формы; ветер воет в тонких снастях, плещет вдоль борта тугая, отлетающая волна, загорелые, веселые матросы глядят за горизонт — что там? И наше сердце стремится лететь за ними, к тучам, полным зарева далеких, удивительных городов, к цветам и скалам таинственных стран воображения... Это корабли Александра Грина».

Так пишет Марк Щеглов о книге писателя-романтика.

А вот он разгневан, саркастичен:

«...Грацианский, не способный выдержать в чистом поле настоящего боя, говорит уже от имени целого коллектива и судит, кто «наш», а кто «не наш». Это он-то судит, несчастный душевный карла, самгинское семя!»

Это из статьи о «Русском лесе» Леонида Леонова.

И еще — горячее, требующее немедленного сочувствия обращение:

«Мы — оптимисты, но не будем же становиться ханжами! Еще в окружении «равнодушной природы» умирают дорогие нам люди, рушатся семьи, есть еще одиночество, и необеспеченность, и лишённые света жилища, еще бывает — приходит к человеку неожиданное-негаданное горе, и он не знает, как с ним справиться, еще счастье в жизни идет в очередь с несчастьем...»

Это из статьи о рассказах Ильи Лаврова.

Лучшая проверка подлинности, искренности написанного — слышен ли за ровными типографскими строчками голос автора или он заглушен неким «средним», литературным и оказанным слогом штампов. Марка Щеглова услышишь всегда.

Он напечатал первую свою заметную статью в сентябре 1953 года. В сентябре 1956 года он умер. Три года — слишком малый срок в литературной судьбе. Но к этому Щеглов готовился всю жизнь, и оттого след его ярок, заметен и сегодня.

Весной 1953 года он записал в синей общей тетради: «В моем отношении к делу сейчас, к книгам и разговорам есть такое: вот, пока не наступило «то» (а что?), пока не призван на царство, что ли, нужно сколько можно «нахвататься», помудреть, разузнать, не пропуская никакого случая на этот счет. Похоже, как человек, которому нужно перейти улицу и на той стороне пройти вперед, пока ему мешает движение, использует время, чтобы продвинуться дальше по этой стороне».

Это говорилось будто в предчувствии новой полосы жизни, как раз накануне поворота в его судьбе, приведшего его в литературу. В эту пору мы с ним и познакомились.

Конечно, я и прежде встречал его в факультетских коридорах и раздевалке между звонками, в водовороте перемен. Не зная его по имени, я уже знал его в лицо и давно приметил в пестрой и шумной толпе студентов его широкую фигуру, грузно повисшую на костылях.

Но впервые оказался с ним рядом и разговорился в один из «вторников» в толстовском семинаре Н. К. Гудзия. В уважение заслуг почтенного профессора занятия проходили у него на дому. В кабинете Николая Каллиниковича, сплошь заставленном книжными шкапами и полками, взбегавшими до потолка, царил таинственный сумрак. Лишь отсвечивали золотом рам и старой живописью картины, кое-как укрепленные на полках поверх книжных корешков.

В короткие зимние дни приходилось рано зажигать свет, и тогда становились видны все уголки этого книжного царства: книги, захватив стены, расположились еще и на этажерках, вертушках, столах, столиках, на диване и на полу. Сам хозяин кабинета в мягкой домашней куртке, сердито отдуваясь и оглядывая взором полководца непокорное ему воинство, разыскивал какую-то запропавшую книгу, пока «семинаристы» рассаживались по местам. В дни семинара в кабинет сносили все стулья, какие были в доме, но места все-таки не хватало и опоздавшие должны были пристраиваться у самой двери, за этажеркой или на кожаном диване, защищенном от глаз профессора журнальным столиком с горой книг на нем. Мы довольно быстро оценили удобства этого местоположения, где во время скучного доклада под мерное жужжание кого-нибудь из начинающих толстоведов можно было разглядывать картины на стенах, тишком перелистывать лежавшие тут же книги или даже перемолвиться с приятелем о чем-то своем. Вот там-то, за этажеркой, у двери, судьба нас и свела однажды.

Когда мы познакомились, Марк был восьмью годами старше меня — разница немалая в студенческие годы. Но он не дал мне ее заметить. После доклада о «Живом трупе» мы заспорили с ним о Феде Протасове. Потом только, публикуя одно старое его письмо к общему нашему товарищу, я узнал, что это всегда был его «любимый, нет, не любимый — милый сердцу литературный герой». Но и мне Федя Протасов был безразличен. Вышли вместе на улицу, пошли к метро, слово за слово, и тут оказалось, что мы знакомы уже давно, только не подозревали этого прежде.

В 1946 году его привезли на обследование в одну из московских клиник, где лежал тогда и я. «Помню, я спорил там с ребятами, лежавшими в IV отделении, на нижней террасе, об одной книге». — «О новеллах Вашингтона Ирвинга», — сказал я. «Так это был ты?» Оказалось, мы знакомимся второй раз.

Это странное совпадение и общность больничного прошлого, с которым я, впрочем, развязался куда раньше и успешнее, чем он, неожиданно «облизали нас».

Марк нравился мне, притягивал к себе, и, как теперь понимаю, я пережил по отношению к нему молодое чувство увлечения старшим товарищем, больше дружеских знавших, понимавших и успеших. На своих костылях, широко расставлен-

ных в стороны, квадратный и плотный, с короткой шеей и вздернутым вверх подбородком. Он лишь при взгляде издали мог показаться несчастным, изувеченным болезнью человеком. Стоило узнать его чуть ближе, перемолвиться с ним двумя словами — и вы будто мгновенно забывали о его беде. Не было ни костылей, ни горбика. Было — прекрасное лицо, живые, умные глаза, выражение прямоты, достоинства и необыкновенно благожелательного интереса к собеседнику, способность легко откликаться на смешное и оставаться серьезным в глубоком смысле слова. Во всяком случае мне он казался необыкновенно привлекательным и красивым, да он и был красив благородной и мужественной красотой, и я ловил себя на том, что безотчетно подражаю ему, его привычкам, манере говорить, слегка запинаясь и мыча...

Как ни странно это сказать про человека тяжело больного, Марк был необыкновенно легок на подъем, любил компанию, новые лица, неожиданные затеи. Его ничего не стоило сманить из дому в гости. даже если для этого предстояло ехать на другой конец города. Лишь изредка он отвечал на такие предложения отказом. «Я не очень мобилен сегодня», — неохотно и будто стесняясь говорил он тогда. Это значило, что ноги совсем не слушаются его.

Случалось, встретившись в университете, мы уже не прощались до позднего вечера: он приходил ко мне домой, я бывал у него, или мы вместе отправлялись на какое-то обсуждение в Толстовский музей или университетское НСО¹, ходили в театр, в консерваторию, а то и просто после стипендии — в кафе «Националь», благо оно в двух шагах от факультета. Посидеть за столиком с крахмальной скатертью, вертя в руках меню и долго выбирая, что бы отведать на скудные студенческие доходы, и не торопясь, всласть потолковать о том, о сем, было для него большой радостью. Я не знаю человека, с которым было бы так весело есть и пить, как с Марком Щегловым. Он так умел радоваться всякому пустяку, что невольно заражал своим детски-счастливым ожиданием удовольствия. Но все это в конце концов было лишь поводом к серьезному и сосредоточенному разговору.

«Русские мальчишки», как заметил Достоевский, сведя Алешу и Ивана Карамазовых за перегородкой в трактире, вечно тянутся к тому, чтобы решить самые коренные, самые главные в жизни вопросы: как жить, во что веровать, что ненавидеть, чему молиться.

Шел 1954 год. Какие-то двери распахнулись, в воздухе запахло новизной, все ждали чего-то и спорили, говорили друг с другом подолгу и охотно. Я не думал не только записывать, но и запоминать те бесконечные разговоры обо всем на свете, какие мы тогда вели. Зачем? К чему? Могло ли мне прийти в голову, что я буду об этом вспоминать на бумаге?

Как раз в ту пору, что мы познакомились, Марк напечатал в «Новом мире» первые свои статьи. Когда-нибудь надо будет рассказать, какое впечатление произвели они тогда на нас, студентов-филологов 1953 года. Еще недавно бушевали схоластические споры о том, как соотносится литература с базисом и надстройкой, обязателен ли в драме конфликт хорошего с лучшим, противопоставлено ли заострение типизации — и вдруг неподдельно живые слова, открытое издевательство над рутинной и штамповой, молодая увлеченность и молодая злость, а за всем этим непредвзятое, честное, свежее восприятие искусства.

Помню, как, выйдя в перерыве между лекциями из Комаудиторни и захватив рядом в библиотеке только что полученный там номер журнала, я развернул его на ходу на статье «Без музыкального сопровождения...». Да так и остался стоять с открытым журналом, опершись локтями о широкий барьер знаменитой балюстрады аудиторного корпуса. Дребезжали звонки, приглашая на лекцию, а я стоял с журналом в руках и самозабвенно читал не детективную повесть, не роман, а критическую статью в ordinarily разделе «Книжное обозрение», читал, захлебываясь от восторга, удивляясь, соглашаясь, порою громко смеясь, потом спешил поделиться своим открытием с товарищами, и мы перечитывали статью уже вдво-

¹ Научное студенческое общество.

ем, втроем, смакуя особенно острые и смешные места. Да, это была критика! И что поразительнее всего — ведь статью-то написал наш же студент, сидящий с нами рядом на семинарах, сдававший историческую грамматику и старославянский по тем же учебникам, что и мы, и, как все, немного дрожащий перед экзаменами у Г. Н. Поспелова. Каким чудом все это вышло из-под его пера?

Даже когда я ближе сошелся с Марком Щегловым и стал часто бывать у него дома, я не нашел этому разгадки. Его трудно было застать за работой. Он очень много писал и печатался, но статьи его большей частью появлялись внезапно для его друзей. Было ли то скромностью или родом авторского суеверия, но Марк никогда почти не объявлял заранее, что он теперь пишет или готовится писать, и не любил, чтобы его об этом расспрашивали. Стоило только, позвонив пять раз у двери в многолюдную коммунальную квартиру на Электрическом, войти в сопровождении матери Марка, Неонилы Васильевны, в их узенькую келью, комнату, бывшую некогда ванной, как Марк с видимым удовольствием и без тени раздражения, что его прервали, откладывал в сторону листочки, исписанные его характерной «клинописью».

«Вот и хорошо, что надумал прийти. Посидим, посудачим. Что там нового в университете? Как наш старик?» — уже расспрашивал он о Гудзии.

Но хотя Марку и не нравилось попусту болтать о начатой работе, было бы неверно думать, что он окружал свои литературные занятия атмосферой таинственности. Напротив, как в свой дом, охотно приглашал к совместному обсуждению и сотрудничеству. «Как ты находишь, не пора ли написать статью против Ермилова? А может быть, не статью, а книгу: «Анчи-Ермилов»? Давай вместе сочиним». Или: «Мне заказали тут небольшую статейку о Досгоевском, да не знаю, с какого конца взяться. Что, если нам вдвоем засесть?»

От предложений соавторства я уклонялся: просто не умел писать вдвоем. Но Марка Щеглова привлекала совместная работа — остались его статьи, написанные в соавторстве с некоторыми молодыми литераторами: Суровцевым, Турбиным.

Он с охотой помогал мне в первых моих литературных опытах, терпеливо выслушивал то, что я написал, поправлял, советовал, как сделать лучше. Помню, в университетском садике я читал ему по блокноту свою первую рецензию. Наверное, она была из рук вон плоха, но Марк по обычной своей благожелательности не стал меня бранить, заметив только: «Знаешь, никогда не надо перемигиваться с читателем, вести себя с ним запанибрата». (У меня были там обороты вроде: «Читатель имел случай убедиться...», «Как читатель уже догадался» — я вычеркнул их и испытал облегчение.)

С другой моей статейкой он сам ходил в газету «Советское искусство», свернув ее трубочкой и прикрепив бинтиком к костылю. Я не решился поставить под статьей подписи. В редакции, естественно, решили, что это статья самого Щеглова, но он почему-то не хочет в этом признаться. Через несколько дней ему сообщили по телефону: «Товарищ Щеглов! Ваша статья понравилась, но есть ряд существенных замечаний. Почему, например, вы пишете...» Марк не решился возразить и испил за меня до дна эту чашу. Слава богу, статью так и не напечатали.

В памяти, как нарочно, легче всего задерживаются пустяки, житейский сор, но и по этим осколкам виден человек.

Вот Марка остановила в коридоре на факультете преподавательница фольклора, видно спутав его с профессором, гоже ходившим на костылях: «Не сможете ли вы отпустить с занятий двух студентов на час раньше?» — «Я, конечно, отпустил», — радовался Марк.

Он любил рассказывать истории, в которых не выглядел героем. Вот его рассказ о том, как он первый раз появился в семинаре Гудзии. «Было скользко. я шел медленно и опоздал минут на двадцать. Звоню. Мне открывают «Вам кого?» Я вежливо приподымаю свою знаменитую фетровую шляпу: «А мне, собственно,

Николая Каллиниковича Гудзия». — «Заходите, раздевайтесь, пожалуйста. Но Николай Каллиникович сейчас занят». — «Ничего, я подожду», — скромно отвечаю я. Меня проводят в отдельную комнату и усаживают за круглый стол: «Вот свежие журналы. Не хотите ли кофе?» Я удивлен, но не имею сил отказаться. Пью кофе, смотрю картинки и думаю про себя: неужели здесь так принято встречать студентов? Время от времени меня спрашивают, не нужно ли мне чего, и заверяют, что Николай Каллиникович скоро освободится. Я не тороплю. Наконец в коридоре слышен шум ног, чьи-то голоса, прощанья, дверь распахивается — и стремительно входит Гудзий. «Простите, я, кажется, заставил вас ждать. У меня только что кончились занятия со студентами. С кем имею честь? Вы из какого издательства?» Я отвечаю: «Я... ммм... не из издательства, я, собственно, ваш студент, вчера на кафедре записался к вам в семинар...» Минута жуткого молчания, Гудзий бледнеет, отступает к двери, некоторое время трет ладонью лысину и потом кричит какими-то синкопами, задыхаясь от гнева: «Так какого же черта — два часа подряд — вы здесь всем — морочили голову?!»

«Так счастливо началось мое знакомство с Гудziem», — вздыхал Марк. Но человек отходчивый и незлопамятный, Николай Каллиникович, внезапно вспыхив, так же мгновенно остывал. Он очень полюбил Марка, и тот, как и все мы, его ученики, был многим обязан ему. Гудзий же, между прочим, рекомендовал и первую статью Щеглова — «Особенности сатиры Льва Толстого» — в «Новый мир», чем положил начало его критической работе.

Отношение Гудзия к Марку Щеглову было добрым и предупредительным, и все было бы хорошо, если бы не одна особенность нашего профессора: он любил расспрашивать студентов об их личном житье-бытье, ставил бесконечное количество вопросов и тут же забывал, что ему уже отвечали на них.

Едва ли не каждый вторник, восхищенный очередным выступлением Марка на семинаре, он говорил ему: «Да, Марк Александрович, все забываю вас спросить, сколько же вам лет? Кстати, а чем вы болели? Костным туберкулезом? И как это лечат?» — «Да я ведь уже рассказывал в прошлый раз, Николай Каллиникович», — мялся Марк. «Ах, да, да», — спохватывался Гудзий, понимая, что Марку не очень-то хотелось лишний раз говорить на эту тему. Но через неделю все повторялось сызнова: «Да, Марк Александрович, все забываю у вас спросить: а кто ваши родители? Сколько вам лет? И когда вы заболели?..»

Вот теперь, быть может, самое время немного сказать об этом.

Марк Щеглов родился 27 октября 1925 года в Чернигове, и на всю жизнь остался у него воспоминанием раннего детства — тихий зеленый городок, деревянные дома с садами на окраине города — Мочеретовщине. Отец и мать Марка были в ту пору артистами провинциального драматического театра и по роду профессии часто кочевали с места на место, забирая с собой и маленького сына. Двух лет от роду Марк заболел туберкулезом позвоночника, и вся жизнь его с этой поры — бесконечное скитание по больницам, санаториям, клиникам, лежание в гипсовой кровати, корсет, костыли, короткие счастливые периоды нормальной жизни дома, надежд на полное выздоровление, и новые обострения болезни, бросавшие его в постель.

Надо прибавить к этому, что и в семье не все было благополучно. Отец Марка — Александр Сергеевич Щеглов был, по-видимому, человек одаренный, но не нашедший себя. В тридцатые годы он работал в Реалистическом театре в Москве, потом занимался литературной работой, писал стихи под псевдонимом А н, печатался в детских журналах, кажется, в «Чиже» и «Еже». Но он рано оставил семью, и мать Марка, Неонила Васильевна, одна растила и воспитывала сына.

По больничной привычке Марк с детства много, очень много читал, учился страстно, с удовольствием. как о счастье мечтал о том, чтобы, как все ребята, ходить в обычную школу. А между тем, по скупому свидетельству «Автобиографии», годы его учения складывались так:

«...С 1927 по 1935 г. лежал в различных лечебных учреждениях, где и окон-

чил первые два класса начальной школы. Вернувшись домой (уже в Москву) в конце 1935 г., самостоятельно прошел курс 3-го и 4-го классов и в 1936 г. поступил в 5-й класс 127 средней школы Советского р-на в Москве. В 1938 г. у меня внезапно наступило обострение туберкулезного процесса; я вынужден был прекратить посещение школы, а поэтому 6-й и 7-й классы окончил опять же самостоятельно, занимаясь дома. Летом 1940 г. был помещен в II-ю Загородную Моск. туб. больницу в гор. Мытищи и там окончил 8-й класс. Осенью 1941 года больница, в коей находился я, была эвакуирована на Урал, и поэтому курс 9-го класса я проходил заочно в Челябинской заочной средней школе. По возвращении из эвакуации осенью 1943 г. был положен в Звенигородскую туб. больницу, откуда выписался лишь в 1945 году. Осенью того же года поступил в Московскую школу рабочей молодежи при вагоноремонтном заводе «Памяти революции 1905 г.» и там прошел курс 10-го класса.

Но это сухой слог формальной бумаги. А о том, что происходило у этого мальчика, потом подростка, потом юноши внутри, мы можем судить по одному его письму матери из больницы, написанному 28 октября 1944 года, как видно, после какой-то горькой размовки с самым близким ему человеком:

«Моя милая, родная, несчастная мама! Я неискупимо виноват перед тобою... Мне и стыдно и горько возобновлять разговор о моих глупостях, но мне кажется, ты как мать, просто как человек, можешь и должна найти для меня оправдания! Видишь ли. прожить многие годы меж четырех больничных стен, среди вечных словопрений о гемороях, спондилитах, стрептоцидах и прочих гнусных вещах — это значит, кроме всего прочего, вконец расшатать свои нервы. И если у нормальных людей случаются минуты безумств, когда всякий глас разума немеет, то как же избежать их мне? И потом ты знаешь, как порою тоскливо мне бывает. Мне, бледнеющему при звуках симфоний, любящему «Сентиментальный вальс» и лирические стихи, мне — поэту до мозга костей, и вдруг получить в дар от providения такую бестолковую и вонючую жизнь. Подумай, какую тоску, какое злое чувство может вызвать эта несправедливость. Ты требуешь от меня силы воли, настойчивости, а где мне взять их? Какую закалку я получил от жизни? Подумай над всем этим и ты найдешь в себе силы простить меня совершенно.

Прощай. Целую. Марк».

Есть люди, охотно рассуждающие о силе воли, настойчивости, жизненной закалке и пасующие перед первым же серьезным препятствием. Марк Шеглов сурово, очень сурово судит себя, но мы-то можем понять, какую волю к жизни, энергию, силу сопротивления обстоятельствам надо было иметь, чтобы, изо дня в день переживая то, что выпало на его долю, достигнуть того, чего он достиг.

Тут один случай скажет о многом. Вступительные экзамены на филологический факультет совпали у него с новым обострением болезни. «Я чуть ли не на карачках полз в университет на экзамены, так хотелось мне учиться, — вспоминал он позднее в дневнике, — и когда свалился, упросил отсрочить экзамены до осени и сдал их, несмотря на то, что каждая поездка в университет стоила мне мучений и стыда забываемого...» В день, когда надо было писать сочинение, Марк чувствовал себя особенно плохо, сидеть он не мог и потому, забравшись в самый дальний конец аудитории, лег на стульях и писал лежа. За партами его не было видно, и женщина-экзаменатор, собрав работы абитуриентов, все удивлялась, почему не хватает одного сочинения, пока не обнаружила Марка лежащим за партами: он увлекся своей темой и не расслышал, что пора сдавать написанное.

Эту историю Марк рассказывал со смехом, и только годы спустя я узнал из его дневника, как дорого стоили ему эти экзамены: после сочинения он совсем слег.

Два года спустя, когда Марк хлопотал о переводе на очное отделение, одна неумная особа из университетской канцелярии попрекнула его тем, что еще при поступлении ему было сделано исключение и экзамены отсрочены на осень. «Как

будто я виноват был в том, что меня в самое неудобное время схватил паралич,— отвечал ей Марк в своем дневнике, — как будто я виноват был, что мог тогда только ползать. И будто нужно было бы это снисхождение, если бы не мое горькое, упрямое желание учиться, попасть в университет, желание, заставлявшее меня преодолевать черт знает что».

Он все-таки добился тогда своего, поступил, хоть и заочником, на филологический факультет. И с настоящим жаром увлечения, будто назло невзгодам болезни и тяготам быта, принялся осваивать филологическую премудрость: вместе со всеми потел над переводом с латыни знаменитой главы «О происхождении тирейцев» из «De bello gallico» Цезаря, учился фонетически транскрибировать «Старуху Изергиль» и, наконец, под руководством прекрасного педагога Николая Ивановича Либана написал первую свою большую самостоятельную работу «Оды Ломоносова и Державина».

Университет ознаменовал особую эпоху в жизни Марка: новые товарищи, друзья, лекции, встречи, споры, книги, та казавшаяся ему необыкновенно яркой и полной обычная студенческая жизнь, о которой он мечтал на больничной койке и которой издали завидовал.

Марк с детских лет писал стихи, у него уже исписана ими не одна тетрадка. Но филологические занятия в университете потеснили это увлечение. Лишь время от времени, и все реже, на полях конспектов и случайных листках он набрасывает рифмованные строчки. И среди них такие:

Манежная площадь... Университет...
 Влюблен. Как к человеку привык...
 Писать бы стихи
 не на бумажном листе,
 А на снежном листе
 развернутых мостовых.

Эти наивные, полудетские стихи имели одно достоинство, которое потом будет отличать все написанное Щегловым-критиком: искренность чувства.

Отныне университет для Марка — все. Но студенческая его жизнь тогда только еще начиналась. Впереди были новые печали и радости, тяжелое обострение и больница в Поливанове, сдача экзаменов в постели, опять надежда на выздоровление и радость встречи с Москвой, счастливые часы в семинаре Гудзия и его беспокойные вопросы: «А сколько вам лет?», «А кто ваши родители?»

Когда Гудзий впервые спросил его об этом, ему было двадцать пять лет.

Мать Марка рассказывала мне, как он ликовал, когда вскоре после войны вышел из Звенигородской клиники и смог будто заново познакомиться с манившим его городом, ездил из дома в центр — «смотреть Москву». Костюма сносного у него не было — он убежал из дому прямо в пижаме, одетой на кожаный корсет, и отцовской старой кепке, обмотав шею красным шарфом. Так он ходил до самых заморозков, и я хорошо представляю себе, как в яркий осенний день он идет на костылях по улице Горького, спускаясь от Моссовета к телеграфу, вертит головой по сторонам, всему удивляясь, улыбаясь прохожим, которые с сожалением оглядываются на эту нелепо одетую фигуру инвалида в пижаме и не подозревают, какой праздник празднует сегодня его душа.

Он любил Москву как-то особенно, напряженной и нежной любовью. С нею соединялось в сознании чувство дома, выздоровления, возвращения к жизни. И еще чувство родины, свежая в те годы память о героизме древнего города, только что пережившего смертельную опасность в войне с врагом и отстоявшего себя.

Вот страница из его студенческого дневника:

«После вчерашних университетских хлопот и треволнений долго сидел в Александровском саду, недалеко от арки белых ворот. В саду бело, пустынно. Шелестит вьюга, мириады снежинок танцуют и мчатся в воздухе. Вдали, под Кремлевской стеной, мальчишки катаются на салазках, изредка медленно проше-

ствует белый с головы до ног милиционер, и больше никого. С Моховой доносится шум движения, автомобильные гудки, где-то продолжается, кипит жизнь, а здесь ветер, снег, поседевшие от времени камни Кремля, пустые, со снежными подушками, скамьи, редкие прохожие, тишина, и крепостная башня с медленно по ветру поворачивающейся звездой, в которой уже заметно алеет свет. Я сидел целый час один, снег заносил меня, и было так хорошо мне и грустно-покойно. Я думал о многом, что никакого касательства к только что случившемуся со мной не имело, думал о своей родине, о древней красоте Кремля, о том, как я люблю нашу зиму, о том, что Москва самый лирический и в то же время самый торжественный город на свете, о том, как хорошо было бы сидеть не одному, а с любимой, думал, что у меня нет ее и не будет, и что поэтому я самый несчастный на свете, думал, как прекрасен этот снежный бульвар и какая хорошая, суматошная метелица сегодня, и что я обязательно буду писать стихи обо всем этом, — и еще о многом думал — о значительном и пустяковом, о печальном и радостном, и совершенно забыл, что только что потерпел такую хлесткую и горькую неудачу в деле, которое еще вчера решало для меня вопрос о счастье».

Когда мне в руки впервые попал дневник Марка Щеглова, ныне известный под названием «Студенческие тетради», я еще раз убедился, как необыкновенно богато был одарен от природы этот человек. На страницах его дневника мы видим комсомольца сороковых годов, романтически, идеально настроенного, пылко верующего в справедливость, глубоко преданного своей родине, живущего, несмотря на болезнь, всеми ее заботами и интересами. Это человек редкой чистоты души, сердечности и чуткости. ощущающий чужую боль и беду до забвения своей.

Может быть, еще и из боязни одиночества, вызванного болезнью, у Щеглова такая открытость и интенсивность чувства. Порой он поддается романтическим порывам почти до экзальтации. И хотя юношеские рассуждения его бывают наивны — в них неизменно шемая искренность, впечатлительность человека, во сто раз ярче, чем окружающие, впитывающего слова, краски и звуки, одаренного поразительной восприимчивостью и оттого легко увлекающегося и часто лишь задним числом начинающего сверять с требованиями трезвого рассудка захватившие его чувства.

В первые послевоенные годы семье Марка Щеглова жилось скудно и трудно, трудно в самом житейском, материальном смысле. Мать почти не работала, много болела. Марк тщетно рассылал в редакции свои стихи, в поисках заработка обивал пороги различных учреждений. В 1948 году ему повезло, и он совсем было устроился в артель, где делали пуговицы и тюбетейки. Но как раз в это время из-за нерасторопности технорука, не сумевшего сбить продукцию, артель затоварилась — 1,5 миллиона пуговиц лежали без движения. Марк так и не попал туда. Зато он стал приносить домой кипы фотографий из фотоателье на Большой Грузинской и вечерами ретушировал их. Потом ему удалось пристроиться рисовальщиком в артель «Художник» имени Доватора и в мастерские художественной игрушки. Все это давало возможность кое-как свести концы с концами, не бросая учиться.

Когда Марк Щеглов стал уже известным критиком, ему приходилось порой выслушивать упреки в том, что он не знает жизни. Говоря это, люди, знавшие и понимавшие жизнь в тысячу раз меньше, чем он, с фальшивым сочувствием пожимали плечами: ничего не поделаешь, такая болезнь...

Он не знал жизни? Он, перевидавший сотни разных людей в своих скитаниях по больницам и санаториям, он, переживший то, что в его годы мало кому пришлось пережить, он, испытавший нужду, холод и одиночество и изведавший силу товарищества и человеческой поддержки, — он не знал жизни?

Нет, жизненный опыт Марка Щеглова был не так уж мал, в особенности для человека, умевшего так видеть, чувствовать и впитывать в себя увиденное, как это умел он. Ведь можно прожить необыкновенно разнообразную впечатлениями

жизнь, быть участником самых разных событий и не накопить опыта; можно смотреть на предмет в упор — и не увидеть его как следует.

А бывает наоборот. Критик должен знать жизнь? Но знал ли жизнь Добролюбов, получивший домашнее воспитание в семье нижегородского священника, пять лет проучившийся в духовной семинарии, четыре года — в Петербургском педагогическом институте и потом четыре года, до самой смерти, проведенный почти безвылазно в стенах редакции «Современника»? Знал ли жизнь Писарев, если вся его судьба — это детство в дворянской семье, петербургская гимназия, историко-филологический факультет, пять лет сотрудничества в «Русском слове», год заключения в крепости и нелепая смерть на морских купаниях в двадцать восемь лет? Для человека, плоско понимающего жизненный опыт писателя, связь литературы с жизнью, сомнения здесь неизбежны: «жизни они не знали», и классиков критического слова предохранит от упреков разве что их посмертная слава. А между тем кто оспорит, что человеческая зоркость, талант понимания жизни и острое чувство современности сделали их людьми далекими от мертвой книжности и поставили их перо на службу самым коренным жизненным интересам.

Так и Марк Щеглов: в своей короткой жизни он успел многое испытать и перенести, любил жизнь страстно, до какой-то даже инступленности, учился вглядываться в нее, понимать людей — и оттого в его первых же критических статьях нашлись слова, поразившие своей правдой читателей.

«Для меня, в сущности, вся жизнь, любая жизнь — в новинку, — писал он в 1951 году в письме из Поливанова. — Я рад без конца и без усталости смотреть, смотреть на все, что выделяет вокруг меня жизнь. Это ведь дьявольски интересно. Столько судеб, событий, преображений, столько красок, звуков, картин, столько организмов в конце концов!.. Вот как-то так я воспринимаю жизнь, и никакая чудовищная механика и тонкотканая философия не способны это первичное во мне уничтожить. И как всякая протоплазма, как каждая клетка, я до ужаса страшусь одного — смерти. Для меня жизнь вообще имеет одно лишь дурное свойство — ограниченность во времени. Мне в высшей степени наплевать на атомную бомбу и на все подобное, как на фетиш, — но оно убивает, вот что страшно. И даже если б я расщепился, погиб, то я все равно не был бы убежден, потому что до последнего мига был переполнен жизнью и жадной жизни, дыхания, зрения! И это, понимаешь, наперекор всему, наперекор любому аду, временно восцарствовавшему на планете. И хотя я понимаю, что все это — и чувства и фразы — достаточно примитивно и по-телячьи, может быть, но так это во мне сильно и идет изнутри, что я готов, вероятно, ломаясь в открытые двери, сумасшедше, пьяно доказывать и прививать это каждому встречному и поперечному, как что-то сугубо мое, неповторимое и особенное!»

Надо много раз быть на краю смерти, чтобы так полюбить жизнь, так дорожить каждым мигом ее, каждым ее прикосновением. Открытость Марка, его интерес ко всему на свете, его жадное тяготение к людям, естественно, рождали ответные чувства. Он не был обделен помощью, товариществом и поддержкой.

В трудную пору жизни он обратился с письмом в ЦК комсомола и просил помочь ему, подыскать хоть какую-нибудь оплачиваемую литературную работу — иначе пришлось бы бросать учиться. Комсомол и университет помогли Марку: его перевели на очное отделение без обязательства посещать лекции. Теперь он получал стипендию и мог продолжать учиться даже лежа.

В Поливановскую больницу под Подольском присезжали к нему принимать экзамены университетские профессора. Из новых товарищей по курсу образовался мало-помалу широкий дружеский круг. Его навещали, о нем помнили.

Марк всегда говорил об этом времени с нежной благодарностью. Ведь он готов был отчаяться, когда снова слег посреди университетского курса, не окончив едва начатого, и ему казалось, что это конец: паралич подступал почти что к горлу. «Может быть, я был бы морально скручен, — писал он в эту пору в дневнике. — может быть, я возненавидел бы такую жизнь и себя, но в этом мире «чуть что не так — весна». Обо мне узнали в университете. Почувствовалось мое долгое

отсутствие. Ко мне пришли — сначала как вежливость, из сочувствия обычного. Потом что-то случилось — други, сокурсницы стали бывать у меня с радостью для себя — чаще, чаще, ближе, теплее, подробнее, лиричнее, проще, — я сделался предметом самых самоотверженных и веселых забот и треволений. Снова впрягся в занятия. Помогли. Сдал три экзамена. Заболел благодарностью и любовью. Понял мир, лето, молодость... смысл всего».

В 1952—1953 году черные дни обострения были позади. Марк стал ходить, вернулся к обычному ритму студенческой жизни. Он с блеском защитил дипломную работу о повести Толстого «Смерть Ивана Ильича».

Почему он выбрал эту тему? Был тут, наверное, какой-то неосознанный вызов своему страху перед безнадежной болезнью, желание убедиться, что он уже встал над нею и победил ее.

Марк Щеглов любил веселье, шутку, товарищеское застолье, дружеские споры, песни за полночь и поздние возвращения домой, когда мы шли под легким снежком, взявшись за руки вчетвером-пятером и перегордив шеренгой тротуар, а он старался не отстать сбоку со своими костылями.

В те последние три года, что я близко знал его, он производил впечатление человека, вырвавшегося на простор после неволи и желающего поспеть захватить все радости жизни не в пошлом понимании жуира, но в человеческом смысле — радости любимой работы, признания, дружества, веселья, любви. Он стремился к полноте жизни — чувствовал, переживал все ярко, как в ранней юности.

Ему бы путешествовать на край света, исходить землю своими ногами, все изведать и всем успеть насладиться. А вместо этого перед ним постоянно маячил призрак возвращения к четырем стенам палаты, к больничной койке.

В своих стихах он хотел высказать это чувство жадности к жизни, одержимости ею:

Только слишком я привык к дыханию,
Только слишком — до смешной тоски —
Я влюблен в высокую механику
Звезд надмирных и стихов мирских...
И, должно быть, потому неистово
Я молю, когда насядет хворь:
Не покинь меня, о ненавистная
Жизнь моя...

Томи меня!
Неволь!

Это жизнелюбие не было оптимизмом искусственно подогретым, оптимизмом по заказу. Марк знал и минуты горького отчаянья, холодной безнадежности и тоски. Но он не позволял себе раскиснуть, и помня, как сладко иногда бывает похандрить и пожаловаться на судьбу, не давал в этом воли ни себе, ни другим.

Его душевная деликатность располагала к искренности, открытости. И иной раз товарищи разрешали себе «разоткровенничаться» с ним. Однажды добрый знакомый Марка, придя к нему в дурном настроении, горько жаловался на жизнь. Марк взял с дивана, на котором сидел, оказавшийся под рукой томик Блока — он очень его любил — и прочел:

«Что же делать, если обманула
Та мечта, как всякая мечта,
И что жизнь безжалостно стегнула
Грубою веревкою кнута...

Ты ведь так не напишешь? Нет? Так что же ты ноешь?» — И Марк захлопнул книжку.

«Мне стало стыдно, — рассказывал этот товарищ Марка, — и хандра моя вдруг: куда-то исчезла».

Может быть, из-за болезни он жил как-то особенно близко с природой — с природой скудной, городской. Остро, почти мучительно резко воспринимал смену времен года — зимние метели, гололедицу, оттепели, весеннее солнце, летние грозы.

Когда он шел по улице, то, чтобы не поскользнуться, всегда смотрел себе под ноги, но временами останавливался и, счастливо щурясь, задирал голову к небу.

Дождь прошел, и стало слышно
Все, что было в отдаленье.
За оградами, за крышами,
За домоуправленьем.

Из своей квартиры вышел
И стою, дохнуть не смея,
Потому что стало слышно
Поднебесье с подземельем.

Необыкновенно чутко схвачен тут этот краткий миг тишины и свежести после летней грозы над городскими крышами.

Он был человеком, свято верившим в справедливость. Криводушие, ложь, грубость встречали у него немедленный протест. Если на его глазах совершалась несправедливость, он ввязывался, не успевая подумать, какие последствия сулит это ему лично. Житейская мудрость и холодный расчет были в этом отношении вполне чужды ему. Все знают его таким по литературной работе. Но это была и жизненная его черта.

Как-то мы засиделись на товарищеской пирушке где-то у Кировских ворот и вышли из гостей на улицу во втором часу ночи. У подъезда стояли трое: два подвыпивших парня и молодая женщина. Она что-то сказала одному из них, и тот с размаху ударил ее по щеке. Я не успел опомниться, как Марк, растопырив костыли, раскрылетившись, как щегол, и подняв подбородок вверх, что придало ему особенно боевое выражение, налетел на обидчика, что-то крича и яростно наступая, получил толчок в грудь и упал на панель, ломая костыли. Я кинулся на парня и тот почел за лучшее ретироваться, тем более что к нам уже подбегали шедшие следом товарищи. Мы помогли Марку подняться и увезли его в такси.

На другой день я пришел в Электрический переулок и застал Марка в отчаянно скверном настроении. Сломанные костыли валялись в углу, а сам он лежал на кушетке и разглядывал географические карты в старом атласе. Покосившись на мать, он смущенно сказал мне: «Знаешь, я совсем пал духом... Скверно жить без моих подпорок. И как я ухитрился сломать их об эту проклятую решетку?»

Я сбежал в ближайшую аптеку, купил Марку новые костыли и тут же подогнал ему ручки по росту. Он ожил, возликовал, сделал несколько прыжков по комнате и, когда Неонила Васильевна вышла на кухню, сказал, понизив голос: «А ведь мы их все-таки побили, а?»

В последний год в качестве аспиранта Гудзия Марк Щеглов выступал на защитах дипломных работ официальным оппонентом. Не знаю, сохранились ли те подробные, обстоятельные отзывы, какие он писал на эти работы. Выступал он умно, темпераментно, только слишком ему все нравилось. Он не умел язвительно полемизировать с дипломниками, на что по младости лет так падки были другие аспиранты, и, напротив, щепетильно отмечал всякий проблеск самостоятельной мысли, малейшую находку.

Потом Гудзий пристроил его принимать зачеты, и Марк, хотя был горд этим, застенялся, будто надел мантию не по чину. Студенты повалили к нему толпой: спрашивал он внимательно, но зачет выставлял и за самый жалкий ответ. Видно, слишком свежо было воспоминание, как сдавал сам.

Тем, кто мало его знал, он мог показаться человеком слишком мягким, созерцательным, уступчивым. Но это было следствием его душевной деликатности: боязнь причинить неудобство или огорчение, показаться навязчивым и т. п. В этом было высокое уважение к личности собеседника.

Его темперамент полыхал в его статьях, и он же вырывался наружу в застольном дружеском веселье, в песне, в споре.

Марк Щеглов любил и хорошо знал музыку. Бетховен, Шопен, Моцарт — и не только в самых известных вещах — были ему своими. На стене его комнаты висел портрет Скрябина, которому он поклонялся. Но в его отношении к музыке, в выборе жанров ее не было никакого снобизма. «Что поделает, — говорил он со вздохом, — если мне нравятся и Бетховен, и хороший джаз. Я обожаю «Токкату» Баха, но мне нужны и песенки Монтана».

Разговор этот шел, вероятно, в 1955 году, и он разделял вместе со всеми увлечение этим шансоном — первым, кого мы узнали в этом роде. Ему нравилось, как просто, слегка заикаясь, рассказывает о нем по радио Образцов. «Удивительно, — говорил Марк, — ведь Монтан поет песни на чужую музыку и слова, а кажется, что это только сейчас родилось, и все в этой песне принадлежит ему. Как это сразу появляется композитор, поэт и певец, чтобы получилась именно эта песня». И Марк напевал тихонько: «C'est à l'aube, c'est à l'aube...» Эта песня «На рассвете», в которой говорится о раннем, предутреннем часе, когда расстаются влюбленные и преступника ведут на казнь, особенно нравилась ему.

Трудно рассказать о том, как пел он сам, но и забыть этого нельзя. Он не обладал большим голосом, а привораживать умел. Пел он русские народные песни, пел романсы «Не искушай...» и «Ночи безумные», любя разводить их на два голоса, пел и студенческие, самодельные, шуточные — «Зеленые глаза», «Ночь беззвездна, думать поздно»... Гитара ходила в его руках, голос, глуховатый вначале, становился звонким и сильным, пальцы выделяли лихие аккорды, и он кончал песню на какой-нибудь особенно звенящей теноровой ноте.

Музыкальность его была безупречной. Как-то лопнули струны на гитаре, что висела у него за шкафом. Он снял со стены балалайку — гриф ее треснул и был связан какой-то тряпочкой — и еле слышно завел: «Светит месяц, светит ясный...» А потом звонче, быстрее, звонче, быстрее, и вдруг пошли такие коленца, что я ахнул. Никогда не знал, что он и это может.

Мы были с ним на вечере сонат Скрябина в Малом зале консерватории. Концерт был удачный. Марк плавал от удовольствия в своем кресле. А когда спускались по лестнице к выходу, он упал, выронил костыли, и они поехали вниз, дребезжа по ступеням. Я помог ему подняться, подобрал и подал ему костыли.

Всю обратную дорогу Марк был мрачен, неразговорчив, и когда я спросил его, не ушибся ли он, не повредил ли ногу, он досадливо ответил: «Разве в этом дело? Я же знаю, что испортил тебе все настроение от музыки».

Верный защитник реализма, Марк Щеглов не любил «простецкость», заурядное жизнеподобие в искусстве. В семинаре Гудзия много толковали о разрушении старой театральной условности в чеховской и поздней толстовской драме, о ее приближении к житейской реальности, полнейшему правдоподобию всех реплик и обстоятельств. И вот, встретив однажды Марка на улице в пору летних каникул и остановившись поболтать с ним, я по второму слову услышал: «А знаешь, все-таки самое главное в «Вишневом саде» не правдоподобие реплик и не утонченный психологизм». — «А что же?» — «Да сам вишневый сад». И он стал говорить мне то, что я не хочу пересказывать неточными своими словами, потому что потом мы все могли это прочесть в его статье о драматургии:

«Для того, чтобы передать в пьесе, скажем, историческую «смену», подобную той, которая изображена в «Вишневом саде», можно заставить персонажей «рассказывать» о прелести уходящих «дворянских гнезд», изобразить одно из них, но вот Чехов насадил за окнами усадьбы Раневских сияющий вишневый сад,

«прекраснее которого нет ничего на свете», заставил его присутствовать в каждой сцене — трепетать лепестками и звенеть птицами в начале пьесы и глухо падать под топором в последней; он поселил в доме душу этого сада и сделал ее «телесной», смеющейся, плачущей, декламирующей — в образе Ани, и вот уже «сад» — не просто «сад», а вся неисходная весенняя прелесть и грусть жизни, сияние и пение любви, заря будущего. Так взятый из жизни точный факт содержания пьесы (за долги продается вишневым сад) стал пленительным иносказанием и тем самым «правдой искусства».

Марк Щеглов готов был принять будничность как предмет изображения, но не как черту творчества. Красота формы, нарядность, оригинальность, даже эксцентричность подкупали его. Побывав на спектакле «Клоп» в постановке Плучека, он восхищался смелым гротеском мещанской свадьбы и сам, вспоминая эту сцену, пытался изобразить танцующего буденовца с дамой.

Последняя запись в зеленом блокнотике, который он взял с собой на юг, — цитата из О. Генри: «Фантазия — почти единственный данный искусству повод говорить правду». Это, может быть, последние слова, написанные его рукой.

Его терпимость, мягкость была хорошо известна, и в характеристике, которую дал ему при выпуске университет, как на единственный недостаток было указано: «В оценке людей и ошибок товарищей проявляет либерализм и мягкотелость, которые приводят его к принципиально неверным выводам. С этим недостатком ему надо активно бороться».

Странный упрек! Это правда, что Марк Щеглов был мягким, доверчивым, рассчитывающим на встречное добро человеком. Но он становился тверд и несговорчив, если дело касалось его принципов, литературной и личной чести. Никакие силы не заставили бы его поступиться своими задушевными понятиями или признать то, в чем он не был по совести убежден.

Он был нетерпим к литературной накипи, к приспособленчеству и неискренности в критике. Среди критиков, которых он не жаловал, было несколько особ женского пола — он называл их «парками» в память об известном мифологическом сюжете. Говорил, что они напоминают ему старух из «Жизни человека» Леонида Андреева: склонились над еще теплым телом литературы и зловеще шепчут над ним: «Умирает... умирает...»

Когда кто-нибудь жаловался при нем, что трудно победить рутину, противостоять закосневшим мнениям, часто весьма агрессивным в самозащите, Марк говорил: «Так надо делать хотя бы несомненности. Будем делать несомненности!»

Его «несомненностями» были — говорить правду, не кривить душой ни при каких обстоятельствах, помогать всякому, кому можешь помочь.

Если он узнавал о дурном поступке — личном или литературном, о тех способах и приемах, какими защищали себя порой ничтожные люди, прибившиеся к литературе, демагоги и рутинеры, он говорил: «Ничего. Мы их переживем. Мы их переживем».

Он рассчитывал жить долго и счастливо.

В его рукописях я нашел строчку неоконченного стихотворения:

Мне нужно от жизни
Самое малое
Не умереть ни разу...

Вот это ему не удалось.

У каждого серьезного критика, о чем бы он ни писал, есть своя основная идея, которую он то более, то менее явственно, но с удивительным постоянством несет в своих статьях, которая неразделима с его личностью и составляет, говоря словами Белинского, «пафос» его деятельности. Для Марка Щеглова этим пафосом была художественность как проявление человечности. Не борьба за мастерство — тогда многие, точно обрадовавшись находке, стали повторять это слово, —

а борьба за искусство, внимательное к человеку. Он как будто вернул критике способность любить литературу, восхищаться ею до дрожи в голосе. Отражение искусством жизни, социальные и нравственные проблемы — все это входило элементами в его критику, но по своей силе уступало одному — непосредственному эмоциональному впечатлению от искусства, ощущению искусства как праздника жизни.

Могут сказать, что в таком случае в этой критике есть своя неполнота, односторонность. Быть может. Но разве нет в ней и своих великих достоинств?

Перечитываю его статьи, думаю о нем.

То, что по специальности и начальным склонностям Марк Щеглов был историком русской литературы XIX века, оставило заметный след на всей его работе. Он заново сблизил в своих статьях критику и литературоведение, ломал перегородки, разделявшие изучение классики и современности. Отбросив обидную снисходительность по отношению к творчеству нынешних писателей, Щеглов мерил их теми же мерами, какими во все времена мерилось настоящее искусство. Он уничтожил в своей критике соблазн двух разных счетов в литературе: одного — признанно высокого — по отношению к литературе прошлого, другого — нетребовательного и сниженного — по отношению к нашим дням. Серьезная филологическая культура, тонкое понимание творчества Толстого, Тютчева, Глеба Успенского, Чехова сообщали как бы иной масштаб и вес его суждениям о литературной современности.

А с другой стороны, его статьи о классическом наследстве, споря с духом школярского сухоядения, академического самодовольства, ложной мудрости, приблизились к живому, для читателей, «для народа читателей», как говорил Щеглов, роду критической литературы.

Последние слова взяты мною из набросков к его несостоявшемуся выступлению на дискуссии о Маяковском весной 1953 года. «Я выступаю здесь, — хотел сказать тогда Марк Щеглов, — не как критик-маяковед и не как поэт-маяковист, не только потому, что не могу считать себя профессионалом в одной или другой области и никогда специально не работал над творчеством Маяковского, но и потому, в основном, что резко настроен против всякой монополизации имени великого поэта в такой наивной форме, как это порою у нас бывает. Я выступаю здесь тем не менее вполне ответственно, как читатель стихов, как один из целого народа читателей, беззаветно полюбивших поэта Маяковского с тех самых пор, когда впервые был выучен наизусть какой-нибудь его смешной детский стишок и — на всю жизнь».

Надо ли говорить, что Щеглов глубоко уважал настоящее специальное знание, как полное владение предметом, но с иронией относился к «узким специалистам» в области литературы, маскировавшим свою бездарность претензиями на академизм и «птичьим», по выражению Герцена, языком.

Сам Щеглов писал увлеченно, отдаваясь волне непосредственного порыва, заражая читателей не только мыслью, но эмоциональным своим настроением. Если книга действительно нравилась ему, то он так самозабвенно уходил в созданный художником мир, что в его собственной речи безотчетно начинали звучать интонации разбираемого автора, будь то Лев Толстой, Есенин или Леонов. Особенность чужого слога, мировосприятия писателя он умел передать с почти физической осязательностью.

Но не прав был бы тот, кто решил, что его критика оставалась вследствие этого лишь критикой эстетической. Его оценками книг, стихов, пьес правил в конечном счете общественный темперамент, чутье правды.

Щеглов не прощал в искусстве приукрашивающей лжи, иллюстративности и того, что он называл «недостаточной воспитанностью идеала». Многие его литературные характеристики остались в памяти как примеры острой публицистики. Стоит вспомнить хотя бы его блестящий очерк характера Грацианского в статье о «Русском лесе», несущий заряд ненависти ко всем новейшим формам социальной мимикрии.

Шагнувший в критику прямо с университетской скамьи, Марк Щеглов принес с собой прямоту и горячность студенческих обсуждений в общежитиях, на семинарах, в научных кружках. Он будто знать не хотел никаких чинов и рангов в литературе, стоял как бы вне внутренних литературных отношений, пристрастий и «соображений», и это придало авторитет независимости его слову.

Никакие самые громкие литературные имена, созданные прошлыми заслугами, не должны спасать авторов бедных содержанием книг от беспристрастного критического суда над ними, говорил когда-то Чернышевский в своей незаслуженно забытой статье «Об искренности в критике». Верный этому завету, Марк Щеглов не робел сказать по справедливости суровые слова и обеспеченному до конца дней славой беллетристу, и драматургу, ставившему свои пьесы во всех театрах страны и привычно неуязвимому для рецензентов. Не могу сказать, чтобы это нравилось критикуемым авторам, но критику помогло завоевать добрую репутацию у читателей.

Конечно, Щеглову приходилось порой высказываться и по поводам не слишком крупным, иметь дело с книгами преходящего значения и даже вовсе недостойными его суда. Он терпеливо занимался тем, что сам называл «литературной поденщиной». Но зато какую свежую силу, энергию увлечения получало его перо, когда он сталкивался с книгами, действительно стоившими серьезного литературного разбора!

Марк Щеглов выискивал такие книги, и если не находил их в текущей литературе, охотно обращался к нестаряющему литературному наследию, в том числе и совсем недавнему. Сейчас уже почти забыто, что статьи Щеглова «Есенин в наши дни», «Юрабли Александра Грина», «Спор об А. Блоке» были актом нового утверждения в сознании читателей этих имен, после долгого замалчивания вернувшихся в советскую литературу. «Наша социалистическая культура, крепко став на ноги, не может пренебречь ни единым правдивым человеческим свидетельством эпохи революционной ломки, тем более таким чутким и бескорыстным, как поэзия С. Есенина», — писал Марк Щеглов. Стоит вспомнить, что эти слова, кажущиеся ныне такими бесспорными, несли в себе в пору их написания острый полемический смысл.

Марк Щеглов умер слишком рано, и трудно предсказать, в каком направлении развился бы дальше его талант. Но думаю, он навсегда сохранил бы в себе ту любовь к литературе, ту честность, горячность и прямоту, какие отличают все лучшее, что им написано.

Последнее, что он читал в поезде по дороге на юг, был роман «Не хлебом единым», только что появившийся тогда в журнале. Он не успел дочитать книгу Дудинцева и не успел ничего написать о ней. Подумать только, так недавно это было, а какой далекой историей уже кажется!

Без Марка Щеглова взошли в прозе и поэзии новые имена, появились замечательные книги. Без него узнали читатели Айтматова и Быкова, Залыгина и Белова, Семина и Домбровского, Астафьева и Бакланова, — не говоря уж о более «дискуссионных» авторах. Без него вернулись к нам книги Бабеля и Платонова, Заболоцкого и Цветаевой. Без него мы впервые прочли прозу Булгакова. Без него спорили о «деревенской» теме и «четвертом поколении», о мемуарах Эренбурга и молодых поэтах, о неделимой правде и высоком гуманизме.

Обо всем этом он мог написать, наверное написал бы, и написал бы лучше нас.

В начале мая 1956 года Марк был у меня на домашнем празднике. Он был весел, как обычно пел, шутил, рассказывал. Гости разошлись мало-помалу, а он остался один и долго, с удовольствием пил чай у открытого окна, пока со стола убрали посуду. Но поднялся со стула и заковылял как-то с трудом, а потом признался, что не хотел уходить вместе со всеми, чтобы не стеснять своей малоподвижностью веселой молодой компании. Я вышел его проводить, и тут на

лестничной площадке он вдруг сказал мне: «Это, может быть, последнее мое лето».

В середине августа в душный летний день мы случайно столкнулись с ним под липками у университетской ограды на Моховой. Я только что вернулся из Прибалтики и был уверен, что он на даче. Оказалось, все лето он просидел безвыездно в раскаленной солнцем Москве, много работал и теперь мечтал уехать к Черному морю. Мы условились встретиться сразу же по его возвращении из Анапы.

Хочу привести теперь отрывки из двух писем, оставшихся в его бумагах. Одно он получил перед отъездом на юг из Москвы, другое написал сам, но не успел переписать набело и, видно, раздумал отправлять.

«Дорогой Марк Александрович! — писал ему Эм. Казакевич. — Ваша статья о драматургии кажется мне произведением зрелого ума и нешуточного таланта... При чтении я испытывал восхищение, давно уже не сопутствовавшее чтению критических статей. Что говорить! Думаю, что в Вашем лице советская литература — может быть, впервые — приобретает критика выдающегося. Я не боюсь сказать Вам это: глубокий ум, который Вы так блестяще обнаруживаете, легко оградит Вас от самодовольства перед лицом чьих бы то ни было похвал — моих или людей более значительных, чем я».

Второе письмо — ответ Марка Шеглова своей читательнице, школьнице из Тбилиси Джульетте Чавганидзе:

«Дорогая Джульетта, Ваше письмо я прочитал давно, потом куда-то его засунул и только теперь извлек и перечитал со вздохом...

Вы, вероятно, и не помните того, что наговорили мне? Будто все мы — критики какой-то «группы Померанцева» — в прошлом хорошие люди — сейчас отступили; что для меня лично это отступление началось с неполюбившейся Вам чем-то рецензии на Бианки и закончилось позорной статейкой «Приговор народа»; будто бы я выдумал себе какую-то «отвратительную» позу «отверженного рыцаря»; что вообще я ничтожный трус и ренегат...

Вы думаете, что все это было мне приятно читать? Первое Ваше письмо было куда приятнее... Единственное, что все-таки составляет для меня бочку меда на ложку дегтя в Вашем письме — это сознание того, что ты здесь что-то царапашь, изредка печатаешь, порою даже не придавая тому значения, а где-то далеко требовательная и суровая девочка все читает и ничего не прощает...

Не надо унывать, Джульетта, и не надо ничего оплакивать. Мы живем в необыкновенное, суровое, полное нежданного-негаданного время. Думайте о серьезном, ничего не бойтесь, будьте всегда честной и любите людей.

Когда я вижу, сколько на свете чудес, сколько любви, хороших людей, дорогих слов, картин, музыки, когда я знаю, что стоит только позвать и — сколько всех нас откликнется! — то можно ли из-за того, что в литературе сейчас, скажем, невесело и принижено, можно ли из-за этого терять голову! Все будет хорошо!

Не бойтесь, Джульетта, я напишу когда-нибудь, может быть скоро, статью, которая и Вам понравится. Вы не станете меня так жучить, как в своем последнем письме...

А статья о Бианки все-таки одна из моих любимых, и Вы здесь не правы, я думаю. Всего доброго Вам. Пишите, если захотите. Зовут меня Марк».

Джульетта хотела встретиться и поговорить с Марком, но она приехала в Москву и отыскала его квартиру в Электрическом переулке, когда его уже не было в живых...

Представляю и не могу представить ее лицо, когда она прочла это адресованное ей и не отправленное письмо.

После смерти Шеглова вдруг стали одна за другой появляться его статьи, рецензии, исследования. И долго еще не иссякал этот поток посмертных публикаций. Среди них были статьи о Грине и Вс. Иванове, предисловия к книгам польского

классика Крашевского и переписки Толстого с Чертковым, рецензии в «Новом мире» и «Дружбе народов», статья «Поэзия обыкновенного» в «Молодой гвардии», большие исследования «Верность деталей», «Реализм современной драмы», «Очерк и его особенности». Всего этого Марк не увидел напечатанным. Его давно уже не было в живых, но оставалось впечатление, что он еще продолжает писать и откликаться на события литературной жизни, как один из ее участников.

Я точно помню тот вечерний час и тот перекресток улиц у библиотеки Ленина, где, перейдя мостовую до средней белой черты и пережидая транспорт, я поздоровался со своим знакомым, который, подойдя ко мне, будто невзначай сказал: «Ты ведь слышал, конечно, что Марк Щеглов умер?» Я не сразу понял смысл его слов. «Как? Когда?» Я слушал его и не понимал и поверить не мог в то, что слышу. Мы долго стояли посреди улицы, мимо мчался поток машин, он что-то втолковывал мне, что-то объяснял, говорил о какой-то телеграмме из Новороссийска, строил свои предположения, а я едва слышал его, и у меня в висках било: Марк умер... Марк умер...

А умирал он так. Неонила Васильевна рассказывала о его последних днях, заново переживая час за часом его гибель. Анапа сначала не понравилась ему — скучный, пыльный, жаркий город. Но он взобрался на высокий берег, откуда открывалась панорама моря, и как-то вдруг утешился, повеселел. Желтые и коричневые краски береговой полосы и бесконечная морская синева напомнили ему что-то свое. «Настоящий гриновский городок, мама», — сказал Марк.

Накануне болезни под вечер они ездили на катере на морскую прогулку. Марк стоял на носу, соленые брызги долетали до него, и он долго, до головокружения вглядывался в морскую пучину, свесив голову и следя за разводами пены под самым носом маленького корабля. Домой он вернулся довольный, но вечером заснуть никак не мог. Немного побаливала голова, быть может оттого, что на катерке все время крутили пластинки через радиорубку. Пришли домой — и там до поздней ночи из городского сада доносилась прилипчивая мелодия входившей в моду песенки «Джонни ит з бой фор ми... и...».

На другое утро Марк рано ходил купаться, позавтракал и сел за статью о рассказах Лаврова и за письмо в отдел критики «Молодой гвардии» — А. Туркову и З. Крахмальниковой. Письмо это опубликовано. В нем Марк писал:

«Сделав усилие между утренним и вечерним пляжем (умирайте от зависти!), я перечитал напоследний раз свою статью. Из-за солнца, должно быть, я с большим трудом припоминаю, что же, собственно, мне нужно было в ней еще изменить. Мне легче дерзить на расстоянии, но, честное слово, я не могу согласиться, что на деле, а не на словах в статье существует противоречие между первой и второй ее половинами. Это только одна видимость, ибо если я заставляю Лаврова взглянуть глубже на причины житейского страдания и сделать попытку опровергнуть устои того, на чем держится в его рассказах все счастье и несчастье (см. стр. 15—17), то это не значит, что я солидарен с теми, которым претит самый мир рассказов И. Лаврова, которые брезгают коркой хлеба и коммунальной квартирой..»

И еще одно скажу, мне, удивительное дело, статья эта начала нравиться. Тут есть что-то особенно дорогое — не Лавров, а общие слова, которые касаются, как кажется, самого важного сейчас и в литературе и в жизни. Плохо ли, хорошо ли, но это и а п и с а н о, и неужели же вы, орган вольной русской прессы, выставите меня вон!

В моем письме зазвучали рыдания и поэтому надо кончить.

Как-то вы живете там, в этом Вавилоне? Слушаем по радио метеосводки: дождь, дождь. Жалкие и несчастные маленькие люди, знайте, что здесь на этом берегу каждый день 30° с гаком и море синее (как очи Зои Крахмальниковой,

сказал бы я, но боюсь ошибиться в цвете). Всего хорошего. В Москве буду 20 числа. М. Щеглов».

Марк заблуждался. Видимо, ему трудно было перечитывать статью и припомирать замечания редакторов не из-за солнца. Когда мать вернулась с пляжа, во круг Марка хлопотали соседи. Ему вдруг стало не по себе. Он лежал на кушетке и просил пить. К вечеру температура подскочила до 40°, и начались ужасные три дня.

В больнице не сразу поставили диагноз. Думали, что он чем-то отравился, давали желудочные лекарства. А мать бегала под палящим солнцем по городу и искала для него минеральную воду — так велел врач. Потом появились подозрения на менингит. Сделали один укол стрептомицина. На второй день к вечеру ему стало лучше, и он думал даже, что скоро выйдет из больницы, просил принести домашнюю одежду. Но наутро, когда мать пришла в больницу, то еще в коридоре услышала отчаянный крик: «Няня!..» Это кричал Марк, кричал громко, надрывно, как было непривычно для него. Ему опять стало хуже. Голова разламывалась от боли. В Анапе не оказалось больше стрептомицина или его не решались вводить прямо в позвоночный столб, как нужно было, не знаю. Но только единственный выход оставался — ехать в Новороссийск: там был туберкулезный диспансер, стрептомицин, врачи-специалисты.

С трудом договорились с шофером больничной машины и долго торговались с санитаркой из-за одеяла, на которое хотели уложить Марка: никак не желала она отдавать неведомо куда казенное имущество. Была уже половина десятого, ранние южные сумерки спустились. А мать с Марком все еще не могли уехать, не было разрешения врача. Дежурный врач заседал в это время на одном собрании, которое никак не мог покинуть. Когда он вошел к себе в кабинет, мать Марка бросилась к нему с какими-то упреками, но он оборвал ее: «Что же вы думаете, что мы бюрократы или просто так время проводим?» — «Читайте «Ухабы» Тендрякова», — закричала ему Неонила Васильевна, — не зря она была матерью Марка Щеглова.

Потом, по дороге в Новороссийск, на тряской машине, придерживая обеими руками голову сына, она рассказала ему об этом разговоре. «Так их, мама, бей их литературой», — отозвался Марк.

Наверное, каждое слово стоило ему в тот час больших усилий, — и в этой фразе для меня — весь Марк: и горький юмор его, и сознание надвигающегося конца, и желание успокоить, подбодрить мать.

Еще в дороге он начал бредить. Ночью в палате новороссийского диспансера потерял сознание. На другой день утром 2 сентября 1956 года Марк Щеглов умер.

В Москве была получена телеграмма. Она лежит передо мной сейчас, когда я пишу эти строки: «ЩЕГЛОВ МАРК СКОНЧАЛСЯ. 3 СЕНТЯБРЯ ХОРОНИМ НОВОРОССИЙСКЕ». Телеграмма была без подписи, и это дало повод некоторое время думать, не ошибка ли это телеграфа, не мистификация ли это. В смерть его поверили не сразу.

На другой день, оправившись после первых часов растерянности и горя, товарищи Марка, все, кто близко знал его и любил, решили собраться, чтобы обдумать, как точнее узнать о похоронах, что сделать для матери, как быть с литературным его наследством. Звонили по телефонам, передавали по цепочке: все, кто хочет сделать что-нибудь для памяти Марка Щеглова, все соберутся сегодня у памятника Ломоносову во дворе аудиторного корпуса на Моховой в 7 часов вечера.

Мне казалось, я буду раньше всех. Но придя к подножию вечно линиявшего от непогоды и посезонно обновляемого Ломоносова, я увидел там собравшихся людей, которые стояли поодиночке и маленькими группами, тихо переговариваясь. Утраты всегда тяжелы, но тут было другое: без Марка пустее стало в душе у

каждого, пустее стало на земле. Плохо различимые в холодных сентябрьских сумерках, всё подходили и подходили люди в осенних пальто, с поднятыми воротниками: Виталий Сквозников, Феликс Светов, Вера Максимова... Мне казалось, я знал всех близких знакомых Марка. Но сколько же оказалось у него неизвестных мне друзей!

Прошли годы, а этот круг все растет и растет, и сегодня, когда двенадцать лет минуло с его смерти, он шире, чем когда-либо прежде. Люди читают и перечитывают его статьи, его посмертно изданную книгу, его «Студенческие тетради» — и хотят знать о нем больше.

«В искусстве есть вечные юноши,— писал Марк Щеглов в статье о Есенине.— Когда-то в Италии певца Собинова звали не иначе, как «этот юноша». В поэзии Есенина тоже увлекательно и свежо звучит звонкий и нежный юношеский тенор, хватающий за душу, и, как говорится в тургеневских «Певцах», «за самую русскую ее струну»...

Марк подарил мне однажды журнальный оттиск этой своей статьи с надписью: «Будь и ты вечным юношей».

Великодушный друг! Я, когда-то младший твой товарищ, ныне по годам уже старше тебя и возвращаю тебе эти слова, так полно отвечающие твоей судьбе.

«Вечным юношей» останется Марк Щеглов в нашей памяти.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ГУЛЫГА,

доктор философских наук



ПУТИ МИФОТВОРЧЕСТВА И ПУТИ ИСКУССТВА

(Заметки социолога)

Миф — модное слово. Загадочное, таинственное, многоликое, оно звучит на страницах литературной критики иной раз уже и просто как заклинание, вызывая непреборимую потребность добрать-ся наконец до его смысла. Последнее, однако, не так просто.

Действительно, откроем, к примеру, книгу В. Днепров «Черты романа XX века». На странице 160 читаем: «Миф представляет собой переработку действительного события в народной фантазии. Миф не сочиняется, он кристаллизуется, обкатывается в массовом воображении, как обкатывается камень в набегающих волнах моря». В Днепров говорит об этом в связи с проблемами творчества Кафки; поскольку последнему чужды фольклорные мотивы, его творчество, уверяет критик, к мифологии отношения не имеет. «Внутренняя связь с жизнью массы — неотъемлемое свойство мифа. Образы же Кафки — плод субъективности, потерявшей контакт с массой и трагически переживающей свою оторванность, одиночество и обреченность. Именно из крайней субъективности возникают сдвиги и смещения реальных отношений в образах Кафки. В мифе явственно запечатлелись желания и мечты народов, он понятен и старому и малому, и тысячу лет назад и сейчас, он доступен всем. У Кафки же множество образов, несмотря на инфляцию комментариев, продолжают оставаться загадочными и непонятными... Приравнивание поэтики Кафки к поэтике мифа основано на внешних аналогиях...»

Откроем другую книгу: «Миф — это кон-

кретное и олицетворенное выражение сознания недостающего, того, что еще предстоит сделать в еще не освоенных областях природы и общества... Реализм нашего времени — это творец мифов». Речь, кстати, тоже идет о Кафке; автор считает его современным мифотворцем.

Откроем третью книгу — «Современные проблемы реализма и модернизма». По мнению Д. Затонского, цель мифов — «обобщить, «универсализировать» некие основные и извечные человеческие состояния — отчаяние, одиночество, неустроенность, ожидание неминуемого несчастья». В виду, конечно, и здесь имеется Кафка, в образах которого критик усматривает характерный пример современной мифологии. Если для одних Кафка мифотворец со знаком плюс, то для Д. Затонского — со знаком минус. В первом случае миф — это «хорошо», во втором — «плохо». При этом Д. Затонский знает Кафку достаточно хорошо — он, можно сказать, ветеран отечественного «кафковедения». Еще десять лет назад выдвинул он концепцию, согласно которой Кафка находится «объективно в лагере самой махровой реакции»¹. По его убеждению, «Кафка... отрывает форму от содержания, отрывает потому, что делает форму не его носителем, а своего рода «эрзацем», потому, что отчуждает искусство от действительности, от правды жизни, которая и есть его истинным со-

¹ «Иностранная литература», № 2, 1959, стр. 207.

держанием»¹. В глазах Затонского творчество Кафки — «сражение с собственной тенью, которая застит весь мир»². Отсюда ясно, что оценка «плохо» за мифотворчество у Д. Затонского получена Кафкой не случайно.

Впрочем, Д. Затонский способен ставить и другие баллы. «Хорошо» за миф получает у него «Кентавр». «Роман Апдайка стал метафорическим романом. Но не перестал быть реалистическим. Миф служит действительности. Он не снимает ее, не идеализирует, а лишь просвечивает глубины, в которых зреет будущее — человеческое и человеческое»³.

Три автора — четыре точки зрения. И это еще далеко не все. По подсчетам знатоков, существует не менее пятисот определений мифа. Как видим, есть отчего если не прийти в уныние, то во всяком случае насторожиться.

Что же такое в конце концов миф? Может быть, это не термин науки, а просто слово, обладающее огромным множеством значений, из которых каждый волен выбирать то, что больше ему по вкусу?

Постараемся показать, что это не так. А заодно попытаемся уяснить хотя бы отчасти и то, в каких же все-таки отношениях находятся в наш век мифотворчество и искусство. Для этого, правда, нам придется сделать несколько экскурсов как в далекое прошлое, так и в некоторые сферы современной действительности.

1. Первобытный миф и мифология XX века

В обиходе представления о мифологии совпадают с тем, что рассказывали древние греки о своих богах и героях. Изданный для широкого употребления «Мифологический словарь» примерно так и ограничивает свой предмет. Однако в более широком смысле

слова миф — самостоятельная форма сознания, возникающая раньше религии и более живучая, чем она. Не случайно известный французский этнограф Люсьен Леви-Брюль, начиная свою книгу о первобытной мифологии, призывает читателя отвлечься во избежание недоразумений от традиционных толкований: «Наши сведения о классической мифологии и ее роли в античных цивилизациях вряд ли будут нам здесь полезны; они могут даже ввести нас в заблуждение, когда дело идет о мифах и их функциях в так называемых первобытных обществах...»¹.

Мифологическое мышление — наиболее примитивная форма сознания, первая его исторически сложившаяся форма. Маркс и Энгельс называли подобное сознание «стадным», «бараньим»².

Стадный характер этого сознания проявляется прежде всего в том, что человек еще не имеет своего собственного духовного мира, он живет общими для рода, для племени представлениями. Такого типа представления об окружающем мире носят характер образов, слитых воедино с переживаниями и волевыми импульсами. То, что в нашей психике представляет собой хотя и взаимосвязанные, но все же самостоятельные сферы, в первобытном сознании не расчленено. Поэтому-то нам и трудно воспроизвести во всей их живости коллективные мифологические представления первобытного человека. Специалисты говорят, что в известной мере их напоминает лишь состояние толпы в зрительном зале при крике: «Пожар!» Миф — порождение первобытного коллектива, примитивного группового сознания, но, с другой стороны, миф — сила, сплачивающая людей воедино, скрепляющая первобытный коллектив.

Итак, мифология возникает на самых ранних ступенях социального развития, когда человек не только не осознает себя как личность, но и вообще не способен выделить себя из окружающей среды. И с этим связана одна из ведущих, коренных особенностей мифологического сознания, которая состоит в том, что на стадии мифологического сознания весь мир представляется первобытному человеку как нечто единое с ним. Природа противостоит человеку как чуждая сила, но

¹ Д. Затонский. Век двадцатый. Заметки о литературной форме на Западе. Издание Киевского университета. 1961, стр. 188. (Падежные окончания оставлены нами без изменений. Свою тираду автор заканчивал цитатой из иностранного источника: «Идти за Кафкой, со всеми вытекающими отсюда последствиями, — значит порвать всякие связи с жизнью».)

² «Вопросы литературы», № 2, 1968, стр. 132.

³ Там же, № 9, 1968, стр. 161.

¹ Л. Леви-Брюль. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М. 1937, стр. 255.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 30.

он не осознает этого и все сущее принимает за должное.

Вот почему первобытная мифология, как это давно уже замечено, отличается удивительной бессистемностью и внутренней противоречивостью. Безразличие первобытных людей к противоречию, по словам Леви-Брюля, «является одной из черт, в которых наиболее наглядно сказывается контраст между их мыслительными навыками и нашими. Несомненно, структура человеческого разума в основном везде одинакова. Когда первобытные люди имеют живое и отчетливое чувство противоречия, последнее беспокоит их не меньше, чем нас, и они отшаркивают его с той же решительностью, как и мы. Однако одна из отличительных особенностей их мышления заключается как раз в следующем: часто то, что, на наш взгляд, является противоречивым, им вовсе не кажется таковым»¹.

Способность находить в рассуждениях противоречия и избавляться от них — свидетельство определенной интеллектуальной зрелости, определенного критического отношения к действительности. Миф же — примитивная форма апологетики. Миф исполнен благоговения к миру. В нем откладываются первые крупницы знания, но в целом миф имеет к познанию весьма слабое отношение. Это модель не столько мира, сколько поведения, его чисто иллюзорный регулятор.

Отсюда вытекает и другая важнейшая черта мифологического сознания. Мифологическое мышление еще не способно провести различие между естественным и сверхъестественным, и этим, кстати, миф отличается от религии. Любому виду религии свойственна (прямо или косвенно, явно или скрыто) вера в сверхъестественное. Для религиозного человека как бы существуют два мира: один — видимый, осязаемый, подчиненный законам, другой — мир невидимых, потусторонних сил. Первобытный человек не знает подобного раздвоения, перед ним — один-единственный мир. Религиозный человек дополняет свои реальные действия ритуальными формулами и обрядами, рассчитанными на то, чтобы привлечь милость божества. Первобытный человек знает только один-единственный образ действия, где магический ритуал и реальный поступок слиты

¹ Л. Леви-Брюль. Сверхъестественное в первобытном мышлении, стр. 259.

воедино. Так, отправляясь на охоту, туземец Новой Гвинее не призывает на помощь своих мифических предков — великих охотников, он просто отождествляет себя с ними. Чтобы быть удачливым в делах любви, мужчина дает себе имя Марай, тайное имя луны. В мифе луна — неотразимый мужчина, и, принимая имя Марай, любовник уверен, что стал луной. Он не просит у Марай помощи, он думает: «Я Марай собственной персоной, и я овладею женщиной».

Подобный строй мысли Т. Манн называл «мифологическим отождествлением» и видел в нем характернейшую черту древнего сознания, пережитки которого проникают в позднейшие времена. В качестве примера он указывал на поведение Наполеона, который сожалел, что современный тип мышления не позволяет ему подобно Александру выдать себя за сына Юпитера-Амона. «Но нет никакого сомнения в том, — писал Т. Манн, — что в период восточного похода он мифологически отождествлял себя по крайней мере с Александром. А когда позднее он решительно посвятил себя Западу, то заявил: «Я — Карл Великий». Обратите внимание — не «Я похож на него» или «Наши судьбы аналогичны», или даже «Я, как он», а именно «Я — это он». Такова формула мифа»¹. Миф не знает категории времени, для него не существует перемен. Жизнь в мифе — вечное повторение, «жизнь — цитата» (Т. Манн).

Миф — форма культового сознания. Но, повторяем, в отличие от религиозного мифологический культ носит «естественный» характер. В мифе человек поклоняется силам, с которыми он отождествляет себя, и это чувство сопричастности мировому целому вселяет уверенность в успехе любого предпринимаемого дела.

Существует ли, возможно ли мифологическое сознание в современном мире? Увы, существует. И обладает некоторыми весьма сходными с первобытным мифом отличиями

¹ Th. Mann. Gesammelte Werke. B. 1955. Bd. X, S. 517.

О мифе Т. Манн писал в статье, посвященной Фрейдю. Это не случайно: миф — самая низшая ступень сознания, теснейшим образом связанная с подсознанием. Фрейд видел в отождествлении черту сходства между первобытной и детской психикой. Современные исследователи детской психологии экспериментально доказывают, что отождествление служит первой формой ориентировки ребенка.

тельными чертами, хотя и на иной основе. Так, в современном мифе тоже нет, к примеру, веры в сверхъестественное. Знаток проблемы французский социолог А. Сови справедливо подчеркивает: «В большинстве случаев это примитивные представления об имеющихся фактах, которые видоизменяются в ходе углубленного анализа предмета»¹.

Маркс отмечал, что «всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения; она исчезает, следовательно, вместе с наступлением действительного господства над этими силами природы». При чем «здесь под природой,— подчеркивал Маркс,— понимается все предметное, следовательно, включая и общество»².

В XX веке невозможно мифологическое отношение к природе: человек уже во многом господствует над ее стихией. Но в условиях капитализма стихия социальных сил продолжает господствовать над ним, зачастую даже в более жестких формах, чем ранее. Перед социальной стихией человек современного антагонистического общества нередко столь же бессилён, как дикарь перед лицом природы. И как дикарь, он может не осознавать этого. Быть рабом и считать себя господином. Здесь-то и кроется главная причина существования мифологического мышления в наши дни — в форме заново создаваемых, искусственных мифов. Мифология древняя возникает в до-религиозном сознании, она входит затем в состав религиозных систем. В наши дни мифология существует либо как составная часть религии, либо снова самостоятельно. Кризис религии при отсутствии развитого научного взгляда на социальную жизнь приводит в условиях современного эксплуататорского общества к возникновению новой мифологии.

Маркс писал о современной мифологии в одном из своих писем к Зорге. Это было в 1877 году; компромисс социалистов с ласальянцами, отмечал тогда Маркс, ведет к компромиссу с другими половинчатыми элементами, в том числе с «целой бандой незрелых студентов и преумнейших докторов», которые стремятся заменить материалистическую базу социализма «современной ми-

фологией с ее богинями справедливости, свободы, равенства и братства»¹.

Современный миф создается в сфере умственного труда, затем внедряется в массовое сознание отнюдь не без участия сил, сознательно стремящихся к этому внедрению. Но он, так же как и прежде, невозможен без существования того «стадного», «бараньего» сознания, которое порождается социальной стихией. Вот почему если науку и философию создают интеллигенты, то миф вынашивается обычно полунинтеллигентами, недоучками, усвоившими лишь внешние признаки образованности. Миф ныне — плод не столько полного невежества, сколько полубразования; приравливаясь к запросам времени, он может принять наукообразную форму, но за квазинаучной фразеологией всегда скрывается его внутренняя пустота. Так же как и прежде, он иллюзорный регулятор поведения, основанный не на знании, а на предрассудке. И если учесть, что средства современной массовой коммуникации позволяют легче, чем когда бы то ни было, манипулировать сознанием обывателя и делать любую иллюзию всеобщим достоянием, то станет понятно, почему одержимость создателей современных мифов, помноженная на духовную инертность масс, способна превратить миф в опасную социальную силу.

Массовое движение невозможно без цементирующей его идеологии. Но при отсутствии научного мировоззрения место его как раз и может занять миф, иррациональный образ, способный сплотить и воодушевить людей. Так было и в древности, и в средние века. Так бывало и в XX веке. И все еще бывает.

Более того, возможности возникновения в наш век массового социального мифа не только не уменьшаются, но, пожалуй, многаяжды увеличились. Быстрый рост населения, процесс урбанизации привели к концентрации огромного количества людей на малых пространствах. «Города переполнены людьми, дома — жильцами, гостиницы — приезжими, поезда — пассажирами, приемные врачей — пациентами; театры и кино, если они хотя бы мало-мальски современные, кишат зрителями, курорты — отдыхающими. То, что ранее не составляло проблемы, те-

¹ А. Sauvy. *Mythologie du notre temps*. Paris. 1965 p 8

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 737.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 34, стр. 234.

перь непрестанно волнует людей: найти место¹. Если не в буквальном, то в переносном смысле: найти место в жизни, не потонуть в огромном людском потоке, так или иначе определить ориентиры своего поведения.

В наши дни массовые движения достигли невиданного ранее размаха. Ортега-и-Гассет, из книги которого заимствована приведенная выше цитата, назвал усиление человеческой активности в XX веке «восстанием масс». Марксизм дает более четкую формулировку: возрастание роли народных масс в историческом процессе.

Известно, что народ — творец истории. Однако, к сожалению, он иногда не ведает, что творит. Народные массы могут оказаться во власти мифа, ведущего их по ошибочному пути. «Миф и масса принадлежат друг другу»², — утверждает один современный автор. Только в том случае, добавим мы от себя, если во главе масс не стоит авангард — носитель революционной теории. Но когда этого нет, миф действительно может грозить человечеству бедами, последствия которых трудно исчислить.

Посмотрим же на некоторые из наиболее характерных, массовых современных мифов в буржуазном обществе, и пусть это поможет нам трезвее и строже взглянуть на действительное отношение современного мифотворчества к творчеству художественному, на его способность быть «арсеналом» современного искусства — проблема, которая, к сожалению, слишком часто исключается из поля зрения людьми, привыкшими к бездумному манипулированию модным словом «миф».

¹ J. Ortega y Gasset. Der Aufstand der Massen. Hamburg. 1965, S. 7.

² H. Barth. Masse und Mythos. Hamburg. 1959, S. 70.

Книга Барта представляет собой изложение взглядов анархо-синдикалиста Жоржа Сореля, еще в начале века выдвинувшего идею всеобщей стачки как мифа, способного повести массы на свержение капитализма. Мифы, разъяснял Сорель, не параграфы программы, над осуществлением их в будущем не следует ломать голову. «На эти мифы нужно смотреть просто как на средство воздействия на настоящее, и споры о способе их реального применения к течению истории лишены всякого смысла» (Ж. Сорель. Размышления о насилии. М. 1907, стр. 57.). Сорелю принадлежит афоризм: «Дайте мне миф, и я переверну человечество». Муссолини считал себя учеником Сореля.

2. Тоталитарный миф

Итак, социальный миф в современном капиталистическом мире — это «стадная идеология», сознание толпы, слепо повинующейся возникшим в ней или внушенным ей предрассудкам, неспособной критически осмыслить ни побудительных мотивов своих поступков, ни их последствий. Мы являемся свидетелями парадоксальной ситуации: в эпоху, когда повсюду господствует строгое знание, в социальной области действия людей подчас направляют дикие, бредовые идеи. Парадокс состоит в том, что прогресс науки и техники создает одновременно условия для возрождения самых примитивных форм сознания. Мы уже упоминали о современных средствах массовой коммуникации, которые дают невиданные возможности обработки общественного мнения. Но дело не только в этом. В условиях антагонистического разделения труда растущая специализация знания вырабатывает особый тип мышления, направленный на узкий участок деятельности, неспособный и не стремящийся к самостоятельной оценке общей социальной ситуации в современном мире и поэтому легко принимающий на веру чужие слова. Вот почему работник умственного труда так же может оказаться во власти мифа, как и всякий иной обыватель.

Как в далеком прошлом, так и в настоящее время миф приспособливает индивида к общественному целому. Проблема одиночества, с особой остротой встающая в буржуазном обществе, заставляет человека искать успокоительный миф, отдаваться ему. Миф снимает вопрос о личной ответственности, о подлинном выборе, вырабатывая определенные стандартные образцы поведения, которым нужно лишь бездумно следовать. Смятение чувств и мыслей уступает место безмятежности духа и уверенности в своей правоте. «Человеку, окруженному боевыми друзьями, в составе роты или батальона идти на штурм легче, чем совершенно одному. В толпе он чувствует себя всегда немного спрятанным, даже в том случае, когда тысячи причин свидетельствуют о противоположном». Эти слова принадлежат Адольфу Гитлеру.

Фашизм и был той социальной силой, которая попыталась — пожалуй, первой в наш век — в огромном масштабе реализовать идею социального мифа. «Миф XX столетия» — это не только термин, но и название

книги. Ее автор — один из главных «теоретиков» нацизма Альфред Розенберг — был повешен в 1946 году в Нюрнберге по приговору Международного трибунала.

У гитлеровцев, как известно, были нелады с католической и протестантской церковью. Хотя Ватикан всячески заигрывал с нацизмом, последний все же делал ставку не на христианскую, а на свою собственную, более примитивную религию, частично восходящую к древнегерманским верованиям, частично созданную современными мистиками. Христианство представлялось нацистам выродившейся, чересчур гуманной религией, неспособной мобилизовать массы. Мифы христианства мертвы, писал Розенберг в своей книге, «живым является только тот миф, ради которого люди готовы идти на смерть». Некогда христианская религия обновила умиравшую мифологию древности. «С тех пор все войны велись во имя креста. И как только этот крест повсюду достиг победы, началась борьба внутри «обращенного» мира с еретиками и протестантами, которые в свою очередь шли в бой, осеняя себя крестным знаменем. Затем, однако, миф о мученическом кресте умер, хотя современная церковь и пытается скрыть это обстоятельство, как в свое время германцы скрывали смерть своих старых богов. Сегодня ни одна североευропейская армия, и даже испанская и итальянская, не станет воевать во имя креста Христова. Сегодня люди по-прежнему готовы отдавать свою жизнь за идеи и символы, но нет среди них знака, подобного тому, который одолел некогда «благочестивого» Хлодвига. Крест умер, никакая сила не возродит его. Поэтому церковь ныне вынуждена прятаться за идеи и символы нового и нарождающегося мифа». Розенберг обозначил основные контуры этого «нового мифа»: чистота арийской крови, превосходство нордической расы, призванной установить свое господство над миром, антисемитизм, воинствующий антима르크сизм.

Национал-социализм стал массовой, тоталитарной мифологической идеологией; гитлеровцы постоянно заботились о том, чтобы, воздействуя на низменные инстинкты, на предрассудки толпы, вести ее за собой, подогреть энтузиазм. Именно этой цели служил расовый миф, подкрепленный псевдонаучными выкладками. Именно для этой цели использовался ритуал массовых сборищ, факельных шествий, где все до деталей было рассчитано на оболванивание обывателя,

взвинчивание его страстей. Мрачная, бьющая по нервам символика приучала молодежь к необходимости самоогречения во имя интересов «нации». Вместе с тем в будущем фашистская пропаганда сулила всем немцам райские блага за счет ограбления других народов. И эта общность надежд призвана была консолидировать массу так же, как и общность преданий, «культ павших героев», кровь которых «вопит о мщениии». Культ фюрера и правящей элиты, вера в непогрешимость руководства, строгая иерархия, железная дисциплина также были неотъемлемой частью нацистского тоталитарного мифа.

Не учитывая особенностей мифологического сознания, нельзя разобраться в проблеме, волнующей не только историков: каким образом такое ничтожество, как Гитлер, смогло очутиться во главе сильнейшего в Западной Европе государства? Человек без образования, с удивительно узким кругозором, он не был ни ученым, ни полководцем, ни профессиональным политиком. Сказать, что он навязал себя, используя средства насилия, действуя обманом, не останавливаясь ни перед какой подлостью, — значит не ответить на вопрос. Это объясняет разве лишь приход к власти фашистской партии. Но почему именно Гитлер оказался во главе партии?

Отвлечемся на некоторое время от миллионов масс, слепо следующих за своим фюрером, и обратимся к малой социальной группе, находящейся как бы на противоположном полюсе общественной жизни. В детском саду играет группа малышей. Венгерского социолога Ф. Мерси заинтересовал вопрос, каким образом здесь складываются взаимные отношения. В 1949 году он провел оригинальный эксперимент: в группу детей (три—шесть человек), привыкших играть друг с другом. Мерси помещал ребенка двумя-тремя годами старше, с ярко выраженными наклонностями к руководству. Обычно этот ребенок пытался немедленно установить в группе свои, привычные ему правила игры. Примерно через час он оставался один. Тогда поведение его резко менялось: он старался вникнуть в сложившийся порядок, даже копировал поведение кого-нибудь из других ребят. Самое интересное состояло в том, что он не переставал при этом отдавать распоряжения. Командирский тон оставался прежним, но указания содержали только то, что дети привыкли делать и без него. Он становился лидером, бессознатель-

но припоровываясь к заданной ситуации. Не правда ли, любопытные наблюдения?

В гангстерских шайках дело обстоит, в общем, аналогичным образом. Уголовная хроника содержит богатейший материал об отношениях господства и подчинения в преступном мире. Во главе банды, как правило, стоит не самый сильный, не самый умный и даже не самый хитрый. Главарем становится тот, чьи качества наибольшим образом соответствуют сложившимся (или складывающимся) устоям. Двоякого рода психологический процесс способствует признанию лидера: проекция на него своей собственной сущности и отождествление себя с ним. Лидера надо заметить и увидеть в нем самого себя.

Западногерманский социальный психолог П. Хофштеттер пишет по этому поводу: «Чтобы стать экраном для проекции, человек должен обращать на себя внимание, быть на голову выше или ниже, умнее или глупее, держаться или говорить иначе, чем другие. Направление отклонения совершенно не играет роли. Это обстоятельство поставило в тупик нас, психологов, исследовавших облик лидера. Второе условие прямо противоположно первому: чтобы произошло отождествление, расстояние, отделяющее великого человека от маленького, не должно быть непреодолимым. Если нельзя достичь его способностей, то нужно иметь возможность хотя бы перенять манеру покашливать, сморкаться или носить бороду»¹. Но подобного рода «отождествление», как мы уже знаем, отличительный признак мифологического мышления.

Отсюда ясно, что пример с уголовными преступниками может пригодиться для понимания истории фашизма. Разница здесь чисто количественная, и Брехту не пришлось почти ничего домысливать, когда в «Карьере Артуро Уи» он показал историю гитлеризма на примере гангстерской шайки. Когда в двадцатых годах в Германии возникли условия для появления движения, апеллировавшего к самым низменным инстинктам, то выдвижение главы произошло по законам уголовного мира. Гитлер был живым воплощением фашистского мифа, его внутренней сущностью. А умения держать себя соответствующим образом, быть заметным и в то же время «таким, как все», занимать ему не приходилось. В этом нетрудно убедиться,

просмотрев хотя бы несколько выпусков фашистской кинохроники.

Фашизм представлял собой систему насилия, но одновременно и систему духовного растления личности. На одном страхе долго не удержишься, и поэтому-то фашизм и заботился так о создании и поддержании мифа.

Однако миф—иллюзия, а любая иллюзия, какими бы искусственными средствами ее ни поддерживали, в конце концов приходит в противоречие с действительностью и исчезает. И здесь, между прочим, коренится существенное отличие мифа современного от мифа древнего. На заре своего существования общество развивается крайне медленно: примитивным устойчивым формам соответствовало и устойчивое сознание. В наш динамичный век все обстоит иначе. И если рождается миф, способный повести массы по ложному пути, то рано или поздно (последнее зависит от целого ряда обстоятельств: от успехов движения, от реальных подачек, которые господствующая верхушка бросает «низам», и т. д.) наступает отрезвление.

Теперь возьмем томик Кафки. «У него,— писал Брехт о Кафке,— в странном обличье угадано многое, что могли уловить лишь единицы в ту пору, когда появлялись его книги...»¹.

Характеристика Брехта относится прежде всего к роману «Процесс» и повелле «В исправительной колонии». Но не только. Феномен стадного сознания описан Кафкой в неоконченном рассказе «Как строилась китайская стена». Народ, занятый на гигантской стройке, руководствуется правилом: «Всеми силами старайся понять указания начальников, но только до определенных границ, а дальше прекращай размышления». Зачем стройка? Почему стройка? Этого никто не знает. Страна обширна; народ забит, и простой человек не в состоянии высидеть до государственных дел. Он знает только, что существует в стране императорская власть, безропотно подчиняется ей, но не может даже сказать, какой именно император сегодня правит, и равнодушно взирает на то, как меняются фигуры у кормила власти.

Это было написано в годы первой мировой войны. Кафка видел взрыв националистических страстей, охвативших Австро-

¹ P. Hofstätter. Gruppensdynamik. Hamburg. 1968. S. 144.

¹ „Sinn und Form“. № 4, 1963, S. 621.

Венгрию; и хотя здесь речь идет о Китае, но подразумевается монархия Габсбургов. В дальнейшем миф о национальном единстве в условиях эксплуататорского государства стал одной из главных идеологических пружинок в гитлеровской Германии, в деятельности нацистского «Рабочего фронта».

Вместе с тем Кафка понимал и неизбежность краха мифа, предназначенного для оболванивания массы. Вырождение мифа — тема его миниатюры «Городской герб». Здесь речь идет о строительстве Вавилонской башни, которую нужно возвести «до самого неба». Задача поставлена ответственная, но стройка идет вяло. В чем дело? Оказывается, строителями владеют крамольные мысли: «Человеческое знание растет, строительное искусство развивается непрерывно; работа, на которую сейчас уходит год, через полстолетия будет делаться за полгода и значительно лучше, чем в наши дни. Зачем же тогда напрягать до крайности свои силы? Последнее имело бы смысл, если существовала бы надежда, что башня будет построена на протяжении жизни одного поколения. Но на это рассчитывать не приходится. Скорее следует думать о том, что следующее поколение, располагая более совершенным знанием, найдет плохую работу своих предшественников, разрушит построенное и начнет все сначала. Такие мысли парализовали силы, и народ больше заботился о строительстве рабочего городка, чем самой башни. Каждая бригада хотела получить лучшие квартиры, в результате возникали конфликты, доходившие до кровопролития. Конфликты не утихали, и для руководства это служило лишним аргументом в пользу того, что башню надо строить медленно... Так прошла жизнь одного поколения, но другое не принесло с собой ничего нового. Второе или третье поколение поняло бессмысленность строительства небесной башни, однако все настолько привыкли друг к другу, что не помышляли о том, чтобы покинуть город»...

3. Культ потребления

Тоталитарный миф нацистской Германии погиб под развалинами третьего рейха.

Однако распад тоталитарных форм философического сознания не означает исчезновения этого сознания вообще. На смену тоталитарному мифу в условиях антаго-

нистического общества могут прийти и — как показывает послевоенная реальность — действительно приходят новые, «глобальные» формы массовой идеологии, лишь внешне противоположные мифу. Они носят столь же иллюзорный и социально опасный характер. Миф лишь видоизменяется, принимает обыденные, прозаические черты.

Вместо стремления перекроить существующие устои, учредить «новый порядок» рождается апологетическая тенденция к стабильности отношений. Аскетизм и самопожертвование заменяются культом самосохранения, здоровья и благополучия. Принцип фюрерства уступает место «священным традициям» буржуазной «демократии». Идея тотальности — индивидуализму.

Человеку внушается мысль, что он совершает акт «свободного выбора». Между тем он поступает в соответствии с заданным стереотипом. Индивид убежден, что он действует в интересах своего блага, а на поверку выходит, что это далеко не так. Все те же стадные, манипулируемые формы сознания определяют его поведение, и служат они все тем же целям включения индивида в мифическое, на деле разрываемое противоречиями социальное целое. Меняются методы, но суть остается той же.

Барбара Майер в статье «Техника манипулирования в ФРГ», опубликованной на страницах коммунистического журнала «Марксистские блеттер», анализирует положение, сложившееся в Западной Германии: «В Федеративной республике существуют формально «свободные» выборы... Но так как — задолго до голосования — манипулируют мыслями избирателя, то так называемые «свободные выборы» превращаются в фикцию». Проблемы, затронутые статьей Б. Майер, стоят не только перед Западной Германией, но перед любой капиталистической страной с высоким стандартом жизни, с внешними атрибутами избирательной системы, которая, однако, превращается в свою противоположность благодаря умелой обработке сознания обывателя средствами современной «массовой коммуникации». «Техника манипулирования, к которой прибегают при создании общественного мнения, всегда одна и та же, независимо от того, идет ли речь о внедрении нового типа автомашин, рекламы для эстрадной певицы, выдвижения политического деятеля, пропаганды мировоззрения, идеологической концепции. При этом исходят из допущения, что люди

в основном не знают, что им, собственно, нужно, и что желание им можно и нужно внушить»¹.

Наиболее характерный пример массового внушения — реклама. По идее, реклама служит целям наиболее полной информации для принятия решения со знанием дела. Например, существует множество сортов бензина, реклама дает точные о них сведения, и автомобилист выбирает тот сорт, который больше всего подходит для марки его автомашины, для целей его поездки, для его кармана. Так в теории — на практике дело обстоит иначе. Социологические исследования, проведенные рекламными фирмами в США, установили следующее: 1) автомобилисты, как правило, не разбираются ни в технических характеристиках машин, ни в видах горючего; 2) они полагают, что бензин всех марок более или менее одинаков; 3) они рассматривают покупку бензина как скучное и неприятное дело. На основании этого фирма «ЭССО» решила перейти к лишенной технического смысла, но броской рекламе. Было придумано символическое изображение бензина «ЭССО» — добродушный стилизованный тигр-оптимист. Реклама призывала автомобилистов: «Посадите тигра в свой бензобак». Техническая терминология исчезла; в телепередачах, в кино, на рекламных щитах, в газетных объявлениях появился тигр «ЭССО», помогающий «выжимать» из машины максимум возможного. Заправочные станции украсились картонными тиграми. На крышки бензобаков стали прицеплять игрушечные тигровые хвостики. Это производило впечатление на детей, которые требовали от родителей, чтобы те заправлялись бензином на «тигровых станциях». Рекламный трюк удался полностью.

Потребителя не убеждают, а завлекают. Реклама апеллирует не к высшим, а к низшим сферам интеллекта, не к самосознанию, а к подсознанию. В случае так называемой сублимальной рекламы это происходит уже в буквальном смысле слова, когда на экране кинофильма или телевизора появляется мгновенное рекламное изображение, которое не фиксируется в восприятии, но откладывается в подсознании и затем, как навязчивая идея, преследует человека. Характер навязчивой идеи, не поддающийся никакому рациональному объяснению, носит и мода. Это общеизвестный факт.

Аналогичным образом дело обстоит и в политике. Не сознательное убеждение подчас руководит поведением избирателя, отдающего свой голос той или иной партии, а сугубо привходящие моменты, подобные тем, которые заставляют покупателя «выбирать» тот или иной сорт бензина. Избиратель — это тот же потребитель, находящийся во власти стадного, манипулируемого сознания.

За примером снова обратимся к Кафке. В его романе «Америка» есть выразительная сцена предвыборного митинга, который больше похож, однако, на балаганное представление. Барабанный бой и звуки фанфар, крики, свист заглушают слова кандидата. Сидя верхом на плечах верзилы-носильщика, «он обращался к обитателям домов вплоть до самых высоких этажей, хотя было совершенно ясно, что и на нижних этажах никто не может его услышать. И даже если бы существовала такая возможность, все равно никто не стал бы его слушать, так как в каждом окне находился по крайней мере один свой собственный кричащий оратор». Центральный момент предвыборного митинга — «грандиозная бесплатная выпивка». После нее на улице началось нечто невообразимое — «толпа бурлила без всякого плана, один лежал на другом, никто не мог выпрямиться; количество противников, по-видимому, увеличилось, и носильщик, который до этого держался вблизи трактира, теперь прекратил сопротивление; его носило вверх и вниз по переулку, кандидат продолжал говорить, но было не ясно, излагает ли он свою программу или зовет на помощь».

Америка Кафки — страна, где «не приходится рассчитывать на сострадание», где человек находится во власти иррациональных сил. Немецкий литературовед К. Хермсдорф подметил характерную деталь: в первом же абзаце, открывающем роман, Кафка описывает статую свободы, какой она представлялась герою книги Карлу Россману, подплывавшему на пароходе к Нью-Йорку: «Ее рука с мечом поднималась вверх», не с факелом, а с мечом! «В этой замене символа американской свободы символом беспощадной власти предвосхищено дальнейшее содержание романа»¹.

Карл Россман — добропорядочный немецкий юноша, соблазненный служанкой, изгнан

¹ „Marxistische Blätter“, № 1, 1968, S. 43.

¹ К. H e r m s d o r f. Kafka. В. 1961, S. 69.

из отчего дома в Америку. Здесь судьба бросает его с одного полюса социальной жизни на другой. Он обретает неожиданно дядюшку-миллионера, живет, не ведая забот, но столь же неожиданно теряет его благосклонность, оказывается на положении бродяги и затем подневольного слуги у весьма сомнительной компании. Любое его действие оборачивается против него самого.

На философском языке подобная потеря контроля над результатами своей деятельности, характерная для человека в антагонистическом обществе, называется отчуждением. Кафка никогда не пользовался этим термином, но все его творчество представляет собой обличение самых различных аспектов отчуждения человека в условиях империализма. Кафке удается обнажить действие отчуждения даже в самом сокровенном — в отношениях между полами.

В мире, нарисованном фантазией Кафки, женщине отведено большое место. Кафкианский чиновник — не бесчувственный механизм, это существо из плоти и крови — правда, любви не ведающее, но обуравемое похотью, которая мешает ему спокойно сидеть за письменным столом. Только так можно объяснить в романе «Замок» поведение высокопоставленного сановника Сортини, которому приглянулась дочь сапожника Амалия. «Сортини был раздражен тем, что вид Амалии лишил его покоя, оторвал его от дел... Он должен был еще вечером уехать в Замок, но остался в Деревне из-за Амалии; на следующее утро полный гнева по поводу того, что он не смог за ночь забыть Амалию, он написал письмо». Это было не любовное письмо, это была своего рода повестка, составленная в непристойных выражениях и содержащая вызов в гостиницу для (тут уже не подходит слово «свидание») деловой встречи, имеющей целью восстановить рабочее состояние организма чиновника. Отношения между мужчиной и женщиной в этом мире потеряли характер половой любви, потеряли даже индивидуальный характер. Происходит возвращение к групповому сожительству, к промискуитету; служанка Пэпи соблазняет героя «Замка» К. не только собой, но и своими подругами: «Генриетта тебе особенно понравится, и Эмилия тоже»; в «Процессе» художник Титорелли постоянно окружен стаей «девочек», даже неизвестно, сколько их.

В мире тотального отчуждения все извращено. Не случайно в качестве «героя нашего

времени» перед взором Кафки предстает маркиз де Сад, который «может радоваться жизни только благодаря страданиям других, подобно тому как роскошь богатых оплачивается нуждой бедных» (из беседы с Г. Яноухом). Картины малого и большого садизма проходят через основные произведения Кафки. В романе «Америка» дочь хозяина виллы, куда в гости приезжает Росман, избивает юношу, а затем приглашает его провести с ней ночь: «Специально ждать я тебя не буду, но если захочешь прийти, то приходи». Розги и кнут гуляют по спинам людей и в «Процессе» и в «Замке». А рассказ «В исправительной колонии» — это картина всеобщего наслаждения мучительством. Достигая апогея, садизм переходит в свою противоположность, происходит как бы извращение извращения: в мазохистском экстазе полоумный палач сам ложится в разваливающуюся на глазах машину смерти.

Деградация и извращение секса — общая болезнь всей буржуазной цивилизации XX века: и тоталитарных и демократических ее форм. В третьей империи женщине была отведена чисто функциональная роль — служить средством развлечения солдат, партийных бонз и чиновников фюрера, средством продолжения рода и улучшения расы. Ныне на Западе происходит еще более коренная ломка традиционных норм поведения, получившая наименование «сексуальной революции». В нашу задачу не входит, разумеется, всестороннее рассмотрение этого необычайно сложного явления, его причин и последствий. Но один из его аспектов, связанных с рождением нового потребительского мифа, следует, пожалуй, — в связи с нашей темой — оттенить.

«Секс как потребление» — так озаглавил последний раздел своей книги «Социология сексуальности» западногерманский социолог Г. Шельский. В этом разделе он как бы подводит итог исследованию. Широкое распространение противозачаточных средств, надежных, доступных и не препятствующих оргазму, полностью освободило женщину от страха перед последствиями полового акта. «Удовольствие без раскаяния» — этот рекламный лозунг фабрик, производящих сигареты с фильтром, который ловко сочетает скрупулезную заботу о здоровье с признанием потребности в нервном возбуждении, характеризует и практику сексуального общения в условиях современной западной ци-

визации. Другая социальная черта современной половой жизни — непродолжительность и «пунктуальность» связи. В западном мире веками возводилась стена между любовью «идеальной» и продажной. Ныне происходит нивелировка, устанавливается некий средний вариант половой близости, легко возникающей, непрочной, точно укладываемой в жесткий график времени, которое homo consumens («человек-потребитель») расходует столь же экономно, как и деньги. Секс, пишет Шельский, «уравнивается в правах с другими видами потребительской деятельности, с ни к чему не обязывающими способами получить знание, развлечься, удовлетворить любопытство»¹.

Не превращается ли тем самым секс в игру? Куда там! Игра — это облегченный вариант человеческого общения, где важен сам процесс, а не результат. Потребление же требует достижения цели той или иной ценой. Секс как игра — это полный условностей «флирт», занятие, давно вышедшее из моды. «Легкость и поверхностность сегодняшних сексуальных отношений, — продолжает Шельский, — отнюдь не означают внутренней размагничности и увлеченности игрой. Отмеченное выше сравнение с потребительским способом поведения говорит об обратном, к потреблению ныне относятся весьма серьезно. И подобно тому, как покупатель, будто бы свободно выбирающий, под давлением террора сбыта хочет то, к чему его принудили, так и поиски сексуального удовольствия давно превратились в способ социального и личного самоутверждения, потеряв тем самым радость игры»².

Возникает очередная парадоксальная ситуация: там, где, казалось бы, человек полностью предоставлен самому себе, может действовать вполне свободно, может найти отдушину от одуряющего однообразия производственной и социальной жизни, именно там он подчиняет свое поведение не менее жестким стереотипам. «Террор сбыта» в отличие от политического террора не прибегает к насилию, но оказывается в своем роде не менее действенным средством подавления личности. Метод воспитания конформистского сознания в этих условиях состоит в том, что человеку «идут навстречу», признавая его право на индивидуальные потребно-

сти, демонстрируют готовые образцы. Задача homo consumens состоит только в том, чтобы выбрать подходящий вариант (как выбирают сорт горючего или президента).

«Сексуальная революция» срывает покров тайны с интимной жизни. Тысячи руководств, справочников, периодических изданий наставляют человека относительно его половой потребности, возможностей и способов ее удовлетворения. В Швеции с основами сексуальных отношений знакомят уже в средней школе; изображение полового акта в различных вариациях можно увидеть и в витрине стокгольмского магазина, и в кабинете делового человека, и в кино. И. Бергман в фильме «Молчание» впервые вынес на художественный экран сцену интимной близости. Это воспринималось как крик отчаяния в шумном мире нравственного безмолвия. В фильме В. Шемана «Я любопытна» несколько иная установка: близость — это акт потребления. Мужчина и женщина бьются в пароксизме страсти — на площади перед королевским дворцом, на лужайке, в мелкой воде озера, — в этом нет ничего необычного; мимо проносятся машины, никто на них не обращает внимания. Героиня фильма интересуется политикой, участвует в общественной жизни, но сильнее всего — секс. Здесь господствуют неконтролируемые, иррациональные силы. Человек целиком во власти мифа.

Мифологическое сознание, как мы уже отмечали, не знает различия между естественным и сверхъестественным, обыденным и священным, для него существует единый мир, один-единственный образ действия. «Сексуальная революция» ведет к полной десакраментализации интимных отношений. Именно в сфере пола появились в древнейшие времена первые запреты, миф устанавливал их, теперь другой миф их снимает.

Из книги Б. Морзе «Сексуальная революция» мы узнаем, например, что в Америке практикуется «обмен женами» («wife-swapping») Муж А вступает в связь с женой Б, в то время как муж Б сожительствует с женой А, и это происходит с согласия и по инициативе всех заинтересованных лиц. Знакомства завязываются с помощью прессы. Вот текст гипичного объявления в газете: «Молодая пара старше двадцати ищет знакомства с другими парами, проживающими в Чикаго, с целью дальнейшей дружбы; люди широких

¹ H. S ch e l s k y. Soziologie der Sexualität. Hamburg. 1956. S. 123.

² Там же, S. 124.

взглядов, мы любим развлекаться, загорать, фотографироваться, лишены предрассудков. На все письма будет дан ответ. Пожалуйста, без ханжества!» Б. Морзе называет подобное явление «отвратительной смесью моногамии и промискуитета»¹, отмечая с беспокойством, что оно принимает все более широкие размеры. Его беспокоит и возмущает также рост половых извращений.

Однако в американской литературе существует и другая точка зрения на происходящее. Наиболее последовательно она выражена в так называемом «Отчете Кинси», где подведен итог массовому исследованию сексуального поведения американских мужчин и женщин, показывающий, что различного рода половые извращения становятся все более распространенной, «бытовой» формой половой жизни в современной Америке.

Самым примечательным в исследованиях Кинси является авторская позиция. Кинси настаивает на том, что все способы полового удовлетворения, к которым прибегали опрошенные, «естественны», свойственны человеку на всем протяжении истории, более того — унаследованы им от животных предков, их можно обнаружить у большинства млекопитающих. «Противоестественны», по его мнению, запреты, которые наложив на человека культура, многие из этих запретов обусловлены религиозными предрассудками, это бессмысленные «табу», не соответствующие «природе» человека.

Работа Кинси впервые увидела свет в 1948 году и была встречена в Западной Европе, еще не залечившей военные раны, буквально в штыки. Его выкладки подвергались критике, его установки вызывали протест. Но так продолжалось только до тех пор, пока культ потребления не захватил и эту часть света. В конце 1967 года в Венском университете состоялся симпозиум, посвященный проблеме сексуальной «нормы». Обсуждался вопрос, что «можно» и что «нельзя» в области пола. Выступивший с докладом известный социолог Т. Адорно обрушился на понятие «половое извращение». Секс не подлежит нормированию, человека нельзя ограничивать в удовлетворении потребностей — такова была идея доклада, подержанная выступавшими в прениях философами, психиатрами и даже богословами.

¹ В. Морзе *The sexual revolution*. Derby. 1962, p. 122.

Последнее примечательно. Потребительский миф рождается не только на развалинах тоталитарных, но и сугубо традиционных форм иллюзорного сознания. Отцы церкви, например, старательно пытаются принорвиться к запросам времени. В клерикальных кругах давно уже дебатировалась проблема «демифологизации» религии, рассмотрения библии лишь как собрания поэтических легенд.

Однако демифологизация религии означает ее распад. Миф может обходиться без религиозной веры, вера без мифа — никогда. Поэтому «демифологизаторы» не помышляют о полном устранении мифологии, они лишь модернизируют ее. Подчас это приводит к отказу от умирающих традиционных мифов в пользу господствующих, современных. Церковь умело приспосабливается к нравам современности, отыскивая пути расширения своего влияния даже там, где, казалось, не действуют принципы религиозной морали. Входить в католический храм в мини-юбке пока еще запрещено, но «диалог между католиками и гомосексуалистами»¹ уже ведется.

Такова ситуация. Каковы перспективы? Потребительский миф безусловно стабильнее тоталитарного. Он не ведет непосредственно к катастрофе, к видимым разрушениям цивилизации, лишь незримо подтачивая культуру². Стимулируя потребление, он способствует росту производства, поэтому он может существовать лишь в условиях высокоразвитой экономики, обеспечивая ее процветание.

¹ См. об этом «Sexology». / N. Y., 1966. Sept., p. 95.

² В узких своих значениях термины «цивилизация» и «культура» неравнозначны. Цивилизация — это материальные блага, их производство и потребление. Культура — духовное богатство общества, исторически сложившаяся совокупность норм и принципов человеческого поведения. В антагонистическом обществе прогресс цивилизации влечет за собой распад культуры. Этого не могут не заметить наиболее проницательные социологи Запада. Отсюда следующее любопытное рассуждение А. Гелена: «Поскольку прогресс цивилизации действует разрушающе, а именно — подтачивает традиции, права, сложившиеся институты, постольку он возвращает человеку естественное состояние, примитивизирует его, отбрасывает назад к природной нестабильности его инстинктивной жизни... Я придерживаюсь прямо противоположной точки зрения, чем XVIII век: настало время для Анти-Руссо. «Назад к природе!» —

Но как любое стадное сознание, культ потребления влечет за собой потерю сознательных критериев поведения.

4. Миф и искусство

В прошлом искусство почти всегда было пронизано в той или иной степени мифологией своего времени. «Греческая мифология составляла не только арсенал греческого искусства, но и его почву»¹. Однако ныне пути творчества мифологического и творчества художественного решительно расходятся.

Современный миф находит своего союзника в искусстве, уводящем от размышлений. В этом отношении характерна художественная политика германского фашизма. Гитлеровцы смотрели на искусство цинично-прагматически — либо как на средство развлечения, либо как на средство вдалбливания своих идей: верности фюреру, ненависти к его врагам, готовности к самопожертвованию. Вот характерный образчик такого «искусства» — сюжет пьесы ведущего писателя третьего рейха Ганса Юста, рассказанный им самим: «В больницу доставляют штурмовика с пробитым черепом. Профессора обследуют его и качают головой: помочь ничем нельзя, надежды нет никакой. Только молодой ассистент не может смириться с тем, что юноша так просто умрет. Он предлагает сложную операцию, которая вернет раненому сознание, и перед смертью тот сможет пережить великую радость — увидеть

провозглашал Руссо: культура извращает человека, естественное состояние наделяет его наивностью, справедливостью, духовностью. Сегодня, напротив, нам кажется, что естественное состояние означает хаос, голову Медузы, при виде которой все окаменеет. Культура становится недостижимой, знаменуя собой право, нравственность, дисциплину, гегемонию морального начала. Когда шути, дилетанты, безрассудные интеллектуалы выходят на авансцену, когда поднимается ветер всеобщего скоморошества, тогда ослабевают древние установления и строго профессиональные институты; право становится эластичным, искусство нервным, религия сентиментальной. И опытный глаз сквозь пену различает уже голову Медузы, ибо человек возвращается к природе и все становится дозволенным. Поэтому я говорю: назад, к культуре!» (A. Gehlen. *Anthropologische Forschung*. Hamburg. 1968. S. 59).

¹ К Маркс и Ф Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 736.

в последний раз фюрера. Бородатые профессора насмешливо улыбаются: детские штучки, абсолютно безнадежный случай, проверено сотни раз в мировую войну. Но молодой врач не отступает. Операция произведена, об этом сообщили фюреру, и он приезжает в больницу. В возвращающемся сознании юноши прекрасный сон обретает реальность, и он побеждает смерть. Свершилось чудо, и бородатые профессора уступают свое место молодежи, которая исполнена силы и веры»¹. По аналогичным рецептам сочинялись романы, снимались кинофильмы, писались монументальные полотна.

«Отныне и навсегда будет закрыта дорога тем «произведениям искусства», которые сами по себе непонятны и нуждаются для оправдания своего существования в высокопарных комментариях». Это было сказано Гитлером в июле 1937 года, в день открытия выставки «Выродившееся искусство». Здесь были собраны снабженные хулиганскими надписями полотна ведущих представителей немецкого экспрессионизма. Выставку открыли в Мюнхене, перевезли затем в Берлин, возили из города в город. Дело закончилось конфискацией всех произведений «выродившегося» искусства и аукционом в Швейцарии, где с молотка пошли также и полотна Гогена, Ван-Гога, Пикассо и других. Этот факт достаточно хорошо известен, и он наглядно иллюстрирует ту ненависть, которую всегда испытывал фашизм к искусству свободного духовного поиска, искусству, требующему размышлений, искусству интеллектуальному — к каким бы формам это искусство ни прибегало.

Нечто подобное происходит и сейчас, в условиях «цивилизации потребления». Выше мы цитировали статью Б. Майер о манипуляции сознанием в ФРГ. Относительно вкусов современного немецкого обывателя она пишет: «Опросы показали и показывают каждый раз заново, что в телевидении и кино публика требует «реализма». Все произведения, которые трактуют «ирреальные» темы — сказки, или фантастика, или так называемый «театр абсурда», — решительно отвергаются большинством зрителей. Подобный же приговор произносится и над теми произведениями, форма которых «не реалистична»... Никто не дает себе труда

¹ „Literatur und Dichtung im Dritten Reich“. Hamburg. 1966. S. 160.

понять увиденное и обнаружить скрытый в нем смысл. Никто не только не пытается это сделать, но, наоборот, отворачивается от того, что не соответствует привычному образцу, и уходит с ругательствами.

Надо разобраться в том, что, собственно, значит это требование «реализма». Средний зритель, образующий «публику», мучительно следит за «правильностью» изображаемого. Все — будь то пуговицы полицейского, внешний вид трамвая, обстановка кабинета — должно быть «как в жизни», иначе автора обвиняют в «халтуре», в «отсутствии реализма».

...«Реализм», которого требует публика и который ей подсовывает «индустрия культуры», не имеет ничего общего с подлинным реализмом. Так как большинство зрителей бездумно жаждет иллюзии, требование «реалистической формы» исчерпывается точностью внешних деталей, которые совершенно не имеют значения для содержания произведения... Так как «индустрия культуры» теснейшим образом связана с правящими кругами, то публика все сильнее опутывается сетями оглушения и деполитизации, причем она сама этому способствует. Под предлогом, что публика получает желаемое, «индустрия культуры» заставляет публику желать то, что ей хотят всучить. «Индустрия культуры» превращает критически настроенного внимательного зрителя в бездумного потребителя¹.

Конечно, Б. Майер не вполне точно изображает ситуацию: не только псевдореализм способен вводить от размышлений, превращать зрителя в потребителя. «Индустрия культуры» учитывает разнообразие вкусов. На художественном рынке циркулирует огромное количество «левых» поделок искусства, сработанных «под авангард», внутренне бессодержательных и потому милых сердцу мещанина, не желающего конфликтовать ни с «прогрессом», ни с властью предрасправдами. Последние также учитывают запросы времени, поощряя условные течения в той мере, каковая с их точки зрения является допустимой. Причем это относится и к некоторым формам фашизма. Муссолини, например, видел в футуризме «свое искусство». Не следует также забывать, что в гитлеровцы не сразу расправились с авангардистскими течениями. Розен-

берг, правда, еще в «Мифе XX столетия», увидевшем свет в 1930 году, резко высказался против экспрессионизма и заявил, что идеалы арийского искусства надлежит искать у древних греков и германцев. Тем не менее некоторое время после фашистского переворота продолжало держаться мнение о возможности сосуществования экспрессионизма и новой власти. Виднейший экспрессионист Эмиль Нольде был старым членом нацистской партии. Ходили слухи, что среди фашистских заправил есть покровители художественного авангарда, передавали, в частности, слова Геринга о том, что из большого художника легче сделать маленького нациста, чем наоборот, и что фюрер якобы дал художникам четыре года на перестройку. В марте 1934 года в Берлине была устроена выставка итальянских футуристов, пользовавшихся благосклонной поддержкой дуче. Хотя официоз нацистской партии «Фелькшнер беобахтер» обрушился, вскоре на эту выставку, оценив ее как «иностранный вмешательство» в художественные дела третьего рейха, по все же и на открытии выставки и в печати раздавались голоса, положительно оценивающие футуризм и аналогичные явления в немецкой живописи. В выставочных залах Берлина и других городов появились снова полотна экспрессионистов, убранные было в запасники. Во всей этой возне проницательные глаза усматривали соперничество двух фашистских боссов — Розенберга и Геббельса, претендовавших на лидерство в области идеологии. Для нас эти факты интересны прежде всего тем, что они еще раз показывают отсутствие прямой, однозначной связи между фашизмом и каким-либо художественным течением в современном искусстве. Фашизм, заигрывая с интеллигенцией, может приспосабливать к своим нуждам внешние формы любого художественного направления, оставаясь при этом глубоко чуждым всему подлинному в искусстве.

Об искусстве вообще нельзя судить лишь на основании внешних данных. Деформирует ли оно реальные формы или строго воспроизводит их, не в этом дело. Оценке подлежит художественное произведение, взятое в целом, в единстве формы и содержания. Только так становится очевидным, служит ли оно укреплению мифа или целям демифологизации, является ли оно псевдоискусством или подлинным искусством.

¹ „Marxistische Blätter“, № 1, 1968, S. 46—48.

В современном искусстве все большее значение приобретает познавательная функция. Ряд жанров искусства (литература и театр в первую очередь) ищет пути сближения и даже слияния с научным (гуманитарным) знанием. Среди различных средств выражения в таком искусстве находит свое место и остранный образ, лишенный жизненного правдоподобия, но ведущий к глубинному познанию жизни.

Один из приемов остранения состоит в том, что жгучая современная проблема решается на материале условном, далеком от нашего времени. Перед читателем и зрителем возникает целая галерея знакомых персонажей, сменивших античные одежды на современный костюм и наделенных интеллектуальным уровнем периода научно-технической революции. Кафка был одним из первых, кто пытался заставить говорить древние мифы иным языком и приноровить свой язык к архаическим, «абстрактным» формам повествования, дающим широкое поле для истолкования. На страницах его прозы мы встречаемся и с новым Посейдоном, и с новой интерпретацией судьбы Прометея, и с образом охотника Гракха, созданным его фантазией, но как бы заимствованным из древних сказаний.

Посейдон Кафки не разъезжает более среди вод с трезубцем в руках, он «бог» вполне современный: крупный чиновник, заваленный бумажной работой. «Посейдон сидел за рабочим столом и подсчитывал. Управление всеми водами стоило бесконечных трудов. Он мог бы иметь сколько угодно вспомогательной рабочей силы, у него и было множество сотрудников, но, полагая, что его место очень ответственное, он сам вторично проверял все расчеты, и тут сотрудники мало чем могли ему помочь. Нельзя сказать, чтобы работа доставляла ему радость, он выполнял ее, по правде говоря, только потому, что она была возложена на него, и, нужно признаться, частенько старался получить, как он выражался, более веселую должность, но всякий раз, когда ему предлагали другую, оказывалось, что именно теперешнее место ему подходит больше всего. Да и очень трудно было подыскать что-нибудь другое, нельзя же прикрепить его к одному определенному морю; помимо того, счетная работа была бы здесь не меньше, а только мизернее, да и к тому же великий Посейдон мог занимать лишь руководящий пост».

Здесь важно подчеркнуть, что и мифологические мотивы используются Кафкой в целях критического осмысления окружающей его действительности, развенчания современной мифологии. А в том, что Кафка—противник любого варианта современного мифотворчества, мы уже имели возможность убедиться. И это, как нам кажется, закономерно вообще для современного искусства — подлинного искусства. Его пути и пути современного мифотворчества сойтись не могут. Они на разных полюсах общественного сознания. Вот почему и у Т. Манна, и у Апдайка, и у любого другого настоящего художника нашего времени мы находим не мифы, а типологические образы принципиально иной духовной конструкции, чем конструкция мифологическая. Обращение к мифу здесь всего лишь художественный прием. Назвать это мифотворчеством—значит внести ненужную путаницу и в без того нечеткую терминологию современной культуры.

Конечно, подмена термина—беда не слишком великая. Но, к сожалению, за игрой со словом «миф» стоит иногда нечто большее. Порой наши современники, напуганные кризисными явлениями в развитии цивилизации (естествознания и техники в первую очередь), политическими катаклизмами и нависшей над человечеством атомной угрозой, видят главную беду в рациональном мышлении, а надежду на спасение—только в возрождении архаических форм сознания. Сравнивая первобытную и современную культуру, они скорбят по поводу утери человеком единства с природой, целостного, «праздничного» мироощущения, тоскуют по мифу, который будто бы в состоянии вернуть человеку гармоническое состояние.

Но современные мифы, как мы имели возможность убедиться, в большей или меньшей степени враждебны человеку, они в состоянии лишь усугубить кризис, а не указать выход. «Насколько я могу судить, в настоящее время нет такой модели мифа, которая могла бы соответствовать размаху и остроте сложившейся ситуации»¹. Вывод, к которому пришел автор работы о современном мифотворчестве Г. Мэррей, весьма показателен.

Человечество в своем движении по пути прогресса вынуждено расплачиваться за свои приобретения невосполнимыми потерями. Потеря первозданной псевдогармонии не

¹ „Myth and Mythmaking“. Ed. by H. Murray. N. Y. 1960, p. 351.

является самой из них значительной¹. В XVIII веке многие просвещенные европейцы мечтали о возвращении к античности, но уже тогда наиболее трезвые умы показали, что у истории нет пути назад. Общество нельзя повернуть вспять, как и взрослого человека невозможно превратить в ребенка.

¹ Тем, кто идеализирует первобытное «праздничное» состояние, не мешает напомнить, что оно является антитезой не только «серьезного», будничного, но и «запрещенного». На заре развития общества человек опутан запретами куда больше и куда более бессмысленными, чем в последующие эпохи. Праздник же снимает запреты, нормы обычного поведения, в основе праздника — экстаз, оргия.

Человечеству предстоит еще суровые испытания. Искать в такой ситуации экстатического состояния, одержимости и безмятежности не только неуместно, но и опасно. Сегодня больше, чем когда-либо, нужна ясная голова. Конечно, не одно логическое мышление концентрирует в себе созидательные возможности человеческого духа. Способность к любому творчеству интуитивна. Иерархию ценностей, определяющих поведение, человек строит, руководствуясь не только понятийным сознанием. Но в отличие от мифа и творческая и ценностная интуиция контролируется практикой, служит делу человека.



ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

М. Галлай. Девушки на войне.— **Ю. Айхенвальд.** Впечатление и слово.—
Е. Клепикова. О себе и своем деле.— **А. Котлов.** Самородок.— **Ст. Рассадин.**
«Независимо от степени таланта».— **Г. Белая.** Духовное зрение критика.—
Т. Мотылева. Легенда и современность.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Дюшен. Книга о женщинах-революционерках.— **А. Стреляный.** Мемуары
целинника.— **В. Война.** Вопросы без ответов.— **В. Савин.** Проблемы и пер-
спективы социалистической демократии.— **А. Грунт.** Из истории крушения
русского царизма.

Литература и искусство

ДЕВУШКИ НА ВОЙНЕ

Наталья Кравцова. От заката до рассвета. Воениздат. М. 1968. 262 стр.
Н. Кравцова. На горящем самолете. «Московский рабочий». 1968. 80 стр.

«Вообще-то я бы, конечно, не пускал девушек на войну...» Этой фразой летчик младший лейтенант Михаил Пляц начал разговор едва ли не при каждом своем посещении женского полка легких ночных бомбардировщиков. А так как — по некоторым причинам сугубо личного характера — младший лейтенант был склонен использовать для посещения этого полка любой мало-мальски подходящий предлог, фраза запомнилась. Запомнилась летчице Руфине Гашевой — в будущем жене Пляца. Запомнилась и ее однополчанам, в том числе и автору книг, о которых идет речь.

В самом деле: нужно ли было пускать девушек на войну?..

Сомнения на сей счет — правда, продиктованные соображениями несколько иного порядка — были, оказывается, не только у летчика Пляца. Когда женский полк впервые прибыл на фронт, ему целых две недели не давали боевого задания. Возникло парадоксальное положение: войскам остро не хватает поддержки с воздуха, в этом одна из главных трудностей на-

чального периода войны, а гул пришел на фронт целый полк — и сидит без дела!

Читая дальше, мы узнаем, как это обидное недоверие постепенно сменялось уважением и самыми высокими оценками со стороны коллег и командования. «Наземные части, стоявшие на передовой, — пишет Кравцова, — часто благодарили нас за хорошую работу, за точные попадания». Не обходил наших летчик своим вниманием и противник. «ночные ведьмы» — так называли их гитлеровцы, утверждая, что это «женщины-бандиты, выпущенные из тюрем...».

Автор книги явно ведет читателя к безусловному положительному ответу на вопрос: надо ли пускать девушек на войну? Но ведет не легко и просто, а трудным путем преодоления многих логических и эмоциональных (главным образом эмоциональных) «за» и «против».

О 46-м Гвардейском Таманском ближнебомбардировочном авиационном полку, вернее, о воинах этого полка уже написано больше, чем, пожалуй, о любой другой во-

инской части, отличившейся в годы Великой Отечественной войны. Мы читали содержательные, интересные написанные книги писателя А. Магида, ветеранов полка летчиц М. Чечневой и Л. Литвиновой. Все основные факты, связанные с боевой работой этого замечательного полка, читателям уже известны. Но почему-то, несмотря на это, читать Н. Кравцову по-настоящему интересно.

Наверное, потому, что если с голой фактографией достаточно ознакомиться один раз, то рассказ об одних и тех же событиях в военно-мемуарной, да и вообще в художественно-документальной литературе (разумеется, при том неизменном условии, что она действительно художественно-документальная) мы охотно принимаем и при повторном чтении. И особенно если автор, подобно тому, как это делает Н. Кравцова, продолжает идти далее в глубь темы, освещая все, о чем рассказывает, со своей собственной, новой, порой неожиданной позиции.

Кравцова-писательница не утратила способности удивляться тому, что когда-то удивило Кравцову-летчицу. Вот прибыл женский — все время ловлю себя на желании назвать его девчачьим — полк на фронт. И фронт оказался не таким, каким он представлялся издали: «Мирные белые хатки. Густая трава по пояс, а в траве ромашки и клевер. Легкомысленно щебечут птицы... Разве это похоже на войну?»

Войну со всеми ее грозными атрибутами — зенитным огнем, вражескими истребителями, пробоями в живом теле машины, ранениями и гибелью подруг — девушки увидели очень скоро. Но первое впечатление осталось: военный быт в авиации выглядит не так, как в других родах войск. Не сбили тебя во время боевого вылета — и, вернувшись на аэродром, ты живешь до следующего вылета, как в тылу...

Боевые эпизоды... Мне приходилось слышать, как эти слова произносились как бы в неких иронических кавычках. А ведь каждый такой эпизод — это тяжкий труд, а часто и пролитая кровь наших товарищей. Грешно говорить о них без глубокого уважения... Но злоупотребление описаниями боевых эпизодов — как, наверное, злоупотребление любыми самыми высокими понятиями — грозит инфляцией. Кравцова явно понимает это.

Но зато если она уж дает описание бо-

евого эпизода, то такого, который не забудешь! Вроде того случая, когда над целью заел сброс контейнера с горючей жидкостью, и, чтобы сорвать его с замков, штурман Руфина Гашева вылезла на крыло и, держась за расчалки, доползла к передней кромке. И все это — без парашюта!.. (Как-то получилось, что на самолетах По-2 всю первую, самую трудную половину войны летали без парашютов. Автор книги не скрывает своего естественного недоумения по этому поводу: «В самом деле — почему до сих пор мы летали без парашютов? Непонятно»)

К тому же рассказывает о таких вещах Кравцова внешне спокойно, без пафоса, с минимальным количеством восклицательных знаков.

Автор умеет в одной-двух корогких фразах дать, казалось бы, частную, но о многом говорящую деталь вроде неожиданного, но психологически очень точного: «Почему-то назойливо лез в голову веселый мотив из «Севильского цирюльника». Это — в воронке от снаряда, посреди минного поля на ничейной земле, после вынужденного прыжка с парашютом из горящего самолета. А когда штурман Руфина Гашева (речь шла именно о ней) вновь начала летать на боевые задания и ее легчиком вместо погибшей Лели Санфировой стала энергичная и веселая Надя Попова, Руфина быстро сработалась с ней, но — «в полете часто называла ее Лелей»...

Н. Кравцова говорит не только о фактах боевой жизни полка (хотя и о них говорится много и интересно), но прежде всего о психологии человека на войне. Причем психологии человека, для войны, казалось бы, мало приспособленного, — девушки, вчерашней студентки, ни сном ни духом и не помышлявшей о профессии военного летчика.

Читая Н. Кравцову, мы видим, как нелегко давалась им боевая работа: «Третью неделю у меня кружится голова. Вероятно, от переутомления. На земле это не страшно. А в воздухе...» Видимо, продолжать цитату не обязательно: читатель сам без труда поймет, чем может обернуться головокружение в полете. Или: «Очень устали и потому обе молчим, Ира и я. За ночь мы сделали шесть боевых вылетов». Это говорится между прочим, как некая вводная деталь, с которой начинается глава «На рассвете». Но мне трудно пройти мимо этой

фразы. Представляет ли себе читатель, что такое шесть боевых вылетов? Да зачем шесть! Что такое один вылет?

Это — огонь зенитных средств всех калибров до автоматного огня включительно (По-2 работали на предельно малых высотах, порой на бреющем полете), это — ночные истребители противника, это — слепящие прожектора, а зачастую это еще и непогода. низкая облачность, туман, снег, обледенение, штормовой, бросающий легкую машину с крыла на крыло, вырывающий ручку управления из рук ветер...

Напряженность состояния психики девушек, без малого четыре года почти ежедневно проходивших через все эти испытания, Н. Кравцова выражает внешне спокойным, вроде бы чисто информативным абзацем, который нельзя не привести целиком: «Я часто вижу сны. Цветные. Наверное, оттого, что мы летаем ночью и остается масса световых впечатлений. Вспышки зенитных разрывов, яркие лучи прожекторов, пожары, цветные ракеты, пулеметные трассы, перестрелка на земле — и все на фоне темной ночи. Это врзается в память, остается надолго.

И после войны мне долго снились цветные сны. А потом все прошло. Сны стали серыми, обычными, без ярких красок...»

Да, не дешево, очень не дешево досталась девушкам их боевая служба. Кравцова не пытается изображать дело так, будто наши летчики не знали, что такое естественный человеческий инстинкт самосохранения. Вот она, возвращаясь от цели, идет над морем с подбитым мотором: «Временами мне кажется, что мотор вот-вот остановится. Тогда я ощущаю легкое поташнивание». А вот пара «мессеров» атаковала наших летчиков в деревне, на земле: «Мы забежали в хату... С испугу я бросилась зачем-то закрывать окна... Снаряды рвались на дороге, в саду, возле хаты. Пробило дырку в потолке, другую — в глиняной стене. Мне стало страшно: убьют нас вот так, нелепо... где-то в хате... Хотелось куда-нибудь спрятаться, но, кроме стола и кровати, в комнате ничего не было. Мы залезли под стол и сидели там, пока не кончилась штурмовка...»

Тут все — точно. В частности, совершенно точно, что для летчика на войне оказаться объектом атаки на земле, когда он, так сказать, безлошаден, хуже любого воздушного боя и любого огня зениток!

Одно из самых трудных дел на свете — оставаться всегда, при всех обстоятельствах самим собой. Это удается далеко не всем и каждому. С комплексом неполноценности, пусть сколь угодно глубоко скрытым, этого не осилить... Наталья Кравцова не упускает случая показать нам девушек, которые упрямо остаются сами собой, невзирая на обстоятельства, применительно к «девичьему характеру» более чем необычные.

Скажем, увлечение вышиванием. Правда, это было не более как очередное увлечение, пришедшее на смену волейболу, шахматам или чему-то еще. Но вышиванием девушки занялись особенно азартно: «...где-то доставали цветные нитки, делились ими, обменивались... В ход пошли перьянки, разные лоскутки... Умудрились вышивать на аэродроме, под крылом самолета, в кабине».

Что такое война, на войне усваивается быстро. И при этом возникает естественная неприязнь ко всякой фальши в ее изображении, к показной лихости, ухарству. В день рождения Жени Жигуленко нашелся старый патефон с кучей заигранных пластинок: «Если завтра война»... это мы откладывали в сторону. Хрипели «Очи черные», отчаянно взвизгивал «Синий платочек»... И вдруг... «Песня Сольвейг», печальная и нежная»...

Наталья Кравцова пишет о том, что хорошо знает, — недаром она провела в 46-м Гвардейском полку ровно столько, сколько воевал сам полк, — ни на день меньше! Отсюда и ощущение полной достоверности всего написанного ею. Редкие исключения вроде утверждения, будто на планировании с неработающим мотором в самолете «было так тихо, что Руфа слышала, как тикают часы на приборной доске» (в действительности на фоне шума обтекания встречного воздушного потока, да еще при надетом на голову шлеме тиканья часов не слышно), воспринимаются именно как исключения. Очень немного в ее обеих книгах и таких мест, где автор неожиданно вдруг пишет что-то чужое и много раз читанное: «...с мягкими карими глазами и еле заметной улыбкой, таившейся в уголках рта...»

Но, повторяю, таких погрешностей у Кравцовой очень немного. Может быть, поэтому каждая из них так и бросается в глаза.

Если же говорить о претензиях более общих, то таких у меня возникла, пожалуй, всего одна. Правильнее было бы даже назвать ее не претензией, а скорее сожалением о том, чего автор не рассказал. Правда, спорить не о том, что в книге написано, а о том, чего в ней нет,— прием, кажется, запрещенный. Но я все же позволю себе поделиться возникшим у меня ощущением некоего «белого пятна».

В книгах Н. Кравцовой присутствует основной конфликт — между нами и нашими врагами. Слов нет, в годы войны это был действительно основной, определяющий, самый сильный конфликт в нашей жизни. Не обходит автор и частных конфликтов, связанных, как правило, с тем, что кто-то чего-то недоделал или недодумал (вспомним хотя бы, как наши летчицы пролетали всю первую, самую тяжелую, половину войны без парашютов!). И это тоже правильно, тоже отражает какие-то реальные сложности тех лет.

Но когда дело доходит до жизни внутри-полковой, впечатление у читателя складывается такое, что речь идет о стерильном коллективе — без споров, различий характеров, столкновений жизненных позиций, даже без каких-то градаций во взаимных личных симпатиях (о возможных человеческих антипатиях я уж не говорю: их просто нет и в помине). Мне не хотелось бы быть неправильно понятым: я не призываю автора к описанию случайных ссор и мелких бытовых недоразумений. И понимаю, что основные эмоции, помыслы, устремления были

у наших летчиц общими—теми же самыми, как у всех нас. Но если люди — причем люди содержательные, думающие, неравнодушные, какими показал нам их автор,— прожили вместе годы своего человеческого формирования, не могло это формирование пройти абсолютно гладко, как притирка деталей хорошо смазанной машины. Тем более на войне. И мне по-читательски жаль, что автор осторожно обошел эту сторону душевной жизни своих героев. Честное слово, они от этого не перестали бы быть в наших глазах героями!

А они — настоящие герои! Наталья Федоровна Кравцова пишет об этом убежденно, хотя и с благородной сдержанностью. Особенно скромно говорит она о себе — ветеране полка, Герое Советского Союза, выплывшем 980 боевых вылетов.

Ну, а как же все-таки насчет того, нужно ли было пускать девушек на войну?

Не знаю... Не могу произнести однозначное «да» или «нет».

Но скажу одно: как ни тяжело думать о девушках, погибших в свои самые молодые годы, как ни трудна была для женщины сама жизнь на войне,— не поворачивается у меня язык сказать, что напрасно их пустили воевать! Потому что даже суммарный счет всех видов их потерь очень уж намного перекрывается счетом одержанных ими побед. Впрочем, это трудное заключение относится не только к замечательным летчицам 46-го Гвардейского Таманского ближнебомбардировочного полка...

М. ГАЛЛАЙ

★

ВПЕЧАТЛЕНИЕ И СЛОВО

Владимир Соколов. Снег в сентябре. «Советская Россия». М. 1968. 144 стр.

В сборнике стихов В. Соколова «Утро в пути», вышедшем еще пятнадцать лет назад, есть стихотворение «Сентябрь», по которому озаглавлен целый раздел книги. То был особый сентябрь: в него врывались воспоминания о сорок первом годе, и был он закреплён в памяти тем, что «Васька Спиридонов в сентябре под Винницей погиб».

Новый сборник стихов Владимира Соколова, включающий стихи разных лет начиная с 1959 года, называется «Снег в сентябре», тоже по заглавию стихотворения. Но теперь в «золотую осень» врывается не

память о первых месяцах войны, а неожиданный снегопад.

Снег обращал дома в руины
И восстанавливал скорей,
Ложась по внешним подоконникам.
И шел опять у фонарей —
Домиком...

Историческая память поколения живет не только в воспоминаниях о фактах истории. У поэта пережитое может стать образным строем и настроением стихов — и вот снег «обращает дома в руины», а потом

«восстанавливает» обороты, привычные для человека, на чьей памяти прошла война, становятся в стихах образами природы.

Во многих стихах Владимира Соколова шестидесятых годов живет ощущение всегдашней неожиданности бытия, где «призраки уюта» придают всему лишь видимую прочность. И в стихотворении «Улица», опубликованном в 1968 году («Литературная газета», № 18), снова над влюбленными снежный «купол ввысь белел, кружась». Подобно снежному «домику» из стихотворения 1966 года, он обречен исчезнуть, но не совсем, не бесследно: «Снег тянет вверх. Лови его, кружись. Лови, лови снежинку строчкой точной». Разумеется, «снежинка» здесь не реалья, а метафора: речь идет о снеге, выпавшем еще «в те давние года», о неуловимых, ускользающих мгновениях душевной жизни, которые поэт хочет догнать строкой, запечатлеть «скользящими словами».

Поиски особого образного и интонационного строя стиха характерны для поэзии В. Соколова последних лет.

Поймай меня на том, на чем нас
ловят, —
На пустяке, неосторожном слове.
Прошу, попробуй вымани секрет.
Я всех болтливее и бессловесней.
И запиши.
И это будет песней,
Которую ищу я с детских лет.

Это стихотворение открывает сборник «Снег в сентябре». Для поэта главный «секрет» заветной песни — слово, вырвавшееся как бы случайно из глубины души и неожиданно, непосредственно, как обмолвка, выражающее тайное, невысказанное в человеке. Определенность мысли, так же, как изначальная смысловая определенность слова, может, считает он, помешать рождению этой вдохновенной обмолвки, разрушить звучание строк, выражающих бессловесную, как музыка, суть.

Само по себе такое представление о поэзии не отличается новизной, оно, по моему, если не совсем неверно, то во всяком случае неполно. Стихи не могут сделаться «песней без слов»; если поэт потеряет ощущение ценности их смысла, то переосмысление может обернуться бессмыслицей, «поэтические находки» окажутся случайными, а утрата значительности — неизбежной.

Но как или иначе, в творчестве Влади-

мира Соколова последних трех-четырёх лет появилась особая интонация, сделавшая его стихи очень узнаваемыми. Они звучат так, словно человек говорит уединенно, с самим собой, не рассчитывая на публичность. А для читателя эта негромкая мелодия раздумий создает особую атмосферу общения с поэтом как бы с глазу на глаз.

Стремление вслушаться в себя, поймать «строчкой точной» «снежинку», удержать ускользающее мгновение душевной жизни во всей его подлинности очень привлекательно: риторическая отчетливость и натужная громкость, нередкие в нашей сегодняшней поэзии, слишком часто заглушают и в читателе и в поэтах живое, но еще смутное и неясное чувство, не дают ему развиться. (У самого же В. Соколова в стихотворении «На крайнем юге, солнечном и синем...» «желтеет каждый болдинский листок, как библиографическая редкость». Этот образ, мне кажется, как раз принадлежит той напыщенной риторике, которая не раскрывает, а наглухо закрывает для читателя индивидуальность поэта, точно так же, как и шутливость стихотворения «Мне нравятся поэтессы, их пристальные стихи...» удивляет хотя бы тем, что о поэтессах, стихи каждой из которых, как говорится здесь же, «пристальные», можно, оказывается, писать скопом, сразу обо всех.)

Радует в творчестве В. Соколова то, что поэт, уже определившийся, не подавшись инерции выработанной им формы, находит для себя некий новый путь. И не случайно, еще в конце сороковых годов протиснувшись со своим мальчишеским детством, чей «парус одинокий» «льдинкой белой таял навсегда», поэт снова, что по-иному вернулся не только к этой теме, но и к этому образу в шестидесятые годы. В ряде стихотворений снова и снова оживает счастливая и дерзкая пора мальчишества. дорогая поэту не только тем, что она была временем первого, самого непосредственного знакомства с миром, но тем еще, что она несет в себе возможность все начать по-новому.

В этой связи важно отметить, что во многих стихах поэта в разные годы по-разному возникает тема творчества и мастерства. Таковы стихи «Художник должен быть закрепощен...», «Ночные бабочки», «Снега белый карандаш обрисовывает зданья...» и другие. Я отмечу последнее из перечисленных стихотворений, где поэт, «образная зренья» к зимней ночи, просит: «Дай по-

заимствовать уменье. Глазом, сердцем весь приник... Помоги мне в миг бесплодный. Я последний ученик в мастерской твоей холодной».

Уже из приведенных выше примеров читатель видел, что «зимние» образы — то как реалии, то как метафоры (что для понимания поэта особенно важно) — не редки в стихах В. Соколова. Примерно пятая часть стихов сборника «Снег в сентябре» напоминает читателю об особом очаровании зимы. «Как привалившее счастье, эти сугробы и пух», — пишет В. Соколов в стихотворении «Речной вокзал». Зима обновляет, «перебеливает дни», потому что, как говорится в другом стихотворении, снег «полон сдержанного пыла». Это только кажется, что он мертв и холоден. В. Соколову близко холодное очарование зимы с ее особой, «зимней» грустью: зимняя красота осуждена растаять. Во многих стихах поэта, где есть эта тема, звучат нотки грусти, как бы охлажденной иронией. И хотя в «Новоарбатской балладе» прямо ничего не говорится о зиме, но строки «где зона слома и зона сноса, застряло слово полувопроса. Полумашина, полукарета умчала отзвук полответа» — это по существу тоже «зимние» стихи, в которых смысл слов сливается в некое ускользающее мерцание, в лирический поток, который должен вызвать непосредственный эмоциональный отклик — своего рода «отзвук полответа».

Итак, Владимир Соколов — поэт с определенной, легко узнаваемой индивидуальностью. Это очень много, но еще не все. Ведь стихи становятся по-настоящему значительными, когда значительно происходящее с поэтом, когда значительно его переживание.

Во многих стихах В. Соколова есть эта значительность и почти во всех — стремление к ней. В стихотворении «Весь в перьях сад, весь в белых перьях сад» подробности бытия оказываются где-то в глубине одушевленным и гармоническим целым, а целое существует не само по себе, но в этих приметах и подробностях. Так живет московский дворик — «карнизами, ветвями, красками, порогами, самим собой». Так живет старый дом на Арбате, дом, уже вовлеченный в переделку мира («Весна на Арбате»). И, конечно, «самим собой» живет мир природы, одушевленный и потому способный одушевить:

Иду сквозь эту колоннаду,
Прислушиваясь на ходу
К улегшемуся снегопаду.
Он слушает, как я иду.

Я здесь прямою и не трушу
Того, как даль вступает в близь,
Когда приструнивает душу
Сосна, настроенная ввысь.

(«Легко обремененный снегом...»)

Сельская природа стала частью души поэта, и может быть, лучшей частью. В. Соколов любит бескрайнюю волю «России средней полосы», когда «с размаху вширь простерлось поле.. Стоишь. И словно шире плечи». И точно так же, как мир «лугов и запаха прелый копны, промокнувшей от росы, и карий глаз ромашки белой», живет в поэте ощущение своего «корня» («Родные стены»).

Для бытия целого, которое «называл Сергей Есенин не Константиновом и не Окой, а просто лесом, полем да рекой», разделение во времени относительно и условно, как и любая дефиниция. Поэтому «уходящее» в стихотворении «Новоарбатская баллада» «уходит в будущее», а на улочке старинного города Осташкова, по имени которого названо стихотворение, «тишь стояла, как будто время там не шло, а только бабочкой сновало да из-под лип травой росло». Здесь сама метафора выражает необычное ощущение времени как чего-то живого, слитного и цельного.

Это ощущение живой связи времен отчасти объясняет интерес поэта к тому, что по хронологическому признаку принято считать прошлым. Стихи о Ростове Великом, о Моцарте и Сальери, «Стихи о Пушкине», «Пятигорские стихи» не случайны для творчества поэта в шестидесятые годы. Он все больше прислушивается к себе, и ему очень важно видеть и слышать то, что мы называем традицией культуры прошлого. В стихотворении «Метаморфозы» поэту хочется воплотиться в старенький дом в Москве на Покровке, который глядит «в какой-нибудь там» переулок, «листвой заслонясь, как рукой». «Это ведь я под числом, а вовсе не дом номер восемь, стою, обреченный на слом». Да, на слом, потому что, говорит поэт,

Мы, дети отжившего века,
Старинные особняки,
Для новых идей человека,
Наверно, не столь высоки...

парнасов...», не отвечивают холодноватой зимней прозрачностью: в них много настоящего темперамента, внутреннего огня.

Впрочем, место Владимира Соколова в современной советской поэзии определяется не его недостатками, а его достоинствами. И главное из них, по-моему, то, что Владимир Соколов — поэт, и поэт ищущий,

меняющийся от года к году. Характер этого развития и самостоятельность дарования поэта дают основание надеяться, что этот тонкий лирик станет таким же чутким к мысли, как он чуток сейчас к переживанию в себе непосредственных впечатлений.

Ю. АЙХЕНВАЛЬД.

★

О СЕБЕ И СВОЕМ ДЕЛЕ

В. М. Ко на ш е в и ч. О себе и своем деле. Воспоминания. Статьи. Письма. «Детская литература». М. 1968. 496 стр

Делакруа удачно назвал живопись и скульптуру в отличие от литературы «молчаливыми искусствами». «Молчаливостью» отличается и большинство художников: очень немногие оставляют воспоминания, статьи, записки.

Художник В. Конашевич — один из этих немногих. Он не только проныцательный иллюстратор, мастер тонкой, остро лирической акварели — он был доктором искусствоведения, чутким критиком, автором уверенной, самостоятельной прозы.

В сборнике «О себе и своем деле» мы впервые знакомимся с Конашевичем-критиком. Успех художника в этой области обусловлен тем, что к явлениям литературы он подошел с неожиданной, непривычной стороны — с точки зрения художника-иллюстратора, которому «необходимо поверить в подлинную реальность того, что он читает» Если ощущение реальности литературного образа так и не возникает, художник ищет этому причины.

Взгляд на литературу с этой особой позиции, с точки зрения иллюстратора, позволяет В. Конашевичу отойти от некоторых традиционных представлений, предоставляет ему свободу суждений, произносимых с наивной непринужденностью и уверенностью

В статьях и заметках об искусстве у В. Конашевича наиболее ценны непосредственные впечатления художника. отдельные его реплики по поводу споров о реализме в искусстве, об оформлении книги, о характере иллюстраций к детским книжкам. Основное требование его вкуса выражала следующая полушутливая аксиома: «В искусстве все можно, что хорошо и талантливо, и ничего нельзя, что плохо и бездарно».

В статьях Конашевича мы встретим и личные, пристрастные наблюдения над произведениями известных художников, и теоретические суждения, основанные на многолетней работе над книгами. Опережая своих критиков, художник комментирует собственное творчество, трезво его анализирует, поясняя особенности своего живописного стиля.

К. Чуковский назвал В. Конашевича «одним из самых счастливых людей, каких я когда-либо видел». Успех сопутствовал художнику во всех его начинаниях. Уже первые его работы в книжной графике отличаются высоким профессионализмом, глубоким проникновением в творческую манеру автора. Поразительна широта его творческого отклика: он иллюстрировал книги Тургенева, Шеридана, Зошенко, Шиллера, Фета, Чехова, Федина и других. И каждый раз для каждой новой книги Конашевич находит новый, своеобразный изобразительный прием.

Художнику удалось передать графически тонкую прелесть лирики Фета, которая, казалось бы, так же неуловима по чувству и изменчива, как лунный свет, — его В. Конашевич изобразил материально, зримо и, как всегда, неожиданно. На иллюстрации к стихотворению Фета «Как ярко полная луна посеребрила эту крышу...» лицо мужчины, стоящего у створки окна, срезано сплошным потоком физически ощущаемого лунного света, льющегося в окно.

Чутко глядяваясь в образную систему прозы Пастернака, Конашевич и для нее находит необычное и, кажется, единственно возможное решение. У художника хватает смелости решиться проиллюстрировать, то есть сделать конкретной, видимой, такую подчиненную исключительно эмоци-

ональному заданию строку из «Повести» Пастернака: «Дома стояли, возведенные на пустой предвесенней настороженности, как на упругом фундаменте из четырех стен».

В тридцатые годы В. Конашевич оформляет исключительно детские книги. Переход довольно резкий; объясняется он скорее внешними, чем внутренними обстоятельствами. Вот как об этом пишет сам художник: «О том, что я начал находить себя, говорят иллюстрации к Чехову (1929 г.), к Лукиану, к трилогии «Валленштейн», к сборнику стихотворений Гейне. Там что-то намечалось свое; это было начало какого-то пути. Вы знаете, что оборвало мое продвижение по этому пути. Мне пришлось... уйти в детскую книгу, где далеко не все, что я иллюстрировал, было близко моему сердцу».

Что же помогло В. Конашевичу утвердиться на новом пути, обрести уверенность, увлеченность, страсть? Собственное детство, которому художник остался верен и в зрелые годы. «Счастлив тот, кто имел его, кому есть что вспомнить. У многих проходит оно незаметно или нерадостно, и в зрелом возрасте остается только память холодности и даже жестокости людей», — писал Аксаков. Именно детство подсказало В. Конашевичу и бесконечные вариации его рисунков, и особую чуткость к ребенку-читателю, и удивительные сказочные подробности в его иллюстрациях, и весь светлый, поэтический колорит его рисунков.

В. Конашевич не принадлежит к тем художникам, которым свойственна наивность и непосредственность детского восприятия. Он сознательно ориентируется на детское восприятие, учитывает его запросы, пишет специальные статьи об особенностях детского сознания, фантазии, чувства реальности. В яркой декоративности его рисунков участвует не только фантазия, но и тщательное изучение образов народного творчества, таких, как роспись изразцов, резьба, пряничные доски, лубок, набойка. Память детства сообщила художнику удивительную свободу ориентации в том сказочном мире, который он воссоздает в своих рисунках. Он точно знает все приметы, конкретные черты сказочных действий и сообщает о них с той естественностью, с какой говорят обычно о реальных вещах.

Воспоминания детства сыграли большую роль в жизни художника в трагических

обстоятельствах блокадного Ленинграда. В 1943 году близкие друзья Конашевича слушают у него на Моховой очередные главы его воспоминаний о детстве. «Воспоминания помогали его борьбе за жизнь. Он как бы дополнял в них паек, недоданный блокадным «снабжением», — пишет Федин в предисловии к этим воспоминаниям, вошедшим в рецензируемую книгу.

Эта проза — медлительная, стремящаяся во всех интимных подробностях охватить «прекрасные мгновения» детских ощущений и открытий. В ней есть размеренность, но нет пустот, длиннот, случайностей; она гармонична и цельна, с любовной тщательностью как бы очерчивает особый мир детства.

Душевная жизнь мальчика, самостоятельно постигающего законы искусства, передана бережно и точно; В. Конашевичу удастся одна из труднейших задач литератора — передача пластики изменяющейся жизни. Верность детству помогает В. Конашевичу воссоздать особый колорит, аромат, запах тех мест, в которых он был ребенком. Неповторимы, индивидуальны в воспоминаниях художника старая Москва, вся в снегах, голубых тенях и уюте светящихся окон; Чернигов, по крыши погруженный в густую зелень бесконечных садов; тишина, негромкая поэзия уездных дач и усадеб. Отдельные отрывки, например, мастерское описание внезапного ливня в Чернигове, представляют поэтически законченные миниатюрные новеллы. И особенно хорош язык воспоминаний — немного старомодный, неторопливый, колоритный; невольно на память приходит проза Аксакова, язык которой Анненков называл «сладостным». Повествование В. Конашевича сдержанно, чуждо внешней эмоциональной приподнятости — тем яснее, четче восстанавливается подлинность давно ушедшей жизни.

В. Конашевич сознательно стремится удержаться в сфере детства, для этого он использует в своих воспоминаниях излюбленный прием Юрия Олеши — передает прошлое как бы в настоящем времени. И все-таки время, в которое художник пишет воспоминания, не только стимулировало обращение к ним художника, но и наложило свой четкий отпечаток на повествование.

Дело не только в тех тревожных, судорожных вставках, которыми разрывает художник свою непрерывную бытопись

«Декабрь 1941 года. Везут на санках беленькие, чистые, некрашенные гробы, большие и маленькие...», «Апрель 1942 года. Почти ежедневный артиллерийский обстрел города. А когда его нет, бьют неистово «звонитки», как их называют павловские бабы. Значит, летят немцы», «Страшно жить. Не потому, что страшно умереть каждую минуту. А сама жизнь страшна, невыносима, невозможна...»

Именно современность определила и внутренний строй воспоминаний, и их лирическую окраску; настоящее, а не прошлое вызвало неукоснительные, завораживающие возвращения автора к еде, к подробно зрительному описанию лакомств, яств, которые подавались в его детстве. В пронзительном контрасте с настоящим — такой любовный уют в описаниях, такое упорное настаивание на неизменности, прочности, покое мирной жизни. И, кроме прочего, именно сознательное сопротивление обстоятельствам определило и стиль повествования — сдержанный, размеренный. Обращение к детству для художника было в блокадные дни спасительным актом, оно возмещало ему утраченную реальность. Характерно, что воспоминания В. Конашевич писал только во время блокады. Кончились ужасы повседневных налетов, бомбежек, голода, близкой смерти — и художник забросил свои тетрадки: «Теперь мы живем опять в реальности. Вещи становятся на свои места». После победы перо заменила кисть, и детские впечатления помогали уже в работе, а не в борьбе за жизнь.

Итак, о себе и о своей работе В. Конашевич рассказал нам сам. В его воспоминаниях немало личных подробностей, признаний, свидетельствующих о вкусе, симпатиях, характере художника. И все-таки рассказ «о себе», несмотря на полную искренность автора, порою кажется каким-то внеличным — такова манера, сознательно избранная В. Конашевичем. Он не признает лирических излишней, самоанализа, сугубых откровенностей с читателем. Его повествование достоверно, но при этом весьма сдержанно.

И здесь на помощь приходят воспоминания людей, близко знавших В. Конашевича, их переписка с художником. Эти материалы составляют примерно треть книги. В собственных воспоминаниях художника мы расстаемся с ним в юном возрасте, о его дальнейшей судьбе рассказывают дочь В. Конашевича (О. В. Чайко), писатели, чьи книги он особенно любил оформлять, — Чуковский и Маршак, товарищи по работе, ученики. Из их рассказов вырисовывается человек удивительной цельности, сердечный, влюбленный в жизнь, природу, искусство и — прежде всего — очень добрый человек. Недаром Чуковский писал: «Ваша живопись — добрая, в каждом Вашем штрихе, в каждом блике я всегда чувствовал талант доброты — огромное в три обхвата сердце, без которого было бы никак невозможно Ваше доблестное служение детям».

Е. КЛЕПИКОВА.

Ленинград.

★

САМОРОДОК

Г. О. Сутеев. Скульптор Эрзя. Биографические заметки и воспоминания. Саранск. Мордовское книжное издательство. 1968. 176 стр.

Эту книгу о замечательном скульпторе Степане Дмитриевиче Нефедове (Эрзя) ждали давно все ценители и любители пластического искусства, не говоря уже о земляках-почитателях знаменитого сына Мордовии.

Известно, что Мордовия объединила два народа: мокша и эрзя, что первый из них проживает к западу от Саранска по берегам реки Мокша, а эрзяне живут к востоку и юго-востоку, в Присурье по берегам реки Суры и ее пригоку Алатырю (здесь и родился скульптор).

В саранском краеведческом музее еще в тридцатые годы было много этнографических экспонатов, представляющих материальную и духовную культуру этих двух народов: коллекции одежды, головных уборов, украшений, керамики, образцов народного творчества. В непосредственном соседстве с этими экспонатами были размещены скульптуры, подписанные именем Эрзя. На табличке значилось, что эти скульптуры переданы музею московским врачом Г. О. Сутеевым.

Помнится, что среди всех экспонатов

именно эти скульптуры больше всего притягивали наше внимание, тревожили детскую душу и будоражили воображение. Особенно озадачивала нас горизонтально расположенная скульптура из бетона «Жертвы революции 1905 года». Нашему детскому восприятию представлялось, что скульптуры эти — творения не одного человека, а создание всего народа эрзя, чьим именем они и были обозначены. И «Голова Христа», и «Шепот», и «Мордовка», и «Калипсо» завораживали нас, внушали мысль об огромном, необычном, что не может быть творением одного человека, а под силу только целому народу.

И лишь много лет спустя, уже взрослыми, мы узнали, что эти скульптуры созданы одним художником, нашим земляком Степаном Дмитриевичем Нефедовым, избравшим своим псевдонимом «ласкающее и звучное имя» своего родного народа — Эрзя.

«Русский Роден», как часто называли Эрзю в Париже, имел головокружительный успех и всеобщее признание за границей, а в России оставался долгое время известен преимущественно узкому кругу художников.

В наши дни имя Эрзи известно всем, любящим искусство, а уж в Мордовии — буквально каждому школьнику. За последнее десятилетие для популяризации творчества этого скульптора здесь сделано многое: в Саранске открыта постоянно действующая выставка его работ, издаются серии открыток с его произведений, буклеты, была издана массовым тиражом книга о творчестве Эрзи, написанная Борисом Полевым, и вот теперь вышла книга «Скульптор Эрзя», принадлежащая перу ныне покойного профессора Григория Осиповича Сутеева, близкого и многолетнего друга Эрзи, с предисловием сына автора — художника В. Г. Сутеева. Более чем полувековая дружба со скульптором дала возможность автору написать интереснейшую биографию замечательного художника, представляющую к тому же достоверный материал для будущих исследователей жизни и творчества Эрзи.

Достоинство книги в ее строгой фактичности, в том, что автор, как первый биограф скульптора, предоставляет место рассказам самого Эрзи о его необычайной жизненной судьбе и творческой деятельно-

сти. Особая ценность записей этих рассказов в том, что они делались непосредственно вслед за очередной встречей с художником.

Мы должны быть благодарны Г. О. Сутееву за многие сообщаемые им такие биографические сведения об Эрзе, какие до сих пор даже не были известны, — особенно о первом периоде жизни и творчества С. Д. Эрзи. Будущий прекрасный мастер в юные годы с большим успехом испробовал многие материалы для своих скульптур, овладевая искусством «сильной, но молчаливой музыки», и живо предстает не только как художник, но и как бунтующая личность, несогласная с тогдашней жизнью.

Совсем не беда, что нам, читая эту книгу, порой кажется, будто автор записей ведет читателя преимущественно по внешним этапам жизни художника, указывая на фактические и радостные и горестные события жизни замечательного человека-труженика. Но на основании этого кажущегося внешним описания и знакомства с самими работами Эрзи, представленными иллюстрациями к книге, мы можем проникнуть во внутренний мир выдающегося скульптора. В самом деле, если мы всмотримся, вдумаемся в его работы первого периода, охарактеризованные в книге, то ясно поймем не только народность скульптора, его воинствующий атеизм, его смелый протест против уродств буржуазного общества, но его желание быть выразителем дум и чаяний родного народа, участвовать в переделке мира, революции. Именно об этом свидетельствуют его произведения «Поп» (цемент, 1908), «Последняя ночь приговоренного к смертной казни» (цемент, 1909), «Жертвы революции 1905 г.» (бетон, 1926). Ценны настроения и мечты художника, запечатленные автором этой книги, а также итальянским другом Эрзи, знатоком искусства, разносторонне образованным человеком Уго Неббиа, чья большая статья о творчестве С. Д. Нефедова помещена в книге. «Артисту революции Эрзе» — так озаглавил Уго Неббиа свою статью об Эрзе. Обращаясь к нему, он говорит: «Вы мечтаете обновить общество, переделать весь мир, на обломках его дряхлого и больного тела построить новый, радостный и светлый. Вы стремитесь столкнуть этот труп, который упрямо хочет внушить к себе уважение анафемой святейшего синода, казацкими нагайками, народной темнотой и грусостью наемников...

Вперед, друг Эрзя! Ни в Вас, ни в Вашей драгоценной личности я не сомневаюсь...»

Мы видим настойчивое стремление художника понять этот мир, правильно осознать свое место в нем, стремление посвятить всю силу своего таланта благородному делу. По возвращении на родину после его триумфов в Италии и Франции в 1914 году Эрзя был «приглашен» в жандармерию для обыска и допроса. Власти добивались сведений о заграничных связях и знакомствах художника, о планах политэмигрантов, о том, с какою целью он сам прибыл в Россию. После месячного заключения, ничего не добившись, Эрзю освободили, но установили за ним полицейский надзор.

Художник с восторгом принял Великую Октябрьскую революцию и мечтал создать достойный памятник Октябрю и Ленину.

Скульптору была тесна мастерская, он страстно мечтал о монументальном искусстве будущего. И свою мечту хотел воплотить в обработке под грандиозный памятник Революции и Ленину скальных массивов Урала и Кавказа. «Дайте мне динамит, небольшие средства и рабочих, и я построю памятник революции из гор», — говорил он.

Конечно, известная доля субъективности авторских оценок и суждений может быть

отмечена в книге Г. О. Сутеева, но читатель чувствует на каждой странице рассказа искреннюю, сердечную любовь автора к Эрзю, человеку и мастеру. Автор собрал и бережно сохранил много критических отзывов об Эрзю и его работах: выдержки из статей, рецензии о выставках, письма. Этот ценный фактический материал помещен во втором разделе книги.

Книга Г. О. Сутеева освещает биографию Эрзи только до 1926 года, когда художник надолго покинул родину. Нет в ней рассказа о дальнейшем творчестве художника, о его работах с новым материалом: квебрахо, альгорробо, когда им создаются такие шедевры, как портреты В. И. Ленина, Л. Н. Толстого, «Моисей», «Автопортрет», «Старик мордвин» и другие. Но и в таком виде книга «Скульптор Эрзя» хорошо служит целям популяризации творчества замечательного художника. Она воссоздает яркий образ этого талантливого самородка, вышедшего из народных недр, покоряющего нас своим великим вдохновенным трудолюбием и преданностью народному революционному искусству.

А. КОТЛОВ.

Саранск.



«НЕЗАВИСИМО ОТ СТЕПЕНИ ТАЛАНТА»

П. Выходцев. Поэты и время. «Художественная литература». Л. 1967. 287 стр.

В этой книге много такого, с чем безусловно и охотно соглашаешься.

«Излюбленные образы Есенина невозможно себе представить, например, в стихах Д. Бедного...»

В самом деле невозможно. Возразить трудно. Как и тому, что «в искусстве все взаимосвязано. Разговор о форме невозможно вести без выяснения того, что она выражает. Рассуждения о новаторстве будут беспредметны, если мы обойдем вопрос о том, чем оно обусловлено и чему служит». Или. «Национальная специфика искусства — это не только национальная форма и не только национальная тематика... Национальную специфику искусства следует искать более глубоко...»

Такие бесспорные утверждения составляют значительную часть книги П. Выходце-

ва. И поэтому про книгу не скажешь, что она во всех своих частях неверна. Что ни говори, Есенин и Бедный — поэты действительно разные, а в искусстве и в самом деле все взаимосвязано.

Желание спорить с П. Выходцевым возникает тогда, когда он переходит от теории к практике. Вот, скажем, как конкретизируются цитированные мысли о национальной специфике: «...Бездумное заимствование отдельными молодыми писателями некоторых черт стиля современных французских или американских писателей чаще всего является нарочитым, искусственным».

Отметим осторожность: «отдельными... некоторых...» И все же: если «бездумное заимствование» терпит крах не всегда, а лишь «чаще всего», стало быть, иногда мож-

но заимствовать и бездумно? А заимствовать небездумно, вероятно, тем более можно?

Дальше — не многим яснее: «По-видимому, одна из причин известной распространенности внеисторического понимания мастерства и новаторства коренится в боязни ограничения (разрядка всюду моя.— С. Р.) роли и задач искусства временными и национальными рамками».

Значит, не надо бояться? Надо смело ограничиваться национальными рамками, пренебрегая опытом мировой литературы? Выходит, только так и можно избежать внеисторичности? Похоже, что П. Выходцев именно так и считает.

Эволюция исследователя от бесспорного к весьма спорному становится очевиднее, когда П. Выходцев начинает очерк истории советской поэзии.

О Маяковском у него сказано: он «всегда находит выход из мучительных личных вопросов в социальном устремлении человека». словно не было в лирике Маяковского трагических мотивов. Или: «Маяковский, если можно так сказать, как лирик растворился в поэзии высокого гражданского пафоса и тем самым открыл для советской поэзии новый, единственно плодотворный путь органического слияния личного и общего, «я» и «мы»».

По правде, так и кажется, что это говорится совсем о другом поэте. Не о том, который когда-то отвечал как раз на требование «раствориться»: «Для малограмотных. Пролеткультцы не говорят ни про «я», ни про личность. «Я» для пролеткульта все равно что неприличность... А по-моему, если говорить мелкие вещи, сколько ни заменяй «Я» — «Мы», не вылезешь из лирической ямы».

Ради простоты П. Выходцев сглаживает не только облик Маяковского, но и путь советской поэзии. Мельком упомянув об «известных трудностях и недостатках» поэзии тридцатых годов (и впрямь, что о них распространяться, если они «известные?»), он заключает: «Завоевания поэзии этих лет оказались исключительно плодотворными для ее активного развития в тех небывало трудных условиях, какие выпали на долю страны в годы Великой Отечественной войны».

«Исключительно плодотворными!» Значит, даже «известные трудности» никак не

отразились на развитии поэзии? Но вспоминается доклад Алексея Суркова, который был сделан во время войны и в котором зло говорилось, как трескучая парадность многих предвоенных стихов и песен («малой кровью, могучим ударом») дезориентировала людей в предгрозовую пору.

Пренебрежение к сложностям не случайно. Решив рассмотреть менее чем на трехстах страницах проблемы народности, традиций, новаторства, национального, социального, общечеловеческого, субъективного, объективного да еще — шутка сказать — обозреть полувековой путь советской поэзии, автор слишком уверен, что имеет право обойтись без сложностей:

«Здесь нет возможности показать, как своеобразно проявились эти особенности лирики 30-х годов...»

«Как и в предыдущих разделах, я, разумеется, лишен возможности всесторонне характеризовать послевоенную поэзию».

«Здесь нет возможности и необходимости детально рассматривать, насколько соответствуют подобные характеристики объективной истине».

Увы — места П. Выходцеву не хватает именно тогда, когда нужны доказательства.

Заговорив о народности литературы, он сразу предупреждает: «В настоящей работе нет возможности (ну разумеется! — С. Р.) рассмотреть категорию народности во всей ее сложности и полноте...» Впрочем, вся сложность и вся полнота вряд ли кому доступны. Но П. Выходцев не стремится даже к малейшей полноте да к тому же вульгаризирует понятие народности.

Вот что кажется ему главной созидательной силой у истоков советской поэзии: «Именно творчество пролетарских и крестьянских поэтов, несмотря на свои недостатки, несло в поэзию жизненный опыт и нравственно-эстетические идеалы широчайших слоев трудовой революционной России». «Я имею в виду, — поясняет автор, — и поэзию профессиональных пролетарских и крестьянских поэтов, и начинающих поэтов, шедших из трудовых слоев города и деревни, и безымянное творчество рядовых участников революции...»

При этом у П. Выходцева получается, что рядом с этими поэтами выглядят как минимум неполноценными и Блок и Маяковский.

К такому выводу приводит логическое развитие мысли автора. Интеллигенты Блок и Маяковский только еще ищут приобщения к «нравственно-эстетическим идеалам широчайших слоев» (что было совсем не просто), а «начинающие» (!) пролетарские поэты как бы уже «несут» эти идеалы в поэзию благодаря одному своему происхождению.

П. Выходцев справедливо жалуется на отсутствие у сегодняшнего читателя большого интереса к пролетарским и крестьянским поэтам. Но желая исправить положение, выдвигая их на первый план литературного развития, невольно оказывает им дурную услугу. Он пишет: «...В целом творчество крестьянских, как и пролетарских, поэтов противостояло антиреволюционной индивидуалистической и формалистической поэзии периода гражданской войны».

Здесь требуется некоторая расшифровка. Дело в том, что, говоря о модернизме, индивидуализме и формализме, П. Выходцев обычно прежде всего вспоминает Пастернака, Цветаеву, Ахматову, не говоря уж о Мандельштаме, чьи стихи имеют «антиобщественный характер» и «не несут никаких положительных идеалов». В результате все эти поэты с той или иной степенью решительности исключены из реалистической традиции, и сама мысль (встреченная П. Выходцевым у В. Перцова), что у них можно научиться хоть чему-нибудь путному, кажется нашему автору дикой и вздорной.

Таким образом, возникает картина: Ал. Ширяевец, победно противостоящий Ахматовой, Г. Деев-Хомяковский, безусловно превосходящий Цветаеву.

Рисовать такую картину П. Выходцеву легко, потому что и тут звучит знакомое: «Здесь нет возможности обстоятельно рассматривать своеобразие творчества пролетарских поэтов».

П. Выходцев сердится на «чисто субъективные критерии» других авторов. Антокольский, например, пробудил его неудовольствие тем, что упомянул Хлебникова, Пастернака и Цветаеву «с безусловным положительным знаком». «Но, быть может, этот пример случайный, единичный?» — с надеждой спрашивает П. Выходцев. И сокрушается: «К сожалению, нет».

Сожаление так велико, что статья Л. Озерова об Ахматовой получает такой отпор:

«Чем же подобные панегирики лучше тех односторонних и грубых выступлений критики, которые встречались в предшествующие годы?!»

Можно было бы объяснить — чем. Стоило бы только процитировать эти «односторонние» выступления, где авторы не только перечеркивали поэта, но унижали его человеческое достоинство. Но не хочется вспоминать слова, ныне как будто вышедшие из употребления, в связи с покойным поэтом, к которому наконец-то пришло признание.

Впрочем, оценки самого П. Выходцева тоже достаточно категоричны, хотя и лишены былой экспрессии.

Случалось ли вам задаваться вопросом: кто сыграл большую роль в русской поэзии — Анна Ахматова или Владимир Фирсов? Полагаю, не случалось. Полагаю, что сам вопрос многим покажется просто странным. И уж во всяком случае решенным.

П. Выходцев тоже считает его решенным.

Он очень недоволен Ахматовой — не только ранней с ее «эстетизмом», «акмеизмом и индивидуализмом», но также и поздней. Мимоходом выразив ей свое уважение (такие уж вежливые времена), он тут же пишет: «А. Ахматова в основном осталась певцом одной темы — темы неразделенной любви... Ни ее жизненный и творческий опыт, ни мироощущение не позволяли передать наиболее существенное в жизни страны и народа».

Таков неутешительный итог ахматовского пути.

Заговорив же о Фирсове, П. Выходцев восторженно находит в нем все то, чего так недоставало Ахматовой: «чувство родной земли раскрывается как вссильное чувство нашего современника, озабоченного сегодняшним и завтрашним днем своей родины»; «душевный мир человека высоких гражданских и патриотических чувств»; «лирически проникновенные стихи»; «активная мысль поэта-публициста»; «замечательные стихотворения»...

В доказательство приводятся строки, судя по которым их автор еще не вполне закончил курс изучения русского языка:

Россия!
Не искать другого слова,
Иной судьбы на целом свете нет.
Ты вся — сплошное поле Куликово
На протяжении многих сотен лет...

Мы говорили о том, как понимается П. Выходцевым та или иная эстетическая категория. Но одна категория его не занимает вовсе. Это — талант.

Он прямо пишет: «...Дело не в том, что Есенин — лирик, а Бедный — поэт-агитатор, и даже не в степени таланта». И еще прямее: «...Независимо от степени таланта поэтов...»

Это не оговорка, это откровенно сформулированный пафос книги. Степень таланта, а то и его наличие П. Выходцева не интересует.

Автор книги справедливо спорит с теми, кто истолковывает слова Маяковского «хорошие и разные» так: «разные» — значит «хорошие». Но у него получается, что «хорошие» — значит одинаковые. Впрочем, и те, кого он считает плохими, тоже на одно лицо.

Блок считал: «Поэты интересны тем, чем они отличаются друг от друга, а не тем, в чем они подобны друг другу». П. Выходцев ищет подобие, последовательно минуя различия: «...При всем различии, стихотворения М. Светлова и И. Молчанова очень близки...»; «При всем различии поэтических индивидуальностей, этих поэтов объединяло повышенное чувство долга...»; «...При всех различиях старых литературных школ и направлений, их объединяли отчужденность от революционной действительности...» и т. д.; «При всем многообразии песенных жанров... массовая песня 30-х годов развивалась в направлении синтеза...»; «При всем многообразии индивидуальных свойств таких поэтов, как Б. Пастернак, М. Цветаева, И. Сельвинский, С. Кирсанов, ранний Н. Асеев, ранний Н. Заболоцкий, П. Антокольский, А. Вознесенский, их объединяет... повышенное внимание к передаче субъективных впечатлений, нередко произвольных».

Быть может, это действительно исследование неких общих тенденций и позиций? Увы, нет. Чаще всего П. Выходцев объединяет поэтов по случайным признакам; порою же это объединение, говоря его сло-

вами, лишь результат «субъективных впечатлений, нередко произвольных». Так, довоенного Пастернака, оказывается, сближает с Сельвинским и Кирсановым «понимание искусства как поэтического изобретательства». Правда, с Сельвинским и Кирсановым все-таки легче: у них иногда попадаются «естественность и правдивость». С Пастернаком же совсем худо.

П. Выходцев вообще тяготеет к «списочному» разговору о поэтах. Как художник мыслит образами, так он мыслит списками. Длинными — по десять, по двадцать имен. А в одном месте, перечисляя поэтов, определяющих лицо нынешней молодой поэзии, он размахнулся до пятидесяти семи!..

Другой список, куда помещены поэты, у которых «несомненна принципиальная близость», и куда по туманно мотивированным причинам угодили Бедный и Есенин, Багрицкий и Исаковский, Рыленков и Наровчатов (не считая прочих), сопровождается таким комментарием: «Каждому из них присущи свое видение мира, своя поэтическая образность. У каждого свои недостатки и даже промахи».

«Свое», «своя», «свои» — это кажется П. Выходцеву почти исчерпывающим определением своеобразия. Поэтому: «У каждого из этих поэтов (названо девять имен.— С. Р.) есть свои сильные и слабые качества». У Солоухина и Бокова тоже «есть свои достижения и недостатки». У Тихонова, Орешина, Асеева, Багрицкого «также были свои трудности и достижения».

Вы спросите: какие именно? Но вам ведь ясно сказано: свои!..

Такова эта книга, имеющая, как мы видели, «свои недостатки и даже промахи». Впрочем, только ли свои? Может быть, эти недостатки — упрощенчество, безразличие к таланту — свойственны порою и другим образцам литературоведческих исследований?

Что же, тем более, вероятно, имело смысл указать на них.

Ст. РАССАДИН.

ДУХОВНОЕ ЗРЕНИЕ КРИТИКА

Вяч. Полонский. На литературные темы. Избранные статьи. Составители К. А. Полонская и А. Г. Дементьев. «Советский писатель». М. 1968. 422 стр.

Чем дальше отодвигаются прожитые десятилетия, тем настоятельнее становится потребность общества оглянуться назад, вобрать в себя прошлое, не потерять, не позабыть тех, кому мы обязаны своим духовным опытом.

Критика издавна признана полномочной выразительницей общественного самосознания. Поэтому так велик — и так закономерен — наш интерес к давно, казалось бы, забытым спорам и отгремевшим критическим дискуссиям.

Новая книга Вяч. Полонского составлена из статей, в двадцатые годы входивших в разные издания; тогда были широко известны включенные в новый сборник и монография «Русский революционный плакат», и полемика Полонского с Л. Гроссманом о Достоевском, и сборник статей «О современной литературе» (прежде напечатанных в «Новом мире» и «Печати и революции»), и «Очерки литературного движения революционной эпохи», и многое другое.

Составителями отобрано лучшее. Не вошли в книгу статьи чисто полемические, дискуссионные. Они действительно устарели, и вряд ли нужно было напоминать о таких едких, язвительных и печально известных статьях, как «Леф или блеф?». Но и забыть о них нельзя: двадцатые годы были временем становления не только бытия нового общества, но и его духовной жизни, и полемическая форма развития идей тогда была способом существования мысли. Не боясь упрека в суетности, издатели охотно шли на выпуск целых сборников дискуссионных выступлений. Да и любая, даже относительно спокойная, статья всегда была внутренне ориентирована на спор и возражение. Этого нельзя не почувствовать, когда читаешь переизданные статьи Полонского «Художественное творчество и общественные классы», «Ставрогин в «Бесах» или главы из книги «Сознание и творчество».

Дискуссионный характер мысли не только обуславливал остроту литературных деклараций и манифестов, но нередко порождал гипертрофию отдельных оттенков мысли, их внутреннюю несоразмерность, непомерное разрастание деталей и частностей. Однако полемичность мышления означала также —

и это главное, — что ни одна из спорящих сторон не обладает полнотой истины (вопреки их претензиям). Так становятся понятны не только неожиданные крайности в борьбе мнений двадцатых годов, но и тот присущий им драматизм, который, как правило, предшествует периоду стабилизации идей.

Поэтому не случайно А. Дементьев построил свою вступительную статью как расширенный историко-литературный комментарий. Он вводит читателя в атмосферу рождения критической темы, критической проблемы, и эта история оказывается такой же психологически напряженной, как творческая биография романа или поэмы. Только достигается эта напряженность иными средствами — борьбой идей.

Диапазон интересов Вяч. Полонского не может не поразить своей широтой. Блестящий оратор и публицист, энтузиаст и просветитель, он был известен современникам как заведующий Литературно-издательским отделом Политического управления Красной Армии, как создатель энциклопедически широкого журнала «Печать и революция», основатель Дома печати, ректор Высшего литературно-художественного института имени В. Я. Брюсова, редактор, возродивший «Новый мир», и главное — как человек, в котором темперамент и творческая одержимость сочетались с художественным вкусом и собственной одаренностью. Трудно сказать, где был сильнее Полонский — там ли, где он проявлял настойчивость и энергию как организатор (Полонский, вспоминал Н. Л. Мещеряков о работе в «Печати и революции», «сам собирал авторов, давал им заказы, уговаривал их работать, сам правил статьи, сам писал статьи для журнала, сам бурно воевал в Госиздате»), или же там, где он выступал как историк, критик, исследователь литературы и теоретик искусства.

В таком разнообразии тем и дел, конечно, существовала реальная угроза — широта интересов могла обернуться дилетантизмом и расплывленностью. Однако этого не произошло: Полонский обладал сильным производящим — единством исходной позиции, или,

говоря его словами, цельностью «духовного зрения».

В самом появлении этого образа («духовное зрение») на страницах статей Полонского был заложен скрытый вызов: мысль о том, что художник видит мир «своими» глазами, многим в двадцатые годы казалась уступкой субъективизму. Но в понимании Полонского «духовное зрение» оказывалось шире обычных представлений об эстетической призме художника: оно включало в себя и определенность гражданской позиции, и строгую зависимость мировосприятия писателя от идей революции.

Революция сформировала и духовное зрение самого Полонского. Критик, считал он, «не просто судья, но общественный руководитель, трибун, связывающий искусство с великим идейным движением своего времени, с настоятельными потребностями своей эпохи, и учитель, разъясняющий неопытной аудитории сложные законы художественного ремесла». Так соизмерение с революцией стало для Полонского основным критерием, эстетическим и политическим масштабам: оно определяло и судьбы отдельных писателей, и судьбы школ и группировок. Литература двадцатых годов, насыщенная запальчивой полемикой, взаимным отрицанием и непримиримыми спорами, потеряла кажущуюся хаотичность в свете проблемы «революция, пролетариат и литература».

Можно ли не видеть, как плодотворно оказалось стремление Полонского проникнуть в настоятельные запросы своей эпохи? Не оно ли сформировало важнейшее качество критика — умение понять «исторический смысл потребностей» времени? Благодаря такой методологии могли быть исторически объяснены пестрота литературных группировок, движение Пролеткульта, роль и эволюция футуризма, относительная ценность не приемлемого для Полонского Лефа. Даже в таком чуждом критику движении, как напостовство, Полонский увидел внутреннюю логику возникновения. Ошибки не прощались, промахи не амнистировались, но соотнесение с характером времени лишало их случайности.

Положив в основу анализа «исторический смысл потребностей», Полонский при этом естественно встал на позицию защитников «органического искусства». Вывод, который он сделал из истории литературных группировок — «течения искусства удерживают свое господство лишь тогда, когда добива-

ются его не механическими, а органическими средствами», — имел общеэстетический смысл. Мысль об органичности творчества стала основной философской идеей Полонского и в «Очерках литературного движения революционной эпохи», и в статье «Художественное творчество и общественные классы», и в книге «Сознание и творчество». Но понятие «органичности» в тот момент уже содержало в себе память о различных возможностях его толкования.

Оно возникло из крайней поляризации идей, связанных с образной природой искусства. Если перевальцы полностью принимали мысль Ап. Григорьева — «только в плоть и кровь облеченная правда сильна», то рапповцы допускали, что написанная с толстовской силой «агитка» за женское равноправие действовала бы куда убедительнее, чем «Анна Каренина». Полонскому был чужд намеченный перевальцами путь к созданию органического искусства (художник должен стать «как бы в середину эпохи» и выводить «ее большие вопросы и противоречия из себя»), но близка была сама идея о том, что художественный образ полноправен и полномочен, что он вбирает в себя и материал действительности, и эмоциональное отношение к ней, и мысль художника. Только то искусство казалось Полонскому достойно своего времени, в котором революция становилась «лирическим мотивом», сплеталась с тончайшими переживаниями, входила в «плоть и в кровь, пропитывала рассудок, чувство захватывало человека без остатка, становилось страстью». Этим светом было озарено для Полонского творчество Фадеева, Бабеля, Артема Веселого, Всеволода Иванова.

Защита органического искусства определила позицию Полонского в споре о «социальном заказе». По видимости частный, этот вопрос вводил в самое существо новой эстетики — вопрос об отношениях художника и общества. В формуле «Не себя выявляет великий поэт, а только выполняет социальный заказ», выдвинутой «лефами», современники справедливо увидели возможность полного распада связей между действительностью и личностью художника. Но если перевальцы, приверженные своей эстетической системе, центром которой был внутренний мир художника, увидели в лефовской теории покушение на первооснову художественной свободы («социальный заказ» мог не совпасть с «внутренней на-

строенностью художника»), то Полонский был обеспокоен вульгаризацией марксизма в вопросе о связи сознания и бытия. Его тоже пугала теория «социального заказа» как реальная угроза той органической связи с пролетариатом, которую «требует наше время от мастера», но внутренней темой статьи «Художественное творчество и общественные классы» была полемика с механическим усвоением идей марксизма. Вслед за Плехановым Полонский пытался вскрыть те пути, какими «общественное бытие формировало эстетическое сознание». Многие остались за пределами внимания Полонского, не свободна статья и от элементов вульгарной социологии. Но если мы рассмотрим ее в сопоставлении с классовым фатализмом рапповцев и переверзианцев, мы увидим, какого принципиального смысла полно утверждение Полонского о том, что связь художника с социальными процессами существует, но она гнездится в его социальном опыте, в его мироощущении.

В сущности, ответом на потребность общества в глубокой связи художника с действительностью было и понятие «окрыленного реализма», выдвинутое Полонским. Соизмерявший искусство с революцией, он настаивал на ее романтической природе. Поэтому натурализм (или, как тогда говорили, бытовизм) не вмещался в эстетическую программу критика (очень характерны с этой точки зрения статьи о Бабеле, Фурманове и А. Веселом). Но борьба с ним означала, что Полонский обязан определить свое отношение к спорам вокруг реализма. Сложность заключалась в тех разнонаправленных выводах, которые были сделаны критиками из опыта советской литературы начала двадцатых годов. Поворот от абстрактности к живому слову (в начале десятилетия) был следствием стремления раскрыть революцию как образ, а не как отвлеченную идею. Но конкретность нередко перерастала в бытовизм. Более того, были попытки поставить бытовизм в связь с «классовым художественным методом пролетарских писателей», возвести его в закономерность, в естественную и непреложную норму революционного искусства.

Но бытовизм, по мнению Полонского, был ущербен, в нем исчезала «окрыленная тяга к далеким и большим целям». Так возникло требование романтического реализма, которого ждал Полонский от советской литературы.

Однако дискуссионным оказался не только вопрос о характере реализма нового искусства, но и предшествующий его созданию творческий процесс.

В работе Полонского «Сознание и творчество» отразилась борьба идей вокруг вопроса о рациональном и интуитивном началах в творчестве. За утверждением Полонского — «порочной является... изоляция мышления «образного» как «неразумной «интуиции» от мышления «понятного» как мышления рассудочного» — стоит напряженная полемика так называемых интуитивистов и рационалистов. Эти споры ведут свое начало от статей Воронского (в частности, «Фрейдизм и искусство») и попыток установить объем, содержание и характер бессознательного в психике человека. Но он втянул в себя массу смежных проблем: и взаимодействие разума и интуиции в психике революционного человека, и вопрос о стихийности и сознательности, и проблему мировоззрения, и психологию искусства. Для перевальцев рационализм ассоциировался с насилием над действительностью, над человеческой психикой, над творчеством. Поэтому с таким недоумением отнеслись они к мысли Плеханова о том, что рационализм вообще присущ революционным эпохам. Но и напостовцы абсолютизировали рационализм; с глубокой убежденностью Селивановский писал, что «элементы рационализма» являются — в той или иной степени — «неизбежными» для попутчиков, и их переход на сторону пролетариата неминуемо сопровождается «оттеснением чувств», «налетом рассудочности». Непомерно расширительно толковалась и интуиция — не только Воронским, который гиперболизировал ее роль и значение, но и рапповцами, которые видели в ней «порыв симпатии, с помощью которой мы сливаемся с внутренней сущностью познаваемого явления».

Работа Полонского «Сознание и творчество», написанная на финальном этапе этих дискуссий, уравнивает крайности. Она пронизана сознанием гармонии психики и строится на убеждении, «что чувство и рассудок в психике человека представляют собою единство» (это было заострено против мысли Воронского «наши чувства, наша интуиция неизмеримо больше нашего ума отстают от духа эпохи»). Усилия критика были направлены на доказательство того, что творческую работу сознания характеризует взаимопроникновение разума и интуи-

ции, а его кардинальный вывод «Искусство само есть образное выражение мировоззрения» не только предвзято дискуссии тридцатых годов о методе и мировоззрении, но и во многом оказался точнее их.

Не исчезла ли, не растворилась ли в высоких материях учительская миссия критики, которую Полонский считал неразрывно связанной с ролью критика-трибуна?

«Учительство» было присуще всей критике двадцатых годов, сознававшей, что она имеет дело с читателем, как правило, только что прикоснувшимся к культуре. Но даже на этом фоне Полонский выделялся своим просветительством. Его полемические выступления были одной из форм выражения того же учительства, направленного прежде всего на разъяснение «тайн и законов художественного ремесла». Необходимость постоянной защиты специфики искусства вызывала в Полонском досаду — это ведь «азбука марксизма», говорил он в широко известной полемике с идеологом напостовства Лелевичем. Но в каждой новой статье, будь то теоретическая работа или литературный портрет писателя, он вновь и вновь напоминал, что именно в «образной» особенности искусства содержится «ключ к пониманию художественного произведения, его классового происхождения и социальной значимости».

Но самая действенная и самая энергичная форма опровержения вульгарных схем искусства была заложена в творческом методе критика. Он учил своего читателя видеть отражение революции не только в новом материале, но и в новых способах выражения. И тогда такой формальный, казалось бы, момент, как гиперболизм Бабе-

ля, становится естественным следствием романтического мировосприятия, сказывающегося в «приподнятой патетике языка, жажде необычного, пряной красочности описаний».

От революции к духовному зрению писателя и опять к революции — таков был путь исследовательской мысли Полонского. Сложная ассоциативность мышления, пытающегося охватить явление в его многогранности, преодолевала свойственную порой Полонскому альтернативность мышления, когда зрение критика различало только контрасты и допускало только одно решение — за или против (в ряде случаев это упрощало анализ и приводило к слишком жесткой систематизации материала). Но в то же время мысль Полонского резко противостояла механическому методу, который задачи критики видел в том, чтобы «выяснить социальную обусловленность» искусства и «увязать его», как советовал тогда В. Ермилов, с формальным анализом.

Так мышление критика обнаруживало отчетливо выраженную полемическую структуру — знак времени, которым она была рождена.

История советской критики еще не написана; природа советской эстетической мысли еще не исследована. Это находится в странном противоречии с усилением нашего интереса к прошлому. Оно не может быть понято без возвращения к фигурам, без которых картина общества будет неполной, а история его духовного сознания неточной. Именно поэтому не только глубоко оправдан, но и необходим выпуск книг, возвращающих нас к истории и вводящих прошлое в наши сегодняшние споры.

Г. БЕЛАЯ.

★

ЛЕГЕНДА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Томас Манн. Иосиф и его братья. Перевод с немецкого С. Апта. «Художественная литература». М. 1968. Т. I, 760 стр.; т. II, 918 стр.

Библейское предание об Иосифе Прекрасном привлекало внимание писателей и художников разных времен. Л. Н. Толстой высоко ценил его как образец «всемирного древнего искусства», понятного широчайшему кругу людей: «То, что братья Иосифа, ревнуя его к отцу, продали его купцам; то, что Пентефринева жена хочет соблазнить юношу, что юноша достигает высшего

положения, жалеет братьев, любимого Вениамина и все остальное, — все это чувства, доступные и русскому мужику, и китайцу, и африканцу, и ребенку, и старому, и образованному, и необразованному; и все это написано так воздержно, без излишних подробностей, что рассказ можно перенести в какую хотите другую среду, и он для всех будет так же понятен и трогателен...

Роман-тетралогия Томаса Манна «Иосиф и его братья», написанный на сюжет библейской легенды,— одна из признанных вершин его творчества наряду с «Будденброками», «Волшебной горой», «Доктором Фаустусом».

Над историей Иосифа Томас Манн начал работать в середине двадцатых годов. Первый том вышел в Германии вскоре после гитлеровского поворота, последний, написанный в США, появился в 1943 году. За этот период времени в истории человечества, да и в жизни самого писателя, произошло много волнующих событий. Он эмигрировал, жил в Швейцарии, а потом поселился за океаном, выступал со статьями и речами против гитлеровской диктатуры, вел громадную переписку, сплавивая силы противников фашизма во всем мире. И в то же время увлеченно трудился над своим библейским циклом, погружался в ученые сочинения антропологов, египтологов, историков античных культур.

Бегство от современности? Так могло показаться только при поверхностном взгляде. Пусть сам Т. Манн в дневнике за февраль 1934 года признавался себе, что к работе над «Иосифом» его влечет «потребность в художественной свободе и в том, чтобы выиграть время»; пусть он и позже, в письме к З. Фрейду от 3.I.1930 года, сообщал, что пишется свободнее, легче, когда речь идет о персонажах мифических, а не взятых из сегодняшней «буржуазной реальности». И все же тревоги и проблемы бурного времени будоражили художника, преломлялись в его повествовании. Библейская тетралогия Томаса Манна не в меньшей мере, чем диалогия его брата Генриха о юности и зрелости французского короля Генриха IV, созданная примерно в те же годы, несет в себе под исторически-легендарной оболочкой дух противостояния фашизму.

Лекция Т. Манна об «Иосифе и его братьях», приложенная ко второму тому русского издания, помогает читателю войти в сложный идейно-художественный мир повествования. Томас Манн прямо говорит здесь о своем полемическом намерении — выбить миф из рук фашизма. Он стремился «гуманизировать» миф, который «служил мракобесам-контрреволюционерам средством для достижения их грязных целей». Этот актуальный замысел романа-легенды раскрывается и во многих письмах Т. Манна.

«Страдания и превратности, через которые прошло за последнее время европейское человечество,— писал он в 1932 году,— пробудили новый, необычайно интенсивный интерес к проблеме человека как такового, к его сущности, к его положению в мироздании, к его прошлому, к его будущему»... «Я не сомневаюсь, что эта неогуманистическая тенденция нашего времени должна выразиться и в искусстве». Именно в свете этого поворота современного искусства «от сенсационного и экзотического — к человечески первоначальному и простому» рассматривал он и свой библейский цикл. Гитлеровцы апеллировали к первобытным инстинктам, пытались обосновать неистребимую якобы склонность человека к злодейству и разрушению. Томас Манн исследовал, как в глубине седой древности формировались, кристаллизовались коренные нравственные понятия людей, чувства отцовской, сыновней, братской привязанности, долг личности по отношению к семье и племени, ко всему окружающему миру. Он хотел, опираясь на библейские предания, проследить процесс очеловечения человека.

Томаса Манна, как и Толстого, легенда об Иосифе привлекала своей универсальностью. В самих ее перипетиях, в неожиданно стремительных поворотах судьбы героя — от беспечной юности к испытаниям рабства, от благополучия, достигнутого с трудом, к новым унижениям тюрьмы и плена, а затем к могуществу — заключено нечто человечески общезначимое, повторявшееся во множестве вариаций с разными людьми и в разные времена.

Томас Манн вслед за многими учеными допускал возможность, что у легендарного Иосифа был реальный прототип, некий выходец из Азии, достигший высокого положения при дворе фараона. Разобравшись в различных гипотезах, высказываемых по этому поводу историками древности, писатель приурочил возвышение Иосифа в Египте не ко времени нашествия гиксосов (как предлагает Зенон Косидовский, автор известных у нас «Библейских сказаний»), а к более поздней эпохе, к царствованию фараона Эхнатона, личности по-своему незаурядной, религиозного реформатора: обращаясь к этому времени, можно было с большей достоверностью показать смелую государственную деятельность «Иосифа-кормильца». Однако Т. Манна очень живо занимало именно сказочное, мифологиче-

ское воплощение необычной судьбы Иосифа, вобравшее в себя вековую мудрость народов. Еще на ранних этапах работы над тетралогией Т. Манн соотносил историю своего героя с различными мифами об исчезающих и воскресающих богах — Тамузе, Озирисе, Алонисе, Дионисе, — а вместе с тем и с простейшим и древнейшим символом — зерном, которое, будучи погружено в землю, встает из нее в виде колоса (для Иосифа и его соплеменников Египет — «тот свет», преисподняя, и египетское пленение равносильно нисхождению в царство мертвых). Идея смерти — рождения, гибели — обновления, разработанная множеством раз в литературах античности и Ренессанса, знакома по фольклору разных народов, приобрела в тетралогии Томаса Манна очень нетрадиционный, можно сказать дерзновенный, полемический аспект. Через все повествование проходит, как один из его основных философских мотивов, утверждение «взаимозаменяемости верха и низа, благодаря которой верх превращается в низ, а низ в верх и боги становятся людьми, а люди — богами». Этот мотив многозначен. Он противостоит религиозной метафизике и мистике, напоминает о взаимодействии небесного и земного — о взаимосвязи явлений и вечном круговороте бытия (подобно гому, как об этом сказано у Гёте, в монологе Духа Земли в «Фаусте»). Тут имеется и более прямой современный смысл. Фашистской предустановленной иерархии «сверхчеловеков» и «недочеловеков» писатель-гуманист противопоставляет мысль об относительности всех и всяческих перегородок, узаконивающих неравенство людей: судьба Иосифа с его непредвиденными взлетами и падениями, с финальным «возвышением униженного» — наглядное свидетельство этой относительности. Насмешливое, непочтительное отношение ко всяким привилегиям, рангам и званиям, к освященным многолетней инерцией сословным, монархическим авторитетам, к жреческому фанатизму и националистическому высокомерию, особенно ярко выраженное в тех частях тетралогии, действие которых происходит в Египте, несет с собою стихию иронии, юмора. Характерный пример тому — строки, касающиеся египетского сановника Потифара: он предстает перед нами «священной башней из мяса и царедворцем Солнца, который оттого не принимал участия ни в каком деле, что по титулованной

своей неподлинности находился вне человечества и, будучи в безвыходно замкнутом своем бытии чужд всякой действительности, называл своим делом чистую форму».

Эта же стихия юмора, органически враждебного мракобесию, человеконенавистничеству, тирании, торжествует в заключительных словах Иосифа, обращенных к братьям: «Ведь смешон человек, который только потому, что у него есть сила, пускает ее в ход против права и разума. И если сегодня он еще не смешон, то в будущем непременно станет смешон, а мы смотрим в будущее»...

Сам Томас Манн ясно видел связь юмора в «Иосифе и его братьях» с идейным строем повествования. В марте 1942 года, незадолго до завершения своего труда, он писал американской журналистке Агнес Мейер: «Иосиф» по преимуществу юмористический эпос с проблесками величия, даже в целом с некоторым естественным величием, и благодаря тому, что в нем осуществляется гуманизация мифа, он занимает определенное место в духовно-моральной диалектике нашего времени».

Понятно, что Томас Манн, работая над «гуманизацией мифа», полагал свою задачу как романиста не просто в том, чтобы пересказать безыскусственно-простое библейское предание. В прологе, да и в других частях цикла, утверждается идея связи вremen: чем лучше мы знаем и понимаем прошлое, говорит автор, «тем больше смысла в нашей жизни и тем почтеннее душа нашей плоти». Воспроизводя историю Иосифа, как она рассказана в Ветхом завете, обращаясь и к более давнему прошлому, к предкам Иосифа, библейским пророкам, писатель поднимает громадные пласты знаний, вводит в сюжет множество данных археологии, этнографии, древней истории, говорит о быте, хозяйстве, нравах, верованиях народов Древнего Востока. Но это для него ни в коем случае не главное. Томас Манна занимает непреходящий философский смысл событий. И вместе с тем — психология. «интерес подробностей чувства», как сказал бы Толстой. Романисту хочется исследовать, объяснить, показать крупным планом те узловые моменты душевной жизни основных действующих лиц, которые определили повороты судьбы Иосифа. Вражда старших братьев к отцовскому любимцу и баловню: взрыв страсти к нему со стороны жены Потифара, свое-

нравной красавицы Мут-Эм-Энет; отказ Иосифа принять ее домогательства; внезапно открывшийся дар толкователя сновидений, благодаря которому бывший раб и пленник стал доверенным лицом фараона,— все это обрисовано и мотивировано с редкостным искусством человековедения, на уровне высших образов психологического романа нашего столетия.

В личных, казалось бы, узко частных переживаниях и конфликтах, в которые вовлечены его герои, Томас Манн видит — и передает — отражение сдвигов всемирно-исторического значения. Он внимательно фиксирует ступени освобождения человека от варварских нравов и обычаев: именно в этой связи его живо интересует, например, драматический эпизод библейских преданий — отказ Авраама заклать сына на жертвенном алтаре («Когда же наступил момент, в который человеческие жертвы стали считаться «скверной» и глупостью?»). Подобная же веха в очеловечении человека — любовь Иакова к Рахили, глубокое, исключительное чувство к одной, данной женщине, единственной избраннице, победа моногамного начала над варварскими традициями многоженства: это у Томаса Манна один из наиболее волнующих, поэтических эпизодов.

Верный принципу историзма, Томас Манн не осовременивает психологии своих персонажей, однако многократно выражает свое убеждение, что внутренний мир людей седой древности познаваем, понятен людям нашего века. «Традиция духовного беспокойства, — она была у Иосифа в крови»... «Незнание покоя, пылкость, настороженность искателя» — не сближает ли это героя библейского мифа с людьми XX столетия? И романист считает себя вправе видеть нечто общезначимое, поучительное в истории духовного развития Иосифа, который, закаляясь в испытаниях, духовно взрослеет, освобождается от ребяческой самовлюбленности, эгоцентризма, вырабатывает в себе стойкость характера и систему устойчивых нравственных понятий. Перед нами «воопитательный роман», возведенный в степень истории человечества.

Казалось бы, библейская тетралогия Т. Манна стоит в стороне от основного русла его творчества, от других его романов, действие которых разворачивается в XIX—XX веках. Но точек соприкосновения тут очень много, а сам Иосиф естественно вхо-

дит в ряд основных манновских героев, незаурядных артистических натур. В письмах 1934—1935 годов Томас Манн отмечал связь тетралогии и с «Волшебной горой», и с «Будденброками». Ведь и в библейском цикле, говорил он, разворачивается история нескольких поколений одной семьи, и Иосиф, подобно Ганно Будденброку, — одаренный, утонченный наследник старых родовых традиций. Этот ряд параллелей можно продолжить: Иосиф растет привилегированным, балованным ребенком подобно принцу Клаусу-Генриху из «Королевского высочества», переживает сложный внутренний перелом подобно Гансу Касторпу, умеет в трудные минуты проявить изворотливость и хитрость, как Феликс Круль, всю жизнь несет на себе печать духовного избранничества, как Адриан Левекиюн... Можно сказать, что «Иосиф» (как и считают некоторые зарубежные исследователи) занимает в творчестве Томаса Манна место едва ли не центральное, во всяком случае вбирает в себя психологические мотивы многих произведений писателя.

Томас Манн, как уже сказано, избегал в тетралогии нарочитой модернизации. Намеки и аналогии современного характера чаще всего вырастают из повествования совершенно органически, не нарушая его цельности. Но иногда в чем-то, быть может, и нарушают. Критики уже не раз отмечали, что картины реформаторской деятельности Иосифа в конце тетралогии отчасти связаны с теми либеральными надеждами, которые внушал Т. Манну «новый курс» Рузвельта. Налет модернизации можно найти и в другом. Работая над главами, повествующими о мрачных событиях в семье Потифара, Томас Манн в одном письме обронил замечание, что здесь, наверное, скажется «легкое психологическое влияние Пруста», которого он в то время с интересом перечитывал. Конечно, если взять тетралогия в целом, то она по своему духу, по своей упрямой вере в непобедимость здорового, человеческого начала в человеке прямо противоположна литературе и философии западного «модерна». Да и в тех главах, где речь идет о родителях Потифара, близнецах-супругах, и о сексуальной одержимости Мут-Эм-Энет, налицо подспудная полемика и с Фрейдом и с Прустом. Однако полемика эта ведется, так сказать, на территории противника — романист сгущает атмосферу порока, болез-

ненной извращенности, чтобы в конечном счете вместе со своим героем вырваться из нее.

На многих и многих страницах «Иосифа и его братьев» точно переданный колорит эпохи сочетается с необычайной гибкостью психологических характеристик. Очень примечателен, например, эпизод первой встречи Иосифа с юным фараоном. Иосиф входит и слышит, как египетский монарх дает указания художнику — тут звучит интонация повелителя, убежденного в полной своей правоте: «В твоей работе еще есть погрешности, погрешности не ремесленно-го, — ты очень искусен, — а духовного свойства. Мое величество указало тебе на них, и ты их исправишь»... Иосифу удается развлечь фараона — и в нем пробуждается мальчишеская непосредственность: «Маменька, маменька! Моему величеству очень смешно и весело!» Беседа приобретает серьезный характер — и фараон выражает свое благоволение пришельцу тоном самодовольно-снисходительного властелина: «Моему величеству это, пожалуй, нравится, ибо мне нравятся неожиданные суждения, такие, от которых человек, живущий в плену избитых суждений, лишь рот разинет, хотя, если послушать его, тоже разинешь рот — только от зевоты»... А потом снова проступает живое, человеческое, с оттенком ребяческой избалованности. «Мне хочется поцеловать царицу, — воскликнул он вдруг и остановился, задрав голову кверху. — Сейчас же позвать Нефертити, которая на-

полняет дворец красотой, госпожу стран, милую мою супругу!»

Достаточно самого беглого чтения «Иосифа», чтобы представить себе, какие гигантские трудности представляет эта работа для переводчика. Тут требуется и эрудиция, и тонкое понимание специфики творчества Томаса Манна, и художественное воображение. Стиль тетралогии — удивительно сложный сплав. Живые, разговорные интонации сочетаются тут с медлительно-извилистым ходом авторской речи в философских отступлениях; громадный груз археологической, исторической учености — с патриархальной непосредственностью легенды; тут налицо редкостное богатство лексики — от специальных научных терминов до чисто современных словечек вроде «фешенебельный» или «галантный», которые, резко расходясь с контекстом, производят юмористически-пародийный эффект. И, в качестве стилиевой доминанты, определяющей основное настроение и тон, — спокойная, светлая народная мудрость, древняя и не устаревшая, вызывающая живой отклик у читателя наших дней... Думается, что творческий труд С. Апта заслуживает детального разбора в специальных изданиях. Здесь стоит лишь сказать, что переводчик с честью выполнил свою труднейшую задачу. Благодаря его работе еще одно выдающееся произведение зарубежной прозы XX века стало фактом нашей культурной жизни.

Т. МОТЫЛЕВА.

★

Политика и наука

КНИГА О ЖЕНЩИНАХ-РЕВОЛЮЦИОНЕРКАХ

Женщины русской революции. Сборник очерков. Составители Л. П. Жаң, А. М. Итнина. Политиздат. М. 1968. 574 стр.

В краткой рецензии невозможно сказать о всех достоинствах этой книги, посвященной товарищам, жизнь которых была отдана борьбе за свободу, а затем и построению социалистического общества «Женщины русской революции» — не только сборник ярких, построенных подчас на новой документации очерков о Н. К. Крупской, сестрах Владимир Ильича — А. И. Елизаровой и М. И. Ульяновой, сестрах

Менжинских, Е. Д. Стасовой, А. М. Коллонтай, И. Ф. Арманд, М. Ф. Андреевой, Л. Н. Сталь, О. Б. Лепешинской и многих других. Эта книга по существу представляет собой рассказ о зарождении и развитии революционного движения в России, о важнейших моментах в истории нашей партии.

Книга позволяет осознать значительность перспективы, в которой возникают траги-

ческие фигуры героинь «Народной воли»: Веры Засулич, Софьи Перовской, Веры Фигнер, Геси Гельфман. Остальные очерки посвящены женщинам-революционеркам, выступившим уже в конце прошлого века.

В те годы Н. К. Крупская была человеком уже вполне сложившихся взглядов. С 1891 года она участвовала в марксистских кружках, а с 1895-го стала членом центральной группы «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

С Надеждой Константиновной я впервые встретилась, работая в вечерней воскресной школе за Невской заставой. В очерке В. Дридзо сказано, что эта школа «была одним из самых светлых воспоминаний Надежды Константиновны». Крупская преподавала там историю, ведя одновременно партийную пропаганду. А. М. Коллонтай, которая привлекла меня к работе в школе, преподавала географию. Школа, куда многие рабочие приходили неграмотными, не только давала им общеобразовательную подготовку, но и воспитывала их политически. Здесь рабочие встречались с руководителями социал-демократической партии — надо ли говорить о том, какое значение это имело для формирования их сознания?

Очерки дают представление о жизни тогдашнего общества как в России, так и за границей — в Западной Европе и Америке. В голы реакции многим нашим старшим товарищам пришлось покинуть Россию, чтобы избежать ареста. Инесса Арманд под руководством В. И. Ленина вела большую работу в школе для рабочих-большевиков в Лонжюмо. А. М. Коллонтай в качестве пропагандиста побывала во многих странах мира. В очерке Л. Жак выразительно рассказано о жизни и работе в эмиграции М. Ф. Андреевой, когда Мария Федоровна неоднократно выполняла ответственные поручения Ильича.

Что особенно ценно в этой книге — это рассказы и свидетельства, в которых освещена роль В. И. Ленина в руководстве всей революционной работой. Известная способность Ленина руководить работой каждого из верных делу товарищей, его чуткое отношение к людям, его умение окружать своих помощников вниманием становятся очевидными при чтении книги о женщинах-революционерках. Успех революции, говорил Ленин, зависит от того, насколько в ней участвуют женщины.

Отношение В. И. Ленина к женскому движению сказалось и в том, что при ЦК партии был создан отдел по работе среди женщин, которым в первые годы советской власти руководили И. Ф. Арманд и А. М. Коллонтай. Женотделы были созданы также и во всех партийных комитетах.

На страницах книги запечатлен моральный облик женщин революции, их героизм, бесстрашие, самоотверженность. Когда советская власть победила на Черниговщине, первым председателем губисполкома была избрана двадцатитрехлетняя Елена Соколовская. Это она, выдав себя за вдову херсонского помещика Лысенко, достала через коменданта Очакова пять подвод оружия якобы для охраны своего имения, а в действительности для партизан. При активном участии Елены Соколовской Советы добились того, что 2 апреля 1919 года войска Антанты были выведены из Одессы.

Четырнадцать лет вступила в борьбу за правду Варвара Мойрова. В 1918 году Мойрова познакомилась с А. М. Коллонтай и стала помогать ей в работе по женскому движению. Я встретилась с Варей, когда мы участвовали в подготовке Первого съезда работниц, состоявшегося в ноябре 1918 года в Москве. Позднее, в 1919 году, Варя Мойрова была членом коллегии Наркомсобеса на Украине, а я работала там в Наркомпросе, и мы снова встречались. Вместе мы и эвакуировались из Киева в момент наступления Деникина. Варя обладала огромной энергией, была натурой целеустремленной, горячо преданной делу партии. После изгнания белых Варвара Мойрова возглавила на Украине Народный комиссариат социального обеспечения, заведовала отделом работниц при ЦК КП(б) У. Позднее, в Москве, В. Мойрова работала в ЦК и была заместителем Клары Цеткин по Международному женскому секретариату. На VI конгрессе Коминтерна она становится кандидатом в члены Исполкома Коминтерна, одно время была председателем Общества Красного Креста и Красного Полумесяца, активно участвовала во всемирных конгрессах этого общества в Берлине и Токио...

Читая очерки, задумываешься над тем, как рано вступало в жизнь наше поколение и как важен в жизни человека его первый шаг. Семнадцать лет включилась в революционную борьбу Ф. И. Драбкина. Член партии с 1902 года, Драбкина была извест-

на товарищам по партийной кличке Наташа. Замужество, материнство не могли оторвать Наташу от общего дела. Занимаясь доставкой из Финляндии револьверов и запалов из гремучей ртути, она часто брала с собой в поездки свою маленькую дочь Лизу. В очерке Т. Леонтьевой хорошо рассказано о подвиге Ф. И. Драбкиной во время декабрьского восстания в Москве.

Большой интерес представляет и очерк Л. Бать о Л. М. Книпович, одной из подруг Н. К. Крупской, вместе с которой она оказалась в ссылке в Уфе. Порвав с идеями народовольцев, под влиянием которых она начинала свой путь в революции, Лидия Книпович сыграла большую роль в распространении в России ленинской «Искры». Любопытна такая подробность: будучи агентом «Искры», Книпович носила клички Дяденька, Дедов, Дядин — В. И. Ленин считал, что для конспирации женщинам-подпольщицам лучше давать мужские имена.

Содержателен рассказ А. Акимовой и Е. Друца о С. И. Гопнер. Хорошо освещена ее партийная работа до революции и в последующее время, в Москве, на Украине и снова в Москве. Как и многие другие деятели нашей партии, С. И. Гопнер была глубоко образованным человеком, занималась научной работой, была доктором исторических наук...

Несмотря на то, что сборник «Женщины русской революции» состоит из кратких очерков, авторы которых должны были на малой «площади» сообщить читателю множество фактов, книга увлекает большим разнообразием человеческих судеб и характеров. Вряд ли в истории какой-либо другой страны мира можно назвать столько же женских имен, действительно принадлежащих Истории.

В. ДЮШЕН,

член КПСС с января 1917 года.

★

МЕМОАРЫ ЦЕЛИННИКА

Ф. Моргу н. Думы о целине. «Колос». М. 1968. 280 стр.

Пожалуй, ни одна из книг, выпущенных издательством «Колос» за последнее время, не привлекла к себе такого внимания общественности, как эта. О ней писали на Украине и в Поволжье, в Туве и, конечно, в Казахстане. Четыре «подвала» уделила ей «Комсомольская правда», семимиллионным своим тиражом компенсируя скромный тираж книги. Работа, на две трети сугубо «технологическая», воспринимается как мемуары, человеческий документ большой силы. Этим и определяется ее успех, да еще непреходящим интересом: что было на целине, что с ней стало и что будет дальше? Прежде чем изложить ответы автора на указанные вопросы, несколько слов о нем самом.

В 1954 году тридцатилетнего полтавского агронома-свекловника Федора Моргуна, жившего на хорошей зарплате в областном центре, пригласили в ЦК партии Украины. Там ему предложили организовать один из новых совхозов на целине. Пять лет Ф. Моргу н руководил совхозом, затем работал секретарем райкома и обкома партии, с начала 1964 года до конца 1965-го

был начальником Целинного краевого управления сельского хозяйства, в настоящее время он на ответственной партийной работе в Москве. Человек бывалый и любознательный, он насыщает свою книгу массой интересных сведений: о Канаде, где знакомился с опытом фермеров и системой государственных мер по охране земли, о людях, с которыми прошел на целине путь от новосела до старожилы, об их быте и характерах, об особенностях климата и географии Северного Казахстана, о динамике урожаев и качестве зерна в зависимости от разных условий хозяйствования не только в масштабах всего края, но и отдельных районов, совхозов и бригад, о почвах и влиянии на них разных способов обработки.

«В первые годы,— пишет автор,— на целине все шло хорошо», спустя два года явилась «первая заслуженная трудовая победа — полновесный миллиард пудов казахстанского хлеба», потому что «в те крайне трудные годы агротехника соблюдалась», специалисты хоть и не избегали ошибок, но чувствовали себя на земле хо-

зьявами. «...Новые земли были чистыми от сорняков и хозяйства получали хорошие урожаи зерна даже без достаточно высокой культуры земледелия».

Бедой началась с 1958 года. Выразилась она в том, что катастрофически быстро «засорились поля, низко пали урожаи, ухудшилось качество зерна и повысилась его себестоимость, появилась ветровая эрозия почв». 18 мая 1960 года на квадратном метре поля в совхозе «Бастандыкский» Ф. Моргун насчитал «3700 всходов овсяга, вышедших на поверхность почвы. Не меньше ростков разной величины было в слоях почвы вплоть до глубины 12—20 сантиметров. Создавалось впечатление, что почва полностью состоит из овсяга».

Об эрозии он вспоминает, что уже 27 мая 1957 года (как много говорит об авторе, не ведшем дневника, эта поразительная точность: 18 мая, 27 мая...) «ветер приносил почву, превращенную в пыль, за 200 километров», при безоблачном небе, в полдень, «автомобили ходили с зажженными фарами», а весной 1965 года даже приходилось закрывать аэропорты.

Ф. Моргун приводит такие данные: «За 1962—1965 годы от ветровой эрозии погибли посевы на огромной площади в 3,9 миллиона гектаров зерновых культур. Кроме того, по подсчетам специалистов, по этой причине значительно понизился урожай на площади в 12,9 миллиона гектаров». Между тем восстановление почв, подвергшихся эрозии, — дело очень непростое и длительное. В этой связи автор ссылается на Х. Беннета, руководителя службы охраны почв Миннистерства земледелия США, который утверждает, что «для восстановления слоя почвы в 2,5 сантиметра требуется при хорошем растительном покрове от 300 до 1000 и более лет».

Непосредственной причиной этих неудач на целине Ф. Моргун считает следующее: «Накануне посевной кампании 1958 года мы получили категорическое и роковое для целины указание: ни одного гектара пашни под пары». А ведь еще в 1921 году, напоминает автор, в радиোগрамме всем губпосевкомам Ленин предлагал использовать «опыт Тульского губсельхозсовета, постановившего сделать ранние пары обязательными... если одна треть граждан высказалась за ранние пары. При этом, однако, необходимо, — добавляет Владимир Ильич, — чтобы согласие одной трети не было вы-

нуждено угрозами и застрашиванием, чтобы эта треть состоялась из действительно старательных хозяев и чтобы решение не проводилось в жизнь без заключения агронома»¹.

«Целину оседлала монокультура», «почти все старопашотные и густо забурьяненные земли стали ежегодно засеивать пшеницей», «боязнь уменьшить посевные площади пересилила логику. Мы, целинники, стали рубить сук, на котором сидели». Сюда непосредственно примыкало и другое: «Специалисты и механизаторы, прибывшие в новые совхозы из западных районов страны, взяли на вооружение те же приемы обработки почвы, которыми пользовались в родных местах».

Впервые в литературе о целине разрушительная роль беспарья подробно рассматривается с двух позиций — агрономической и социальной.

Известно, что каждая уборка в Северном Казахстане, исключая две первые, затягивалась «до белых мух». На корню и в валках, на токах и приемных пунктах гибли «десятки миллионов пудов хлеба». Говоря об этом, обычно называют три причины. Первая: в совхозах было мало жилья, вследствие чего не хватало комбайнеров и трактористов. Вторая: им плохо платили. И третья: хозяйства недостаточно снабжались техникой, особенно жатками и комбайнами. По мысли Ф. Моргуна, ни одна из этих причин не может быть признана решающей, все они во всяком случае вторичны.

Жилья хватало — 500—600 квартир на хозяйство, а механизаторов совхозу требуется в среднем 200—250. Что до оплаты, то она все время росла, и в 1964 году, например, целинник получил на 394 рубля больше, чем механизатор на Украине, имея к тому же не худшее приусадебное хозяйство, на которое не распространялись памятные ограничения. Техники тоже, в общем, хватало, нагрузка на жатку, комбайн и автомобиль все уменьшалась, сплошь и рядом их держали больше, чем нужно.

Но в жатву все это не столько работало, сколько стояло. Автомобиль — в многокилометровой очереди у элеватора или на гоку, комбайн в ожидании автомобиля — на поле. «Виноват» был прежде всего сам

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 52, стр. 316.

хлеб: сорный, мокрый, с зеленым подгоном. А таким он был потому, что сеяли его поздно и в засоренную землю, а сеяли поздно потому, что весной приходилось много пахать, а весной много пахали потому, что не успевали с осени, а с осени не успевали потому, что убирали «до белых мух», а «до белых мух» убирали потому, что хлеб был сорный, мокрый, с зеленым подгоном... И создавало этот заколдованный круг беспарье. Нет пара — есть сорняки Нет пара — надо очень много пахать зяби, а пахать некогда.

Отсюда и социальная сторона дела. Семь-восемь месяцев в году главный целинник — тракторист — проводил в голой степи, на полевом стане, отстоящем за пятнадцать—двадцать, а часто и за сорок с лишним километров от центральной усадьбы, от семьи и минимальных бытовых удобств. Самый ценный работник оказывался в самых невыгодных условиях. Осенью, когда другие заготавливали на зиму картошку, ремонтировали квартиры и сараи, провожали в школу детей, он должен был пахать зябь — на ней-то в итоге и сказывалось его положение и состояние. «Слишком долгую «командировку» установили мы для механизатора!» — восклицает автор. «Изоляцию», — говорит он в другом месте, с чем механизатор был полностью согласен и покидал целину или менял профессию. «Я знаком», — пишет Ф. Моргун, — с тысячами трактористов, но не знаю ни одного случая, чтобы кто-либо из них работал по своей специальности до пенсионного возраста.

Вот истинная природа кадрового голода на целине, и побороть его может только пар. 20—25 процентов пара — это значит, что ранней весной и поздней осенью не надо мерзнуть в степи. 20—25 процентов пара — это значит, что до сих пор самое бездельное для тракториста время (июнь—июль) занято полезнейшей работой. 20—25 процентов пара — это, наконец, значит, что и трактористов и тракторов совхозу нужно значительно меньше, чем сейчас.

Итак, непосредственная причина неудач автору ясна. Но что породило ее самое, на чем она держалась? «На волонтеризме», — отвечает книга. «С 1958 года наступило время навязанного сверху шаблона», «на наши головы сыпались... бесчисленные «рекомендации» с требованиями безукоснительного и повсеместного их выполнения»,

«хлеборобам не доверяли, пренебрегали их опытом и знаниями». «В те годы, — рассказывает автор, — к нам на целину часто приезжал один высокопоставленный агроном, официально занимавший пост консультанта. Приезжал он с большими полномочиями. Мы, работники целины, считали, что именно он вершит судьбы сельского хозяйства, и, по-видимому, не ошибались».

Тут возникает вопрос, ответить на который автору стоило бы подробнее. Да, нововат волонтеризм, но почему он сосредоточился на утверждении именно беспарья? «Зла», а не, так сказать, «добра»? Ведь и решение об освоении целины было принято не без участия тех же людей, не без их волевого импульса, однако Ф. Моргун страстно и, на мой взгляд, убедительно доказывает его правильность: вложили за 1954—1965 годы 9,8 миллиарда рублей, а продукции получили на 11,5 миллиарда. «Целина, — пишет автор, — дала народу не только дополнительные миллиарды пудов хлеба, не только тысячи тонн мяса, молока, шерсти, яиц, кожевенного сырья. Очень важно и то, что к жизни были вызваны новые, раньше необжитые районы». Действительно, любое желание «закрыть» целину бессмысленно уже по той причине, что она сейчас такой же равноправный край страны, как Рязанщина или Кубань. Другое дело, что хотелось бы найти в книге беспристрастное описание альтернатив, которые еще существовали в 1954 году, и сравнение того, что каждая из них сулила.

Так или иначе, сначала (применительно к целине) волонтеризм был «добр», а потом стал «зол», — что же случилось? К сожалению, только в одном месте, да и то вскользь, Ф. Моргун подходит к ответу. Говоря об изгнании паров, он замечает: «Довод приводился убедительнейший: стране нужен хлеб». Здесь, думается, не случайно употреблена превосходная степень. В ней — правда тогдашнего мироощущения автора. Стране нужен хлеб, нужен, что называется, позарез, и не завтра, а сию минуту, — и все доводы твоего личного рассудка, оперирующего ограниченным, «местным» опытом, ты сминаешь перед доводами тех, кто, как ты уверен, обозревает все. «Тот, кто возражал, — заканчивает Ф. Моргун свое объяснение, — изображался как противник увеличения производства зерна в стране». «Изображался» — выражение то-

же не случайное, в нем — правда уже сегодняшнего мироощущения автора.

Эта фраза показывает: автор понимает, что голкало к насаждению зла. Философия сиюминутной выгоды. Подобный образ мысли, сама природа которого такова, что он способен выбирать только линию наименьшего сопротивления. После нас хоть трава не расти — история целины не только придала буквальный смысл этой формуле, но и вскрыла всю принципиальную опасность подобного хозяйственного прагматизма. Жалко, однако, что Ф. Моргун не до конца реализовал возможность сознательно подкрепить эту мысль конкретными выкладками. Читателю очень важно было бы знать, как складывался зерновой баланс страны в том же 1958 году, какие имелись варианты дальнейшего развития нашего земледелия, что могло дать осуществление тех из них, которые были отвергнуты. Книге это придало бы характер серьезного исторического исследования, весьма злободневного, потому что далеко не случайно и в 1968 году пары на целине не занимали необходимых 20—25 процентов пашни. Однако, с точки зрения этой реальности, книга и в таком виде вполне выражает чувство, содержащееся в словах Ф. Моргуна: «Участие в освоении целины было главным событием моей жизни, этому делу я отдал лучшие свои годы».

В хорошо знакомом автору Кызылтуском районе из тринадцати директоров, принявших совхозы в 1954 году, остались только двое. Пятеро ушли или в связи с новыми назначениями, или «по собственному желанию», шестерых уволили как несправившихся, а ведь до целины эти шестеро руководили крупными хозяйствами. Дело в том, что на целине часто выручали «не опыт и знания, а, как ни странно, выносливость... крепкое здоровье, позволявшее бодрствовать многие сутки подряд, сохранять работоспособность после 2—3 часов сна в движущейся автомашине». За пять своих совхозных лет Ф. Моргун ни разу не побывал в отпуске.

И все же «нет, не физические трудности... были причиной ухода многих очень нужных целине людей... Основная причина... была в моральной ответственности перед своей совестью, в боязни материальной ответственности за беспхозяйственность. А промахи в работе имели место опять-таки из-за неправильной структуры посевных

площадей и в первую очередь из-за отсутствия экономически необходимого количества чистых паров». Директор совхоза стоял перед выбором: или его отстранят и материально накажут, если за выполнение нелепых рекомендаций хозяйство расплатится низким урожаем, или он поступит по совести и его отстранят теперь уже за «неисполнение» — дело в итоге пострадает и при этом, но на какое-то время чуть меньше. Многого стоит за такими, например, строчками: «Приняли решение эти площади... обрабатывать по типу чистого пара... Райком партии (а первым его секретарем был Ф. Моргун.— А. С.) полностью взял на себя ответственность за последствия».

Ненавязчиво, скромно, но очень точно автор на примере собственной судьбы показывает одну весьма характерную нравственную коллизию, хоть и коснулась она на целине единиц. К руководству нередко выдвигались не безгласные исполнители, а борцы. Сначала их сурово порицали, как и Ф. Моргуна, за «отклонения», потом, оценив достигнутые именно благодаря таким «отклонениям» успехи, поднимали, выдвигали на более высокие посты, затем снова порицали и снова поднимали. И нравственная проблема, стоявшая перед таким человеком, все усложнялась. «Имеешь ли ты право, проявляя личное мужество, подвергать других людей опасности наказаний, не спросив, согласны ли они «пострадать»?» Более того: нравственно ли это — требовать от других геройства? Ждать — да, а вот требовать? «Если бы дело касалось только меня одного, то я был бы спокоен,— говорит в книге ныне покойный Александр Петрович Петров, начальник Кокчетавского областного управления сельского хозяйства, отвечая на предложение Ф. Моргуна (тогдашнего первого секретаря райкома партии) вместе не подчиниться вредной директиве.— Сняли бы с работы и ладно. Но боюсь за директоров. Не миновать им беды».

Каждому человеку рано или поздно приходится отвечать на известный вопрос: «Где был ты? Что сделал для предотвращения того, что считал неправильным? Что сделал для утверждения разумного?» Ф. Моргун не боится таких вопросов. Он сам их ставит перед собой, прямо отвечает, побуждая к этому и своего читателя.

А. СТРЕЛЯНЫЙ.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Д. В. Беклешов, К. Г. Воронов. *Реклама в торговле. «Международные отношения»*. М. 1968. 163 стр.

Какой быть рекламе в условиях социалистической экономики?

Мы, кажется, давно уже выяснили вопрос, что такое плохая реклама. Это — как «у них». Там, на Западе, она прославляет капитализм, отличается лживостью и аморализмом, назойлива; перенасыщенность рекламой угнетает и подавляет человека. Расходы на нее достигли астрономического уровня: в США они составляют 14 миллиардов долларов ежегодно, или три процента национального дохода.

Но отрицания пороков капиталистической рекламы явно недостаточно: требуется разработка положительных критериев. При этом кое-что могло бы пригодиться нам и из зарубежного опыта — и в технике, и в организации, и в принципах подачи материала. Ведь капиталисты привлекают к этой работе тысячи высококвалифицированных художников, инженеров, экономистов, журналистов, социологов, психологов, какое-то рациональное зерно в сделанном ими можно найти. Но какое?

В советской рекламе работали В. Маяковский, А. Родченко, Л. Лисицкий и другие незаурядные художники. Постепенно накапливался собственный, оригинальный опыт. Но не проводилось анализа даже того, что уже добыто эмпирическим путем. Была практика — не было теории. Вопрос о советской торговой рекламе оставался открытым.

Мы, например, твердо усвоили, что «море неона», заливающее по ночам улицы зарубежных городов, нам ни к чему. Но сам неон для световой рекламы мы применяем. В каком же объеме следует им пользоваться, где пролегает граница между «хорошо» и «плохо», где кончается рациональная необходимость и начинаются излишества? Научно обоснованные критерии в рекламной отрасли отсутствовали, и уровень и качество нашей рекламы далеко отстали от потребностей общества, от требований экономики.

Экономическая реформа, новые методы хозяйствования резко увеличили спрос на рекламу. Хозяйственники оценили ее возможности, ее необходимость для успешной реализации готовой продукции, ее важности для потребителя. Хочешь продавать — научись рекламировать. Но где и как этому научиться?

И вот — долгожданная книга о рекламе, причем адресованная не только практикам, но самому широкому кругу читателей, книга, где «впервые обобщается опыт организации и техники рекламы» в Советском Союзе и за рубежом. Книга отлично оформлена, она наглядно демонстрирует, какой может быть бумага, суперобложка, печать. Цветные иллюстрации показывают лучшие образцы советской и зарубежной рекламы. Такой должна быть наша реклама! — словно бы говорит эта нарядная книжка, вызывающая желание взять ее в руки и внимательно прочитать то, что написали Д. В. Беклешов и К. Г. Воронов.

Первое впечатление: авторы проделали немалую работу по сбору и систематизации разнообразных сведений, большей частью технического порядка, о рекламе в СССР и за рубежом. Получилось нечто вроде справочника, содержащего короткую информацию о размерах применяемых в США рекламных щитов, порядке оформления рекламных заказов, о товарных знаках, об организациях, ведающих организацией рекламы, о разнице между прејскурантом, проспектом и каталогом и т. д. и т. п. Книга избавляет от необходимости залезать в толстые энциклопедии и зарубежные справочники.

Однако «Реклама в торговле» претендует на большее. Вот что обещает аннотация на суперобложке: «Работа подскажет читателю, чем руководствоваться при планировании рекламных мероприятий, при выборе средств рекламы, при составлении и оформлении рекламного текста, поможет определить эффективность рекламы». Иными словами, это не только справочник, но и практическое пособие.

Увы, внимательное чтение книги убеждает, что ее практическая ценность незначительна, а рекомендации либо носят неконкретный, поверхностный характер, либо вообще отсутствуют.

Начнем с основного — с планирования рекламы, определения ее эффективности. Это сердцевина проблемы. Как подсчитать требуемый уровень затрат, определить объем рекламы и необходимые технические средства? Вероятно, такой разговор должен был бы основываться на каких-то конкретных данных. Но авторы даже не сообщают

читателю, сколько тратится у нас сегодня на рекламу. Единственная цифра, которая в этой связи сообщается, и та приведена в процентном отношении: «В местных торгах Российской Федерации расходы на рекламу составляют не более 0,02% по отношению к товарообороту»; однако, отмечают авторы, «торговые организации недостаточно используют и эти средства».

Много это или мало — две сотых процента, а если мало, то сколько нужно? Никаких комментариев ни к этой цифре, ни к другим, приведенным по другим поводам, мы в книге не найдем. Сообщается, например, что под объявлениями в газетах и журналах в СССР занято около восьми процентов их площади. Достаточно ли это, нужно ли увеличивать приведенную пропорцию, уменьшить, сохранить на прежнем уровне? Центральное радио, говорится далее, тратит на рекламу в среднем двадцать минут в неделю, то есть по три минуты ежедневно. Хватает ли этого? Вопросы остаются без ответа.

Без всякого анализа и оценки излагаются и сведения о зарубежной практике. Мы можем узнать, например, что в Польше, помимо многочисленных рекламных радиопередач общего и избирательного характера (для женщин, для крестьян и т. д.), каждую субботу и воскресенье во второй половине дня передается пятнадцатитридцатиминутная сборная программа, составленная лучшими юмористами; рекламные тексты подогнаны под мелодии популярных песенок, которые сопровождают шутки и комические сценки. С помощью анкетных опросов в Польше изучают действенность рекламных передач. Считают ли полезным Д. В. Беклешов и К. Г. Воронов заимствование таких форм работы? Неизвестно.

Вернемся, однако, к экономике. Как свидетельствуют авторы, результаты недостаточного объема рекламы наша внутренняя торговля ощутила уже весьма остро: «Покупатель далеко не всегда знает, чем отличается одна марка чая от другой, какими свойствами обладают многочисленные виды сыров, новые «продукты моря» и т. д... Широко не известно, чем отличаются, кроме внешнего вида, названия 280 наименований советских наручных часов или марки холодильников. Зачастую даже продавцы не располагают такой информацией. В результате нередки случаи, когда новый товар снимается с производства».

Оставляя в стороне несколько странную

стилистику этого текста, вдумаясь в смысл сказанного. Вполне доброкачественные изделия, на разработку и производство которых был затрачен общественный труд, притом изделия, в чем-то, вероятно, даже превосходящие по своему качеству товары прежних образцов, не нашли покупателя и сняты с производства лишь из-за отсутствия рекламы! Таким образом, не только потребитель терпит неудобства из-за отсутствия рекламной информации — большой ущерб несет народное хозяйство.

Однако, если верить авторам книги, в природе не существует сколько-нибудь удовлетворительной методики определения расходов на рекламу. «Есть, — пишут они, — несколько путей для их определения. Первый и, пожалуй, самый правильный заключается в том, что план рекламных мероприятий калькулируется (естественно, что калькулируется, но как? — В. В.) и таким образом (?) выводится необходимая сумма расходов. Но этот вариант часто приводит к лишним затратам (вероятно, на калькуляцию? — В. В.). Второй путь — установление на базе опыта предыдущих лет доли товарооборота, которая может быть израсходована на рекламу. Недостатком этого способа является его консерватизм, возможность повторить ошибки прошлых лет».

Еще бы, заметит читатель, здесь наукой и не пахнет, это же просто гадание. Что толку, если с помощью такого «установления доли» мы опять сэкономим на рекламе, если убытки от нереализованной продукции останутся прежними, если вообще придется снимать изделие с производства? Кому нужна такая «экономия»? Однако после недолгих колебаний авторы отбрасывают «первый и, пожалуй, самый правильный» путь и склоняются ко второму, «консервативному», но зато более привычному.

Разработка рекламных мероприятий должна основываться на хорошем знании рыночной конъюнктуры. Обратимся к главе, которая так и называется: «Изучение рынка». «Пока что процесс изучения спроса основан на несовершенных методах сбора и обработки информации», — сообщают Д. В. Беклешов и К. Г. Воронов. Собственных, более совершенных методов они не предлагают, но ссылаются на то, что «в ряде городов, в частности в Ленинграде, уже разработана и одобрена Министерством торговли СССР схема автоматизированной системы изучения спроса на промышленные товары». Хотелось

бы узнать, что это за схема, но удовлетворить это естественное любопытство авторы не считают нужным. Есть и другие передовые, по словам авторов, методы изучения рынка: в ГУМе устно опрашивают покупателей, ведут «Дневник товароведа», проводят «анализ предварительных заказов покупателей на товары, временно отсутствующие в продаже». А что потом делают с этими заказами, после анализа? Что это за «Дневник», что туда записывают?

Хотели или не хотели этого Д. В. Беклешов и К. Г. Воронов, но книга их оставляет впечатление, что, несмотря на существование научно-исследовательских институтов по изучению рыночной конъюнктуры, определение спроса производится у нас «на базе опыта», то есть как бог на душу положит. И что, соответственно, так же проводится и реклама.

Много недоумений вызывают рассуждения авторов о внешней торговле СССР. Здесь в отличие от внутренней торговли действуют законы капиталистической конкуренции. Когда на рынке выступают несколько торговцев, выигрывает тот, у кого и товары лучше, и реклама привлекательнее. Но вот что сообщает книга. В США, Англии, ФРГ, Японии и других странах расходы на внешнеторговую рекламу составляют около трех процентов стоимости экспорта; у нас же, как и у других социалистических стран, они составляют «незначительную долю процента торгового оборота». Значит ли это, что наши товары настолько хороши, что их почти не нужно рекламировать? Или дело в чем-то другом? Объяснений в книге не найти.

По определению авторов, внешнеторговая реклама капиталистических государств «является одним из важных средств конкурентной борьбы... в целях расширения сбыта и получения максимально высоких прибылей. При этом крупные капиталистические монополии, затрачивая на рекламу огромные средства, используют ее для сохранения и усиления своего господства на... внешних рынках, а также для вытеснения с этих рынков более слабых конкурентов». Из сопоставления задач социалистической и капиталистической рекламы вытекает, что нам подобные цели чужды. Но так ли это? Разве наша внешнеторговая реклама не имеет целью расширение сбыта, получение высоких прибылей, вытеснение «более слабых конкурентов»? Разве мы не

заинтересованы в завоевании рынка для определенных товаров, «или наши изделия дешевле и лучше? Как же тогда мы торгуем? Себе в убыток? Если так, то не идем ли мы тем самым на ухудшение своих позиций в экономическом соревновании с капитализмом? Вот какие неожиданные предположения возникают при чтении книги.

И последний вопрос в связи с внешнеторговой рекламой. Советские рекламные материалы, направляемые в капиталистические страны, пишут авторы, «если и отличаются по своему содержанию и форме от рекламы, проводимой в рамках стран социализма, то и в этом случае они подготавливаются с сохранением принципов и характера социалистической рекламы». Если вторая часть этой мысли понятна, то первая вызывает недоумение. Почему же это советская реклама для внутреннего и внешнего рынков должна стилистически — и по форме и по содержанию? И в чем? Не означает ли это, что для внутреннего рынка какая-нибудь «форма» сгодится, а на вывоз ее, эту «форму», нужно сделать получше, поинтереснее, поярче, да заодно и содержание поостроумнее, чем то, какое в наших рекламных объявлениях? Авторы косвенно подтверждают это опасение, публикуя в качестве иллюстраций интересные по замыслу и по исполнению образцы продукции Внешторгрекламы. А жизненный наш опыт ежедневно сталкивает нас с теми образцами, которые слишком разительно — и по форме и по содержанию — отличаются от этого уровня. Вместо того чтобы подтолкнуть изготовителей внутренней рекламы к равнению на лучшие мировые образцы, авторы спокойно мирятся с подобным неравенством.

Впрочем, суждения самих авторов о художественной форме рекламы говорят об излишней снисходительности их требований. Так, они справедливо негодуют по поводу примитива в рекламе («сахар полезен всем и всегда»), по поводу канцелярских оборотов («выпечные изделия»), но некоторые из приведенных в книге примеров удачных объявлений недалеко ушли от этого уровня. Какой, например, смысл несет рекомендуемое авторами объявление «прекрасный дар моря — морской гребешок»? Что мы узнали из этой фразы, захочется ли нам купить этот продукт? Или взять такое объявление, рекомендуемое в качестве образца: «Внимание покупателей! Виноградные соки полезны при ослаблении сердечной деятельности,

малокровии... сливовый — повышает содержание гемоглобина в крови; гоматный — освежающий, богат витаминами А, В, С». Совсем по Ильфу: «Открылся новый магазин. Колбаса для малокровных, паштет для неврастеников. Психопаты, покупайте продукты питания только здесь!» То, что еще несколько десятков лет назад послужило поводом для пародии, сегодня выдается за находку!

Мы говорили о достоинствах книги как справочного издания. Но и в этом отношении есть существенные пробелы. Ни слова о советском Знаке качества и системе государственной аттестации промышленной продукции в СССР. Нет никаких сведений о журнале «Новые товары» и других советских и иностранных рекламных изданиях. Не рассмотрена подготовка специалистов по рекламе у нас и за рубежом. Список «белых пятен» можно продолжать, но достаточно будет еще одного: в книге отсутствует какая бы то ни было библиография. Между тем за рубежом выходит огромное количество книг по рекламе и множество периодических изданий.

Наконец, стиль книги. О нарушениях правил стилистики в этой книге нужно говорить либо очень много, либо не говорить совсем.

Ограничимся тем, что возьмем в руки карандаш и постараемся исправить хотя бы часть ошибок и опечаток.

Не «институт Галлупа», а «институт Гэл-лапа». Не «Модьяр реклама», а «Мадьяр реклама». Не «Видеокордер», а «Видеорикордер». Не «Беттер Хоумс и Гардекс», а «Беттер хоумс энд гардекс». Не «Реклама в хандлу заграничными», а «Реклама в хандлу заграничным». Не «Моторреву», а «Моторрвю». Не «СОИИ», а «Сони». Не «Дайле», а «Дайле» (организация в Литовской ССР, грех ошибаться). Английская газета «Манчестер гардиан» вот уже десять лет называется просто «Гардиан». Что за «Траде... Комитета по развитию внешней торговли Европейской экономической комиссии ООН» на странице 46? Кстати, до сих пор эта комиссия называлась Экономической комиссией ООН для Европы...

«Реклама в торговле» служит хорошей рекламой типографии, где отпечатана эта книга (к сожалению, вопреки существующему правилу типография эта не названа), но неважно аттестует готовивших ее к выпуску издательских работников.

В. ВОЙНА.



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Политическая организация советского общества. Под редакцией В. М. Чхиквадзе, Н. П. Фарберова, И. В. Павлова, Б. М. Лазарева. «Наука». М. 1967. 419 стр.

А. Г. Лашин. Преемственность в развитии социалистической демократии.

Издательство Московского университета. 1968. 96 стр.

Ю. Е. Волков. Социализм и производственная демократия. «Вопросы философии», № 1, 1968.

Проблемы социалистической демократии на нынешнем этапе развития советского общества приобретают особую значимость. Вызывается это по крайней мере тремя причинами. Во-первых, возрастание масштаба и сложности задач экономического и культурного строительства, требующее значительно-го повышения хозяйственной и политической активности масс, их привлечения к управлению всеми сторонами общественной жизни. Естественно, в свою очередь требует столь же значительного расширения и углубления социалистической демократии, совершенствования ее механизма. Во-вторых, по-

скольку во всех странах социализма в данной области «ведутся интенсивные и интересные поиски» (Л. И. Брежнев. Речь на Конференции европейских коммунистических и рабочих партий в Карловых Варах. «Правда», 25 апреля 1967 года), на повестку дня выдвигается необходимость тщательного изучения и обобщения опыта братских стран, практического использования наиболее прогрессивных форм и методов демократизации общественной жизни. В-третьих, в условиях идеологической борьбы в мире, заметно усилившейся в последние годы, проблемы теории и практики социалистического

демократизма вызывают повышенный интерес как со стороны наших друзей за рубежом, так и со стороны идейных противников; любой наш успех или отставание в этой области не может не сказываться на мировом коммунистическом движении, на ходе борьбы за демократию и социализм во всем мире.

Естественно, что эти проблемы привлекают внимание советских философов, социологов, юристов. Можно назвать, например, такие работы, вышедшие в последние годы, как сборники статей «Проблемы демократии в современном мире» («Международные отношения». М. 1967), «Актуальные проблемы Советского государства и права в период строительства коммунизма» (издательство ЛГУ. 1957), «Развитие революционной теории Коммунистической партией Советского Союза» (Политиздат. М. 1968), книгу Б. И. Кожохина «Социалистическая демократия — основа народно-демократической государственности» (издательство ЛГУ. 1967). В том же ряду стоят и три рецензируемые нами работы.

Сборник статей «Политическая организация советского общества», пожалуй, одно из наиболее содержательных исследований последнего времени в области социалистической демократии. В книге показаны перемены и улучшения в практической деятельности Советов, с привлечением статистического материала иллюстрируется тезис о возрастающей роли Советов как «полновластных государственных органов», как самой массовой организации народа. Так, например, если в 1950 году в местные Советы было избрано 1 490 907 депутатов, то в 1967 году — 2 045 277. Всего же за последние тридцать лет «в составе депутатов местных Советов прошли школу государственной деятельности свыше 16,4 млн. человек». Немало внимания уделено в книге и анализу различных форм непосредственной демократии, развитию и совершенствованию системы гарантий законности, кооперативной демократии и т. д.

Однако не только объемом сведений о наших достижениях в области советского строительства выделяется эта книга. Авторы не ограничиваются изучением уже сложившихся и апробированных политических форм. В сборнике, как сказано в предисловии, «ставятся в ряде случаев актуальные практические вопросы, выносятся предложения и рекомендации». И это принципиально

важно. В самом деле, нельзя же рассматривать достигнутое нами как нечто уже завершенное. Чем дальше развивается социализм, тем полнее должна проявляться решающая роль народных масс в управлении обществом, тем, стало быть, настоятельнее выдвигается и в области совершенствования форм социалистической демократии задача научного предвидения, прогнозирования, возможно, даже конкретного перспективного планирования. Если мы можем заглядывать вперед, скажем, в области экономики, с большой степенью точности рассчитывая перспективы научно-технического прогресса и связанного с ним роста производства материальных благ, то разве менее важно пытаться это делать (разумеется, с соответствующими поправками на специфику предмета) в области политической организации общества, оказывающей огромное влияние на сознание и общественную активность масс и тем самым в немалой мере определяющей собою темпы того же экономического роста? К сожалению, такого рода конкретному политическому прогнозированию в нашей литературе до сих пор не уделялось должного внимания. Данная книга, как и другие предлагаемые читателю работы, в какой-то мере восполняет этот пробел.

«По-прежнему актуален вопрос о дальнейшем расширении прав Советов», — пишет Ю. А. Тихомиров, автор разделов сборника, посвященных представительной демократии. В частности, он считает необходимым «завершить передачу» местным Советам «руководства всем жилищно-бытовым хозяйством и социально-культурными учреждениями», с тем чтобы местные Советы «окончательно решали все вопросы местного значения». При этом, добавляет он, для повышения прав Советов нужно «сделать так, чтобы закрепленный за ними круг дел и полномочий был более устойчивым и не мог изменяться решениями министерств и ведомств». Также назрела необходимость, считает автор, повысить роль Советов в формировании исполнительных органов государственной власти.

М. П. Лебедев в разделе о гарантиях социалистической законности рассматривает перспективы «дальнейшего развития и совершенствования демократических основ социалистического правосудия». Важной мерой демократизации судебной системы, по мнению автора могло бы стать «увеличение числа народных заседателей», что гаранти-

ровало бы «большую независимость и самостоятельность судов». Анализируя такую важнейшую гарантию законности, как прокурорский надзор, автор подчеркивает необходимость усиления этого надзора «за центральными ведомствами, общественными организациями и должностными лицами, наделенными властными полномочиями». Для этого органам прокуратуры «целесообразно предоставить право опротестовывать все акты управления, противоречащие закону». Конструктивный подход к делу отличает и ряд других разделов сборника, в том числе разделы об общественных организациях (Ц. Я. Ямпольская), об участии масс в работе аппарата управления (П. И. Романов) и другие.

Центральной темой книги А. Г. Лашина «Преемственность в развитии социалистической демократии» является выяснение изменений в сущности, содержании и формах демократии в условиях коммунистического строительства. «Речь идет о том,— пишет автор,— является ли развитие демократии при социализме простым продолжением и совершенствованием пролетарской демократии, как политической формы диктатуры пролетариата, или оно связано с подъемом социалистической демократии на качественно новую ступень... Речь идет о соотношении прерывности и непрерывности, преемственности и возникновения нового в процессе развития социалистической демократии».

Известно, что «левые» оппортунисты, представляемые ныне главным образом китайскими догматиками, «вообще отрицают социализм как первую фазу коммунистического общества и пытаются механистически распространить закономерности переходного от капитализма к социализму периода на весь период социализма, вплоть до высшей фазы коммунистического общества, со всеми присущими этому периоду формами классово-вой борьбы, функцией подавления сопротивления эксплуататорского меньшинства, которую осуществляет государство диктатуры пролетариата в конкретных исторических условиях». Они признают только «немирные методы» социалистической революции, применение «функций только подавления, насилия на всех этапах строительства нового общества, даже когда в них нет нужды». К чему на практике ведут подобные установки, можно видеть на примере печально знаменитой китайской «культурной революции». С другой стороны, продолжает автор, не-

правомерно отрицать непрерывность в развитии социалистической демократии, считать новый этап в развитии ее, этап всенародной демократии, «как совершенно самостоятельный, не связанный преемственно с пролетарской демократией». Всенародная демократия, делает вывод А. Г. Лашин, удерживает «основные черты пролетарской демократии» и вместе с тем поднимает их на качественно новую ступень.

Качественное отличие всенародной демократии от пролетарской заключается в том, что на новом этапе становятся преобладающими те черты и свойства, которые, будучи «заложены в самой природе социалистической демократии», на первом этапе ее осуществления «не получили своего полного развития». Такими чертами, по мнению автора, являются: привлечение всех членов общества к управлению государством, обеспечение «полного использования трудящимися демократических прав и свобод», убеждение как главный метод деятельности социалистического государства, возрастающая роль общественных, негосударственных организаций во всех областях жизни общества, «равноправие граждан, единство прав и обязанностей». Разумеется, отмечает автор, тот факт, что эти черты и возможности отвечают коренной сущности социалистического демократизма, сам по себе еще не означает «решения всех сложных задач» по их реализации, на «этом пути имеются свои трудности и противоречия». Но ведущая тенденция современного общественного развития именно такова.

Правда, замечает А. Г. Лашин, полное осуществление социалистической демократии зависит в конечном счете от степени экономической и культурной зрелости общества. Однако существует и обратная зависимость. Обладая «относительной самостоятельностью», социалистическая демократия сама в свою очередь «может оказывать и оказывает активное воздействие» на экономическое и культурное развитие. А это значит, что общество, которое намерено по-деловому решать возникающие перед ним проблемы, естественно, будет стремиться к максимальному использованию демократии «для решения (лучше было бы сказать: для удовлетворения.— В. С.) новых, назревших материальных и духовных потребностей строительства коммунистического общества». Причем дальнейшее развитие советской демократии предполагает «как испол-

зование институтов и учреждений, созданных ранее, оправдавших себя в практике социалистического строительства, так и разработку новых демократических принципов и конституционных учреждений, расширяющих и наиболее полно гарантирующих права и политические свободы граждан».

Очень важную проблему поднимает Ю. Е. Волков в статье «Социализм и производственная демократия» — проблему стимулирования активности народных масс в управлении общественным производством, практического привлечения их к более широкому и регулярному, непосредственному руководству экономикой. Рассматриваемая в сфере экономики, проблема эта, разумеется, по своей значимости выходит за рамки только производственной демократии, она имеет первостепенное значение для всех сфер общественной жизни.

Свой анализ Ю. Е. Волков строит на основе проводившегося им изучения опыта работы предприятий Свердловска, перешедших на новые условия хозяйствования. Автор отмечает, что переход на новую систему планирования и материального стимулирования создает атмосферу повышенной общественной активности трудящихся. Однако конкретные исследования «в то же время показывают наличие ряда трудностей и нерешенных вопросов, которые мешают в полной мере проявиться стимулам, заложенным в самой идее реформы». Главный же смысл реформы, замечает автор, заключается в том, чтобы не просто усилить материальную заинтересованность рабочего в результатах своего труда, но связать его личные интересы с общими итогами работы производственного коллектива и таким образом побудить активно участвовать в выработке и реализации решений, направленных на улучшение деятельности всего коллектива, «побудить каждого активно включаться в процесс управления производством». Однако в этом отношении на большинстве обследованных предприятий, как показывают итоги обследования, предстоит еще очень большая работа.

«Если в общем рабочие весьма положительно высказывались о реформе и если заинтересованность в более экономичном расходовании материалов, электроэнергии в своем личном труде они уже ощущали в большей степени, то их ответы в анкетах на некоторые конкретные вопросы

свидетельствовали, что существенного перелома, который бы усиливал их стремление активнее включаться в процесс управления производством, еще не произошло». Например, на вопросы, побуждают ли их новые условия более деятельно участвовать в работе различных организаций, выполняющих на общественных началах функции управления производством (производственные совещания, различные общественные бюро, рабочие собрания и др.), опрашиваемые обычно отвечали, что как раньше «активно участвовали в обсуждении вопросов на собраниях, так и сейчас».

Но Ю. Е. Волков не только формулирует проблему, он намечает возможные пути конкретного ее решения. Прежде всего, пишет он, требует совершенствования порядка образования и расходования фонда материального поощрения, образуемого сейчас не в прямом отношении от прибыли, а «в процентном отношении к фонду зарплаты», — этот порядок «должен в конечном итоге стать простым и понятным каждому: лучше ведется общими усилиями хозяйство — больше прибыль предприятия, стало быть, выше материальное благосостояние каждого; меньше прибыль — теряет каждый». Такой порядок уже сам по себе во многом подталкивал бы «к все более активному непосредственному участию членов каждого производственного коллектива в управлении производством».

Однако, предупреждает автор, это только одна сторона проблемы. Вторая, не менее важная, заключается в том, что одновременно необходим поиск все более совершенных организационных форм демократического управления, таких форм, которые максимально обеспечивали бы возможности широкого и решающего участия трудящихся в управлении, ибо только при этом условии экономический фактор будет «работать» и общие цели коллектива станут близки и понятны каждому отдельному человеку.

Надо заметить, что эта вторая сторона проблемы — вопрос о формах хозяйственного самоуправления — в последнее время все более привлекает к себе внимание советских исследователей. Обсуждаются, например, предложения о необходимости «перераспределения функций между единоначальником и массами трудящихся (в лице

коллегияльных выборных органов)» с передачей этим общественным органам функций решения вопросов принципиального (неоперативного) характера¹, о необходимости демократического выбора руководителей, их подотчетности коллективу² и т. п.

Дальнейшее совершенствование механизма выборности как фактора, способствующего росту общественно-политической активности трудящихся, очевидно, столь же важно и в сфере представительной демократии. Некоторыми исследователями высказываются, например, предложения о необходимости повысить значение акта голосования при выборах в Советы. Это предложение также, думается нам, заслуживает обсуждения. Например, в социалистической Венгрии недавно введена такая система выборов: «Новый избирательный закон дает возможность выдвигать два и больше кандидатов при выборах в местные советы и Государственное собрание... Выборы в 1967 году проходили уже по новой системе. В 9 округах из 349 по выборам в Государственное собрание и в 681 округе по выборам в местные советы было выдвинуто по два кандидата, а в 5 округах по выборам в местные советы — по три»³. Подобная система действует и в некоторых других социалистических странах.

Однако вернемся к рецензируемым книгам. Отметив проявляющийся в них дух поиска, творческий подход ряда авторов к своей теме, нужно в то же время высказать и некоторые критические замечания.

Сначала о сборнике «Политическая организация советского общества». В разделе «Усиление народного контроля над деятельностью аппарата государственного управления» недостаточно, на наш взгляд, показано осуществление такого контроля Советами депутатов трудящихся. Отметив, что Советы «призваны быть более полным олицетворением контроля народа за работой аппарата управления, оказывать решающее влияние на все стороны его деятельности», автор П. И. Романов к этому, в

сущности, ничего более не прибавляет. Между тем проанализировать существующую систему контроля со стороны Советов, степень ее эффективности, наметить возможные пути ее совершенствования было бы весьма важно.

Подобный упрек — в некоторой торопливости при анализе отдельных моментов исследуемого явления — можно отнести и к автору раздела «Всестороннее развертывание и совершенствование социалистической демократии» М. И. Пискотину. Касаясь проблемы отношений между государством и личностью, автор справедливо замечает, что противоречия между личностью и государством порождаются не только фактом существования антиобщественных элементов, но и определенными недостатками в работе государственных органов и должностных лиц, а также известным несовершенством некоторых норм права; что дальнейшее развитие «прав и свобод личности, ее взаимоотношений с государством пойдет по линии усиления материальных, правовых, организационных и иных гарантий прав и свобод граждан». Однако какие именно права и свободы, какие гарантии имеются в виду, об этом ничего не говорится. А жаль! На этом стоило бы остановиться подробнее. О том, насколько это важно, можно судить хотя бы по тому, что над этой проблемой, в частности применительно к вопросу о печати, размышлял еще В. И. Ленин: «... при издании больших советских газет, со всеми объявлениями... писал он, — вполне осуществимо было бы обеспечить выражение своих мнений гораздо более широкому числу граждан, скажем, каждой группе, собравшей определенное число подписей. Свобода печати на деле стала бы гораздо демократичнее, стала бы несравненно полнее при таком преобразовании»⁴.

Некоторые просчеты можно отметить и в книге А. Г. Лашина. Остановимся на одном примере. Автор пишет: «Рабочий класс — передовая и ведущая сила общества, он осуществляет «руководящую роль по отношению к крестьянству, интеллигенции», оказывает «решающее влияние на все социальные слои и группы общества»; его «ведущая, руководящая роль в строительстве коммунизма еще более возрастает»

¹ См. В. В. Ракитский. *Формы хозяйственного руководства предприятиями «Наука»*. М. 1968, стр. 183—195.

² См. книгу того же Ю. Е. Волкова «Так рождается коммунистическое самоуправление» («Мысль», М. 1965).

³ В. Мусатов Венгрия: из опыта социалистической демократии. «Новое время», № 29, 1968, стр. 5.

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 212.

Однако в чем именно, конкретно, на практике проявляется ведущая и руководящая роль рабочего класса, автор, к сожалению, не показывает.

Итак, мы ознакомились с несколькими работами, посвященными одной и той же теме — социалистической демократии. Как видим, многие советские исследователи не ограничиваются только «подведением итогов», а ищут конкретных путей разрешения

важнейших проблем, возникающих перед советским обществом в практике коммунистического строительства. Конечно, как при всяких поисках, иные из высказанных ими соображений спорны, но на то они и поиски, чтобы раздвигать границы привычного, будить мысль. Ведь в споре рождается истина, а истина работает на социализм.

В. САВИН.

★

ИЗ ИСТОРИИ КРУШЕНИЯ РУССКОГО ЦАРИЗМА

А. Я. Авре х. Столыпин и Третья Дума. «Наука». М. 1968. 520 стр.

Темы, связанные с историей правящих «верхов» и буржуазии накануне свержения царизма, долгое время весьма смутно освещались на страницах исторической литературы. Указанная проблематика присутствовала в работах скорее в качестве некоего общего фона, на котором развивалось революционное движение, а не как объект специального исследования.

Конечно же, автор прав, когда пишет, что ссылка на неизученность проблемы сама по себе не может служить «...мандатом для пропуска в науку избранной исследователем темы». Мало ли можно назвать тем незначительных, искусственных и, в сущности, никому не нужных. В данном случае дело обстоит совершенно иначе. Обращение к проблеме кризиса «верхов», к истории буржуазной оппозиции царизму и к другим аналогичным темам вызвано насущными потребностями исторической науки. Наступил момент, когда обнаружилась невозможность ее дальнейшего развития на наиболее интересующем нас «участке» без углубленного изучения того, что находилось «по другую сторону баррикад». Выяснилось, скажем, что неизученность взаимоотношений между царизмом и буржуазией, борьбы различных групп и фракций буржуазии между собой и т. д. привела к тому, что, вопреки глубоко обоснованному ленинскому положению о делении российских политических сил на три лагеря, между буржуазией и царизмом фактически ставился знак равенства, а реальные противоречия между ними игнорировались. Между тем становилось все более очевидным, что без глубокого проникновения в суть этих явлений едва ли возможно действи-

тельное понимание революционного процесса в целом и, в частности, механизма возникновения революционной ситуации, включающей в себя как обязательный элемент кризис «верхов» и их конфликты с буржуазией, стремившейся занять местечко у кормила власти.

Есть и еще одно обстоятельство, настоятельно диктующее углубленный подход к изучению указанной проблемы. Одним из тезисов, выдвигаемых современной буржуазной наукой, является тезис об «исторической случайности» Февраля и Октября, попытка доказать, что при «нормальном» ходе истории на смену России императорской могла и должна была «естественным и мирным путем» прийти Россия парламентская, организованная по западноевропейским образцам. Само собой разумеется, что в этой схеме российскому либерализму отводится роль носителя прогресса во всех областях экономической, социальной и культурной жизни. И только «злой рок» в лице недалевого царя и его столь же недалевого ближайшего окружения свернул Россию с этого «нормального» пути и бросил ее в пучину социальных катаклизмов, никак не предусмотренных историей. Противопоставить этой концепции можно лишь одно: факты, их совокупность и «упрямую доказательность», показ реального существа и возможностей либерализма как претендента на роль руководителя общества.

Осознание всего этого и привело к появлению в последние годы ряда, пока еще, правда, очень небольшого, работ, посвященных «верхам». Достойное место в этом ряду занимает фундаментальное исследо-

вание А. Я. Авреха, вводящее читателя в необычайно интересную, важную и притом совершенно неизученную область истории русской революции и контрреволюции.

Книга состоит из трех основных частей — «Национальный вопрос», «Рабочий вопрос», «Провал столыпинского бонапартизма» — и охватывает небольшой отрезок времени — 1910—1912 годы, то есть как раз ту пору, когда на общем фоне столыпинского «успокоения» явственно проступили и обнаружались приметы нового революционного подъема. В ней не освещаются вопросы, связанные со становлением третьиюньского режима, аграрной политикой и т. д., — автор не хочет повторяться и отсылает читателя к своим предшествующим работам.

Здесь нет возможности проанализировать содержание этой весьма объемистой книги целиком, поэтому остановимся лишь на некоторых из затронутых в ней вопросов.

Две главные посылки лежат в основе исследования. Первая из них состоит в признании того капитального факта, что «...страна и в описываемое время, несмотря на, казалось бы, полное торжество реакции, переживала на деле не конституционный, а революционный кризис или, говоря точнее, общую революционную ситуацию». В массах, несмотря на столыпинский террор, сохранилось революционное настроение, вера в революцию, ожидание ее — именно это прежде всего и понимает автор под общей революционной ситуацией и главным ее проявлением в годы столыпинской реакции. Вторая же посылка заключается в том, что царизм, «наученный» революцией, хотел дать стране минимум либеральных реформ, хотел, но не мог. «...реформы, — справедливо замечает А. Я. Аврех, — в силу самой своей природы, в зависимости от условий играют двойную роль — они могут стать тормозом революции или, наоборот, ее ускорителем. В условиях, когда в стране сохранялись все элементы революционного кризиса, реформы неизбежно должны были привести к его дальнейшему углублению и развитию. В то же время отсутствие реформ, то есть отказ от решения объективно назревших задач, приводило к тому же результату».

Эта точка зрения автора в свое время вызвала критические замечания как «весьма спорная». Однако, как мне думается,

ссылка на то, что реформы давались всегда в периоды острейших революционных ситуаций, а с наступлением «успокоения» желание их давать пропадало, не слишком убедительна. В том-то все и дело, что отказ «верхов» от реформ диктовался не столько исчезновением «желания» их дать, сколько страхом перед возможными последствиями. В таких обстоятельствах и происходило возвращение к старым, испытанным полицейским средствам управления страной, хотя исторически они были уже изжиты и исчерпаны. Кстати сказать, указание на то, что реформы проводились только в периоды революционных кризисов, неверно и по существу. Об этом свидетельствует и русский и европейский опыт.

Разгромив революцию 1905—1907 годов, царизм тем не менее не мог уже сохранить своих старых самодержавных позиций. Он был поставлен перед необходимостью решать объективные задачи, выдвинутые самим развитием капитализма и особенно первой русской революцией. Аграрные противоречия, противоречия с буржуазией царизм попытался разрешить с помощью политики бонапартизма. «Бонапартизм, — писал Ленин, — есть лавирование монархии, потерявшей свою старую, патриархальную или феодальную, простую и сплошную, опору, — монархии, которая нуждается эквилибрировать, чтобы не упасть, — заигрывать, чтобы управлять, — подкупать, чтобы нравиться, — брататься с подонками общества, с прямыми ворами и жуликами, чтобы держаться не только на штыке»¹.

Третья Дума и создавалась как инструмент этой бонапартистской политики, целью которой был перевод России на рельсы буржуазной монархии при сохранении политического всевластия в руках помещиков-крепостников. Сам ход истории неумолимо толкал царизм на этот шаг. Возможность союза между царизмом и буржуазией определялась их общим стремлением не допустить революции. Но союз этот отнюдь не был идиллическим. Его ослабляла разница классовых интересов помещиков и буржуазии. Неравноправность и внутренняя противоречивость этого союза, в котором буржуазия играла роль младшего

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 273—274.

партнера, определяла механизм действия гретьеиюньской системы.

Политика царизма в Думе, как известно, была построена на лавировании между крепостниками-помещиками и крупной буржуазией. Два думских большинства — право-октябристское и октябристско-кадетское — должны были обеспечить проведение бонапартистской политики и воплощение в жизнь намеченной царизмом программы реформ. Третьеиюньская система была «...специально рассчитана на использование, в очень широких пределах, антагонизма либеральной буржуазии и помещичьей реакционности при гораздо более глубоком общем их антагонизме со всей демократией и с рабочим классом в особенности»¹.

Автор не случайно открывает свое исследование национальным вопросом. Мощное национально-освободительное движение, охватившее в годы первой русской революции Финляндию, Польшу, Прибалтику, Украину, Кавказ, Среднюю Азию поставило и перед царизмом, и перед буржуазией национальную проблему как вопрос о самой судьбе Российской империи. Как сохранить ее и уберечь от развала? — вот вопрос, над которым бились и царизм, и идеологи буржуазии. В трех главах этой части книги дается подробная характеристика позиций думских фракций в национальном вопросе и разбираются два главных направления национальной политики правительства — финляндское и польское.

Едва ли можно назвать другую работу, в которой с такой глубиной, полнотой и яркостью была бы исследована национальная политика царизма и отношение к ней помещичьих и буржуазных партий на рубеже первого и второго десятилетий XX века. Опираясь на огромный фактический материал, который до сих пор не вводился в научный оборот, автор внимательно и скрупулезно прослеживает хитросплетения внутридумской борьбы вокруг решения национальной проблемы, убедительно доказывая, что ни черносотенное, ни либеральное ее решение не могло принести успеха.

Единственное, пожалуй, в чем автор заслуживает упрека, это в едва ли оправданном отказе от столь же детального анализа «третьего кита» царской национальной по-

литики — антисемитизма, к возбуждению и взвинчиванию которого царизм прибегал всякий раз, как ему становилось худо. На страницах книги мы найдем лишь несколько самых общих замечаний о том, что третьеиюньский период характеризуется чрезвычайным усилением политики антисемитизма, что и в этом вопросе российский либерализм фактически вступил в союз с реакцией.

«Рабочий вопрос» принадлежит к числу тех, существование которых на Руси долго и упорно отрицалось царизмом. Революция заставила пересмотреть этот взгляд на вещи и попытаться решить рабочий вопрос не только с помощью полицейских преследований и полицейской «опеки» в виде зубатовщины. Поворот в рабочей политике определился уже с первых дней революции. Это и заставило автора начать изложение с 1905 года, что формально выходит за хронологические рамки исследования, но вполне оправдано существом дела. Как и в первой части, автор с помощью массы фактов показывает постановку рабочего вопроса правительственными кругами, устанавливая ее связь с бонапартистской политикой в целом, рассматривает совпадения и различия взглядов помещичьих и буржуазных партий на отдельные стороны рабочей политики и на весь рабочий вопрос в целом.

Выражением все более отчетливо обозначавшегося кризиса гретьеиюньской системы явились «левение» буржуазии, мартовские «министерский» и «парламентский» кризисы 1911 года, убийство Столыпина и, наконец, крах политики и тактики всех партий думского большинства. Этим основным явлениям заключительного периода жизни Третьей Думы и посвящена последняя часть монографии. Из всех названных сюжетов хотелось бы обратить внимание читателя на главу «Убийство Столыпина». Глава эта интересна во многих отношениях. Прежде всего бросается в глаза блестящий и тонкий анализ широкого и разнообразного круга источников, начиная от документальных материалов и кончая эпистолярным наследством и мемуарными свидетельствами. Этот анализ неопровержимо приводит к выводу, что убийца Столыпина Богров был агентом охранки, и кладет тем самым конец спорам вокруг его имени и попыткам, имевшим место даже в последние годы, представить

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 22, стр. 325.

Богрова как героя-революционера¹. Но главное, однако, не в этом. А. Я. Аврех ставит вопрос гораздо глубже: «Дело вовсе не в том, кем был убит Столыпин — революционером или провокатором, а в гораздо более важном вопросе: знала или не знала охранка... что Богров замыслил убийство Столыпина? В первом случае речь идет о смертной судьбе одного человека, во втором — о проявлении кризиса верхов...»

И вот на этот главный вопрос А. Я. Аврех дает ясный и весьма убедительный ответ. Глава завершается словами: «Когда незадолго до своей смерти Столыпин говорил: «Меня убьют, и убьют члены охраны», он знал, что говорил».

Наконец, последнее замечание: историческую литературу не раз упрекали, и в общем справедливо, в серости языка и ограниченности применяемых изобразительных средств. На слабости литературного характера указывалось как на одну из причин падения интереса к произведениям историков. Рецензируемая монография никак не заслуживает подобного упрека. И ведь не скажешь, что книга читается легко. Скорее наоборот, язык ее довольно сложен. Но он всегда точно выражает мысль, а характеристики лиц и оценки событий позволяют не только понять, но и почувствовать, ощутить колорит эпохи.

Перед читателем — многосотенная галерея лиц, начиная с правительственного ареопага во главе с премьером П. А. Столыпиным и кончая думскими фракциями с их лидерами. Когда читаешь, например, как В. М. Пуришкевич при обсуждении анти-

финляндских запросов с думской трибуны заявляет: «Пора это зазнавшееся Великое княжество Финляндское сделать таким же украшением русской короны, как Царство Казанское, Царство Астраханское, Царство Польское и Новгородская пятина. И мне кажется, что дело до этого дойдет», а после принятия Думой соответствующего закона торжествуяще кричит: «Finis Finlandiae!», — великолепно представляешь себе лицо черносотенства, глашатаем которого был бесарабский помещик Пуришкевич. Не менее колоритны фигуры лидера кадетской оппозиции П. Н. Милюкова, «вождя» октябристов А. И. Гучкова, «командующего отдельным корпусом жандармов» П. Г. Курлова, преемника Столыпина на посту главы правительства В. Н. Коковцова и многих других. Все это люди разных партий, разных политических убеждений, но делали они одно общее дело — боролись против революции.

Вернемся еще раз к генеральной идее книги. Все ее содержание доказывает, что причина отказа «верхов» от реформ состояла вовсе не в боязни потерять монополию на политическую власть (обещанные реформы этого и не предполагали), а в том, что в сложившейся объективной обстановке, при революционном настроении масс, отлитом в формулу: «Погодите, придет опять 1905 год», дать реформы, даже самые куцые и безобидные, было невозможно. В этом и состояла безысходность положения, в котором оказались российские «верхи».

Книга А. Я. Авреха рассказывает и показывает, как и почему это произошло.

А. ГРУНТ.

¹ См. В. Ю. Майский. Столыпинщина и конец Столыпина «Вспомы истории», №№ 1, 2, 1966.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

СОЦИОЛОГИЯ, ЛИТЕРАТУРА, ЖИЗНЬ

Статья Вл. Канторовича «Социология и литература», напечатанная в 12-м номере «Нового мира» за 1967 год, вызвала много читательских откликов. Письма поступали из Москвы, Ленинграда, Свердловска, Воронежа, Гомеля, Саратова, из нескольких средних и малых городов Смоленской, Черниговской и других областей.

Одни читатели — а среди них инженеры, писатели, социологи, работники телевидения, преподаватели, служащие, студенты и др. — нашли статью «до крайности современной» (А. Стругацкий), другие считают, что она «заставляет читателей задуматься и показывает, что жизнь многообразна, сложна и требует подлинно научного и вдумчивого подхода» (А. Л. Хазанов) и т. д. Однако преимущественный интерес представляют письма читателей, содержащие дополнения к соображениям, высказанным автором статьи, или, напротив, мотивированные возражения отдельным его тезисам.

Мы публикуем ниже некоторые из этих читательских откликов (в несколько сокращенном виде).

ЛИТЕРАТУРА — ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

(Три отклика)

Статистика вряд ли приложима к литературе

Вл. Канторович рассказал много интересного о социологии, вероятно самой модной (и не зря!) из всех гуманитарных наук. Он убедительно доказал и как полезна дружба между социологией и художественной литературой — для обеих сторон. В заключение он предложил распространить социологию и на самую литературу, для начала в форме всеобщей переписи литературных типов.

Писатель всегда был «стихийным» социологом (а также философом, историком, психологом), даже когда не знал, что он говорит социологической прозой. Он собирал материалы кустарно. Беседуя со множеством людей, он не знал, что проводит интервью «направленные» и «ненаправленные». Он сонблюдал жизнь задолго до появления социологического термина «соучаствующее наблюдение». Он пользовался и всевозможными документами, и даже статистикой, хотя его художественный вымысел и не требовал никаких документальных сопроводиловок. Но хотя писатель и не был вооружен приемами научного наблюдения, художественная интуиция приводила его к величайшим социальным обобщениям. По страницам «Капитала» шествует множество литературных персонажей (только что вышедшая любопытная книжка А. Орлеанского «Художественные образы в «Капитале» Маркса» прямо относится к затронутой проблеме).

Роман Бальзака «Чиновники», написанный в 1837 году, имеет все признаки романа. В нем есть драматическая интрига, есть главный герой Рабурден, правитель канцелярии министерства. В то же время — это настоящее социологическое исследование. С полным правом его можно было бы назвать трактатом о бюрократии, единственном в своем роде в мировой литературе. В романе более двухсот страниц. Многие из них содержат статистические расчеты, финансовый анализ, тщательное описание системы управления тогдашней Франции, а также канцелярских нравов. Выведена целая галерея типов бюрократической фауны.

В современном буржуазном мире социологи усиленно занимаются проблемой «белых воротничков». Речь идет о служащих и интеллигенции (в отличие от рабочих физического труда, так называемых «синих воротничков»). Но кто из анализирующих эту тему может обойти классических клерков Диккенса?

В 1957 году американский писатель Гарвей Свэдос написал книгу, ставшую бестселлером, — «На конвейере». Свэдос изучал конвейер, точнее людей на конвейере, как социолог. Несколько лет он проработал сам на конвейере автосборочного завода. Но эти наблюдения обобщены художником: Свэдос изображает переживания девяти различных персонажей, соединенных общей горькой судьбой. Содержание книги выражено в заглавии статьи Свэдоса (напечатана в журнале «Нейшн») — «Миф о счастливом рабочем». Книгу Свэдоса изучают в семинарах для администраторов, она является учебным пособием для студентов по индустриальной социологии, и нет буквально ни одного труда по этому предмету, где бы на нее не ссылались.

Буржуазные социологи указывают на опасности со стороны художественной литературы, когда она направлена против бизнеса. Так, гарвардский профессор Дж. Гловер в своей книге «Атака на крупный бизнес», адресованной лидерам бизнеса, целый раздел посвящает вредному влиянию литературы. Он же рекомендует и меры по контратаке.

На Западе признают литературу источником социальных исследований. «Следует подвергать анализу также и беллетристику, касающуюся бизнеса, — пишет Уильям Скотт, — это позволит проникнуть в до сих пор еще не затронутые источники для изучения поведения людей в промышленных организациях»¹. Вл. Канторович совершенно прав, доказывая близость и взаимную связь между социологией и литературой. Дружба между ними взаимно небескорытна. Близость настолько велика, что иногда они сливаются или вытесняют друг друга... Но как бы ни были глубоки и ярки литературные образы, они отражают действительность, преломленную в субъективном восприятии автора, в то время как социология стремится к объективной истине, добывается приближения своих результатов «по точности к достижениям естественных наук»².

Никакого спора не вызывает и уже оправдано практически все, что касается изучения и анализа (методами социологии) потребления литературы — читательских интересов, эстетических вкусов, распространения литературы, степени ее воздействия и т. п. Бесспорно и применение социологии для изучения самой литературы как одной из сторон «общественного сознания». Иное дело — идея переписи «литературного населения». Как пишет Вл. Канторович, она возникла у одного из читателей на конференции и показала заманчивой. В самом деле, как было бы интересно учесть эти души, существующие лишь на бумаге, но «как бы живые» (пользуясь выражением Чичикова). И много ли разных типов изобразили наши авторы? И много ли конфликтов?

Все это статистика может сделать приемами, испытанными на живых людях. Она может и эти конфликты распределить по группам, выстроить их в ряд по градациям и т. д. Но статистика — штука коварная, и недаром Гонкуры называли ее главной из неточных наук.

Чтобы поверить литературу «алгеброй», следовало бы «измерить» конфликты в литературе, наложить их на конфликты невыдуманные, установить степень отклонения литературы от оптимума (который также неизвестно кто установил).

Погасив индивидуальные отклонения в общем котле, перепись, вероятно, дала бы какую-то обезличенную картину (снимок). Повторила бы некоторые трюизмы, известные и без переписи.

Она измерила бы удельный вес разных социальных типов в литературе. Известно, например, что бухгалтеру в нашей литературе не повезло. За редкими исключениями

¹ В книге «Человеческие отношения в управлении» (Цинцинатти, 1967).

² См. статью А. Румянцева, Ф. Вурлацкого и Г. Осипова «Конкретные социальные исследования: задачи, перспективы» («Известия», № 132, 1968).

(например, у Гранина в «Искателях»), он — тип отрицательный, и бухгалтеры справедливо жаловались на этот «зияющий пробел». Перепись подтвердит эту жалобу, как сказать, бухгалтерскими же данными. Что из того?

Литература отражает жизнь, но она не адекватна жизни, и всякое навязывание адекватности противоречит ее природе. Да, если бы герои Чехова (ссылаюсь на слова К. Чуковского, цитируемые Вл. Канторовичем) хлынули бы на московские улицы, поднялась бы ужасная свалка. Были бы представлены чуть ли не все профессии, от полицейских до циркачей. Но перепись этих людей и ее сравнение с реальной переписью населения показала бы, что соотношение профессий у Чехова не имело бы ничего общего с реальностью и чеховские типы в этом смысле оказались бы нетипичными (как и чеховские конфликты).

И, наконец, то, что статистики называют репрезентативностью. В обычной переписи все учетные единицы равны. Но как это применить к литературе? Ведь не только Лев Толстой (в анекдоте, рассказанном автором), но и Каренин был «всего лишь» один и в переписи был бы всего лишь единицей, чуть больше нуля. Допустим, переписи будут подвергнуты все произведения за какой-то год. Но ведь они, как и писатели, не равны ни по талантности, ни по силе общественного воздействия. Ведь «социальный эффект» одного произведения может быть гораздо больше, чем очень многих, перевешивающих его количественно, хотя это, может быть, и одна десятитысячная от общей массы взятых под статистический контроль писателей. Не показателен и тираж. Как разрешить проблему взвешивания, то есть определения удельного веса или качества «человекопишущих» единиц? Каковы критерии взвешивания и кто их определит?

Словом, не окажется ли эта перепись несколько непродуманным мероприятием?

Возможно, мои сомнения — результат недомыслия. Но раз они возникли у меня, то, вероятно (прием экстраполяции!), они окажутся и у других. И было бы хорошо, если бы Вл. Канторович и другие сторонники такой меры пресекли эти сомнения в корне, разъяснив, что же они имеют в виду.

С. Эпштейн,
экономист-международник.

Москва.

Не рано ли верить гармонию алгеброй?

Основное предложение Вл. Канторовича сводится к тому, чтобы подвергнуть художественную литературу социологическому анализу.

Социология в последние годы действительно стала развивающейся наукой. Ее популярность среди широких кругов интеллигенции постоянно растет, и понемногу уже формируется мода на социологию. Эта наука привлекает к себе внимание, как лет семь — девять тому назад привлекали молодые поэты. В поисках ценностей публика переключилась на социологию, ожидая от нее истины в конечной инстанции, чего ждала раньше и, казалось, недостаточно получила от поэзии. Но и в самом деле без социологии (независимо от моды) практически невозможно обойтись при решении экономических, общественных, хозяйственных проблем.

И все же думается, что называть социологию «принцессой» (считая, что Золушкой она уже перестала быть) несколько рановато. Число публикаций в этой области насчитывается десятками, но не сотнями. Результаты социологических исследований мало доступны массовому читателю. В этом плане исключение в ряду обычных изданий составляют «Литературная газета» и несколько книг из серии «Социология и жизнь»; но они погоды не делают, многие пласты нашей жизни еще только зондируются социологами, многие проблемы и явления до сих пор остаются «социологической целиной».

В исследованиях социологов можно встретить удивительный разноречивый терминологии. Мы ограничимся здесь одним примером, имеющим прямое отношение к задуманной переписи «литературного населения». Речь идет о профессиональном обозначении целых слоев населения. Ученые применяют разные термины и соответственно разные схемы классификации. Не совсем еще выяснено взаимоотношение между понятиями:

«работники умственного труда», «служащие», «интеллигенция». Можно встретить подразделение на рабочих, служащих и колхозников и отдельно — разбивку по профессиям (С. Кугель). В ряде случаев попадаете комбинированное и одновременно более дробное деление: рабочие, служащие, учащиеся, пенсионеры, домохозяйки (Б. Грушин).

В художественных произведениях, даже в очерках, мы имеем дело с «живыми картинами», с социально-психологическими типами «из плоти и крови»; в социологии — большей частью с рубриками: пол, возраст, образование, семейное положение и т. д. Правда, в науке уже наметилась тенденция к обобщениям, к типологии — сразу по ряду признаков, — но пока она еще мало проявилась.

Обо всех этих сложностях и трудностях в статье Вл. Канторовича нет ни слова. Социология выглядит не как живая, развивающаяся, а следовательно, имеющая свои сложности, трудности наука, а вроде универсальной отмычки, магического заклятия, своего рода «Сезам, откройся!», с помощью которого можно открыть все двери и решить все проблемы.

Предположим даже, что «перепись» проведена. И вдруг выяснится, что представители одних профессий чаще являются героями положительными, а другие — отрицательными. Поможет ли в данном случае предупреждение, что такая «перепись» не претендует на роль универсального, аналитического и обобщающего оружия в руках социолога-литературоведа? Сомнительно. Автор спешит успокоить читателей, что изошренные методы выборки будут определенной гарантией против вульгарно-социологического подхода к литературе.

Но с помощью каких средств будут производить «перепись», хотя бы и выборочную? Очевидно, с помощью статистических или каких-то других формул, чертежей, контрольных калибров, социальных нормалей, предложенных когда-то Алексеем Гастевым? Эти калибры, формулы и т. п. предлагались без конкретной разработки и детализации. Вл. Канторович пишет, что «социологический анализ позволит судить о жизненности литературных произведений, о том, как они справляются с функцией отображения действительности. При проведении «переписи» обнаружались бы заодно и пробелы в изображении нашей многообразной жизни». Новые методы социологического анализа литературных произведений еще не разработаны, а речь заходит о том, чтобы поверить алгеброй гармонию!

Что будет выдвигаться в качестве критерия истинности, достоверности в социологическом анализе — не ясно. Как будут оцениваться социологические свидетельства исторического, научно-фантастического жанров, лирики — не видно.

Правда, Вл. Канторович несколько конкретизирует свое предложение перечислением проблем: например, молодой человек в произведениях молодой ленинградской прозы, «командир производства» в советской литературе на протяжении определенного отрезка времени, мир героев произведений, издаваемых центральными и — для сравнения — периферийными издательствами. Но нельзя сказать, чтобы критика не занималась этими проблемами. Предложенные автором статьи термины: «коммуникации», «идеи», «конфликты» — это термины и литературоведческие, а не только социологические (термин «коммуникация» можно заменить термином «взаимосвязь», и существо проблемы от этого не изменится). Количественные методы здесь могут только кое-что уточнить.

Идея «художественной переписи» нуждается в уточнениях, в более расширенной аргументации, чем та, которая приведена в статье.

Но вот что сказано Анной Ахматовой («Читатель»):

А каждый читатель как тайна,
Как в землю закопанный клад.
Пусть самый последний, случайный
Всю жизнь промолчавший подряд.

Там все, что природа запрячет,
Когда ей угодно, от нас.
Там кто-то беспомощно плачет
В какой-то назначенный час.

Русская классическая литература всегда была глубоко социальной, но от этого не переставала быть художественной литературой. И если мы наблюдаем два параллельных процесса развития — и социологии, и художественного творчества, — то легко предположить, что отношения между ними будут носить некоторый отпечаток соперничества, соревнования, обязывающего обе стороны обращаться к опыту друг друга. В конце концов на знание действительности ни у кого не может быть монополии: ни у социологов, ни у писателей.

С. Бернадский,
преподаватель.

Ленинград.

Постскриптум ¹: Вы правильно поняли смысл моего первого письма.

Признавая ценность и необходимость математических методов исследования (я отнюдь не поддерживаю критиков новосибирских социологов за приверженность к математическим методам), невольно думаешь, что они, эти методы, не абсолютны. В конечном счете само число — знак, условность.

Вероятно, Вы встречали не только легкомысленно-восторженное отношение к проблемам, поднятым в Вашей статье, но и явно сдержанное со стороны профессионалов-«гуманитариев». Редакция журнала, которому я предложил социологический анализ наших фильмов за последнее десятилетие, не согласилась включить в текст мои статистические выкладки — непривычно! ²

Я сожалею, что В. А. Солоухин далеко отошел от первоначального интереса к социально-психологическим проблемам. Более того, в своей книжке «Работа» он заметил, что нет смысла повторять опыт, проделанный им в «Капле росы». Но узнав, что В. Ядов в своих лекциях по социологии приводит «Каплю росы» как пример конкретного исследования, писатель как-то не проявил интереса к такому своеобразному признанию достоинств его повести, свидетельству связей между литературой и социологической наукой.

Пора создать картотеку литературных типов

И социология, и литература, и кино, и телевидение, и газетная журналистика по своему, под собственным углом зрения изучают человека. Сейчас много интересного в телевидении — личность, ее интересы раскрываются полнее. Кино, хотя у него накоплен большой опыт, ищет новые пути. Газеты — тоже благодарная почва для выявления внутреннего мира человека (причем не только героя очерка или заметки, но и их автора).

Но если говорить о населенности «типами», то богаче всех, конечно, литература.

Поэтому считаю идею Вл. Канторовича вполне правильной. Надо создать картотеку «типов». Характеры, наклонности, поступки, стремления различных людей довольно полно представлены в литературе.

«Каталог» литературных «типов» даст пищу для раздумий «о времени и о себе», для анализа нашей жизни, для сопоставления с «населением» газет и телевидения.

Конфликты в произведениях — это же жизненные конфликты. Есть писатели, которые живут духом своего времени, именно через него проходит та трещина мира, о которой говорил Гёте.

¹ Использовано второе письмо автору статьи.

² Сегодня «цифра» взята на вооружение по крайней мере при анализе киноаудитории. В мае 1968 года состоялось многолюдное всесоюзное совещание социологических групп, работающих на киностудиях в конторах кинопроката, в научных органах Госкомитета по делам кинематографии. (Прим. ред.)

Пусть они по-разному подходят к решению вопросов. Это-то и создает целостную картину. Вл. Канторович называет имена Анатолия Кузнецова и Влад. Солоухина. Вспомним «Продолжение легенды». Городской мальчишка в растерянности: «Что делать?» — он не поступил в институт. Многие в то время читали в этой книге свои мысли, видели свою судьбу. Затем наступило время, когда стали пристальнее вглядываться в жизнь села. И Кузнецов пишет «У себя дома». Теперь опубликован «Бабий Яр». По повестям чуткого писателя можно судить об идеях, владеющих обществом или частью его, о типичных конфликтах. Не об этом ли говорит предложенная Канторовичем «инвентаризация конфликтов»?

У Юрия Казакова — свой подход. А В. Тендряков? Ю. Трифонов, К. Паустовский, Виль Липатов со своим удивительным героем, искусно кладущим печи, делающим прически, умеющим тронуть до слез сельских театралов, но неспособным противиться судьбе бродяги, «роли», которую он взялся играть? Или Фазиль Искандер с «Козлотуром», ставшим чуть ли не хрестоматийным?

Цель этих перечислений одна: литература наша во многом — энциклопедия жизни. Так будем же изучать ее. Изучать не так, как прежде (то есть и так!), но и социологическими приемами, что предлагает В. Канторович.

Готов присоединиться к группе социологов для помощи им. Можно исследовать воронежские газеты, телепрограммы и другие источники. Кое-что уже сделано.

В. Даркин,
редактор молодежных передач
телевидения.

Воронеж.

О НАЗНАЧЕНИИ ШКОЛЫ

(Два крайних суждения)

Учить в вузах только настойчивых и способных

Вся та наука, над которой бьется ребенок в школьные годы, направлена в нашей школе на то, чтобы подготовить его к поступлению в вуз. Школа — это как бы трамплин для прыжка в институт. Но две трети или даже три четверти абитуриентов (все равно) в вуз не попадут. Большая половина школьной науки окажется им ненужной. Молодого человека ждет крушение надежд, разочарование в самом начале жизненного пути... Браться за непривычный физический труд человеку в восемнадцать лет уже тяжело. Труд для такого подростка становится вовсе не радостью, а каким-то проклятием.

Считаю, что общеобразовательная школа должна быть восьмилетней, не больше. Ее программа должна быть рассчитана не на подготовку в вуз, а на подготовку к труду и жизни.

Дорога к высшему образованию, а особенно — дорога в большую науку не должна быть беззаботно легкой. Она должна потребовать от человека не одного только желания, но также настойчивости и упорства.

После обязательной восьмилетней школы, которая не должна воспитывать пустых надежд на легкую, беззаботную жизнь, добровольцам, закончившим 8-й класс, должна быть предоставлена возможность, сдав приемный экзамен, поступать в 9—11-е классы. Но пусть это будут вечерние школы (по преимуществу), и там подростки будут учиться вместе со взрослыми рабочими. В общем, 9—11-е классы будут своеобразным рабфаком, дорогой в высшую школу для тех, кто проявляет сильное желание, способности, настойчивость, чтобы учиться по-настоящему.

А. Батраков,
учитель.

г. Шала.
Свердловская область.

Значение образования не измеришь мерой повышения квалификации

Н. Аитов скорбит о том, что, увеличивая число лет на учение в средней школе, мы теряем в числе лет работы на производстве. Напрасная тревога... Продуктивность труда тем выше, чем выше образование людей. Недостаточную эффективность среднего образования Н. Аитов видит в том, что огромная масса людей со средним образованием работает (все же) кузнецами, лесорубами и пр. Но среднее образование не помеха и при несложных работах и к тому же для многих является трамплином для поступления в высшую школу. Из этой же категории людей формируются «вечерники» и заочники, которые, по информации самого Аитова, учатся хуже студентов дневных факультетов, но по окончании учения работают лучше последних.

«Зачем же нам уравниловка в образовании?» — восклицает Н. Аитов. Слово «уравниловка» стало у нас ругательным словом. Кандидату философских наук должен быть известен более правильный термин: равные возможности всем для получения высшего образования.

Н. Аитов высказывается за дифференциацию в нашей школе¹ и сообщает, что такие школы существуют во Франции, в Англии.

Для капиталистических стран дифференциация обучения — нормальное явление. Там это одно из мероприятий, усиливающих классовую дифференциацию общества. У нас Октябрьская революция с этим покончила, и возвращаться к старому мы не намерены.

У нас образование нужно человеку не для того, чтобы «выйти в люди». Образование обогащает человека. Помогает понимать и чувствовать красоту природы, искусство, совершенствовать человеческие отношения. В том, что эта истина не стала азбучной, повинны, в числе других, и вы, товарищи писатели!

Идею получения высшего образования всеми, кто этого пожелает, Вл. Канторович окрестил «маниловщиной». В то же время он отрекся от тех социологов, «плюшкиных», которые (как Н. Аитов и В. Шубкин) выдвинули единственным критерием эффективности среднего образования меру повышения рабочей квалификации.

По старинке мы разделяем воспитание и образование. Но в понятие воспитания человека (в коммунистическом обществе, которое будет, в частности, свободно от миллиардных затрат на оборону) должен бы входить полный образовательный цикл примерно в том объеме, который дает высшая школа.

Разве не этого мы ждем от коммунизма?

И. Юрьев.

г. Новомосковск.

Диплом — и интеллигентность

Жаль, что Вл. Канторович обошел такой вопрос, как культурный уровень, интеллигентность наших администраторов разной номенклатуры, вплоть до ответственных работников (теперь в большинстве они располагают дипломами).

Наглядным показателем культурного уровня человека можно считать его язык, лексику. И плохо не то, что многие без шпаргалки трех слов не скажут, а то, что говорят — как циркуляры пишуг, чиновничьим языком, от которого Чехов отплевывался. Другой показатель — отношение к культурным ценностям, в частности — к историческим реликвиям.

Была ведь у нас целая полоса после Ленина, когда разрушили, например, Михай-

¹ Н. Аитов предлагает после обязательной восьмилетки давать подросткам право выбора между старшими классами средней школы, техническим училищем и работой (Ред.)

ловский монастырь (в Киеве), десятки исторических зданий (в Москве). Не можем ведь мы относить это за счет народа? Вина тут тех «Иванов, не помнящих родства», которые отдавали такие распоряжения.

А некультурные люди встречаются у нас и по сие время...

Не соблюдается часто ленинское правило: руководитель государственного учреждения должен обладать в высшей степени способностью привлекать к себе людей и в достаточной степени солидными научными и техническими знаниями для проверки их работы...

Но сегодня этого надо требовать даже от администраторов самых младших рангов, вообще от любого специалиста с дипломом. Наверно, бесполезно было бы каждому из них узнать о правилах поведения, разработанных для своих администраторов крупнейшей американской фирмой «Дженерал моторс» (я узнал об этом из повести Л. Пасенюка). Фирма, блюдя, конечно, хозяйские, капиталистические интересы, требует все же от своих приказчиков: а) имей бесконечное терпение; б) будь вежлив, никогда не раздражайся; в) будь внимателен к чужому мнению, даже если оно неверно; г) никогда не делай того, что смогут сделать твои подчиненные, за исключением случаев, когда это связано с опасностью для жизни; д) не бойся, если твои подчиненные способнее тебя, а гордись ими; е) если твои распоряжения оказались ошибочными — признай ошибку, и т. д.

Ну, у нас-то диплом никак не должен служить фиговым листком, прикрывающим нищету ума и души...

П. Веденеев.

Черников.

Основное зло — неритмичность производства

«Работа в цехах непопулярна среди инженеров. И хотя ставки здесь выше, специалисты стремятся уйти в технические службы, в научные и учебные институты» — так пишет Вл. Канторович, ограничиваясь по этому вопросу констатацией фактов.

А почему это происходит? Мне, проработавшему в машиностроении около двадцати лет, ясно, что одна из главных причин бегства молодых специалистов из цехов — это неритмичность производства со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Молодой инженер видит в цеху нечто обратное тому, чему его учили в вузе по курсу организации производства.

Вот пример из практики Брянского автозавода, выпускающего тракторы. В 1967 году в первой декаде каждого месяца выполняли в среднем только 7 процентов от месячного выпуска, во второй — 22,7, в третьей — 70,3. Немногим лучше обстоят дела в 1968 году: в первой декаде сдается 7,4 процента, во второй — 24,2, в третьей — 68,4. Притом тракторы третьей декады комплектуются полностью обычно за двое последних суток. Ясно, что за качеством при этом следят меньше всего.

А каковы нравственные последствия неритмичной работы? План надо выполнять. Значит, стараются проташить как годную продукцию и ту, что не отвечает техническим условиям. Рабочий хочет обмануть мастера, мастер — ОТК, цех-сдатчик обманывает цех, принимающий его продукцию. Заводоуправление часто закрывает на все это глаза. И так цепочка лжи и обмана тянется снизу доверху. И притом нервная атмосфера в дни штурма! Без крепких слов тут не обойдешься. Вот почему молодые специалисты бегут из цехов.

Неритмичная работа и по сей день — беда машиностроения (да и только ли машиностроения?).

А. Хазанов,
старший бухгалтер.

Необходимая поправка

Вносим поправку к интересной статье Вл Канторовича, в которой говорится, что население Сибири не выросло за двадцатилетие (1939—1959), а за последнее десятилетие (1956—1965) даже уменьшилось. Это утверждение не соответствует действительности. Население Сибири выросло с 1939 по 1965 год с 16,7 до 24,6 миллиона человек, причем рост наблюдается и по каждому из трех составляющих его краев: по Западной и Восточной Сибири и по Дальнему Востоку¹.

Э. Файбусович, В. Торопыгин,
*географический факультет университета
имени Чернышевского.*

Саратов.

¹ Если говорить о динамике численности всего населения (не только об итогах миграции), то поправка саратовских географов справедлива и необходима. Автор статьи приносит глубокое извинение читателям журнала. Он привел итог по встречным миграционным процессам на Востоке страны, что, собственно, и стало предметом дальнейшего комментария (цифры взяты из «Количественных методов в социологии». «Наука». 1966, стр. 12 и 267), но следующая за цифрами крайне неудачная фраза способна соотнести их со всем населением Сибири. Последнее же росло за счет естественного прироста. (*Примечание Вл. Канторовича.*)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемые товарищи!

В третьем номере вашего журнала за этот год в статье «С миру по нитке» я подвергся резкой критике за мой библиографический очерк о Михаиле Алексееве.

Должен сказать, что это моя первая большая работа об одном писателе (4 п. л.), и, к сожалению, по своей неопытности, я сделал в ней неприятные ошибки.

Привлекая обширный библиографический материал, выписывая ту или иную цитату, я не везде отметил, откуда она взята, и тем самым дал повод обвинить меня в использовании материала без ссылки на источники, но сделано это было без злого умысла.

Вторая моя ошибка заключается в том, что в конце книги я не указал библиографический материал, который привлек при написании своего очерка, о чем очень сожалею.

Ваша статья послужит мне суровым уроком, и я его учту на будущее.


Приношу глубокие извинения читателям, авторам, у которых я использовал формулировки, не указав источников, а также Саратовскому книжному издательству.

Я надеюсь, что настоящее письмо найдет место в вашем журнале.

С глубоким уважением

Виктор ШИШОВ.

19 мая 1969 года.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

РАССКАЗЫ ОБ ОРДЖОНИКИДЗЕ. Сборник воспоминаний. «Детская литература». М. 1968. 190 стр.

Фигура Серго — одна из самых ярких, какие оставила нам история тридцатых годов, всю многообразную сложность которых мы познаем по мере того, как от них удаляемся. В кипучей биографии Орджоникидзе эти годы были периодом наивысшего его расцвета и зрелости не только по возрасту, но и по революционному опыту, по масштабам деятельности и по глубине раздумий о жизни и людях. Можно допустить, что расстояние во времени заставляет людей преувеличивать достоинства их ушедших современников. Память сохраняет главное и отбрасывает второстепенное. Вот почему некоторым молодым, возможно, покажется приукрашенным образ Серго, особенно там, где воспоминания рассказывают о его необыкновенной, поистине ленинской заботе о товарищах и внимании к ним. Но люди старшего возраста, особенно те, кто так или иначе сталкивался с Орджоникидзе, не найдут здесь расхождения с истиной.

Со страниц книжки встает образ Серго и в более ранние годы — годы подполья, ссылки и гражданской войны. Особенно интересными кажутся те главы, где обрисованы взаимоотношения Орджоникидзе с Владимиром Ильичем, в частности три с половиной странички воспоминаний А. К. Воронского «Это было в Праге» — о том, как Серго вместе с другими товарищами готовил Пражскую конференцию 1912 года.

Содержательны воспоминания С. А. Ляндреса. С большой убедительностью в них показано, как своей деятельностью Орджоникидзе подтверждал тезис: «Если у человека есть убеждения, пусть даже ошибочные, с ним надо спорить, его надо переубеждать. И в рассуждениях ошибающегося человека могут быть полезные зерна». Пример с двумя архитекторами, предложившими совершенно разные проекты одного и того же здания, свидетельствует, как умел Серго помочь проявить свои способности людям, казалось бы, несовместимых художественных направлений.

Почти все из знавших Орджоникидзе людей вспоминают его нетерпимость ко лжи. «Человек, совравший ему, переставал для него существовать» (С. Ляндрес). «Иногда в самой середине разговора он как будто пе-

реставал слушать собеседника, взгляд его становился отсутствующим, точно он задумывался о чем-то далеком, внезапно его поразившем и подчинившем себе. Он становился рассеянным, переспрашивал собеседника, повторял его последние слова... Это случилось, если Серго замечал, что говоривший, по его мнению, начинал кривить душой, дипломатничать, избегать прямых ответов» (А. Воронский).

Образцовая оперативность в работе, бесстрашие и прямота, глубокая забота о нуждах рабочих — эти свойства Серго подчеркивают воспоминания А. И. Микояна, И. П. Бардина, С. М. Франкфурта, И. П. Уборевича и многих других.

С. Норильский.

★

С. МАРКУС История музыкальной эстетики. Том II. «Музыка». М. 1968. 586 стр.

В конце прошлого года из печати вышел второй том труда С. Маркуса, посвященный музыкальному романтизму и связанной с ним «борьбе эстетических направлений».

Несмотря на то, что новая работа С. Маркуса является составной частью его «Истории музыкальной эстетики» (в первом томе, вышедшем в 1959 году, рассматривались проблемы музыкальной эстетики классицизма), она имеет совершенно самостоятельное значение, тем более что во введении автор характеризует события и причины, приведшие в начале XIX века к возникновению нового стиля в искусстве.

К настоящему времени у нас переведены и изданы книги, статьи, мемуары композиторов, написано несколько курсов истории музыки, масса отдельных работ — всего не перечислить. Но как справедливо отмечает С. Маркус, «вопрос о возникновении и сущности музыкального романтизма (кстати заметим, что аналогичное положение создалось и при рассмотрении музыки других стилей. — А. М.) интересует историков музыки обычно лишь как своего рода фон...». Не претендуя на то, что читатель получит от него «истину в исчерпывающей полноте», С. Маркус в процессе изучения выявляет много не замеченных ранее характерных художественных черт; плодотворно также сопоставление мнений, наблюдений и мыслей. принадлежащих разным исследователям. Так, например, в главе об

эстетических взглядах Берлиоза автор на основании тщательного анализа высказываний композитора, содержащихся в его статьях и «Мемуарах», убедительно доказывает несостоятельность утверждений буржуазных историков эстетики (в частности, А. Галли), что у Берлиоза не было определенных эстетических взглядов. Кроме того, С. Маркус также доказывает, что музыкально-критическая деятельность Берлиоза находилась полностью в русле его творческих интересов, а не была вызвана (как это полагают некоторые исследователи) исключительно его материальной нуждой. К этому только добавим: почитайте его «Мемуары» (изданные и переизданные у нас) — блеск изложения и увлеченность автора рассеют последние сомнения на этот счет.

Глава об эстетике Шопена представляет особый интерес. Если Берлиоз, Лист, Шуман, Вагнер оставили значительное количество литературных произведений, по которым мы можем судить об их эстетических убеждениях, то Шопен, как отмечает автор, «не писал музыкально-критических статей и в дошедших до нас письмах не проявлял особого интереса и склонности к теоретико-эстетическим размышлениям. Было бы ошибочным, однако, на этом основании недооценивать его эстетические убеждения». В этой главе С. Маркус как раз и попытался, насколько возможно, систематизировать высказывания самого Шопена и его современников о нем.

В короткой заметке нельзя дать даже простой перечень всех интересных проблем, затронутых в книге. Тем не менее хотелось бы обратить внимание читателей на последние пять глав, из которых можно получить представление об эстетических проблемах в западной философии XIX и начала XX века. Если анализ эстетических взглядов Ганслика введен уже в курс эстетики для художественных вузов, то сведения об эстетике Шопенгауэра, не говоря уже о Фишере, Гартмане и Курте, широкому кругу читателей мало известны. С. Маркус, излагая и комментируя музыкально-эстетические взгляды философов, не ограничивается этим и предвзительно вводит читателя в курс их общей концепции. Серьезность изложения располагает к чтению книги С. Маркуса, а также побуждает к дальнейшему изучению поставленных в ней проблем.

А. Майкапар.

★

ФИЗИКИ ПРОДОЛЖАЮТ ШУТИТЬ.
Сборник переводов. «Мир». М. 1968. 320 стр.

«Физики продолжают шутить» — второе, расширенное издание книги «Физики шутят» (1966). В нашей литературе подобное издание является уникальным. Здесь нет примелькавшихся штампов, это взгляд «изнутри» Первый раздел книги назван «Почти всерьез». Так можно было бы ха-

лезные советы» и особенно «Административная физика». Советы, как надо (или не надо) выступать или писать статьи, вспоминаются с улыбкой, но вполне всерьез в соответствующих ситуациях. Весьма поучительна повесть о том, как Ньютон открыл закон всемирного тяготения: в заседании различных комиссий образовалось «окно», вызванное внезапной смертью одного непринятого члена от нервного истощения. Ньютон «...решил немного пройтись. Эта коротенькая прогулка изменила мировую историю».

Во второе издание включено приложение — раздел «По родному краю». Здесь наш, отечественный физико-юмористический фольклор, который рождается на собраниях и в редколлегиях стенгазет. Следует, однако, признаться, что этот раздел в целом слабее предыдущих. Это вполне естественно. Составители имели для перевода достаточно большой выбор — выпуски «Журнала Невоспроизводимых результатов», «Журнала Шутливой физики», книги «Размышления ученых», «Расчет напряжений в вечернем платье без бретелек» (и здесь многое «почти всерьез!»). Были переведены также научно-юмористические статьи из вполне серьезных изданий (в зарубежной литературе это не в диковинку), составители отыскивали даже две статьи, написанные крупными физиками в порядке научной мистификации. Серьезные журналы опубликовали эти статьи, «попавшись на удочку громких имен».

Большая часть материалов книги вполне доступна широкому читателю. После первого издания книги один читатель написал, что физики «...весьма неостроумно пошутили, выпустив книгу, которую нигде нельзя купить». Хотя тираж второго издания велик, его постигла такая же участь.

А. В.

★

П. Л. ТРЭВЕРС. Мэри Поппинс. Сокращенный перевод с английского Б. Заходера. «Детская литература». М. 1968. 240 стр.

В доме № 17 по Вишневому переулку живет семейство Бэнксов. И хотя сам глава семейства «весь день без передышки трудится, вырезая шиллинги и пенсы и штампуя монетки в полкроны и трехпенсовики», живут Бэнксы все-таки не слишком богато. Поэтому, когда им потребовалась нянька, они дали в газете объявление, что «нуждаются в самой лучшей няньке с самым маленьким жалованьем...». Удивительней всего, что такая нянька нашлась. И хотя она не грешла, а скорее прилетела по объявлению. Бэнксы, особенно младшие, по достоинству оценили ее неповторимые качества.

Именем няньки и названа эта книга, с которой наши дети знакомятся впервые. Знакомство это чудесно, и искренне жаль тех ребят, которым почему-либо не удастся прочитать эту книгу, полную самых захватывающих и притом чудесных приключений и фокусов.

Несмотря на то, что писательница уклоняется от прямого объяснения, кто же все-таки эта Мэри Поппинс (в одном случае мы узнаем, что она — троюродная сестра Королевской Кобры, поведительницы зоопарка, в другом, что она — приятельница самого владыки моря, греческого бога Посейдона), но в ее причастности к волшебству сомнений не остается. Точно сама детская фантазия, Мэри Поппинс чудесно преображает все окружающее. В ее присутствии всегда случается нечто из ряда вон выходящее: чуть не все население города поднимается в воздух на воздушных шарах; мраморная статуя сходит с пьедестала и дружески беседует с детьми; звери в зоопарке затевают ночью большой хоровод... Все это настолько весело и интересно, что не только юному, но, право же, и взрослому читателю становится грустно, когда устроительница всех этих фантастических сцен куда-то вдруг улетает, бросив на прощанье медальон со своим портретом. Остается лелеять себя надеждой, что переводчику книги Борису Заходеру удастся «угovorить ее снова вернуться к нам и рассказать обо всем остальном...». Возможность такая имеется, потому что П. Л. Трэверс написала уже четыре книги о своей удивительной героине, а Заходер перевел пока лишь первые две.

Но книга написана не только для развлечения. Тут есть, например, тонкая и пронзюще грустная глава «История близнецов». Джон и Барбара Бэнкс, которым еще и года не исполнилось, весело болтают с Мэри Поппинс о том, как глупы взрослые.

«— Ну уж так и быть, от папы и мамы нельзя требовать многого—они ведь совсем ничего не понимают, хотя они такие слабые, — но уж Джейн и Майкл могли бы, кажется...»

— Когда-то они все понимали, — сказала Мэри Поппинс...

— Как? — хором откликнулись Джон и Барби, ужасно удивленные — Правда? Вы хотите сказать — они понимали Скворца, и ветер, и...

— И деревья, и язык солнечных лучей, и звезд — да, да, именно так. Когда-то, — сказала Мэри Поппинс.

Так малыши узнают ужасную вещь: оказывается, «нет ни одного человека, который бы помнил после того, как ему стукнет самое большее год».

Близнецы в полном отчаянии. Они ни за что не хотят быть такими, как все! Умудренный опытом и потому несколько циничный Скворец откровенно хихикает, слыша это. Но время свершило свое: когда у малышей прорезались зубки, они тоже стали такими, как все...

И все-таки П. Л. Трэверс верит, что не все забывают детство. И ее рассказы о Мэри Поппинс обращены именно к такому читателю.

С. Сивоконь.

А. И. ПЕРЕЛЬМАН. Александр Евгеньевич Ферсман. «Наука». М. 1968. 296 стр.

Среди блистательной когорты выдающихся русских и советских ученых первой половины нашего века почетное место принадлежит галантливому минералогу, крупному организатору советской науки — Александру Евгеньевичу Ферсману. Немалый вклад внес он своими трудами в развитие кристаллографии, географии, геологии и геохимии.

Первого февраля 1919 года, в возрасте тридцати шести лет, А. Е. Ферсман был избран академиком. В рекомендации, представленной президиуму Академии наук старейшими академиками Вернадским, Карпинским и Крыловым, говорилось: «В лице А. Е. Ферсмана наша страна имеет одного из наиболее талантливых минералогов, прекрасного знатока минералов вообще, энергичного исследователя... Увлеченный интересом к научному изучению природы, А. Е. Ферсман, превосходно владеющий даром ясного и красноречивого изложения, вносит это увлечение не только в среду своих учеников, но нередко и сотоварищей по науке. Лишенный всякого ложного самознания, горящий интересом к успехам других лиц, хотя бы и не согласных с его взглядами, Александр Евгеньевич вносит умиротворяющую струю в коллективный труд, который так желателен и необходим в учреждениях, в которых протекает его работа».

Об А. Е. Ферсмане написано немало статей и книг. Однако до сих пор не было научной его биографии, в которой обстоятельно, на основе документов, а также личных впечатлений и воспоминаний многих ученых, работавших с А. Е. Ферсманом, последовательно излагались бы основные направления его многосторонней исследовательской и общественной деятельности. Настоящая книга, написанная учеником выдающегося ученого, восполняет этот пробел.

Рассказывая об этапах жизни и творческой деятельности А. Е. Ферсмана, о его вкладе в развитие науки и в освоение минеральных богатств нашей страны, автор особое внимание посвящает его исследованиям за Полярным кругом, в пустынях Средней Азии, на Урале, которые заложили основу для широкой промышленной добычи апатитов на Карском полуострове и серы в Каракумах. Во второй части книги рассматриваются главные теоретические проблемы минералогии и геохимии, которыми А. Е. Ферсман занимался почти всю свою жизнь.

Не забыта в книге и популяризаторская деятельность ученого, его замечательные научно-художественные книги, которые считаются классическими в этом жанре.

Б. Розен,
доцент



М. БЕЛЕНЬКИЙ. Трагедия Уриэля Акости. «Наука». М. 1968. 152 стр.

На титульном листе книги М. Беленького «Трагедия Уриэля Акости» стоит гриф издательства «Наука». Но с полным правом можно было бы поставить рядом с этим грифом еще и другой — скажем, издательства «Художественная литература». В работе этой органически слились наука и литература, теория и искусство.

Труднейшую задачу поставил перед собой автор книги, взяв героем Уриэля Акосту. Не Спинозу, не Галилея, не Джордано Бруно, не звезд первой величины, а их спутника, одно из светил в их созвездии. А это всегда гораздо сложнее: найти в явлении менее значительном — рядом с гениями своей эпохи — нечто существенное и неповторимое. Титаны рождаются редко. Но быть может, многие сумеют воспитать в себе волю борца и характер ученого, мужество обличителя и дух гражданина — качества, которыми обладал Акоста, обычный человек, стремившийся выполнить главный долг на земле: прожить свою жизнь честно и с пользой для людей.

Одно из достоинств книги об Уриэле Акосте (достоинство, между прочим, не часто встречающееся, так как влюбленность в объект исследования порой мешает исследователю видеть в нем реального человека) — это умение автора показать не только свершения Акости, но и путь его к этим свершениям. А путь Акости был не простым и не легким, колебания терзали его душу, сомнения угнетали его разум, страх одолевали его сердце. Но он не делается от этого слабым в наших глазах. Именно поэтому, что М. Беленький честно рассказал нам о человеке Акосте, мы узнали героя Акосту.

Книга заканчивается поражением Акости, он соглашается на публичное покаяние в синагоге и, испив полную чашу издевательств церковников, кончает самоубийством. Но это поражение, которое стоит иной победы. Очень верно пишет автор, что на пути к прогрессу бывают такие неудачи, которые существеннее иных ослепительных удач. В таких поражениях, какие терпели Акоста или Галилей, нет отступничества, в них есть человеческое страдание, есть на секунду поверженный, а затем снова воспаривший дух. У Галилея это — «А все-таки она вертится», у Акости — выстрел в себя из мушкета.

И еще одно достоинство книги Беленького — много и тепло говорится в ней о друзьях Акости, о тех, кто помогал ему, кто понимал его до конца, о тех, кто воспитывал его ум, — словом о тех, кто составляет живую, реальную среду человека. Мы сегодня часто восторгаемся необъятностью вселенной. Но стоит вспомнить иногда и о дружеской тесноте земли, о старомодной обжитости ее живыми людьми, которые приходят на помощь.

Есть ли недостатки в этой книге? Один из них очевиден — слишком увлечен автор спором своего героя с теологической схоластикой. Кое-где стоило бы более решительно раскрывать реальное житейское содержание, воплощенное в эту религиозную форму, кое-где можно было бы выбросить длинные утомляющие цитаты из Библии и Талмуда.

Но это частности. Главное в другом — в том, что тысячи читателей смогут узнать о трагедии и победе Акости, о беспредельности духовных сил человека, выходящего на благородную борьбу с заблуждениями своего времени.

И. Вишневская.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

Ван Мин. О событиях в Китае. 64 стр. Цена 7 к.

Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. В пяти томах. Том 1. Воспоминания родных. 616 стр. Цена 3 р. 90 к. (Подарочное издание). Том 2 (1891—1917 гг.). 494 стр. Цена 1 р. 97 к.

Н. Горбунов. Как работал Ленин. 16 стр. Цена 4 к.

С. Кондрашов. Перекрестки Америки. Заметки журналиста. 208 стр. Цена 33 к.

Книга и политическое самообразование. Сборник. 190 стр. Цена 26 к.

И. Пронин, М. Степичев. Ленинские нормы партийной жизни. 255 стр. Цена 61 к.

О. Пятницкий. Избранные воспоминания и статьи. 374 стр. Цена 89 к.

Ю. Турицев. Партия у власти. Разработка В. И. Лениным вопросов партийного строительства. Ноябрь 1917—1923 гг. 160 стр. Цена 24 к.

«МЫСЛЬ»

Р. Белоусов. Общественно-необходимые затраты труда и уровень оптовых цен. 276 стр. Цена 1 р. 1 к.

Д. Дарелл. Три билета до Эдвенчер. Рассказы о природе. Перевод с английского 176 стр. Цена 47 к.

Ф. Куиллини. Тысяча огней (Путешествия. Приключения. Фантастика). Перевод с итальянского. 344 стр. Цена 1 р. 31 к.

В. Миловидов. Старообрядчество в прошлом и настоящем. 112 стр. Цена 17 к.

Мировой социализм и развивающиеся страны (Экономические отношения социалистических стран Европы с развивающимися странами). Коллективная монография. 278 стр. Цена 96 к.

Планирование и управление народным хозяйством в социалистических странах. Коллективная монография. 390 стр. Цена 1 р. 33 к.

Г. Радченко. Республика Мали. 292 стр. Цена 1 р. 10 к.

Е. Стасова. Воспоминания. Предисловие А. И. Микояна. 286 стр. Цена 73 к.

«ЭКОНОМИКА»

Н. Бузляков. Методы планирования повышения уровня жизни. 222 стр. Цена 78 к.

Б. Глиньский. Теория и практика управления промышленными предприятиями. Перевод с польского. 166 стр. Цена 60 к.

Н. Зотова. Торговля между странами СЭВ в условиях хозяйственных реформ. 144 стр. Цена 45 к.

Методические указания к составлению Государственного плана развития народного хозяйства СССР. 782 стр. Цена 3 р. 70 к.

А. Фокин. Внутризаводской хозрасчет промышленного предприятия. 88 стр. Цена 23 к.

П. Шуляк. Планирование товарных запасов в потребительской кооперации. 134 стр. Цена 35 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

С. Ботвинник. Ступени. Стихи. 111 стр. Цена 40 к.

Г. Гулиа. Фараон Эхнатон. Роман. 399 стр. Цена 1 р.

М. Кемпе. Вечность мгновений. Стихи. Перевод с латышского. 143 стр. Цена 35 к.

Ф. Кнорре. Шорох сухих листьев. Повесть и рассказы. 336 стр. Цена 50 к.

К. Крапива. Избранные басни. Перевод с белорусского. 135 стр. Цена 42 к.

В. Пшавела. Стихотворения и поэмы. Вступительная статья С. Чиковани («Библиотека поэта»). 372 стр. Цена 52 к.

Ю. Смуул. Монологи. Перевод с эстонского А. Тоома. 280 стр. Цена 50 к.

Г. Фиш. Скандинавия в трех лицах. Книга 1-я. Здравствуй, Дания! Норвегия рядом. 452 стр. Цена 98 к. Книга 2-я. У шведов. 271 стр. Цена 62 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Бондопадхай. Лодочник с реки Падмны. Роман. Перевод с бенгальского. Предисловие А. Симонова. 159 стр. Цена 39 к.

С. Галкин. Дальзоркость. Стихи.— Валлады.— Трагедия. Перевод с еврейского. Составитель И. Борисов. Вступительная статья В. Огнева. 528 стр. Цена 1 р. 98 к.

Б. Горбатов. Избранная проза. Составление и подготовка текста Н. Архиповой. 800 стр. Цена 1 р. 43 к.

Еврипид. Трагедии. Перевод с древнегреческого Ин. Анненского и С. Шервинского. Вступительная статья Б. Ярхо. Том 1. 640 стр. Цена 92 к. Том 2. 720 стр. Цена 95 к.

Современные польские рассказы. Перевод с польского. Предисловие А. Марьямова. 328 стр. Цена 1 р. 13 к.

А. Твардовский. Василий Теркин. Книга про бойца. Вступительная статья А. Туркова. Иллюстрации художника О. Верейского. 176 стр. Цена 90 к.

Три богатыря. Былины. Вступительная статья Б. Рыбакова. 128 стр. Цена 20 к.

М. Турсун-Заде. Вечный свет. Стихотворения и поэмы. Перевод с таджикского. 272 стр. Цена 1 р.

В. Ян. Исторические повести. Огни на курганах.—Юность полководца.—Молотобойцы. Предисловие Л. Разгона. 592 стр. Цена 1 р. 18 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Л. Гурунц. Наш милый Шушиненд. Роман. 304 стр. Цена 62 к.

С. Дервиш. Любовные романы. Перевод с турецкого. 144 стр. Цена 35 к.

Мы — молодая гвардия. Комсомольская поэзия. 1951—1968. 336 стр. Цена 1 р. 24 к.

Приключения. Повести, рассказы и документы о советских разведчиках. 557 стр. Цена 97 к.

Х. Хартунг. Дети чуда. Роман. Перевод с немецкого и предисловие С. Тархановой. 272 стр. Цена 68 к.

Д. Хирн. Пришлый у ворот. Роман. Перевод с английского. 304 стр. Цена 82 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- М. Алигер.** Да и нет. Избранное. 221 стр. Цена 53 к.
Е. Андреева. Времена и нравы. 167 стр. Цена 39 к.
Ф. Зельтен. Вемби. Лесная сказка. Пересказ с немецкого Ю. Нагибина. 158 стр. Цена 40 к.
Л. Кассиль. Будьте готовы, Ваше высочество! Повесть. 159 стр. Цена 97 к.
Москва в солдатской шинели. 367 стр. Цена 1 р. 19 к.
М. Прилежаева. Невыдуманные рассказы. 112 стр. Цена 29 к.
Родной и близкий. Рассказы о Владимире Ильиче Ленине. 288 стр. Цена 59 к.

«ИСКУССТВО»

- Осип Наумович Абдулов.** Статьи. Воспоминания. Составитель Е. Абдулова-Метельская. 263 стр. Цена 37 к.
Зарубежные киносценарии. Выпуск 3. Двадцать часов. Венгрия.— Клео от 5 до 7. Франция.— Красная борода. Япония.— Затмение. Италия. 294 стр. Цена 1 р. 1 к.
Б. Захава. Современник. 391 стр. Цена 2 р.
Н. Калинина. Музеи Парижа. 224 стр. Цена 1 р. 42 к.
Спектакли и годы. Статьи о спектаклях русского советского театра. Редакторы-составители А. Анастасьев и Е. Перегудова. 520 стр. Цена 2 р. 59 к.
Фильм о счастливом человеке. Ленин в Польше. Литературный сценарий.— Статьи о фильме.— Пресса о фильме. 175 стр. Цена 1 р. 32 к.
К. Чапен. Об искусстве. Театр и кино. Изобразительное и прикладное искусство, архитектура. Литература. Перевод с чешского. 295 стр. Цена 1 р. 48 к.

«НАУКА»

- А. Андрущенко.** Крестьянская война 1773—1775 гг. На Яике, в Приуралье, на Урале и в Сибири. 360 стр. Цена 1 р. 65 к.
Великая Октябрьская социалистическая революция и мировая социалистическая система. Материалы международной научной конференции (Москва, 1967). 471 стр. Цена 2 р. 8 к.
Я. Винников. Хозяйство, культура и быт сельского населения Туркменской ССР. 312 стр. Цена 1 р. 49 к.
Е. Гренулов. Церковь, самодержавие, народ (2-я половина XIX — начало XX в.). 184 стр. Цена 30 к.
Исследования по польскому языку. Сборник статей. 308 стр. Цена 1 р. 30 к.
В. Ковский. Романтический мир Александра Грина. 236 стр. Цена 80 к.
Проблемы современной космогонии. 351 стр. Цена 1 р. 74 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

- И. Абдуллин.** Журавли летают высоко. Повести. 96 стр. Цена 16 к.
С. Антонов. В дальний путь. Повесть и рассказы о Ленине. 272 стр. Цена 91 к.
Юл. Медведев. Безмолвный фронт. Книга о химической и биологической защите урожая. 192 стр. Цена 36 к.
И. Минутко. Костры на площадях. Повесть о первых годах революции. 216 стр. Цена 51 к.
В. Нагорный. Мысль и движение. Очерки. 144 стр. Цена 19 к.
П. Никитин. Свет с Севера. Очерки о Кабардино-Балкарской АССР. 128 стр. Цена 15 к.
П. Шелест. Пахарь и время. 144 стр. Цена 19 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Р. Белкин, А. Винберг.** Криминалистика и доказывание. 216 стр. Цена 86 к.
Е. Ворожейкин. Правовые основы брака и семьи. 160 стр. Цена 52 к.
Гражданско-правовая охрана интересов личности. 256 стр. Цена 95 к.
Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье. 24 стр. Цена 3 к.

«ПРОГРЕСС»

- В. Гандзова.** Отрекийтесь от первой любви. Роман. Перевод со словацкого. 262 стр. Цена 75 к.
Критика современной буржуазной теории права. Сборник статей. Перевод с венгерского. 288 стр. Цена 1 р. 15 к.
Л. Пандуро. Датчанин Ферн. Роман. Перевод с датского. 160 стр. Цена 42 к.
М. Панталеоне. Мафия вчера и сегодня. Перевод с итальянского. 304 стр. Цена 88 к.
Примерный уголовный кодекс (США). Официальный проект Института американского права. Перевод с английского. 304 стр. Цена 1 р. 18 к.
Л. Уоллер. Банкир. Роман. Перевод с английского. 672 стр. Цена 2 р. 5 к.
Н. Устюн. Страна солнца. Стихи. Перевод с турецкого. 112 стр. Цена 37 к.
Л. Франк. Причина. Повести и рассказы. Перевод с немецкого. 268 стр. Цена 76 к.
Р. Шарль. Забыть Палермо. Роман. Перевод с французского. 320 стр. Цена 1 р. 3 к.
Ж. Шэно. Китайское рабочее движение в 1919—1927 гг. Перевод с французского. 302 стр. Цена 2 р. 32 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес: Москва. К-6. пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 26/III 1969 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 11/VI 1969 г.
 Формат бумаги 70x108^{1/2} мм. 27,5 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
 А 06069. Заказ 1135. Тираж 131 850 экз.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636